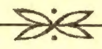
# В. В. ВЕРЕСАЕВ



# *Невыдуманные рассказы о прошлом*



# В. В. ВЕРЕСАЕВ



*Невыдуманные рассказы о прошлом*

*Литературные воспоминания*

*Записи для себя*

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984

Вступительная статья
Ю. У. ФОХТ-БАБУШКИНА



# НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ В. ВЕРЕСАЕВА

## I

Над вошедшими в это издание циклами В. Вересаев работал двадцать последних лет своей жизни. Он вложил в них весь свой писательский и жизненный опыт: многие рассказы и заметки почти дословно воспроизводят страницы дневников и записных книжек В. Вересаева еще 80-х — 90-х годов прошлого века, а заключительные строки относятся к 1945 году, к году смерти писателя.

Творческая история циклов сложна и пока до конца не ясна. В 1915 году В. Вересаев написал рассказ «Случай», а годом позже — «Семейный роман», который называл «невыдуманным рассказом». Казалось, именно к этому времени и можно бы отнести начало работы над циклом «Невыдуманные рассказы о прошлом». Но никаких свидетельств, заставляющих нас предполагать, что уже тогда писатель задумал единую серию «невыдуманных» миниатюр, мы не имеем. В его архиве сохранились наброски к книге, сделанные в середине 1920-х годов. Наброски тогда же получили предположительный общий заголовок — «Без плана (Мысли, заметки, сценки, выписки, воспоминания, из дневника и т. п.)». Видимо, где-то в середине 1920-х годов у В. Вересаева и возник замысел своеобразной книги, смонтированной из сотен миниатюр. Эта дата подтверждается еще и тем, что вскоре писатель начал публиковать не только отдельные рассказы, зарисовки и заметки будущей книги, но и целые группы их. Так, в 1928 году периодический сборник «Недра» обнародовал 29 рассказов о детях, а в 1930 году там же увидела свет подборка «Sopra la morte» («Мысли о смерти»).

Объем книги увеличивался, и в 1930-х годах автор разделил ее на три цикла: «Невыдуманные рассказы о прошлом», «Литературные воспоминания» и «Записи для себя». В 1936 году В. Вере-

саев публикует «Литературные воспоминания», в 1940 году выходят «Невыдуманные рассказы о прошлом». «Записи для себя при жизни писателя не появлялись в печати вовсе, хотя он и записал в дневнике 23 сентября 1942 года, что закончил их.

Писательская общественность встретила «Невыдуманные рассказы о прошлом» как яркое и своеобразное явление советской литературы. В том же 1940 году Союз советских писателей устроил их чтение и широкое обсуждение. Выступавшие отмечали рождение нового жанра в литературе, подчеркивали, что В. Вересаев в коротеньких новеллах сумел воссоздать правдивую и многокрасочную картину жизни дореволюционной России. Столь же единодушна была и оценка критики.

Ободренный успехом, В. Вересаев продолжает писать рассказы этой серии, возникает замысел еще двух циклов — «Невыдуманные рассказы о настоящем» и «Выдуманные рассказы».

Возраст брал свое, уходили силы, а эта работа все больше увлекала писателя. Дневник, который В. Вересаев тщательно вел с юных лет, в 1942—1943 годах почти целиком заполняется набросками для его последней книги. На обычные повседневные записи уже не остается ни энергии, ни времени. Только изредка прорываются между рукописями миниатюр строки беспокойства: успею ли? «Смертная усталость... В душе отчаяние. Нет сил так жить... А все сильнее хочется работать. Чувствую глубокое неблагополучие во всем организме и переход, очень быстрый, от хорошей старости к страшной дряхлости... Голова еще способна на творческую работу, но память слабеет катастрофически». И когда пальцы уже не могут держать ручку или карандаш, он диктует близким, «чтоб за старостью всего не забыть». Написанный в 1945 году, незадолго до смерти, рассказ «Euthymia» является последним произведением В. Вересаева.

К середине 1940-х годов накопилось около двухсот «невыдуманных рассказов». Писатель решил свести их в единую книгу, включив в нее и некоторые свои старые рассказы, написанные в свое время отнюдь не для этого цикла («Случай», 1915; «Два побега», 1929; «Мимоходом», 1929; и др.). Но так и не успел до конца систематизировать весь материал. 3 июня 1945 года В. Вересаев умер.

Длительное изучение его рукописей, дневников и писем позволило, пусть и не вполне точно, воссоздать авторский замысел. Писатель тщательно подготовил двенадцать глав «Невыдуманных рассказов о прошлом». Кроме того, в архиве сохранилась еще одна глава, которой автор не дал номера: видимо, не успел найти ей место в цикле. Она печатается вслед за двенадцатой главой.

И, наконец, четырнадцатая глава составлена нами из рассказов, оставшихся не систематизированными В. Вересаевым.

От самостоятельных циклов «Невыдуманные рассказы о настоящем» и «Выдуманные рассказы» писатель в конце концов отказался, наверное, потому, что таких новелл набралось мало, и он включил их в «Невыдуманные рассказы о прошлом». К тому же ведь «настоящее» уже завтра становится «прошлым», а «выдуманные рассказы» по чисто жанровым особенностям очень близки рассказам «невыдуманным».

Незадолго до смерти, в 1944—1945 годах, В. Вересаев подготовил к очередному изданию «Литературные воспоминания», однако включил в состав далеко не все свои произведения этого жанра. Мы целиком повторяем этот состав «Литературных воспоминаний» и дополнительно предлагаем читателю пять мемуарных очерков и зарисовок, найденных в архиве писателя после его смерти. «Записи для себя» были подготовлены В. Вересаевым к печати полностью.

## 2

В этой своей последней книге, состоящей из трех циклов, В. Вересаев как бы суммирует все написанное им ранее. Шестьдесят лет проработал он в литературе. И каких лет! Его романы, его повести и рассказы — словно главы истории революционной борьбы в России конца XIX — начала XX века, страницы летописи исканий русской интеллигенции в то бурное время. Повесть «Без дороги» (1894) рисовала крах народничества; рассказ «Поветрие» (1897) написан в поддержку только-только зарождавшегося марксистского движения; повесть «На повороте» (1901) отражала борьбу марксистов против «экономистов» и либералов; повесть «Два конца» (1899—1903) обращала внимание читателей на растущий протест в рабочем классе; записки «На японской войне» (1906—1907) раскрывали банкротство царизма в русско-японской войне, славили революционные свершения народа в 1905 году; повесть «К жизни» (1908) посвящена глухому времени реакции после поражения первой русской революции; роман «В тупике» (1920—1923) — периоду Октября и гражданской войны; роман «Сестры» (1928—1931) — годам строительства социализма, а самые последние рассказы и статьи писателя рождены Великой Отечественной войной... Крах народничества, три русские революции, русско-японская, империалистическая, гражданская и Великая Отечественная войны, исторические свершения социализма... Как говорил сам писатель, прошлое не знало «ничего подоб-

ного тому бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду мчавшемуся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать».

В «невыдуманных» циклах своей последней книги В. Вересаев, подводя итоги многолетних размышлений о смысле революционных бурь в России, о долге художника, об обязанностях человека перед человечеством и перед самим собой, во многом пересматривает свою точку зрения на события, потрясшие век.

А точка зрения эта была не проста и своеобразна.

Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года, В. Вересаев записал в дневнике: «...пусть человек во всех кругом чувствует братьев,— чувствует сердцем, невольно. Ведь это — решение всех вопросов, смысл жизни, счастье... И хоть бы одну такую искру бросить!» Бури эпохи ни разу не заставили его изменить своему идеалу, сформулированному еще в молодости.

Талант В. Вересаева был на редкость многогранен. Кажется, нет ни одной области литературного творчества, в которой бы он не работал. Он писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик. Но несмотря на долгую жизнь в литературе бурной эпохи социальных сломов, несмотря на многоплановость литературной деятельности, В. Вересаев — писатель удивительно цельный. Он порой менял свое отношение к тем или иным социальным силам России, подчас ошибался, но никогда не расставался с мечтой о гармоническом человеке, об обществе людей-братьев. Весь его жизненный и литературный путь — это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью общество людей-братьев. Оно неизменно оставалось тем идеалом, борьбе за который писатель отдавал весь свой труд, свой талант, всего себя.

Эта мечта родилась еще в детстве, и первый ответ на вопрос, как ее достичь, дала семья.

Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев — это псевдоним писателя) родился 4 (16) января 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой, демократической, но религиозной. На первых порах сын свято чтил идеалы отца. В своих стихотворениях — а именно поэтом он твердо решил стать еще в тринадцать-четырнадцать лет — звал следовать «трудною дорогой», «без страха и стыда», защищать «братьев меньших» — бедный люд, крестьянство. Жизнь будет легче, светлей и чище, когда люди станут лучше. А в моральном облагораживании людей могущественнейшими и единственными факторами являются труд и религия.

В. Вересаев уже в гимназии чувствовал зыбкость этих идеалов. Он занимается историей, философией, физиологией, изучает христианство и буддизм и находит все больше и больше противоречий и несообразностей в религии. Это был тяжелый внутренний спор с непререкаемым авторитетом отца.

Полный тревог и сомнений, отправляется В. Вересаев в 1884 году учиться в Петербургский университет, поступает на историко-филологический факультет. Здесь, в Петербурге, со всей самозабвенностью молодости отдается популярным тогда в студенческой среде народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев. Однако уже в девяностые годы прошлого века писатель отказывается от надежд на крестьянство как ведущую общественную силу: в пролетариате ему «почуялась огромная, прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории» (очерк «Н. К. Михайловский»). И в 1897 году В. Вересаев пишет рассказ «Поветрие»—одна из первых в русской художественной литературе попыток изобразить марксистское движение. «Я решительно порывал с прежними своими взглядами и безоговорочно становился на сторону нового течения»,— вспоминал он в том же мемуарном очерке «Н. К. Михайловский». В. Вересаев приходит к выводу, что разрешить социальные проблемы России сможет только пролетарская революция.

Из весьма достоверных мемуаров В. Вересаева и его автобиографии известно, что писатель помогал агитационной работе ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий, в его квартире «происходили собрания руководящей головки» организации, «печатались прокламации, в составлении их» он «сам принимал участие». Близко стоявший к революционным организациям, В. Вересаев помог М. Горькому в конце девяностых годов наладить связь с Петербургским комитетом социал-демократической партии. Деятельность В. Вересаева вызвала недовольство властей. В апреле 1901 года его увольняют из больницы, на квартире писателя производят обыск, а в июне постановление министра внутренних дел запрещает ему в течение двух лет жить в столичных городах. Он уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции. Но и там активно участвует в деятельности местной социал-демократической организации. Есть ряд оснований считать, что в Туле В. Вересаев писал прокламации по заданию местной социал-демократической организации, а часть денег, полученных после выхода «Записок врача», отдал на революционную работу. Несколько позже, в начале

1904 года, он хлопочет об издании нового русского перевода «Капитала» К. Маркса.

Да и в его творчестве — в «Записках врача», в повестях «На повороте», «Два конца» — симпатии явно на стороне революционно настроенных рабочих. На это обращала внимание уже критика тех лет: «г. Вересаев оказался сопричисленным к... странной новой плеяде босяцкого Гомера, Максима Горького»,— подобными высказываниями пестрели тогда рецензии на произведения В. Вересаева.

Сам писатель неоднократно признавался, что отношения с М. Горьким ему «страшно дороги». Еще в 90-е годы XIX века М. Горький отметил тяготение В. Вересаева к острейшим социальным проблемам дня, уловил созвучность настроений автора «Без дороги» и «Конца Андрея Ивановича» некоторым собственным настроениям. А первые главы повести «На повороте» М. Горький встретил прямо-таки восхищенно: «Славная вещь!.. Здорово это, весело, бодро, возбуждает желание обнять Вас крепко, и—главное — своевременно это, как раз в пору, как раз Вы пишете о тех, о ком надо писать, для кого надо, и о том, о чем надо. Молодежь — боевая, верующая, работающая — наверное, сумеет оценить Вас» (из письма М. Горького В. Вересаеву от середины января 1902 г.).

М. Горький включает произведения В. Вересаева в большинство изданий, в которых сам принимает участие, привлекает к сотрудничеству в издательстве «Знание», объединявшем наиболее прогрессивных русских писателей. Вероятно, на отношения этих лет, предшествовавших 1905 году, прежде всего и опирался М. Горький, когда много позже писал В. Вересаеву: «... Всегда ощущал Вас человеком более близким мне, чем другие писатели нашего поколения. Это — правда. Это — хорошая правда: думаю, что я могу гордиться ею».

Понимая, что только социалистическая революция может избавить Россию от ига царизма, В. Вересаев вместе с тем сомневался в подготовленности народа к строительству нового мира. Писателю думалось, что марксисты-ленинцы идеализируют человека. В. Вересаев радовался, замечая, сколько в людях самопожертвования, героизма, человеколюбия; он убежден: эти лучшие качества будут развиваться. Но пока в человеке, потомке «дикого, хищного зверья» («Записи для себя»), еще сильны животные начала, а с другой стороны, цивилизация и рожденная ею рассудочность подавили в нем многие здоровые инстинкты, данные природой. Сегодня человек слишком несовершенен, чтобы в ближайшее время построить общество людей-братьев. Социалистиче-

ской революции должен предшествовать довольно длительный период «усовершенствования» людей. Так казалось В. Вересаеву.

Эта позиция писателя не раз приводила к тому, что в его произведениях наиболее значительная тема дня — тема революции — вдруг неожиданно вытеснялась горькими размышлениями о несовершенстве человека. Врач В. Вересаев постоянно напоминал читателю, что естественнобиологический инстинкт подчас побеждает в людях все, даже инстинкт классовый.

События 1905 года поначалу властно захватили его. Писатель было совсем уже отказался от своих недавних сомнений. В заключительных главах записок «На японской войне» он рассказал, как революция преображала жизнь. А по возвращении из Маньчжурии на родину В. Вересаев задумывает повесть о 1905 годе, но вскоре он оставляет ее незаконченной и пишет другую повесть — «К жизни», а вслед за ней — философский труд «Живая жизнь». Недавние сомнения писателя приобретают форму стройной программы. Оспаривая пессимистический взгляд Ф. Достоевского на людей, культ сверхчеловека у Ф. Ницше, В. Вересаев в творчестве Л. Толстого видит подтверждение своей теории, образно названной «живой жизнью». Главной задачей на ближайшее время им выдвигается воспитание человека, моральное его совершенствование. В близости к крестьянскому труду, в постоянном общении с вечно юной природой люди изживут свои волчьи инстинкты и одновременно освободятся от сковывающей душу меркантильной рассудочности. Лишь после этого будет возможно революционное изменение действительности. Теория «живой жизни», по мнению В. Вересаева, никоим образом не отменяла революции, она ее только откладывала.

Вплоть до грозных дней 1917 года писатель занимает двойственную позицию. Себя он, как и раньше, считает социал-демократом, марксистом. Держится резко оппозиционно к самодержавной власти. Презрительно отказывается от звания почетного академика («Как я не стал почетным академиком»). В конце 1907 года с радостью принимает предложение М. Горького стать одним из редакторов сборника, в котором предполагалось участие В. И. Ленина и А. В. Луначарского. Вместе с ленинцами провозглашает: «Конец войне! никаких аннексий, никаких контрибуций! Полное самоопределение народов!» («Март 1917 года...»). На посту председателя правления и редактора «Книгоиздательства писателей в Москве» ведет войну с декадентами, отстаивая реализм, намеревается сделать из «Книгоиздательства» центр, противостоящий литературе буржуазного упадка: сюда «потянется все живое в литературе, все любящее жизнь и верящее в будущее». Его

программа недвусмысленна: «утверждение жизни», «ничего... антиреволюционного», «произведения антижизненные, антиобщественные и нехудожественные безусловно исключаются», «борьба за ясность и простоту языка». Вокруг издательства объединяются И. Бунин, А. Серафимович, Н. Шмелев и другие крупные русские писатели. В. Вересаев старается привлечь М. Горького, ибо он писатель — «очень нужный особенно в настоящее время».

Но в скорый успех революции В. Вересаев после 1905 года уже не верит. Героями его произведений становятся персонажи вроде «старенького старичка» Андрея Павловича Рамазанова, подлинную радость жизни нашедшего в слиянии с природой: близ нее даже из «дряни, сорной травы» «получается красота» («Дедушка», 1915). Вот так, преобразовав человека, можно затем преобразовывать государственный строй, думает В. Вересаев.

Однако судьба и будущее народа всегда были для В. Вересаева важнее любых, пусть самых страстных, жизненных и теоретических увлечений. Поэтому, когда в 1917 году Россию потряс новый революционный взрыв, писатель не смог остаться в стороне от борьбы с царизмом. Стоило ему воочию убедиться, что народ снова ринулся на штурм самодержавия, В. Вересаев, как умел, принял участие в событиях: в 1917 году работал председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, а в 1919 году, с переездом в Крым,— членом коллегии Народного образования в Феодосии. Еще находясь в Москве, он задумывает издание дешевой «Культурно-просветительной библиотеки».

Отношение его к революции было вместе с тем по-прежнему сложным. Роман «В тупике» (1920—1923) подтверждает это. В. Вересаев восхищается Октябрем, давшим народу свободу, и одновременно пугается его, ибо от «взрыва огромных подземных сил» «вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад». В. Вересаев понимает, что большевиков «сиянием... окружит история» за их самоотверженное служение социалистическим идеям. В. Вересаев помогает большевикам, потому что в случае их поражения победит ненавистная белогвардейщина. Но большевики, на его взгляд, поторопились с революцией: разбушевавшееся море народных страстей, порою страстей жестоких, может утопить социалистические идеалы.

Мрачными представляются В. Вересаеву перспективы страны. «Я махнул рукою и занялся изучением Пушкина и писанием воспоминаний,— самое стариковское дело»,— сообщал он М. Горькому вскоре после окончания романа «В тупике». У В. Вересаева, пожалуй, не было более трудной поры, чем начало 20-х го-

дов. Он, никогда не сомневавшийся, что дело писателя—«звать народные массы за собою, а не плестись в хвосте их настроений» («Книгоиздательство писателей в Москве»), отказался от всякой попытки вести за собой читателя.

Кризис был мучителен. И снова на помощь приходит «живая жизнь», теперь уже как практическое средство самоуспокоения. «Эх, вся эта угрюмость, отчаяние, неприятие жизни,— как они вдруг становятся чуждыми и непонятными, когда человек начнет дышать чистым воздухом полей, моря или гор, когда солнце начнет горячо ласкать его обнаженную «кожу»!.. одним лучом солнца можно перестроить всю душу человека и жизненно страшное сделать смешно нестрашным»,— рассказывал он в одном из писем 1920-х годов. В. Вересаев часто уезжает из Москвы, на юг, в Коктебель, усиленно занимается садом.

Но «живая жизнь» оставляла его не у дел и потому не приносила успокоения. Он был писателем и заменить литературу садом не мог. «Вчера ходил у себя по саду, подвязывал виноградные лозы к тычкам и думал: скоро, скоро уже придется жить «на пенсии» — на духовной пенсии,— с «заслуженным правом не работать». И не мог себе представить: как же это я тогда буду жить? Греться на солнышке, вспоминать былое и вот так ходить по саду, дрожащими руками подвязывать лозы. И больше ничего. Какая нелепость!»— записывает В. Вересаев в дневнике. И он решил пойти к заводской молодежи: снял комнату невдалеке от завода «Красный богатырь», в селе Богородском, за Сокольниками, и прожил здесь около полутора лет. «Свел много знакомств с рабочими и работницами...— пишет В. Вересаев в своих неопубликованных воспоминаниях об истории работы над романом «Сестры».— Бывал в комсомольской ячейке», ходил по цехам, в общежитие. Результатом явилась целая серия произведений о молодежи — рассказы «Исанка» (1927), «Мимоходом» (1929), «Болезнь Марины» (1930), роман «Сестры» (1928—1931).

Так писатель возвращался к активной общественной позиции.

Именно в это время и начинает В. Вересаев работу над своей последней книгой, в которой он существенно пересматривает идеи «живой жизни».

Композиция цикла «Невыдуманные рассказы о прошлом» не оставляет сомнений в общем идейном замысле автора: происшедшая в России революция — событие исторически закономерное и справедливое. Первые три главы изображают в основном нравы привилегированных слоев общества старой России: галерея «уродов прошлого», тех, кто калечил людей духовно и физически, и тех, что сами искалечены моралью царской действительности. Это

и «не такой подлец», считающий вполне разумным собственное горе лечить чужими страданиями, и молодой писатель, в целях изучения психологии устроивший гнусный эксперимент с любимой девушкой, и богатый сибирский золотопромышленник, в ослеплении злобы истязающий собственную дочь.

В. Вересаев пока главным образом сосредоточивает свое внимание на внутреннем, психологическом облике этих душевно опустошенных и умственно убогих людей. О причинах такого разложения личности он говорит скупо, но авторская точка зрения и здесь уже ясна. Миниатюра «Парикмахер по собачьей части» прямо указывает на корни зла: они в классовом неравенстве, они в эксплуатации бесправных мира сего. «Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет... А для паршивой собачонки что готова делать!..» — так заканчивает свой рассказ герой, объясняя этим «всю дурость Петербурга».

А затем, в главе четвертой, В. Вересаев рисует тех, на чьих спинах держится благополучие малых и «больших негодяев»,— рисует народ, крестьянство. Темнота, религиозный дурман не позволяют народу единым фронтом восстать против «дурости Петербурга». Но вместе с тем писатель отмечает природную моральную крепость простых тружеников: жизнелюбие не оставляет бедноту даже в моменты самых тяжких горестей («На пожарище»).

Вслед за главами, изображающими деградацию «верхов» и забитость «низов», В. Вересаев в пятой и седьмой главах помещает воспоминания об идейно-общественной жизни страны конца XIX — начала XX века, о росте революционных настроений в среде русской интеллигенции. Он повествует о народоволке П. С. Ивановской, об отчаянной революционерке Димке, о социалистической пропаганде, которую вел среди рабочих П. Г. Смидович, об отповеди, данной большевиком И. И. Скворцовым-Степановым декадентствующим Д. Мережковскому и Андрею Белому.

Шестая глава, находящаяся между этими воспоминаниями, переплетенная с ними, включает новеллы, рассказывающие, как революционные настроения все шире захватывают массы и становятся подлинно всенародными. Писатель теперь уже непосредственно сталкивает «хозяев жизни» с бесправными русскими мужиками, одетыми в солдатские шинели. Он изобличает равнодушие офицеров к своим подчиненным («Нашему госпиталю...»), систему, при которой всякий, добившийся хоть какой-нибудь власти, считает чуть ли не правилом хорошего тона измываться над тем, кто стоит ступенькой ниже по военно-служебной лестнице («Из нашей части...»). Непримиримыми врагами стали эксплуататоры и народ, наиболее передовые представители которого активно вклю-

чились в революционную работу, так же, как бывший токарь по металлу, солдат Дмитрий Сучков («Враги»).

А рассказ конца 20-х годов «Мимоходом», повествующий об истории, происшедшей в первые годы Советской власти, не случайно заключает седьмую главу. Здесь появляется новый для В. Вересаева герой-интеллигент, человек скромного практического дела, органически неспособный к интеллигентской болтовне. Этот новый герой — студентка-комсомолка. В три дня, «мимоходом», привела она в порядок сельскую библиотеку, а «отборная интеллигенция» из дачников весь летний сезон «образовывала инициативную группу», «собирала общее собрание», избирала «исполбюро в составе семи человек», обсуждала план и в итоге постановила: «Ввиду окончания лета и начинающегося разъезда дачников отложить работу... общества шефства над деревней... до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией».

С восьмой главы В. Вересаев все больше обращается к материалу советской действительности. Революция дала возможность строить общество людей-братьев, и писатель не в силах спокойно проходить мимо явлений, мешающих скорейшему осуществлению его давнишней мечты. Он обрушивается на ловкачей, которые за счет государства устраивают свои личные дела («Срочный разговор» — гл. VIII), он изобличает пустозвонство и формализм («Зеленая лошадь», «Юбилей» — гл. XII). Но любопытно, что центральное место в этой последней части цикла занимают рассказы о детях: о тех, кому предстоит создавать новое общество и жить в нем.

Глава, которую мы печатаем тринадцатой, и в самом деле, вероятно, должна была завершать цикл: в ней В. Вересаев подводит итог своим представлениям о счастье. Распадение личности неизбежно, коль скоро человек не нашел общественно полезной идеи или оказался не в состоянии посвятить ей жизнь. «Чтобы не задохнуться от скуки, чтобы жить сколько-нибудь счастливо,— утверждает В. Вересаев в «Александре Степановиче»,— богатому человеку нужно быть и духовно богатым. Если же этого нет...» Если этого нет,— разлагающая пустота убивает человека в человеке. Так погиб талантливый выходец из простых людей Чохов, так в омерзительную хищницу превратилась героиня рассказа «Миллионерша и дочь». И наоборот, как красивы становятся люди, целиком отдавшие себя истинному делу: пусть то науке («Священнослужитель божества») или революции («Вера Фигнер»). Центральным положительным героем «Невыдуманных рассказов» стал человек дела, трудом своим, скромно и без фраз обновляющий жизнь.

С «Невыдуманными рассказами» тесно связан другой цикл книги — «Литературные воспоминания». Конечно, мемуары В. Вересаева — это прежде всего серия портретов крупных русских писателей и общественных деятелей, картины литературной жизни предоктябрьского двадцатилетия. Но вместе с тем очерки, собранные воедино, превратились в повесть В. Вересаева о самом себе. «Невыдуманные рассказы» — о вызревании революционных настроений народа; «Литературные воспоминания» — о формировании революционных взглядов писателя.

Если «Невыдуманными рассказами» и «Литературными воспоминаниями» В. Вересаев по-новому оценил революционные события недавнего прошлого, то в «Записях для себя» он пересматривает свое отношение к перспективам строительства общества людей-братьев в Стране Советов. При поверхностном чтении «Записи для себя» могут показаться чем-то вроде популярных сегодня изданий «мудрых мыслей», более или менее беспорядочным сводом всевозможных цитат и замечаний самого автора. В действительности же это вполне законченный философский трактат, тщательно продуманный и отделанный во всех деталях. Просто, как увидим позже, В. Вересаеву с годами все больше думалось, что нет ничего убедительнее реального факта. Поэтому в его художественных произведениях начинает господствовать миниатюра, описывающая действительные случаи из жизни, а его научные работы принимают форму монтажа всевозможного фактического материала (цитат, примеров, описаний различных исторических и литературных событий), снабженного лаконичным авторским текстом. По такому принципу и построены «Записи для себя», как и литературоведческие труды о Пушкине и Гоголе, созданные В. Вересаевым в те же годы.

Подобный метод отнюдь не приводил к объективистскому изложению материала. Авторская концепция абсолютно недвусмысленно выявлялась в подборе цитат и примеров, их композиции, кратких замечаниях самого В. Вересаева. Причем всякий раз, когда писатель мог полностью выразить собственную мысль цитатой, он отказывался от какого-либо комментария, вводя свои замечания в текст лишь при крайней необходимости: если смонтированный им фактический материал не раскрывал до конца его позиции. Однако цикл неспроста назван «Записями *для себя*»: перед нами почти исповедь художника, а исповедь обычно пристрастна. Но даже сугубо личные размышления большого писателя содержат и общезначимые ценности,— потому ведь он и большой писатель...

«Записи для себя» проникнуты историческим оптимизмом,

мрачный скепсис В. Вересаева начала 20-х годов остался в прошлом. В первой же главе он подчеркивает, что Октябрем 1917 года «не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой». Но, рассуждает В. Вересаев дальше, любая истина, в том числе и социально-политическая программа, теоретически относительна и только при практическом ее применении обнаруживает свою настоящую ценность. Поэтому так важно целесообразно распорядиться предоставленными революцией правами.

Последующие главы цикла и рассматривают условия максимального, с точки зрения В. Вересаева, использования завоеваний Октября для расцвета искусства и нравственного роста человека.

Да, искусство многообразно, больше того — зачастую в одном художнике собираются качества взаимоисключающие. И вместе с тем для В. Вересаева очевидны те критерии, которые отличают настоящего художника от ремесленника, могучее искусство, воспитывающее народ, от более или менее талантливых поделок на потребу ищущим развлечения. Он убежден, что великому искусству всегда свойственны простота, ясность и богатство мысли. «Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри»,— утверждает В. Вересаев. Истинный писатель творит не для славы, а во имя улучшения жизни на земле; самолюбование и тщеславие неизменно приводят к оскудению таланта.

В цикле В. Вересаев снова обращается к своей постоянной теме — нравственный облик людей и революция. И хотя он опять подчеркивает, что человек — дитя природы, что рассудочность, пришедшая с цивилизацией, подавила в нем многие светлые задатки, но акцент делает на другом: мы еще очень мало знаем о заложенных в человеке потенциальных силах. Ему кажется, что эти внутренние противоречия, свойственные людям, особенно ярко проявляются в любви. Отсюда следует уже знакомый нам вывод: необходимо раскрепостить здоровую часть «природного», инстинктивного в человеке, подавленную разумом, и одновременно, воспитывая в людях культуру, уничтожить их хищнические начала. Однако заключительная часть цикла придает этому традиционному вересаевскому выводу совершенно новый смысл. На примере опять-таки любви писатель показывает, каких разительных успехов в нравственном совершенствовании человека добилось молодое Советское государство. Прогресс в области этической, естественно, идет медленнее прогресса социального: революция победила, а люди пока еще отягощены пережитками старого. Но уже и достигнутое сегодня заставляет В. Вересаева оптимистически смотреть в будущее — годы строительства социализма

решительно приблизили человечество к заветному обществу людей-братьев, «когда полным цветом распустится коммунизм».

В молодости В. Вересаев, увлекаясь народничеством, надеялся достичь общества людей-братьев путем морального совершенствования человечества. Позже он пришел к выводу, что без революционного слома действительности не обойтись, но ему должен предшествовать долгий период воспитания народа. В своей последней книге писатель, признавая историческую прогрессивность Октября, продолжает считать, что создание общества людей-братьев еще потребует огромных усилий: мало изменить государственный строй, надо изменить человека, его отношение к ближнему. На первый взгляд это та же теория «живой жизни», где просто переставлены компоненты — теперь уже сначала революция, а потом совершенствование человека. Но, по существу, писатель приближался к подлинно марксистской точке зрения, согласно которой революционный переворот — не финал борьбы, а только начало строительства нового общества.

## 3

Жанр книги необычен. Она состоит из сотен документальных новелл и миниатюр — от довольно крупных мемуарных очерков до совсем коротеньких рассказов, просто отдельных наблюдений и замечаний автора порой всего в несколько строк, спаянных в единое произведение. Появление такого жанра в творческой биографии В. Вересаева, как увидим, вполне логично, больше того — это снова итог, итог в определении писателем своей художнической индивидуальности.

В. Вересаев всегда тяготел к документально точному изображению жизни, к использованию реальных фактов, свидетелем которых был сам или о которых слышал от близких людей. «До 17 лет непрерывно, а потом много лет летом,— рассказывал он в одном из писем,— я жил в Туле и Тулвской губернии и, конечно же, насквозь пропитался именно тульской природой. Везде, где я изображал провинциальный город («Без дороги», «На повороте», «К жизни»), материалом мне служила Тула. Зыбино, с его характерным старинным помещичьим домом, усадьбой и окрестностями, описано в «Без дороги» и «На повороте». Показательно, что повесть «Без дороги», написанная в форме дневника героя, включила немало эпизодов из личного дневника писателя, причем с той же датой. Многие рассуждения героя «Записок врача», сцены были дословно переписаны из дневника 1890—1900 годов, а судьба молодого врача поразительно напоминает судьбу самого

В. Вересаева после окончания им медицинского факультета в Дерпте. Да и вообще большинство героев вересаевских произведений обычно имело вполне определенных прототипов. «Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека — на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу» — так объяснял В. Вересаев в «Записях для себя» свой метод работы.

Столь очевидная документальность произведений В. Вересаева во многом объяснялась тем, как он понимал долг писателя. Отношение В. Вересаева к литературе лучше всего, пожалуй, характеризуется несколько старомодным словом — «служение». В своем дневнике писатель не раз отмечал, что литература для него «дороже жизни», за нее он бы «самое счастье отдал». В ней — совесть и честь человечества. И поэтому всякий идущий в литературу возлагает на себя святую обязанность пером своим помогать людям жить лучше, счастливее. Посвятивший себя служению литературе не имеет права ни сомнительным поступком в быту, ни единой фальшивой строкой запятнать ее и тем самым скомпрометировать, поколебать к ней доверие читателей. «...Только величайшая художественная *честность* перед собою, благоговейно-строгое внимание к голосу художественной своей совести» дает право работать в литературе,— говорил В. Вересаев в лекции «Что нужно для того, чтобы быть писателем?». А по его дневнику видно, с каким самозабвенным упорством он воспитывал в себе эту художническую честность, так как «нужно громадное, почти нечеловеческое мужество, чтоб самому себе говорить правду в глаза».

И действительно, во имя правды он всегда был беспощаден. «Лжи не будет,— я научился *не жалеть* себя!» — эта дневниковая запись от 8 марта 1890 года стала одним из его главных литературных заветов. В воспоминаниях о детстве и юности, стремясь на собственном примере детально разобраться в становлении духовного мира молодого человека конца прошлого века, он не побоялся рассказать о самых интимных движениях души, о том, что редко рассказывают даже близким друзьям. В «Записках врача» смело поднял завесу над той стороной деятельности врачей, которую его коллеги относили к области профессиональных тайн. В лекции о М. Горьком писатель говорил: «...Такова должна быть философия всякого настоящего революционера: если какое-нибудь движение способно умереть от правды, то это — движение нежизнеспособное, гнилое, идущее неверными путями, и пускай умирает!»

Испытания жизни, а они бывали суровыми, не смогли заста-

вить В. Вересаева хоть раз сфальшивить. С полным правом он мог заявить в одном из писем 1936 года, когда большая часть пути была уже позади: «Да, на это я имею претензию — считаться честным писателем».

Именно в силу неприятия любой фальши, «писательства», как говорил В. Вересаев, он стремился изображать в своих произведениях только то, что знал досконально. Отсюда и склонность к документализму. Нередко этот сознательно отстаиваемый им принцип встречал скептическое отношение критики, которая порой склонялась к мысли, что В. Вересаев — не художник, а просто добросовестный протоколист эпохи, умеющий сгруппировать факты и в беллетристической форме пропагандирующий определенные теории. Критика явно заблуждалась. В искусстве есть два пути к правде: обобщение многочисленных фактов и наблюдений в вымышленном образе и выбор для изображения каких-то реальных фактов, однако содержащих в себе широкий типический смысл. Оба эти способа типизации достаточно ярко представлены в истории литературы, оба закономерны и оправданы. Таланту В. Вересаева был ближе второй.

Путь этот, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Произведения такого рода, будучи художественным обобщением явлений действительности, приобретают к тому же и силу документа. Не случайно Л. Толстой и А. Чехов отметили великолепные художественные достоинства «Лизара» и одновременно В. И. Ленин в «Развитии капитализма в России» при характеристике положения русского крестьянства сослался на тот же рассказ В. Вересаева как на живую и типическую иллюстрацию.

Но тяготение к автобиографизму способствовало и некоторой ограниченности тематики произведений В. Вересаева: судьбы русской интеллигенции в эпоху пролетарской борьбы за освобождение народа — господствующий мотив его творчества. С трудом и неохотно переключался он на изображение людей иной социальной среды. Если в романах и повестях об интеллигенции писатель рисовал своих героев «изнутри», путем внутренних монологов, давая дневниковые записи и письма, детально анализируя психологическое состояние персонажа, а зачастую и все повествование подавая как исповедь героя-интеллигента («Без дороги», «К жизни»), то в рассказах о крестьянстве В. Вересаев избегал подобных форм.

Рассказы о простых тружениках, как правило, велись от третьего лица, чаще всего это сам автор, «Викентьич», случайно встретившийся с человеком из народа. Всячески подчеркивалось, что рабочие и крестьяне изображаются так, как их видит и представляет себе интеллигент. Иногда В. Вересаев стремился еще

больше усилить такое впечатление, ставя подзаголовок — «Рассказ приятеля» («Ванька»). Умный и зоркий художник, он в рассказах о крестьянстве вскрывал многие процессы, существенные для российской действительности дореволюционной эпохи. Но сам сюжетный прием — мотив встречи — знаменателен, писатель сознательно ограничивал свои творческие возможности.

В. Вересаев чувствовал это и восполнял некоторую узость тематики прямым публицистическим словом. Вот почему он настойчиво искал такой жанр, где бы, казалось, разнородные элементы — публицистика и собственно художественное описание — совместились бы органически. Публицистическая повесть полумемуарного характера долгие годы была жанром, наиболее любимым В. Вересаевым («Записки врача», «На японской войне»). Но со временем даже и она перестала отвечать творческим склонностям писателя.

В 1925 году, то есть как раз в период работы над книгой, названной тогда «Без плана», В. Вересаев, перечитав свою раннюю, неопубликованную повесть «Моя первая любовь», заметил: «Главная ошибка,— что многое выдумано, что много беллетристики. Как долго нужно учиться, чтоб научиться рассказывать правду!» А ведь повесть была построена на чисто автобиографическом материале! И предисловие к циклу «Невыдуманные рассказы о прошлом» отразило новый шаг, сделанный писателем в поисках документальной достоверности искусства: «С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем... И вообще мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение которой — тонким слоем спаивать кирпичи. Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался «развить», обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь вижу, что все это было совершенно ненужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать, уважать и внимание и время читателя. Если я нахожу в своих записных книжках ценную мысль, интересное на мой взгляд наблюдение, яркий штрих человеческой психологии, остроумное или смешное замечание,— неужели нужно отказываться от их воспроизведения только потому, что они выражены в десяти — пятнадцати, а то и в двух-трех строках, только потому, что на посторонний взгляд это — «просто из записной книжки»? Мне кажется, тут говорит только консерватизм».

В «Невыдуманных рассказах» нет или почти нет выдуманного, но они вместе с тем плод кропотливой работы художника, его творчества, а не «фотографирования» действительности. История

о том, как благодаря стараниям матери из мальчика Левы вырос холодный эгоист («Всю жизнь отдала»), состоит из четырех «невыдуманных» эпизодов, но все они произошли в разное время и с разными людьми. А «пунктирный портрет» супругов, где характеристика мужа и жены дается посредством их разговоров, вобрал в себя забавные реплики, записанные В. Вересаевым на протяжении десятилетий и, конечно, принадлежавшие не одним и тем же супругам. Некоторые реплики попросту придуманы автором по образцу тех, что были в его записных книжках. И так чаще всего.

Разумеется, когда дело касается воспоминаний о писателях, участниках русского революционного движения и других широко известных лицах, В. Вересаев стремится максимально точно воспроизвести их облик и характер. Но и в мемуарах он — художник, а не протоколист. Его статья 1922 года «Из литературы о Льве Толстом» спорит с теми мемуаристами, которые видели свою задачу в дотошном описании всего, что они слышали от Л. Толстого, всего, что видели, находясь рядом с ним. «Но ведь с мыслями Толстого, с его отношением к жизни, к богу, к морали,— замечает В. Вересаев,— мы имеем возможность знакомиться по подлинным его сочинениям, письмам, дневникам. Там Толстой как бы берет на себя ответственность за то, что говорит, и там мы знаем, что имеем дело с подлинными его словами... Великий, даже самый великий человек подчас бросает в интимном кругу слова на ветер и даже просто говорит глупости...» Мемуары — не стенограмма биографии и высказываний великого человека, мемуары — искусство воссоздания характера конкретного исторического лица. Образ точнее и глубже любого протокола. При одном, естественно, условии: недопустима субъективная «перекраска» описываемых в мемуарах людей. Обозревая некоторые воспоминания о Л. Толстом, отмеченные «трепетно-религиозным, благоговейно-влюбленным отношением» к нему, В. Вересаев так определяет задачи мемуариста: «Это отношение заставляет автора невольно закрывать глаза на темные стороны великого человека, даже прямо не замечать их. Во всех таких воспоминаниях Толстой удивительно однообразен и безжизнен,— всегда мягкий, самоуглубленный и светящийся, всегда праведный и великий. А хотелось бы еще и другого. Хотелось бы видеть живого Толстого,— ...не в парадно прикрашенном виде, а в виде подлинном... И все это, конечно, вовсе не из того нездорового любопытства, которым так возмущался Пушкин... одно дело — праздное любопытство толпы, другое — желание исторической правды... Нравственный образ Толстого настолько огромен и привлекателен, что «слабости» не способны его уменьшить, а только сделают его живым, выпуклым и еще более чарующим».

Стремясь уяснить себе специфику мемуарной литературы, принципы изображения в ней жизни, В. Вересаев советовался с М. Горьким, проявлявшим живейший интерес к его воспоминаниям. «Ужасно трудно определить свой подход к лицам,— писал он М. Горькому 30 июня 1925 года.— «Иконописать», как большинство воспоминателей, противно, а говорить черное,— спрашиваешь себя: почему же ты этого не говорил, когда человек был жив, когда мог протестовать, опровергать, объяснять свой поступок...» А через несколько недель в письме к М. Горькому от 21 августа 1925 года В. Вересаев уже категорически заявляет, что мемуарист обязан писать только правду, не приукрашивая и не упрощая людей, о которых рассказывает: «Черт возьми,— по-моему, именно с дрянными своими недостатками и смешными пороками крупный человек и интересен,— интересен именно этой завлекательною сложностью. Я вот сейчас много работаю над Пушкиным, просмотрел и собрал, можно сказать, почти все, что о нем писано воспоминателями (меня как раз интересует он как живой человек,— и взаимоотношение в нем поэта и человека),— и как раздражает это стремление прихорашивать его... Хочу знать, как было в действительности».

Много размышлял В. Вересаев и над самой манерой повествования. Он приходит к выводу, что для мемуарной литературы, как и для литературы художественной, пагубна подмена изображения событий и людей авторскими рассуждениями, пагубно описательство и велика роль художественной детали. Развивая эту мысль, В. Вересаев писал М. Горькому в том же письме от 21 августа 1925 года: «В прошлом году В. Н. Фигнер спросила меня о своем «Запечатленном труде»,— я сказал, что, по-моему, слишком в ее описаниях мало быта, будничной жизни, повседневности, слишком парадны ее революционеры. «Например, говорю, позвольте узнать, почему ваши товарищи называли Вас «Топни-ножкой»? У Вас это не объяснено».— «Почему! Потому что хорошенькая женщина, когда что не по ней, топает ножкой». Разве это не прелестно, разве это не ценно? Истинно соколиная душа, одна из самых трагических фигур русской революции (что она должна была пережить после 1 марта до своего ареста, когда весь мир изумлялся могуществу Исп. Комитета, а весь Исп. Комитет была она одна! И ничего уже не могла сделать!) — и извольте видеть — «Топни-ножкой»! Да за эту черточку что угодно можно отдать, живого человека видишь».

Конечно, и в цикле «Невыдуманные рассказы о прошлом» немало новелл, описывающих все именно так, как оно на самом деле и происходило («День рождения», например). Но и о подоб-

ных рассказах тоже трудно говорить, что они «просто из записной книжки». На полях одного из них В. Вересаев помечает: «До отчаяния плохо, переписываю в шестой раз. Без стержня, учительно. Беда!» И снова правит, и снова переделывает. Писатель неизменно идет к типическому, к обобщению: либо из разбросанных по жизни «невыдуманных» фактов воссоздает единый человеческий характер и его судьбу, либо выхватывает из жизни «готовую» историю, уже заключающую в себе обобщение.

А те приемы «сжатия», «стискивания» сюжета, фразы, концентрации образа, точный отбор фактов и деталей, в которых, как в капле, отражается мир, делали вересаевские миниатюры удивительно емкими. Писатель и раньше, еще в конце прошлого века, обнаружил явное тяготение к форме лаконичной записи, отрывочному эпизоду. Дневник Чеканова («Без дороги») или «Записки врача» — это далеко не все примеры. С годами пристрастие к лаконичности усиливалось: «под старость все больше... развивается склонность писать афоризмами и очень короткими замкнутыми главками» («Записи для себя»).

«Великим хочешь быть — умей сжиматься» — не только заголовок одной из статей В. Вересаева о Пушкине, но и творческая программа. Дело, понятно, не в том, что В. Вересаев беспощадно сокращал куски, рыхлящие текст,— это святая обязанность писателя в работе над всяким литературным произведением. Дело в более специфических принципах «сжатия».

В. Вересаев стремится писать «сокращенно», настойчиво «стискивает» фразу, доводя ее порой до одного-двух слов. В. Маяковский отстаивал «лесенку» и мотивировал графическое дробление стихотворной строки стремлением обратить внимание читателя на особенно важное в смысловом отношении слово стиха. Тем самым повышалась значимость этого слова, его емкость. У В. Вересаева в основе тот же прием. Миниатюра о теноре Михайлове посвящена одной из загадок искусства: как уживается в человеке талант и недалекость, невежественность. Рассказ, собственно, состоит из нескольких «невыдуманных» фактов, демонстрирующих ограниченность Михайлова. Но они «заиграют», если читателю будет ясно, что Михайлов — талант. Иначе потеряется волновавшая писателя тема курьезов искусства, иначе тема низведется до пересказа плоских анекдотов. Можно было бы пространно описать великолепные данные Михайлова, а можно сделать то, что сделал В. Вересаев,— в самом начале рассказа дать фразу в два слова: «Голос прекрасный». Таким образом выделенные, эти слова обязательно обратят на себя внимание читателя и сохранятся в его памяти.

Будучи решительным врагом словесных «вычурностей и кривлянья», при всей строгости к языку, В. Вересаев, однако, чужд пассивному отношению к слову. Его забота о развитии литературного языка сказывалась не только в настойчивых поисках образных словечек и оборотов в народной речи, она проявлялась в отыскании лаконичных языковых форм. Это право он страстно защищал в статье «О художественных редакторах». В ней он спорил с горе-редактором, который «со строгостью учителя, твердо усвоившего все правила школьной грамоты... следит за тем, чтобы все было написано «как принято». И особенно возмущала писателя редакторская правка по принципу — «Ничего нельзя писать сокращенно»: «Очевидно (вставлено: *что)* он их предупредил». «Семен послал в дивизию телеграмму (вставлено: *о том*), что Туз — бандит. Туз перехватил (вставлено: *эту)* телеграмму». Статья не была следствием минутного раздражения неудачной правкой «невыдуманного рассказа» «Туз» в редакции журнала «Тридцать дней». Спор был глубже. В противовес горе-редактору В. Вересаев стремился к предельной краткости слога. Во имя нее писатель подчас сознательно шел на некоторое нарушение грамматики и синтаксиса, коль скоро оно не ведет к подтачиванию основ языка. «Танечка споткнулась и упала. Корова налетела на нее и стала бодать рогами. Девочка кричит: «Ай, ай!» — льется кровь, а корова рогами еще, еще!» («Я тогда жил в Туле...»). Так и хочется спросить: что — «еще, еще»? Но вспоминается вересаевская «запись для себя»:

«Иван Петрович подошел к столу. Он был очень весел».

Прочитав что-нибудь подобное, всякий считает себя обязанным притвориться идиотом и спросить:

— Кто был весел? Стол?

Гомер нисколько не стеснялся говорить: «Он побежал», раз по смыслу понятно, о ком идет речь, хотя в предыдущей фразе дело шло о столбе».

В этих размышлениях меньше всего от верхоглядства, в них результат долгих раздумий, пристального изучения творений литературной классики и в первую очередь — наследия Пушкина, который, кстати, безраздельно стал в эти годы для В. Вересаева образцом и учителем. В разделе неопубликованной статьи «Над Пушкиным», характерно озаглавленном «Краткость», В. Вересаев между прочим записывает:

«...Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев *их* буйной дури...

Чьей «их»? Вполне ясно, что волн. Великолепная дерзость!»

Следуя традициям пушкинской прозы с ее короткой фразой, экономностью в образах, резким повышением удельного веса глагола, В. Вересаев приходит прямо-таки к аскетичности языка: фраза у него доведена до телеграфной краткости, состоит чуть ли не из одних глаголов, отмечающих поступок и действие героя. И в языке отразился общий принцип: лаконизм требовал раскрытия характеров героев в действии, авторское «комментирование» происходящего сводилось до минимума.

Путь В. Вересаева к краткости, конечно же, не единственный. Пути эти многообразны, как многообразно искусство. В те же годы, что и В. Вересаев, увлекался миниатюрой, например, И. Бунин. Но его короткий рассказ совсем иного толка: для И. Бунина эстетически значим не факт, лежащий в основе рассказа, а авторские ощущения и ассоциации по поводу этого факта. В. Вересаев «растворяется» в своих героях, И. Бунин любит вести речь от собственного лица. В. Вересаев строг и экономен в сюжетном построении рассказа, у И. Бунина форма свободна, как свободен порыв поэтического чувства. Лаконизм рассказов В. Вересаева по своей природе близок лаконизму драмы, миниатюры И. Бунина очень напоминают стихи.

* * *

Осенью 1942 года, чувствуя приближение смерти, В. Вересаев в дневнике подводил черту: «Мне кажется, я мог бы быть крупным писателем, если бы имел другой темперамент. По склонности я — кабинетный ученый, мне бы сидеть у себя в кабинете с книгами, больше мне ничего не надо. В жизнь меня не тянет... А писательская моя сила — именно в связанности с жизнью. Часто, когда слушаю рассказы бывалого человека об его жизни... я думаю: «Эх, мне бы это пережить,— что бы я сумел дать!»

Редкая по суровости самооценка! Вот так, трезво учитывая особенности своего дарования, свои сильные и слабые стороны, В. Вересаев упорно искал собственную дорогу к правде в искусстве. И нашел ее в жесткой документальности изображения.

Последняя книга В. Вересаева — итог долгого и трудного пути художника к самому себе. И как всегда, когда человек находит себя, ему удается создавать вещи замечательные. Именно потому книга эта — высшая точка, кульминация творческой биографии писателя. Казалось бы, сборник незамысловатых миниатюр, так, пустячки. А возникло произведение, дающее столь глубокий анализ исторической действительности, какого В. Вересаев никогда раньше не достигал.

*Ю. Фохт-Бабушкин*

# *Невыдуманные рассказы о прошлом*



Чистый вымысел принужден всегда быть настороже, чтоб сохранить доверие читателя. А факты не несут на себе ответственности и смеются над неверящими.

*Рабиндранат Тагор*

С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересует, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе.

И вообще мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение которой — тонким слоем спаивать кирпичи. Это относится даже к такому, например, скупому на слова, сжатому поэту, как Тютчев.

Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя.

Это стихотворение к Д. Ф. Тютчевой только выиграло бы в достоинстве, если бы состояло всего из приведенного двустишия.

Я по этому поводу ни с кем не собираюсь спорить и заранее готов согласиться со всеми возражениями. Я и сам был бы очень рад, если бы Левин охотился еще на протяжении целого печатного листа и если бы чеховский Егорушка тоже еще в течение целого печатного листа ехал по степи. Я только хочу сказать, что таково мое теперешнее настроение. Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался «развить», обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь вижу, что все это было совершенно ненужно, что нужно, напротив, сжи-

мать, стискивать, уважать и внимание и время читателя.

Здесь, между прочим, помещено много совсем коротких заметок, иногда всего в две-три строчки. По поводу таких заметок мне приходилось слышать возражения: «Это — просто из записной книжки». Нет, вовсе не «просто» из записной книжки. Записные книжки представляют из себя материал, собираемый писателем для своей работы. Когда мы читаем опубликованные записные книжки Льва Толстого или Чехова, они нам всего более интересны не сами по себе, а именно как материал, как кирпичи и цемент, из которого огромные эти художники строили свои чудесные здания. Но в книжках этих очень немало и такого, что представляет самостоятельный художественный интерес, что ценно помимо имени авторов. И можно ли обесценивать подобные записи указанием на то, что это — «просто из записной книжки»?

Если я нахожу в своих записных книжках ценную мысль, интересное на мой взгляд наблюдение, яркий штрих человеческой психологии, остроумное или смешное замечание, — неужели нужно отказаться от их воспроизведения только потому, что они выражены в десяти — пятнадцати, а то и в двух-трех строках, только потому, что на посторонний взгляд это — «просто из записной книжки»? Мне кажется, тут говорит только консерватизм.

# I

## 1

## СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ

В Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толокся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мелькали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара

кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнущей отхожим местом, — чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения — единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железной кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комоде найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городовой, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать — восемнадцать рублей в месяц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвления, и допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом, сидит, сгорбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет!

— Извините! Я шесть месяцев беспросыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается — спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!» Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!» Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равнодушно.

Прежняя любовница убитого: бабища лет пятидесяти, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces genslà![1]

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошлась с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже,— стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большими глазами, лет тридцати. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горничной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платьев, дали немножко денег и сплавили в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила тихо, скромно. За три года принакопила рублей семьдесят пять.

Тут она познакомилась с известным хитровским «котом» Игнатом и горячо его полюбила. Коренастый, но прекрасно сложенный, лицо цвета серой бронзы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неде-

[1] Я прошу вас не допрашивать меня в присутствии этих людей! *(фр.)*

лю он спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятикопеечного жалованья пять копеек оставляла себе на харчи, гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он исчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон.

После этого у нее — усталость, глубокое желание покоя, тихой жизни, своего угла. И пошла на содержание к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он засунул руки в карманы:

— Чего тебе надо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скуки. Скажите пожалуйста: за такого мальчика — тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле наконец до нее снизошел. Но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь,— ну и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:

— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей

любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно женственное» в помойной яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидала Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!

Городовые и те негодующе замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.

2

## «НЕ ТАКОЙ ПОДЛЕЦ»

Богатая семья. Большое имение под Москвой. Особняк в Москве. Братья служили военными, дипломатами, все поженились. Сестра их Соня осталась

в девушках. Ей уж значительно перевалило за сорок, была она некрасивая, высохшая, но очень тонная, туго затягивалась в корсет, пудрилась. Лето вся семья проводила в деревне. И вдруг весть: Соня выходит замуж! Все хохотали. Она спешно поехала в Москву вставить себе челюсть и вообще омолодиться.

Жениху было лет сорок пять. Он занимал довольно видный пост в государственном контроле. Пришла от него телеграмма, что едет в командировку и по дороге завернет на день к ним. Все ждали с большим интересом. Приехал поздно вечером. Был очень безобразный, с толстыми губами. Но оказался большим умницей, интересным рассказчиком: в разговоре безобразие исчезло, и за ужином он всех очаровал.

Утром — пить кофе.

— Что жених?

— Спит.

Сели завтракать.

— Что он?

— Спит.

Пошли в рощу собирать грибы, воротились...

— Спит!

Вышел к обеду, к шести часам. Разговаривал со всеми, на невесту не обращал никакого внимания,— так, перекинется, как со всеми, словом, ответит на ее вопрос. Сейчас же после обеда уехал. Общее изумление. Скрытно-растерянные глаза Сони.

Через три недели приехал на свадьбу. Опять спал до четырех часов дня. Потом вышел в залу, сел за рояль и все время играл похоронный марш Шопена. Вечером отправились в церковь, обвенчались и уехали.

Осенью Соня приехала к родителям в Москву, сказала — на два дня, но прожила три недели. Уехала к мужу, через неделю опять вернулась и осталась у родителей.

Через несколько месяцев брат Сони, полковник, встретился на улице с бывшим ее мужем, отвернулся. Но тот перешел к нему с другой стороны улицы и сам заговорил:

— Я не такой подлец, как вы можете подумать. Я вам все напишу.

И написал, что давно любил другую, долго жил с нею, потом она его бросила. Чтоб ее задеть, он нарочно женился и постарался сделать это как можно нелепее.

Почему-то думал, что в этом он оказался не таким подлецом, как можно было подумать.

### 3

## ПИСАТЕЛЬ

Вся редакция журнала любовно носилась с ним. Он напечатал уже три рассказа в журнале, и один был лучше другого. Даже у секретарши Анны Михайловны, суровой женщины, недавно воротившейся из ссылки, глаза становились теплее и мягче, когда она разговаривала с ним.

А сам он все не верил своему счастью и жадно ловил всякий одобрительный отзыв. Особенно он дорожил почему-то мнением Анны Михайловны и все спрашивал ее:

— Ну как вы думаете, выйдет из меня настоящий писатель?

Был он красивый парень, с мужественным голосом, а в глазах и в интонациях то и дело прорывалось что-то совсем детское и ужасно милое.

Однажды, когда Анна Михайловна была одна, он, краснея и смущаясь, обратился к ней с очень странной просьбой: дать ему на одни сутки полный комплект женской одежды до самых интимных ее частей.

— Надевать никто не будет, даю честное слово. Это нужно только для бутафории.

— Что вы собираетесь делать?

Он лукаво поглядел и ответил:

— Секрет. Только очень нужно. Для рассказа.

Анна Михайловна рассмеялась и обещала. На следующий день принесла чемоданчик с просимыми вещами. Он ушел очень довольный и обещал завтра же возвратить.

Пришел он не завтра, а послезавтра. Лицо смотрело неподвижно, и в глазах было недоумевающе-сму-

щенное выражение ребенка, которого высекли,— он не знает за что, но, по-видимому, за дело.

— Вот чемоданчик, возвращаю. Спасибо.

Сел. Дрожащими руками закурил папиросу.

— Я к вам, Анна Михайловна, с просьбой. Такая штука получилась,— без вашей помощи не расхлебаю.

— Что случилось?

— Видите ли... Я уж вам все откровенно... Для нового моего рассказа нужна мне сцена ревности женщины. А я никогда в натуре не видал, как в таких случаях проявляется женщина. Вот я и надумал... Любит меня одна девушка. Ну и я, конечно, ее люблю. Обычно приходит она ко мне по утрам, два раза в неделю. Я и решил понаблюдать, как она ревнует. Третьего дня вечером соответственно убрал свою комнату: на столе как будто остатки ужина — тарелки с закуской, бутылки, стаканчики наполовину с вином. По креслам раскидал то, что вы мне дали, на самых видных местах — рубашку, чулки и тому подобное. А утром, к ее приходу, сделал на кровати из своей шубы как будто человеческую фигуру, закутал в одеяло,— очень хорошо вышло, лежит как живая. Собрался сам одеваться, вдруг — стук в дверь, и она вошла. Минут на десять почему-то раньше, чем обычно. В удивлении остановилась на пороге. Я, чтоб не расхохотаться, подошел к окну и смотрю наружу, кусаю губы. Сзади молчание, я оглянулся. Она вдруг охнула, пошатнулась и выбежала вон. А я в одном нижнем белье!.. Оделся, побежал следом... Нет ее. К ней,— нет дома. Вечером только застал. Рассказал все, как было. Она слушает и молчит.

Он почесал за ухом.

— Хоть бы ругала, хоть бы плакала! Сидит и молчит, и глаза сухие, только очень большие. Видно, не верит... Я вот вас и хочу просить, Анна Михайловна. Пойдемте к ней вместе, расскажите, что это вы мне дали одежду.

Анна Михайловна брезгливо ответила:

— Нет уж, избавьте, пожалуйста! Очень жалею, что вы не сочли нужным предупредить, на что вам это было нужно. Бедная девочка,— с кем связалась!.. А вас могу поздравить: рано это немножко, но стали вы — самым, самым «настоящим» писателем!

## 4

## ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключили договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит, уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил.

Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно злобился на дочь и сильно по ней тосковал. Тоска победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беременную.

Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала.

Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил оказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обоих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца.

А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым.

5

## ОШИБКА

Мы с ним уж два года были до этого знакомы, и все ничего.

А этот вечер вдруг стал совсем необычным. Случилось это в августе, были яблоки, были ночи с туманами. Он смотрел мне в глаза, и я вдруг почувствовала, что он восхищается мною, и я не могла не быть от этого доброй и прекрасной. Восхищение действует на меня, как масло на скрипучую дверь. Мы говорили глазами и улыбками так хорошо, как люди не говорят словами. Ночь была совсем особенная. Месяц, блестящие от росы крыши и заборы, тяжелые черные тени на дорожках. Я чувствовала, как у меня блестят глаза.

Мы бродили под яблонями, довольно близко друг от друга. Иногда на землю тяжело шлепалось яблоко. У меня ноги были совсем мокрые от росы, я видела, что он тоже промок, но что это ничего, потому что ему хорошо со мною. Он гладил мои руки. Это было так просто и понятно в ту ночь!.. Казалось, в ней все друг друга любят, и ничего не было удивительного или нехорошего в его ласке. И не удивительно было, когда он поцеловал меня нежно, нежно... И я отвечала ему, и это было так и нужно тогда, чтобы после нам не было жалко и стыдно. Да, и стыдно! Потому что стыдно должно было бы быть обоим, если бы мы эту ночь проморгали.

А потом мы продолжали встречаться. И месяц такой же был, и росы, и яблоки падали. А уж этого не повторилось. Почему? Я не понимала. Плакала по ночам. И мне ясно стало, что чувство, которое меня к нему влечет,— не любовь. Я боялась обмануться и обмануть его. Старалась заминать возникавшие между нами разговоры на эту тему.

Мы расстались. Он уехал на службу в Донецкий край. Он — горный инженер, только что кончил курс. И как только он уехал, я поняла, что люблю его. Хотя нет, вовсе не так. Не сразу было. Я тосковала, но говорила себе, что это пустяки, пройдет. Мы переписывались года два. И вот тогда я поняла окончательно,

что люблю его. А он вдруг прекратил переписку. Стороной я узнала, что он женился. Подействовала разлука, отвык от меня и женился. И осталась я одна на свете. Овладела черная меланхолия, мне казалось, что я никому не нужна. Потом выправилась, опять появилась жажда жить.

Осенью девятьсот пятого года я познакомилась с одним человеком. Он был старше меня на одиннадцать лет. Сначала я чувствовала себя с ним очень хорошо и легко. К тому же он был окружен ореолом героя,— только что вышел из тюрьмы, где просидел два года. Но очень скоро я стала замечать, что он относится ко мне исключительно как к женщине. Это меня обижало, сердило, я решила объясниться с ним. Но он так повернул дело, что я невольно стала думать: отчего меня так волнует его отношение? Да, меня тянуло к нему. Он меня уверял, что мы любим друг друга, что, хотя я отрицаю, я люблю его. Я думала, что у нас установится прочная привязанность и мы станем друг для друга мужем и женой. Но он совсем не желал этого. Он говорил:

— Я хочу, чтоб наша встреча пронеслась сверкающим метеором по серенькому небу обывательщины.

Я не любила его, но не могла уйти. Так ему и говорила, что не люблю, хотя и тянет к нему. А он становился настойчив до дерзости. Скажи мне в это время тот, первый, хоть слово, напиши самое обыкновенное письмо (он был очень чистый и серьезный человек),— ничего бы не было... И я отдалась нелюбимому,— отчасти по разбуженному им чувственному влечению, отчасти из желания все это узнать, но главное: я решила, что не умею любить и никогда никого не полюблю по-настоящему. А тогда не все ли равно? Притом он обещал, что последствий не будет. И, правда, не было.

Радости во всем этом было очень мало. Тяжело было и как-то гадостно. Утром я давала себе слово разорвать с ним, но наступал вечер, приходил он, ласковый и веселый, и с первым поцелуем я теряла силу. Наконец разлад во мне стал сильнее чувственного влечения, и мы расстались.

То, первое, чувство заглохло пока, но я чувствовала: все хорошее, цельное, чистое, что есть во мне, связано с тем, первым. Не смейтесь, если кто случайно прочтет эти строки; я действительно не считала, что я нравственно стала хуже, чем была прежде. Я никого не обманула. Этот, второй, знал, что я его не люблю.

Через год осенью я получила письмо от первого, любимого, на адрес Женского медицинского института (я тогда кончала в нем курс). У меня потемнело в глазах, когда я узнала его руку. Письмо было отчаянное. Жизнь исковеркана. Он спрашивал, хочу ли я выслушать исповедь своего бывшего друга. Что я пережила после этого письма! До других мне было все равно, но его суд (о той истории) мог бы меня окончательно срезать. А скрывать я ничего не хотела. Я ответила на письмо, не говоря пока ничего. Ответа не было. Прошел еще год. Однажды в театре мне так вспомнилось старое, так всколыхнулось, что отогнать я уж не могла. Я написала ему простое, дружеское письмо. Он моментально ответил и на рождество приехал повидаться. Оказалось, тогда с него взяла слово жена не отвечать мне, так как мое письмо попало ей в руки. Теперь он мой. Жена, еще до моего последнего письма, ушла от него... с гусарским офицером! Как в пошлейших романах сотню лет назад: «На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет»...

Мне хочется все это рассказать самой себе вот почему. Я отдалась другому без любви, это была, конечно, ошибка, и была грязь. И вот, несмотря на это, я сохранила в глубине души всю чистоту и поэзию чувства. Да, именно поэзию, так как после той современной истории, «санинской», я особенно сильно почувствовала поэзию и силу настоящей любви. Конечно, я рассказала ему про ту историю. Он все понял. Я теперь могу любить только его. И то, что я отдалась без любви, сделало меня только чище и целомудреннее, и никогда ничего такого не сможет повториться со мною.

6

## ДОКУМЕНТ

Сегодня вечером Федор Иванович сидел у меня. Рассказывал, что в их квартире кончила самоубийством молодая девушка.

— Интереснейший документ, знаете ли!

Я так и обомлела. Спросила растерянно:

— Документ... Это что же? Дневники ее?

Он с недоумением ответил:

— Ну да!

Документ! Какое определение! «Документ»! О, подлецы! Нужно же было слово откопать! Я вся дрожала от бешенства. Еще бы одно слово, и я, кажется, потеряла бы власть над собою, встала бы, сказала бы ему ужаснейшую грубость, выгнала бы вон. Но он вдруг замолчал. Понял ли он, что делается со мною, или это была случайность, но он замолчал. А я понемножку успокоилась.

Однако и сейчас все время мучает вопрос: «Зачем она писала?» Ведь это же обыск, обыск сердца! Ах, охота же ей была пускать в свою жизнь каких-то трубочистов, чтобы все чистое была замазано их черными вениками! Неужели она этого хотела? И чтоб какой-нибудь болван Федор Иванович читал ее «документ»,— откусывал от сахара, попивал бы с блюдечка чаек и важно говорил бы:

— Какой интересный документ!

Неужели она хотела! Мне страшно было, и не только за нее. Ведь и сама я способна попасть в такие документы, я тоже пишу дневник... Боже мой, как же мне сделать, чтобы он не мог стать «документом»?

7

Студент, получив от проститутки то, что ему было нужно, закурил папиросу и сочувственно спросил:

— Как ты дошла до этого?

Она вскочила на постели и сказала:

— А ты как до этого дошел?

Он с недоумением:

— До чего?

— Что покупаешь человека!

8

## СЛУЧАЙ

Вышло это, правда, ужасно грубо и нехорошо. Дело было так.

Смольяниновы прислали свои абонементные билеты на «Хованщину» с Шаляпиным. Под холодным и слякотным ветром билеты привезла смольяниновская горничная.

Анна Александровна спросила:

— Сколько ей дать на чай?

Он ответил:

— Ну, по крайней мере — четвертак.

— Вот пустяки какие! За что? Довольно гривенника.

— Да что ты, Аня! Ну кто дает на чай гривенник! Только мелочные лавочники.

— Господи, что за барские замашки!.. И гривенник очень хорошо... Нате, Дуняша, отдайте ей.

— Да погоди же, Аня...

Анна Александровна властно и раздельно повторила:

— Подите, Дуняша, и отдайте!

Он вспыхнул, но овладел собою и молча закусил губу. Дуняша невинно подняла брови, как будто ничего не заметила, и ушла с гривенником в кухню. Няня сидела с Боречкой тут же за чайным столом, варила на спиртовке мелинсфуд. И она тоже все слышала. Гадость, гадость какая! Хоть бы людей постеснялась!

Бледный, он ходил большими шагами из залы через прихожую в кабинет и обратно. Анна Александровна ласково спросила:

— Чаю тебе налить еще?

Он резко ответил:

— Нет.

Она с ложечки кормила мелинсфудом Боречку и нараспев говорила:

— А папа на нас с тобой сердится! Он у нас злючка, нервулька. А мы на него не будем обращать никакого внимания! Позлится и перестанет!

И даже это все при няне! А ведь знает, как ему

противны ссоры на людях. Он круто повернулся, ушел к себе в кабинет и заперся.

Раскрыл дело, по которому предстояло выступать завтра в суде.

«...а полагаю, что обязательство, выданное доверителем моим веневскому мещанину Афиногену Шерстобитову...»

Ах, гадость, гадость! Словно мальчишку какого обрезала! Даже и разговаривать не удостоила. И так грубо, при людях... Смешно: завтра во фраке он будет выступать в суде,— серьезный, важный, а здесь, дома: «Ничего,— позлится и перестанет!» И ведь сама же спросила, сколько дать!.. А главное — как мелко все! Из каких пустяков умудряется устроить ссору! Словно у ребят малых дошкольного возраста. В такой плоскости ссоры только и бывают у ребят дошкольного возраста да у женатых людей. В школьном возрасте дети уже стыдятся подобных ссор.

В дверь послышался тихий стук. Анна Александровна виновато спросила:

— Алеша! Можно?

Он хрипло сказал:

— Нет, нельзя.

И опять взялся за дело. Старая история: станет теперь нежна, предупредительна, как будто этим можно уничтожить тот позор и стыд, который ему пришлось пережить. Он вдруг сообразил и усмехнулся: почему она сейчас постучалась? Потому что он ушел и не выпил обычного второго стакана чаю... О, женщина! С ясной улыбкой пройдет ногами по душе человека, да еще нарочно покрепче нажмет каблучками. А даст на куски себя разрезать, чтобы этот же человек не остался без второго стакана чаю!

Перо спотыкалось и трещало по бумаге. Он открыл боковой ящик письменного стола, чтобы достать свежее перо. Сбоку лежал в потертой кобуре браунинг, который он брал с собою в разъезды. Вынул он его из кобуры,— плоский, блестящий,— и стал рассматривать. Застрелить бы себя!.. И оставить записку: «Заела ты мне жизнь, подлая баба. Проклятье тебе!»

Ему представилось, как она вбежит на выстрел и увидит его бьющееся в конвульсиях тело с раздроб-

ленным черепом и залитым кровью лицом, какой это будет безмерный ужас. И уж ничем, ничем нельзя будет ничего поправить. Представлялось, как она в диком отчаянье бьется о гроб и зовет: «Алеша! Алеша! Встань!» И вдруг замолкает. Но ночью, когда никого нет возле гроба, приходит и стоит одна в сумрачной тишине — в той особенной тишине, какая бывает ночью в комнате, где лежит покойник. Глаза у нее черные и огромные, как ночь. Она жадно вглядывается в восковое лицо с повязанным лбом. И жалобно, настойчиво, как ребенок, потерявший мать, зовет: «Алеша! Милый мой, Алешечка! Зачем ты так? Встань же! Слышишь?»

Слезы навернулись на глаза. И стал он себе гадок. Можно ли даже не всерьез тешить себя такими картинами? Милая Анка!.. Только вдалеке где-то прошла серьезная смерть,— и сразу серьезною стала жизнь, и такими ничтожными сделались ее пустяки. Разве можно ими оценивать жизнь! И сзади мелочных ссор — сколько в их взаимной жизни светлого, незабвенно-милого. Вот даже тогда, когда она сидела в широкой блузе у стола с Боречкой и трунила над его гневом,— какое прелестное сиянье материнства шло от нее.

Ну, а все-таки,— обрезала его, как мальчишку! Даже возражений не стала слушать. И все из-за какого-то гривенника! А потом: «Папа наш злючка, а мы на него не станем обращать внимания!» Это при няне! Как женщины мелочны и неуживчивы, какою некрасивою делают жизнь!.. И ведь ни за что прощения не попросит.

Нет, пускай, пускай! Как бы это вышло?

Он достал лист почтовой бумаги и крупным, твердым почерком написал:

«Загубила ты мою жизнь, проклятая баба!»

Потом вынул из револьвера обойму с патронами и приставил пустой револьвер к виску. Дуло холодом тронуло кожу. Он перечитал написанное и нажал спуск. Но он забыл...

Он забыл, что первый патрон, который лежит в самом стволе револьвера, не вынимается вместе с обоймою. На всю квартиру ахнул выстрел.

9

## ФРАНЧЕСКА

Жил в Москве генерал Зарудин, очень богатый. У него было шестьдесят тысяч десятин на Урале да десять тысяч в черноземных губерниях России. И было у него две дочери. Старшая, Зинаида Аркадьевна, была замужем за русским посланником в одном второстепенном государстве. Младшая, Валентина, еще не была замужем.

Путешествовала она по Италии с двумя дамами. Они обе были замужние и очень хорошенькие. Валентина же была некрасива. В Риме они познакомились с итальянским офицером изумительной красоты, Луиджи Маринелли ди Толомеи, из старинной флорентинской патрицианской фамилии. Он стал было приударять за обеими хорошенькими замужними дамами. Но вскоре убедился, что они любят своих мужей, и тут же узнал, что некрасивая их спутница-девушка — наследница огромных имений в семьдесят тысяч десятин. Шутка! Чуть не с целую Италию. А собственные дела его были порядком расстроены. Он воспылал горячею любовью к Валентине.

Распрощались. Условились переписываться. Переписка становилась все оживленнее. Наконец он сделал ей предложение. Отец и особенно мать были сильно против, но Валентина ничего и слушать не хотела. Съехались в Ницце и повенчались.

Вскоре умер отец Валентины, потом мать. Муж настаивал, чтобы все имения в России продать и деньги отдать ему. Но наследство не было еще поделено между сестрами. Однако по частям имения продавались, и деньги поступали в его распоряжение. Муж страшно ревновал Валентину, хотя она была некрасивая, а сам он постоянно ей изменял.

Родилась у них девочка. Франческа Маринелли ди Толомеи. Муж заявил с отвращением:

— Девочки мне не нужны. Нужны мальчики для продолжения нашего рода. Иначе он со мною угаснет.

Съездили вместе в Россию, муж усиленно настаивал на полной ликвидации ее родительского наследства. Но родственники всячески противились. Возвра-

тились в Италию. Он поселил жену с маленькой дочкой под Флоренцией, в загородной вилле, а сам уехал в Геную. Жена жила под присмотром его матери, настоящей мегеры, и его сестры, старой девы. Письма Валентины в Россию и из России к ней перехватывались. Выходить ей запрещалось,— можно было только в православную церковь. Она через священника послала в Россию отчаянное письмо. Родня у нее была влиятельная, стала принимать меры. Но неожиданно Валентину освободила одна молодая американка,— тут уж совсем как в авантюрном романе. Узнала о положении Валентины и взялась ее похитить,— не за деньги, а так, из любви к спорту и приключениям. Поселилась рядом с ее виллой, через священника наладила с нею связь. В одну темную ночь Валентина с двумя детьми (в заключении у нее родился еще ребенок, мальчик) вышла в сад. В условленном месте через каменный забор была переброшена веревочная лестница. Валентина перебралась с детьми через забор, американка ждала их в автомобиле. Увезла и отправила на пароходе в Россию.

Валентина прожила в России три года. Приехал из Италии муж, стал звать обратно, давал клятвы. Прожил с нею несколько месяцев, уговорил-таки продать ее большое воронежское имение. Она продала. Была уже опять беременна. Он уехал, взяв с собою деньги. Условились, что приедет за нею, когда она родит.

Разразилась всемирная война, потом революция. Старший сын Валентины, тринадцатилетний Андрей, поступил добровольцем в армию Юденича. Она в Ревеле служила кухаркой, мыла поденно полы, стирала белье. Воротился с фронта Андрей, перенесший сыпной тиф,— больной, обовшивевший. Страшно бедствовали. Итальянский консул дал знать в Италию мужу. Тот ответил: «Очень буду рад принять жену и мальчиков, а дочь прошу не присылать, она мне не нужна». Мать с сыновьями уехала к нему, а дочь Франческу согласилась взять к себе ее тетка Зинаида Аркадьевна. Жила она в Москве. У нее был сын, на три года старше Франчески. Ребятами они полюбили друг друга и решили пожениться, когда вырастут. Теперь юноша напомнил ей об этом решении. Франческе было

шестнадцать лет. Она согласилась. Кузен предупредил ее, что у него была другая любовь, есть ребенок. Франческа взяла у него слово, что он совершенно разорвет с тою.

Поженились. Стали жить в его комнате, рядом с комнатой матери. А через две недели Франческа нашла в кармане мужа письмо от прежней. Она порвала с мужем. Он ту устроил под Москвой и поселился с нею, а Франческе предоставил свою комнату. Вскоре, однако, нашел, что ему из-под Москвы далеко ездить на службу. Разгородил комнату Франчески и в половине комнаты поселился с прежнею своею семьею. Франческе было очень тяжело. Написала матери в Италию, нельзя ли ей приехать к ним. Вместо матери ответил отец: «Мы ничего не имеем против, но имей в виду, что в Италии на разведенных жен смотрят как на проституток».

Не поехала. Но жизнь рядом с семьею бывшего мужа томила. Пошла в домком и просила дать ей другую комнату, какая бы ни была. К ней там отнеслись участливо. Дали комнату на чердаке.

Через два года после первого брака, восемнадцати лет, вышла Франческа замуж за профессора термодинамики Краюшкина. Было ему уже пятьдесят лет, и был он очень безобразен. Она бешено ревновала его и возмущалась, что он ее не ревнует. Он говорил ее тетке:

— Она образцовая жена, я с нею очень счастлив,— но только эта ревность! И к кому! Ну, поглядите на меня,— как меня можно ревновать!

У Франчески были золотистые волосы, она не была красива, но сложена удивительно. Самое же замечательное в ней было — необыкновенное изящество. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего жеста. Гордое достоинство в каждом движении. А никаким манерам ее никогда не учили. Да и ни одна гувернантка не могла научить ее так держаться. Знатная флорентинка-патрицианка времен Возрождения Франческа Маринелли ди Толомеи, ставшая гражданкой Краюшкиной и имеющая дела с домкомом, совершенно не была способна на какую-либо подлость, умирала

бы с голоду, не украла бы рубля,— но легко и без малейшего колебания отравила бы человека.

А там, в Италии,— чудеса. Отец Франчески во время войны отличился, был контужен, обвешан орденами, вышел в отставку с крупным чином. Он с почетом встретил жену, приехавшую из России, жалкие обноски сменил на ней шелком и бархатом — и зажили они душа в душу, как самые нежные супруги. Полнейшая семейная идиллия. С ними два их сына, оба изумительные красавцы. Знатный род Маринелли ди Толомеи не угаснет.

10

## ПОД ОГНЕМ ПАРОВОЗА

Было это в десятых годах. В апреле месяце, в двенадцатом часу ночи, под поезд Московско-Нижегородской железной дороги бросился неизвестный молодой человек. Ему раздробило голову и отрезало левую руку по плечо. В кармане платья покойного нашли писанную дрожащею рукою записку, смоченную слезами: «Прощайте, товарищи, друзья и подруги! Кончилась жизнь моя под огнем паровоза. Хотел стереть с лица земли своего соперника, но стало жаль его. Бог с ним! Пусть пользуется жизнью. Посылаю привет любимой девице. Не вскрывайте больной груди моей, я, любя и страдая, погибаю. Григорий Прохоров Матвеев».

11

## С ОПОЗДАНИЕМ

Петербург. Окраина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с гвоздями. Поклажа кренилась на сторону. Возчик — парень в полушубке — шагал рядом с санями и растерянно подпирал плечом накренившийся воз. Приказчик у дверей лабаза с любопытством смотрел. Легковые извозчики у трактира тоже с любопытством смотрели и переговаривались:

— Завалится!

— Бесперечь завалится!

— Как бы парня не придавило.

— И очень просто! Сколько народу погребали тяжести. А он, дурень, сбоку улицы едет, еще больше набок накреняется воз...

Поклажа качнулась, и ящики тяжело посыпались на возчика.

Приказчик лабаза со всех ног кинулся на помощь. Извозчики, подобрав полы синих армяков, побежали туда же. И отовсюду сбегался народ. Мигом разобрали ящики. Парень-возчик лежал с восковым лицом, с закрытыми глазами, из угла губ стекала вниз струйка крови.

## II

### 1

### АННА ВЛАДИМИРОВНА

*(Пунктирный портрет)*

Ей двадцать пять, двадцать шесть лет. Худощавая,— больна чахоткой, но этого не знает. Красивое лицо, но главная красота — огромные, лучистые глаза, наивные и невинно-наглые. Дочь жандармского генерала, давно умершего. У нее хорошенькая дочка Муся, лет семи, неизвестно от кого. Сейчас при ней состоит сосед по комнате, студент Макс с маслеными глазами. Как дочь жандармского генерала, получает пенсию — тридцать два рубля в месяц. Но главный источник доходов — всяческие пособия, которые она умеет выхлопатывать как первейшая артистка в подобных делах.

Пушки Петропавловской крепости гремят над Петербургом: царица разрешилась от бремени. Оказалось — опять дочерью, но сначала слух прошел, что— долгожданным сыном.

Анна Владимировна сидит у стола и, торопясь, пишет прошение.

— Что это вы пишете?

— Прошение министру императорского двора. О пособии. Вы слышали? У царя родился сын.

— Так вы-то тут при чем?

— Должен же он быть рад, что у него наконец сын родился. Отчего ему на радостях не отпустить мне триста рублей, — что ему стоит?

— Надела я свою министерскую кофточку...

— Министерскую?

— Да. У меня такая кофточка есть, чтоб ходить по министрам: скромная, в три складки. Выглядит бедно, но благородно. Чтоб их разжалобить... И я министру Витте прямо сказала: «Вы черствый человек, вы сухой человек, наверно, вас никогда ни одна женщина не любила! И, наверно, вы всю жизнь пили только молоко и кипяченую воду!» Через неделю опять пошла к нему на прием. А он не велел меня больше записывать. Я все-таки в залу проскользнула. Прием большой. Вызывают степного генерал-губернатора Духовского. Маленький и толстый, как лампа. Живот — вот такой. Я бросилась к двери, а дверь узенькая. Я с его животом и столкнулась. Он, конечно, воспитанный человек, уступил мне дорогу. Витте меня увидал: «Опять вы?!» — «Опять я!» Плюнул и подписал на моем прошении резолюцию: «Выдать просимое пособие».

— Ужасно не люблю непроизводительных расходов.

— Каких, например?

— Калоши покупать, зубы пломбировать, платить за квартиру.

— Какие же расходы производительные?

— Ну... в оперетку поехать, коробка конфет хороших. Бутылка шампанского.

— Люблю много на чай давать.

— Ну да... все-таки,— рабочие люди...

— На это мне наплевать. А чтоб была любовь и готовность. Ужасно люблю, чтоб меня кругом все любили.

— Терпеть не могу работать. Когда уж ничего добывать не смогу, пойду туда, где пенсию получают старушки. Всякая, как получит деньги, с удовольствием даст.

Свою дочку Мусю отдала на казенный счет в балетную школу.

— По крайней мере, будет нравиться старичкам. Пускай балериной будет. Можно хорошую партию себе устроить.

— Это лето мы жили в Уфимской губернии у Мефодия Егорыча. Ничего нет, только семь тощих собак на дворе. Скука; есть нечего, только одни яйца. Муся ходит по комнатам и твердит: «Не бойтесь, Мефодий Егорыч, я вас не боюсь!» Такой дурак этот Мефодий Егорыч! Я разденусь, лягу спать, — он придет ко мне в спальню и сидит. Целует руки и не хочет уходить. Говорит: «Ведь жарко, зачем вы в одеяло кутаетесь?» А денег нет у меня, выехать не на что. Приехал становой описывать имение, я у него двадцать пять рублей заняла...

Общий хохот. Она недоумевающе оглядывает всех своими ясными глазами.

— Чего вы смеетесь?

— Несимпатичный он!
— Нет, он красивый!

— Маркс! Кто председателем суда в Полтаве?
— Я почем знаю!
— Вот дурак, ничего не знаешь!

— Он мой друг и очень большой негодяй.

— Я, когда градусником меряю, — вижу, что к тридцати девяти подходит, — поскорей выдергиваю. Боюсь, вдруг сорок градусов окажется. Страсть боюсь, когда сорок градусов температура.

— Жена доктора очень меня ревнует. А сама красная и глупая, как пион. Сцену мне устроила, дурища такая. Я нарочно ухожу и говорю: «Миленький доктор, прощайте!» — и чмок его в щеку!

— Нет, к другому доктору не хочу. Вдруг он мне скажет: у вас чахотка. Ведь есть такие жестокие доктора.

— Я как-то захандрила, говорю Максу: «Наверно, у меня чахотка!» А он, дурак такой: «Что ты! У чахоточных бывает необыкновенный блеск в глазах и по ночам поты». Ушел он, я подошла к зеркалу, — у меня в глазах фосфорический свет, клянусь вам богом! И всю ночь так трясло, — от постели поднимало. Чуть у меня от страха не сделалась белая горячка!

— Нет, я не хочу умирать. Гробы всегда такие узкие!

2

## ФЕЛЬДШЕР КИЧУНОВ

*(Пунктирный портрет)*

Звали его Иван Михайлович. Фельдшер приемного покоя больницы, где я тогда работал ординатором. Редкие усы и бородка, держится солидно, с большим достоинством. Вид глубокомысленный, на жизнь и людей смотрит свысока, с затаенною в глазах сожалеющею усмешкою. Истина жизни вся целиком, до последней буквочки, находится у него в жилетном кармане.

На дежурстве вечером, когда поток привозимых больных почти иссякает и гулко звучат в пустых коридорах шаги проходящей сиделки, иногда засидишься в приемном покое и беседуешь с Иваном Михайловичем.

— Как, Иван Михайлович, дела?

— Какие ж у меня дела! В гости я не хожу, картами и водочкой не занимаюсь, за девочками не бегаю... В церковь сходить, свечечку поставить в гривенник, просвирку подать — вот и все мои дела. Дома Библию почитаю. Дела у меня обыкновенные. Вчера Библию купил себе новую. Хорошая книга, давно к ней приглядывался. Книга фундаментальная, пятнадцать фунтов весом! Приятно иметь такую книгу. Переплет красивый, — не барский, этого нельзя сказать, — скромный, смирный, но обращает на себя строгое внимание. Книга, можно сказать, вполне официальная.

— Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый?

— Нет-с, не всегда. Раньше я был не такой. Раньше я все ро́маны читал. Ну и, конечно, от этого у меня развивались нена́висть, разврат, любовь к мышлению и тому подобные пошлые наклонности. Раз, однако, задумался я о своей жизни. Ехал я тогда по Волге на пароходе, под Самарой дело было. Пароход «Святослав» общества «Самолет». Ем виноград. Виноград там дешевый, три копейки фунт, так что я мякоть высасываю, а кожицу и косточки, значит, выплевываю. Солнце садилось, испытал этакое приятное состояние души. Вот и задумался я о своей жизни. Что, думаю, такое? Человек я не завалящий, имею кой-какой умишко, кой-какие познания. Как же так? Нет, думаю, жизнь жить — не в бабки играть, пустяки надо оставить, о боге вспомнить, о собственной душе. Тут вот я и стал на стезю добродетели.

В газетах описали нашу больницу. Отзыв был очень хороший. Кичунов возмущен.

— Голодные псы! Буквой питаются!

— За что вы их ругаете? Ведь они же нас хвалят.

— Когда дурак хвалит, так это обиднее, чем когда умный ругает...

— Проповедь у нас в церкви читал отец Варсонофий. Господь, говорит, — «благ»! Ну, это мне въелось в плоть и кровь, все равно как хронический ревматизм.

Скучно. Знай свое болтают всё: «Благ, благ!» Господь благ только к своим! Вовсе он не весь мир пришел спасти. В Евангелии от Иоанна, глава семнадцатая, он прямо говорит: «Отче, я о них молю, — не о всем мире молю, — но о тех, которых ты дал мне». А когда язычница к нему пришла, он сказал: «Нельзя отнимать у детей и бросать псам». Значит, неверующие для него псы. И правильно, — так и должно быть. Евангелие нужно понимать без изменения одной черты, одной йоты. Что я вам говорю, это — простой логический взгляд... «Благ»,— скажите пожалуйста! Бог должен быть строг! жесток! Христос ясно сказал: «Я пришел принести на землю не мир, но меч!» На соборах это место разбирали: говорят, что тут нужно понимать меч *духовный*. Х-хе! Разбирали! Шишки еловой не разобрали! Ну, скажите пожалуйста, как *меч* может быть духовным? Холодное-то оружие!.. Христос понимал, что без меча с нашим братом дела никакого не сделаешь. И так мы его не боимся, а если бы он был благ, мы бы совсем избаловались. Мы его даже не боимся, как черт боится. Тот знает, что ему пощады нет, а мы все надеемся на «искупление», на отпущение грехов. Помер человек, ему поп перед смертью грехи отпустил,— он этаким козырем на тот свет идет, ждет, что ему Христос скажет: «Пожалуйте, милостивый государь, вот сюда, в рай!» А как полетит там кувырком к черту на рога, тогда узнает! Хе-хе-хе!

Привезли в больницу мужчину с крупозным воспалением легких. Лицо синюшное, пульс плох. Приняли.

Привезшая его жена сказала Кичунову:

— Можно будет распорядиться, чтобы причастили его? Он уж пятнадцать лет не говел.

Кичунов грозно нахмурил брови:

— Как же это его без сознания причащать? Священник не станет.

— Пожалуйста, уж будьте добры! Нельзя ли?

— Гм! Пятнадцать лет не говел, — христиане называются! А смертный час пришел,—спохватились!.. Этого нельзя устроить! — отрезал он.

Женщина вздохнула и пошла к выходу. Я ее остановил, и, конечно, оказалось возможным устроить.

Больной возвратным тифом, ночлежник, с опухшим лицом. Оборванный, дрожит. Лет семнадцати. Кичунов его записывает в книгу, кричит:

— Мещанин? Крестьянин?

— Я — незаконнорожденный.

— Та-ак! — иронически процедил Кичунов. — Вот этак гуляет девица,— боа у нее, турнюр, а детей в ночлежные кидает; такие кавалеры и выходят!.. В Петербурге родился?

— В Петербурге,— стиснув зубы, ответил больной.

— Ну конечно! Самый для таких дел подходящий город... Ступай.

— Незаконнорожденные, они не имеют прав ни на земле, ни на небе! Ну, как же незаконнорожденный может войти в царствие небесное, скажите пожалуйста! У бога прелюбодеяния нету. Во «Второзаконии», глава двадцать третья, ясно сказано: «Сын блудницы не может войти в общество господне, и десятое поколение его не может войти в общество господне». Для таких людей... Я бы не стал и жить на их месте... Вы себе как представляете антихриста? С рогами, с когтями? Он уже народился.

— Где же он?

— Он есть то, что рождено в прелюбодеянии. Он родится от девы, как и Христос, только прелюбодейно, как незаконнорожденный. Христос ведь не был незаконнорожденным, заметьте себе!.. Каждый незаконнорожденный есть предшественник антихриста. Апостол Иаков в Послании, глава первая, говорит: «Похоть, зачавши, рождает грех». Пройдитесь по Невскому, посмотрите на фотографии балерин: стоит девка, груди распустила, ногу подняла. Мальчишка украдет у отца целковый и побежит, — знаете куда? Вот-от что похоть значит!

— Я бы, будь моя власть, — я бы женщинам запретил выходить на улицу.

— Почему?

— Как почему? Вид неприличный!

— Что вы такое говорите!

— Ну, а как же! (Очерчивает на себе руками выпуклости груди, бедер). Что вы, господа! Ведь по ули-

цам дети ходят! Конечно, привыкнуть ко всему можно, а только... Неудобно, знаете, неудобно!

Я хохотал.

— Как вы скажете, предки наши глупее нас были? Я полагаю, что они умнее были не только меня, но даже — извините за дерзкое выражение — умнее были, чем вы. А они женщин запирали — в терем! Почему? Возьму хоть себя. Человек я пожилой, солидный, занимаюсь богомыслием. А встретишь на улице этакую бабеночку полногрудую — и ввергаешься в соблазн. Ничего не поделаешь: человек бо есмь! Esse homo!.. [1]

Позвали меня к больной. Вхожу в приемную врача. Кичунов стоит, осматривает больную. Это совершенно не его дело. Его дело—в соседней комнате, когда больного примут, записать в книгу и составить на него скорбный лист. Стоит Кичунов, а перед ним, рядом со старухой матерью, — изумительно красивая девушка лет пятнадцати, голая по пояс. И Кичунов глубокомысленно тыкает ее указательным пальцем в груди. Увидел меня, сконфузился.

— Вот, Викентий Викентьевич... Какая сыпь странная!.. Я заинтересовался.

Я мельком взглянул на сыпь и холодно ответил:

— Что же странного! Самая обыкновенная скарлатинозная сыпь.

— А я смотрю: что это, странная какая сыпь? Не признал сразу, что скарлатинозная...

3

## СТЕПАН СЕРГЕИЧ

*(Пунктирный портрет)*

Сутулый человек с большой головою. Серая кожа на лице висит крупными морщинистыми складками. Но ему нет еще сорока лет. Он был профессор и даже не-

---

[1] Это человек!.. *(лат.)*

глупый человек. Имел ряд научных работ по истории Византии. Его монография о византийском историке Никите Хониате была подробно реферирована в немецком историческом журнале. Но изумительно было в нем полное молчание голосов тела, глубокое отмирание инстинктов. В обычной городской жизни это не так замечалось, но, когда приходилось видеть его среди природы, жутко становилось за человека, и возникал вопрос: если не спохватиться вовремя, не обратится ли и вообще человек будущего в подобную уродину? Само тело ничего ему не говорило. Все он должен был узнавать от других людей, от термометра, барометра и прочих инструментов.

Проснется ночью и не знает — выспался или нет. Как будто выспался, пора вставать. Посмотрел на часы,— всего шесть часов утра. Заснул опять. А часы, оказывается, остановились. Спал до одиннадцати часов.

Карманные часы остановились, стенные сломались. А дело было на даче. Трагедия: не знает, когда лечь спать, когда вставать, когда есть.

За обедом на третье подали сырники. Степан Сергеич ел. Дочка Таня сказала:

— Из манной крупы.

Степан Сергеич нахмурился и отодвинул тарелку. Пришла жена Елизавета Алексеевна, на минуту уходившая в кухню. Он сказал хмуро:

— Лиза! Ведь ты знаешь, что я терпеть не могу манной каши. Зачем же ты заказываешь сырники из нее?

Елизавета Алексеевна изумилась:

— Как из нее? Из творога сырники.

Степан Сергеич прикусил губу. Верно. Из творога. И с аппетитом стал есть.

— Что я — пил кофе или только хотел пить?

— Не пил.

Выпил два стакана с бутербродами. Жена и свояченица расхохотались. Свояченица воскликнула:

— Ведь вы пили уже!

Степан Сергеич потемнел и враждебно взглянул на жену.

— Какие глупые шутки!

Весь день ходил хмурый, с тяжестью в желудке.

Двенадцать лет назад, во время свадебной поездки по Германии и Швейцарии. Выйдет из отеля купить папирос, — а через пять часов шуцман приводит его из загородного леса, куда забрел, сам не знает как: заблудился. Совершенно лишен способности к ориентировке.

До 15 мая ходит в зимней одежде, после пятнадцатого — в летней, и ее уж не снимает, как бы ни было холодно.

В жилетных карманах — часы, шагомер, на террасе дачи — термометр и гигрометр, в столовой — барометр. Вышел на террасу, смотрит на термометр.

— Стоит надевать пальто?

— Да разве ты так не чувствуешь?

— Четырнадцать с половиной — не стоит.

Посмотрел на термометр. Было 12 градусов. Тогда он почувствовал, что ему холодно.

— Степа, ты с нами пойдешь гулять?

— (Сердито). Куда же идти, если барометр упал до семисот сорока. Удивляюсь, что ты идешь, да еще детей берешь с собой.

Стояла ласковая, томящая теплынь. Получилась чудесная прогулка. Он, конечно, остался дома. Дождь пошел только утром.

Не замечает, что молоко прокисло, что мясо несвежее. Простудился, лихорадит, колет в боку.

Свояченица:

— Ведь сквозняк, что вы тут сидите!

Он с жалкой, беспомощной улыбкой:

— Я этого ничего не чувствую.

Начало июля. На даче. В столовую вошел Степан Сергеич с лицом темным, как чугун. Стоял нахмуренный, сердитый и тяжелым взглядом следил за же-

ной. Она штопала чулки Танюшки и не видела его взгляда.

В открытое окно подул ветерок и принес запах цветущей липы. Елизавета Алексеевна сказала:

— А, уж липы зацвели!

Степан Сергеич раздраженно отозвался:

— Что липы зацвели, это, конечно, хорошо. А вот что у нас опять кошки по всем комнатам нагадили,— это черт знает что такое! Не продохнешь от вони!

Елизавета Алексеевна удивилась.

— Где тут кошками пахнет? Я ничего не чувствую.

— Ну конечно! А я, во всяком случае, чувствую совершенно ясно. И требую категорически,— Лиза, слышишь? Я требую, чтобы никаких своих Пушков и Снежков ребята в комнаты не таскали! В воскресенье Димка весь день возился в столовой с кошками... Скажи Матрене, пусть сейчас же придет с тряпкою и подотрет.

Степан Сергеич ходил с Матреною по комнатам и искал, где нагадила кошка, Матрена заглядывала под диваны, отодвигала шкафы и посмеивалась под нос.

— Господь с вами, барин, какие тут кошки! Дух — лучше и быть нельзя!

— Вы тут все так принюхались ко всякой вони, что даже уже не слышите ничего!.. Танюшка, Димка, пойдите сюда! Если еще раз в комнатах я увижу кошку, то всех ваших Пушков и Снежков велю забросить в реку!.. Слышите? Запомните это!

Елизавета Алексеевна, с упрямыми и грустными глазами, сидела в столовой у стола и не помогала искать. Это особенно сердило Степана Сергеича, и он неутомимо двигал сундуки, комоды и шкафы. Однако ничего не нашли. Матрена, скрывая улыбку, ушла с тряпкою в кухню. Степан Сергеич позвал детей и еще раз строго подтвердил, чтобы не пускали кошек в комнаты.

После обеда Елизавета Алексеевна лежала в спальне; у нее болела голова. В дверь заглянул Степан Сергеич.

— Ты не спишь?

— Нет.

Он вошел, сел к ней на край постели. На лице была сконфуженная, детская улыбка, и от нее светилось все его серое лицо.

— Вот, Лизанька, грязная история!.. С кошками-то! Оказывается, это вовсе не кошки нагадили, а знаешь что?.. Я сейчас только сообразил: это... липы зацвели!

— Что?! — Елизавета Алексеевна, хоть была сердита, вскочила на постели и расхохоталась.— Ты шутишь?

Пристыженное лицо Степана Сергеича дрожало смеющимися морщинками.

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, какая штука. Был я еще мальчиком, жили мы на даче под Калугой. Мама меня посылала набирать липовый цвет, и потом мы его сушили на газетных листах на чердаке нашей дачи. А кошек там была гибель, постоянно так ими пахло, что не продохнешь. Вот оба эти запаха у меня и смешались, и я их уж не могу разъединить. После обеда сегодня вышел на террасу,—что такое? Опять кошками несет! Откуда? Из саду-то! Принюхиваюсь,— смотрю, молодая липка у террасы вся в цвету. И тут я вдруг сообразил. Вот, Лизанька, какая история уродливая!

— Д-да-а...

— Рассказать,— никто не поверит! Ты уж прости меня.

Елизавета Алексеевна безнадежно смеялась.

4

## ИВАН ИВАНОВИЧ

*(Пунктирный портрет)*

Железнодорожный подрядчик. Ловкий и умный, вполне интеллигентный. Хорошо наживался. Заболел прогрессивным параличом, сошел с ума. И тут так из него и поперла дикая, плутовская, мордобойная Русь.

Читают ему газеты. Московский педагогический съезд посетили два английских педагога.

— Погодите, я все это знаю, сейчас вам расскажу. Как приехали, их первым делом в полицию позвали и — выпороли. Чтоб не зазнавались. Потом на съезд

привезли. «Садитесь, пожалуйста!» — «Нет, знаете... Мы постоим!» — «Да вы не стесняйтесь!» — «Нам вот к телефончику,— разрешите!» — «Пожалуйста!» — «Дайте генерал-губернатора!» — «Что?! Выпороли?» Сейчас позвонил в участок: «Прибавить от меня еще сорок розог!»

На вокзале сидит, пьет пиво. Подходит, любезно улыбаясь, господин.

— Мы с вами, кажется, встречались?

— Как же! Вместе из Челябинска шли по этапу! Я вас сразу узнал. (Господин отшатнулся, тот ему вдогонку.) За кражу часов сидели, вместе крали. Хорошо помню: стенные часы были... с боем...

Читал он «Новое время», имена запоминал, а события перерабатывал самым фантастическим образом. В конце девяностых годов Россия заняла китайскую гавань Порт-Артур.

Иван Иванович рассказывал:

— Салисб-Юри того не знал и послал из Англии Камбона, чтобы занял. Приехал. Ему навстречу адмирал Скрыдлов. «Что вам угодно?» — «Видите ли, вот... Порт-Артур... Мы приехали...» — «Ах, вы приехали?..» Тр-рах! «Ой, больно».— «Больно? Затем и бьют, чтоб было больно...» Тр-рах!! «Ваш вон он, видите, на той стороне: Вей-хай-вей! А это наше!» — «Тогда извините, пожалуйста, мы не знали. Прощайте!» — «До свидания!» Поплыли. Скрыдлов поглядел. «Ну-ка, малый, заряди-ка пушечку...» Бах!! Корабли кувырк!.. Салисб-Юри в Лондоне ждет, беспокоится. Телеграмму в Порт-Артур: «Приехали? *Салисб-Юри*».— «Были тут... какие-то! *Скрыдлов*».— «Где же они? *Салисб-Юри*».— «Потопли. *Скрыдлов*».

И хохочет торжествующе.

Его племянник окончил курс врачом в Московском университете. Сестра Ивана Ивановича с торжеством принесла ему показать диплом, полученный ее сыном. Иван Иванович посмотрел и вдруг объявил:

— Этот диплом подложный. Борис его сам написал.

— Ну что ты говоришь! Как же подложный? Видишь, подпись «Декан медицинского факультета Д. Зернов».

— Я его знаю: это почтальон со Смоленского рынка.

— Видишь, и другие подписи: профессор Остроумов, профессор Шервинский...

— Довольно! Пойди на Большую Царицынскую, справься в казенном винном складе: это все — сторожа склада. Борьку за этот самый диплом в Хамовнической полицейской части выпороли.

— Как это выпороли? Прежде всего, не имеют права выпороть. Он дворянин, закон запрещает.

— Ничего закон не запрещает. Нет такого закона.

— Я тебе отыщу, покажу: есть специальная статья...

— Довольно! Вот по этой самой специальной статье и выпороли.

## 5

## ФИРМА

В 1899 году в иллюстрированном еженедельнике «Нива» печатался новый роман Льва Толстого «Воскресение». Везде только о нем и говорили. Возвращался я в Петербург в спальном вагоне третьего класса. Среди трех спутников — старик купец в высоких сапогах, в пиджаке. Заговорили о романе. Купец:

— Плохо, плохо! Я «Ниву» получаю, читаю,— очень плохо! Как раньше-то писал! «Казаки»! «Анна Каренина»! «Война и мир»! Вот это было дело! А теперь!.. Нет, устарел! На чердак пора ему. Куда старую мебель убирают... Что же это, скажите, пожалуйста: князь, человек живет в почете, имеет звание, человек, можно сказать, вращается,— и вдруг на этакой швали жениться! Какая же она ему пара, позвольте спросить? И у кого таких девчонок не было? Кто не грешен? И у вас, наверное, десять таких было, и у меня, может, двадцать. И на каждой жениться!.. Нет, на чердак, на чердак пора! Плохо! Потому только все и читают, что подписано: «граф». Фирма!

6

## СУПРУГИ

*(Пунктирный портрет)*

### Муж

— Писатель?! Очень, очень рад! Благословляю грозу, загнавшую вас под мой убогий кров! Люблю писателей, ученых! Я сам кавалерист!

— «Зе воркс оф Шакеспеаре»... Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да еще на английском языке! По-английски могут понимать только очень умные люди... Но вот что: барометр еще с утра сильно упал. Как же вы, несмотря на это, пошли в такую далекую прогулку?

— У меня нет барометра.

— Нет барометра?.. Гм! Английский язык знаете, а барометра нету?

— Пианино — не так чтобы из Художественного театра, но все-таки ничего, играть можно.

— (О Шаляпине.) Прилично поет.

### Жена

— С нами из Минеральных Вод ехал в вагоне один... Как его? Персидский, кажется, консул... Вообще, из Турции.

— Никогда не следует спрашивать женщину о годах. Важно, какою она сама себя чувствует. Если чувствует себя тридцатилетней, то и может сказать, что ей тридцать лет.

— Ну, да, это еще один король французский сказал: «Лета — с'э муа»[1].

---

[1] Государство — это я *(от фр.* L'état c'est moi). Героиня путает *фр.* L'état (государство) *с русск.*— лета (годы).

— Страданья необходимы человеку. Они воспитывают его, облагораживают его душу.

— Да, да! И французы то же самое говорят: pour être belle, il faut souffrir [1].

— Мы с мужем объяснились в любви, совсем как Кити и Левин в «Анне Карениной». Только те много разных букв писали, пока столковались, а мы сразу друг друга поняли. Он всего три буквы написал: «я В. л.». А я ему в ответ четыре: «и я В. л.».

— Никогда я не могла понять, как это люди верят во всякие предрассудки. Ну, я понимаю: тринадцать человек за столом, три свечи, заяц перебежал дорогу... А всякие там предрассудки... Не понимаю.

7

## ПАРИКМАХЕР ПО СОБАЧЬЕЙ ЧАСТИ

— Я, как вам сказать? Извините меня за это выражение,— парикмахер по собачьей части. В деревне так если скажешь,— засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например. Как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу — благодарение богу! Кабы еще водочкой не займался, у меня бы теперь вот этакий дом был. Рублей полтораста в месяц смело вырабатываю... Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин.

«Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно остричь моего пуделя, только заранее предупреждаю: он никого к себе не подпускает. Если искусает, я не отвечаю».— «Ничего, не извольте беспокоиться».

Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит,— и та боится.

«Дайте мне, говорю, мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтоб никто мне не мешал?»

---

[1] Чтобы быть красивой, надо страдать (*фр.*).

Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так: «Что тут за шум?» Да как ахну полотенцем мокрым по стене! Пудель очень даже этому удивился. Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он все сидит и удивляется. Горничной интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал. «Кто это там? — говорю кротким голосом.— Не мешайте, пожалуйста».

И остриг. Пять целковых получил за это дело... Никогда не нужно бить собаку, чтобы например, отучить гадить,— особенно плеткой. Всего больше собака боится — шуму. Скольких я отучил! Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать, куда следует. В один раз отвыкнет.

Да! Много случается видеть!.. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же: сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая,— вы бы ее за три сажени обошли кругом. Принес я ее, дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать! Сама плачет, заливается. Вижу, тут можно делов наделать. Послюнявил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю: «Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная! Как будто у самого меня дите померло!» Она заливается, а я стою, нос себе утираю да рожи строю. «Ваше сиятельство! Уж не говорите! До чего мне даже тяжело,— что же вам-то!» Она говорит: «Можете вы с нее лапочку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапочка мне осталась на память?» — «Это,— я говорю,— можно».— «И потом: я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части».— «Это тоже можно. Не мое это, собственно, дело, но для вас... Опять же и для собачки,— потому уж очень я ее полюбил... Можно будет, не извольте беспокоиться!» — «Гробик чтобы обить голубым атласом... Сколько все это будет стоить?» — «Десять рублей чучельнику, три рубля чухонцу, чтоб отвез гробик,—здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик, чтобы был вполне приличный, все прочее — рублей пятнадцать...» А сам думаю: «Дай ты мне, дура, в морду

за мое замечательное нахальство!» — «Ну, говорит, вот вам тридцать пять рублей».

Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил, а деньги в карман. Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет — убирайся в больницу! А для паршивой собачонки что готова делать!.. Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга.

# III

## 1

## НОЧЬЮ

Начало июля. Полная луна. Черные тени от деревьев и строений на травке двора. Сухо серебрится даль.

Близ запертого на ночь крыльца барского дома сидел черный пес Цыган и надрывно выл. Перестанет на минутку, прислушается, начнет лаять и кончает жалующимся воем.

В окне дома зажегся огонек. Раскрылось окно, высунулась седая голова Федора Федоровича. Он крикнул сердито:

— Пошел ты! Цыган!

Молчание.

— Цы-ыган!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Цыган вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то очень горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

Дверь крыльца раскрылась. На двор вышел Федор Федорович в халате, с палочкой; за ним гимназист Боря. Федор Федорович жалким, заискивающим тоном говорил сыну:

— Знаешь... что это? Посмотри-ка... Собака тут воет. Так странно!

Боря ответил хриплым от сна голосом:

— Не пожар ли где-нибудь?.. Нет, зарева не видно. Чего это он? Цыган!

Цыган, виляя хвостом, подошел.

— Болен, должно быть, — сказал Федор Федорович. — Нет, нос холодный, изо рту не пахнет... — И, помолчав, прибавил со стыдящеюся улыбкою: — А ведь это, говорят, дурная примета, когда собака воет. К покойнику.

— Другие собаки ушли с работниками на ночное, к стогам, а Цыган тут остался. Вот он и воет.

— А другие собаки с работниками ушли?

— Они всегда с работниками на ночь уходят. А Цыган тут случайно остался. — Боря зевнул, поежился от холода. — Ну, я спать пойду.

И ушел. Федор Федорович тоскливо огляделся. Цыган снова завыл. Маленькое окошечко около крыльца открылось, выглянула старуха няня Матрена Михайловна.

— Барин, вы это?

Федор Федорович обрадовался:

— Это ты, Матрена Михайловна! Вот тут всё... Так странно! Собака воет.

— Я вот тоже все лежу, слушаю. Думаю: с чего это так собака развылась? Не к добру это.

— А это что значит, когда собака воет?

— Разное значит. Если носом кверху воет, — к пожару, если книзу носом,— к покойнику. Если ямы собака роет, — тоже к покойнику.

— А скажи... вот, ты говоришь: к покойнику. Мало ли у нас тут народу. Кому же это она воет, собака?

Матрена Михайловна насторожилась.

— Да уж, понятно, — не гостям станет выть собака или там прислуге. Из хозяев кому-нибудь.

— Ну, матушка, это вздор! Так уж собака все разбирает!

Собака опять завыла. Федор Федорович тоскливо огляделся. Матрена Михайловна, помолчав, заговорила:

— Я у Елагиных крепостная была, девушкой. Так за неделю до его смерти всё собаки ямы рыли. Тоже самовары на разные голоса шумели. Барский дом большой был. На одной половине господа жили, а на другой прислуга: лакеи, казачки, мы — девушки. Вот раз вечером барин вышел в коридор, а там лестница была на чердак. Вдруг кто-то белый ему с лестницы навстречу и обнял. Пришел барин к нам, спрашивает: «Кто

сейчас на чердак ходил?» — «Никто». Взял лакея с фонарем, смотрит — и дверь-то на чердак заперта на замок. А через три дня барин помер.

— Кто же это был?

— Ну, значит... за душой его приходил.

Федор Федорович спросил с глупой улыбкой:

— Ангел, что ли?

— Да уж кто там ни на есть... Зачем ангел? Смерть.

Помолчали.

— А все-таки, матушка, ты это вздор говоришь. Не может собака того разбирать, хозяин ли помрет или там, например, прислуга.

Матрена Михайловна враждебно поглядела на барина.

— Как это так, — не может? Очень, батюшка, хорошо может!

— Нет, не может! Вот, может, ты как раз и помрешь!

— На все божья воля, на все божья воля! А только не станет барская собака для прислуги выть.

Федор Федорович сердито смеялся.

— Какой вздор! Какой вздор! Почему не станет? Что за предрассудок! Очень просто, может выть и на тебя.

— Не-ет, не-ет... Боже сохрани! Этого не бывает. А ну вас, и слушать вас не хочу, господь с вами!..

Она поспешно закрыла оконце. Федор Федорович поднимался на крыльцо, стукал палкой по каменным ступенькам и говорил, фыркая:

— Ишь что придумала! Хэ-хэ! Собака может знать, на кого воет,— на барина или на прислугу! Вздор какой! Может, на меня, а может быть, — и на тебя!

## 2

## ПОХОРОНЫ

Помещик, отставной корнет, прокутил два имения. От дальней тетки получил в наследство еще одно. Приехал из Москвы с восемью прихлебателями. Под Николин день (зимний) пригласил причт отслужить молебен. Отслужили. А потом всех их напоил мертвецки.

Дьякон ползком добрался до дому. Ударили утром к заутрене. Дьякон пришел с трещащей головой. Сходится народ. Священника нет. Ждали, ждали,— нету. Дьякон сообщил, что вчера пили у помещика. Церковный староста и несколько крестьян пошли к помещику.

Сидит в халате, курит трубку. Отрывисто:

— Чего вам, братцы?

— Батюшка не у вас?

— Нет.

— Где же он?

— Помер.

— Как помер?

— Ну, как!.. Как помирают? Так и помер, как помирают.

Помолчали, мнутся.

— Где же он?

— На кладбище похоронен.

— Шутить изволите?

— Зачем шутить! Пойдите сами, посмотрите. От ворот направо, в самом углу.

Пошли. И правда: в правом углу свеженасыпанная куча снега. Отрыли, — в деревянном ящике храпит мертвецки пьяный поп.

Накануне вечером упаковали его в ящик, помещик надел его ризу, пошел вперед с кадилом, за ним прихлебатели несли ящик с телом. Отпели, сколько знали, панихиду и зарыли в снег.

3

Приехал в Петербург помещик посоветоваться с доктором: случился у него легкий ударчик. Пришел от докторов к приятелю, швырнул фуражку в угол и мрачно зашагал по комнате.

— Не стоит жить!

— Что так?

Остановился, закурил трубку, раздвинул ноги и стал отсчитывать по пальцам:

— Не курить, особенно трубку! Много не есть! После обеда не спать! И — ничего не пить спиртного! Вместо этого пейте, говорит, молоко. Я молока, говорю, не переношу, меня с него пучит. — Прибавляйте в него коньяку.— Сколько?! — Двадцать... к-капель!..

4

## В КАБИНЕТЕ ПОМЕЩИКА СРЕДНЕЙ РУКИ

— Продана рожь, говорите? Эх, жалко! Владимир Аркадьич, а вы мне продайте.

— Я же вам говорю: продано.

— Продано? Ладно. Ну и кончено. Больше никаких!.. А вы возьмите две копейки лишних.

— У меня нет ржи, Иван Васильевич.

— Хэ, хэ! Как такое нет? Это вопрос. Вы купчую сделали?

— Условие подписал.

— Сколько задатку взяли?

— Шестьдесят рублей.

— Возьмите с меня сто двадцать.

— Я свое слово выше ценю.

— Ну продайте мне что-нибудь. Овес есть?

— Овес есть, двадцать четвертей.

— Ну что же это: двадцать четвертей!.. Продайте рожь. Почем хочешь, на твоих условиях.

— Я же вам сказал: у меня нет ржи.

— Что же это? Пятьдесят верст ехал, чтоб ничего не купить! Это вопрос! Это вопрос! Владимир Аркадьич, итак: вы мне ничего не продадите? Продайте рожь. Говорите цену, какую желаете.

— Сто рублей четверть.

— Хэ-хэ! У вас, стало быть, продано?

— Продано.

— Ху, чудно!

— Чудно то, что вы торгуетесь, когда я говорю, что продано.

— Ну, извините... А, это овес! Дурной. Сколько же отпустите?

— Сто пудов.

— Почем?

— Сорок копеек.

— Владимир Аркадьич, да вы поглядите, какой овес! Вы только поглядите, пожалуйста!.. Мелкий, сорный! Что вы? Послушайте, тридцать копеек. Получайте деньги!.. Владимир Аркадьич, продайте рожь!

— Я же вам говорю, Иван Васильевич,— я уже продал.

— Сам хозяин и вдруг — продал! Это еще вопрос! Вы меня спросите. Я что угодно могу продать.

— Будет вам разговаривать! Я вам в последний раз говорю: ржи у меня нет.

— А, нет! Ну, извините, что обеспокоил! Премного вам благодарен. До свидания!

5

## ЗА ВИНТОМ

У помещика играли в винт. Партнер его, земский врач, заказал большой шлем без козырей. И сели без пяти под хохот контрпартнеров. Помещик, разъяренный, врачу:

— Да-с, батенька мой! В винт играть — это не медициной заниматься! Чтобы в винт играть, надо дело — п-о-н-и-м-а-т-ь-с!

IV

1

## ГРЕХ

Дядя Семен в солдатах служил, а батя мой дома хозяйствовал. Был он много постарше Семена, и были они неподеленные. Жена Семена Агафья жила в Тулице, в прислугах у сидельца казенной винной лавки.

Вот раз поехали мы с батей в Тулицу бычка продавать. Тридцать верст от нас. Заехали к Агафье. Закраснелась вся. Стала нас чаем поить. Села, а сама все словно хоронится, животом к столу приваливается.

— Дайте, говорит, мне пачпорт. В Москву поеду, тут мне больше нельзя.

А у самой слезы, слезы...

Отец подумал и говорит:

— Вот с нашими посоветуюсь, может, что и удумаем.

Вернулся домой, всех созвал и про бабу рассказал:

— Уж плачет, плачет как!

Бабка говорит:

— Что ж теперь плакать. Надо как-нибудь бабу выручать. Мы все молотить пойдем, а ты поезжай.

— Нет,— отец говорит,— лучше поеду, как темнеть станет.

— Как темнеть станет, тебе уж назад обернуться надо. Нет, вот мы пойдем молотить, а ты собирайся, словно за дровами; а как стемнеет, тут ты с нею и вернешься, никто ее и не увидит. А потом пачпорт справим, пущай в Москве родит.

Так и сделали. Только соседка, бабка Александра, увидала. Стала под окнами нашими похаживать.

— Что это, Агафья приехала? Чего же она с вами молотить не ходит?

А наша бабка ей:

— Только приехала, сейчас и в молотьбу! Пущай отдохнет.

Агафья сидит и руки повесила и голову.

— Все одно, говорит, уж не схоронишься!

— Ну, когда не схоронишься, тогда и молоти, а пока не знают, нечего показываться.

Поехала бабка с батей, справили ей пачпорт, отправили в Москву. Через две недели она родила. Пишет: «Больно девочка хорошенькая, приезжайте посмотреть». Бабка и поехала.

Воротилась.

— Уж то-то хороша-то девочка! Баба убивается: ни за что в вошпиталь[1] не хочет отдавать. Совета просит.

Отец говорит:

— Ну-ка я поеду, посмотрю.

Поехал. И вправду, девочка хорошая. Крепенькая такая, здоровенькая. Тут он Агафье присоветовал:

— Напиши мужу, что он тебе скажет.

Она и написала. А дядя Семен сперва у нас справился,— правда ли девочка хорошая? Как ему ответили, то он жене и пишет: «Если ты эту девочку в вошпиталь отдашь, то не жена ты мне больше. Если же ее при себе будешь растить, то я тебе все прощу».

Вот прошло сколько-то времени, два ли, три ли го-

---

[1] Воспитательный дом. *(Прим. авт.)*

да. Отслужил дядя в солдатах, сколько надобно, под рождество воротился домой. А жену его перед праздниками с места не отпустили: «Справь праздники, тогда и домой поедешь».

Все веселый был дядя Семен, а потом стали мы примечать, что как придет, сейчас на печь, ни с кем слова не скажет. Все вечера у Серегиных сидит. Тут Аленка нам сказала:

— Что вы его к нам пущаете? Бабка Александра его только расстраивает. Оттого, говорит, твоя жена не едет, что опять брюхата.

Стала ему бабка наша говорить, мать его. А он на нее:

— Потатчица ты, потаскух разводишь!

Прошли праздники. Жена его едет. Подъезжает, Он ни с места. Мать говорит:

— Ступай, ступай, твоя жена едет.

А он:

— Невестки встренут!

Вошла Агафья. Глядим: одна. Семен молчит, ничего не спрашивает. Нам неловко. Вышел он. Батя говорит:

— Девочка-то где ж?

— Померла. Как ему прийти, тут и померла.

Стали на ночь все разбираться. Агафья мне и говорит:

— Боюсь я с ним остаться: ну-ка бить начнет! Девонька, ты под дверьми послушай!

— Он те послушает!

— Ничего! Двоим-то словно не так страшно.

Ушли они вдвоем в холодную избу. Стала я под дверьми и слушаю. Он говорит:

— Ну, сказывай, сколько без меня ребят родила?

— Двоих: девочку да мальчика.

— Где ж они?

— Померли.

— Врешь!

— Вот те владычица небесная, не вру.

— Показывай запись, где похоронены.

Она пошла в сундук, достала, показала. Все рассмотрел.

— Ну, хорошо, что у тебя все в порядке, а то я думал: коли без ребят приедешь, коли в вошпиталь их от-

дала, поворотил бы я тебя от двора назад за ребятами...

Так все по-хорошему у них и кончилось. И бить ее не стал.

2

## КЕНТАВРЫ

В святки у нас на посиделках в карты играют, в монахи. Поздно расходятся. Нам страшно возвращаться. Мы, бывало, все отца просим:

— Папашенька, приди за нами. Барских собак боимся.

— Я и так устал, а еще за вами ходи.

Однако заходил, только рано, часов в двенадцать.

Под Новый год гадают. Ходят с чашкой к проруби, оттуда воду черпают и в чашку кольца бросают. С каждой песней вынимают по кольцу. Чье кольцо, тому то будет, что в песне поется.

— Папашка! Ты не знаешь, когда гадать станут. Лучше ты сегодня за нами не приходи. Мы сами придем.

Пели, играли. Стало поздно. Видим, ребята меж собой шушукаются. А ребята у нас — не дай бог, озорные. Ночью девка им не попадайся на улице.

Я говорю Дашке, сестре:

— Дашка, как бы чего не вышло! Уйдем потихоньку, нас и не заметят.

Вышли да прямо огородами, целиной, побежали к дому. Добежали до нашего одонья, спрятались туда, откуда батя старновку таскал, как крышу перекрывал.

— Давай, говорим, тут сидеть, поглядим, что на улице будет.

Вдруг толпа парней в проулок завернула, остановилась у Степановой избы. Василий Михайлин говорит:

— Вот что, ребята! Не мешать! Либо кузнецовскую Ульяшку, либо Параньку барскую, либо Наташку Федосьину поймаю и поймаю. Одна из них моя будет. Не хотят за меня замуж идти, а тогда сами проситься станут.

Дашка меня локтем в бок:

— Слышишь, Ульяна?

— Поймает! Вот она, я-то!

— А я — Дашку Кузнецову,— Федька Федосин говорит.

А Дашка мне в ухо смеется:

— Как же! Так я тебе и далась! Как шибану, так с ног и слетишь!

А Федька Федосьин на ноги слаб. Прошка Серегин сказал:

— А я себе Катьку Коломенскую ловить буду.

Алешка Баландин Ваське Михайлину говорит:

— Ты девку Кузнецову (это меня, значит) не трожь. Она за тебя не хочет идти, а за меня, может, пойдет.

— Вот чертюка! Да ты с нею не справишься, она тебя заколотит! Ты себе Феньку лови, она тебе пара.

— Все одно! Хошь ты ее и поймаешь, она за тебя не пойдет. Я ее возьму.

— Врешь, тогда не возьмешь: людей стыдно будет.

— Чего стыдно? И ей я скажу: знаю, мол, что тебя силом взяли, и твоей вины тут нет. Все, как было, ей и расскажу.

А Сашка Чапельник говорит:

— Ребята, ведь за такие дела и в Сибирь засылают!

— Хо-хо! — Все засмеялись.

— Дура была девка на саму себя показывать!

Тут они пошли на улицу и стали с девками заигрывать. Какие девки посмекалистее, сейчас же стали по избам расходиться. Василий Михайлин видит, что девок уж немного осталось,— давай Параньку ловить. А Паранька — резвая на ноги: как пустится к барскому дому! Он за ней, да никак схватить не может. А нам все из нашего одонья видно,— хоть за тучками месяц, а тучки-то светят. У ворот стал он ее настигать: девка в снегу вязнуть стала. Вдруг из ворот батя мой; он тогда у барина в рабочих старостах служил и отчет ему сдавал. Васька и повернул назад. Паранька стоит, никак отдыхаться не может. Батя потом рассказывал,— говорит ему:

— Дядя Илья, уж стыдно мне до чего, что ты видал, как ребята за мной гнались!

А он ей:

— Ты благодари бога, что повстречалась со мной.

А на улицу поглядеть,— вихрь! Девки мчатся кто куда, парни за ними. Васька от барских ворот вернулся да за Наташкой припустил. Та — шасть в первые сени.

— Тетка Прасковья, дай попить! Что это пить захотелось.— А сама дрожит вся.— Как холодно! Озябла! — Бледная.

Прасковья домекнулась.

— Ты разденься, говорит, погрейся, я тебя потом провожу до двора.

Наташка потом сказывала:

— Уж я рада как была, что Прасковья меня приголубила!

Вдруг видим, Катька мимо бежит, а за нею следом Прошка,— большой такой, плечистый. Поймал. Она завизжала, а он ей:

— Кричи, кричи,— себя же срамишь! Все знать будут. А мне не стыдно, я мальчик.

Она на ласку перекинулась:

— Прошенька, миленький, не губи ты меня!

— Говори у меня!

И потащил ее в проулок, к Степановым ометам. Что делать? Выскочить, на помощь кликать — самих же нас парни поймают. Лежим в соломе, дрожим и потихоньку плачем. На улице тихо стало, собрались мы вылезать. Вдруг слышим в проулке говор. Прошка с Катькой идут от ометов. Уж она-то плачет, заливается. А он ей:

— Чего плачешь? Как приду из солдат, сватать тебя стану.

Вот пришла весна. Пошли мы к мельнику на работу, плотину прудить. Мы с Катькой копаем землю. Понемножку из ямы, где землю копали, на луг выбрались, отошли от людей. Я Катьке и говорю:

— А вышла ты, Катька, всех девок розеватей!

— Чем я розеватая?

— Уж говори там. Небось мы все видели, знаем.

— Что вы знаете?

— А то! Говорили все: Катька Коломенская всех провористее, а вышла она всех девок розеватее.

— Да что вы видели? Спрятались где?

— Тогда, святками еше, на улице.

— Уу-у!.. Девушки! Неужели видели? Где ж вы были?

— В одонье нашем спрятались.

— Девушки, не сказывайте никому!

— Кабы сказывали, все бы уж знали. Ты видела, все девки расходиться стали. И тебе бы тогда идти нужно.

— Я нешто хотела. Уж как я плакала, как плакала тогда! А он божится, что, как из солдат придет, женится на мне.

— То ли женится, то ли нет.

— Верно, девушки, верно! А только что же я теперь могу!

У самой слезы на глазах.

— А может, говорим, и вправду сватать станет. Что ж плакать, слезами не поможешь.

А Прошке осенью жребий в солдаты не выпал, он домой и воротился.

— Что ж, говорит, дом мой бедный, а у Катьки всего много напасено: и одежи и обужи. Буду ее сватать.

Сосватал и женился. Счастье ее, что много себе приданого припасла. А то бы нипочем он на ней не женился.

3

## ВЕЛИКОДУШНЫЙ

Когда уходил я на действительную службу в солдаты, то оставил за себя дома работника. И наказал ему, чтобы приглядывал за моей женой, и если что, то отписал бы мне. Вот прошло два месяца, он мне и пишет: «Кланяюсь вам и докладываю, что супруга ваша Степанида Зиновеевна связалась со мною и очень в меня влюбилась». Сильно я стал горевать после этого письма, начал водочкой заниматься. Жене перестал писать, только матери моей пишу, а жене даже поклониться не наказываю. Прошел год, отпросился я на побывку. Как подъезжал к селу, попросил ямщика — пусть лошади отдохнут, поезжай шагом, а к крыльцу подкати лихо. Дело было под Рождество. Подкатил с

шумом, со звоном, братья выбежали встречать, сняли шапки. Думали — урядник: я был закутамшись в тулуп. Узнали, стали здороваться. Работник побежал бабам сказать. Работник уж другой был, того прогнали. Бабы вышли, только жены нет. Я не спрашиваю. А уж был я сильно выпивши, для смелости. Наконец вошла она в избу, бледная, на меня не смотрит. Поцеловался с нею, жду, что будет. Сватья пришли, знакомые. Сели. А она все кругом ходит. Мать ей говорит:

— Что ж ты, Степанида, не сядешь рядом с мужем?

Сват подвинулся, дал ей место, она села. А я отвернулся, как будто ее и нету,— и ни слова. Ушли все. Я хожу и посвистываю, молчу. Она:

— Где постель тебе стлать, Петрович?

Я как будто не слышу, хожу мимо и посвистываю. Она опять спрашивает. Крикнул на нее:

— Не знаешь, где стлать? Где всегда спали?

Постелила. Легли. Я к ней спиной повернулся, так и заснул.

Три дня разузнавал, правду ли работник написал. Ну, не подтверждается. Позвали меня мужики в трактир. Я ей велел, чтоб ждала меня у трактира. Сидим, выпиваем. Гляну в окошко: стоит у крыльца: мерзнет, ногами топает.

Сват мне говорит:

— Неправильно ты, Иван Петрович, на Степаниду думаешь. Ну, размысли сам: если бы связался с нею тогда работник,— зачем бы он тебе об этом стал писать? И удовольствие бы от нее получал, и всячески бы она его ублаготворяла. Не иначе, я думаю, что отшила она его от себя, а он по злобе тебе и отписал.

Я себя по лбу ладонью хватил:

— А ведь верно! Как же это я сам не догадался!

И так-то легко у меня стало на сердце, весело!

Стало темнеть. Мы пошли из трактира. Она к нам спиною стоит,— повернулась от ветра. Мы потихоньку за ее спиною и прошли. Я обежал трактир и из-за угла подсматриваю, смеюсь: стоит, переминается с ноги на ногу. Я ушел домой, от веселости еще с час ее так продержал, потом подошел:

— Где ты была? Я тебя час целый по всей деревне хожу ищу.

— Я тебя тут ждала.

— Как же тут ждала, когда я тебя не видал, а?

После этого стал ее к себе допускать. Теперь хорошо живем, нечего бога гневить.

4

## «БОГ СОЕДИНИЛ»

Были замедленные встречи у колодца весною, когда из темневшего барского сада несло душистым тополем и цветущей черемухой. Были потом возвращения с посиделок зимою, когда шли они вдвоем под одним тулупом и она сладко отдавалась его поцелуям и горячим ласкам. Потом поженились, и два года прошло, как счастливый сон.

Но земельный надел был малый, для обработки его хватало сил одного старика свекра. Брат его, живший в Петербурге, устроил ее мужа артельщиком. Стал он порядочно зарабатывать, подавал домой. А потом, как часто бывает, когда долго живут врозь, стал он подавать все меньше, сошелся там с другою женщиною, написал жене: «Я тебя больше не знаю» — и совсем перестал подавать. Тогда старики не захотели больше ее держать.

Поступила она в городе Веневе в прислуги. Тосковала о муже, о былом счастье. Подвернулся ласковый парень, нежно слушал ее, сочувствовал. Она — больше из благодарности — уступила его настояниям, хотя сама мало от этого испытала радости: совсем не то это было, что раньше с мужем — даже странно, до чего было иначе. Забеременела. Тогда парень перестал быть ласковым и исчез. Деваться было некуда, все отшатнулись. Барыня брезгливо дулась и качала головою. Пересиливая себя, она работала до последнего часа. Уже с родовыми схватками ставила вечером самовар для господ. До крови раскусала губы, чтобы не кричать. Ночью ушла на двор и рано утром родила ребенка в отхожее место. Конечно, сейчас же нашли. Ее арестовали. Судили. Присяжные оправдали: она утверждала, что ничего не помнила. Подруге потом рассказывала: «Присяжные поверили; а я и вовсе все

помнила». После того долго еще чудился по ночам плач и писк захлебывающегося в яме ребенка.

Переехала в Москву. Опять поступила в прислуги. Радостно и гордо рассказывала, что у нее в Петербурге есть муж. Обзавелась новым любовником. Теперь это для нее стало просто, как воды напиться, когда захотелось пить. Только один еще шаг до проституции. После ужаса родов в отхожем месте все в жизни стало для нее грубым, темным и простым.

Неожиданно приехал из Петербурга муж, отыскал ее, стал просить дать ему развод.

— Ни за что!

Он с месяц жил в Москве, подстерегал, чтоб уличить ее в «прелюбодеянии». Но она стала очень осторожна и не позволила любовнику приходить. Муж просил, на коленки становился, сулил денег.

— Нет, ни за что! Нас бог соединил.

Что это было? Мстительность, злоба? Не мне, так не доставайся никому? Нет. Для нее их действительно соединил бог — бог света и жизни. И ей казалось: если они опять сойдутся, то темная, грубо-простая жизнь опять станет для нее значительной и светлой.

И, может быть, она была права.

5

В земскую больницу поступила родившая молодая женщина с задержавшимся в матке последом. Послед уж разлагался. Врач сказал, что послед необходимо сейчас же вынуть. Женщина решительно отказалась. Привез ее муж, вызванный из Москвы,— кудрявый, усы закручены, цепочка по жилетке, сапоги с гармонией. Фабричный. Он спросил:

— А если так оставить, без операции?

— Умрет непременно.

— Ну и пускай умру! А не дамся!

Муж взглянул на доктора, перемигнулся с ним и сказал:

— Ну что ж! Желает — пускай помирает!.. Я ли не красивый? Я ли не кудрявый? За меня всякая девка пойдет!

И вдруг та:

— Делайте со мною, что хотите!

И, стиснув зубы, вытерпела всю операцию, не издав ни стона.

6

— Как здоровье?

— Плохо. Помирать собираюсь.

— Ну, бог даст, поправишься.

— На бога ноне надежда плохая. Лукав больно. Другой молит, молит,— и так и этак. Нет! Упрется на своем, и все тут!

7

У нестарой еще бабы с шестью ребятами умер от сыпного тифа муж. Она исступленно плачет, проклинает бога:

— Больно уж выстарился, ничего не понимает! Сидит себе и смотрит сверху. Что он может видеть, что понимать? Как я его молила, как просила! Нет, не умолила,— взял! А для чего взял? Сам не знает. Выстарился, творит незнамо что. Взял бы суседа,— восемьдесят лет прожил. Так не! Давай ему молодого! А это ничего, что вдова с шестью ребятами остается? Нет, довольно терпеть! Так бы вцепилась в бороду его седую!

8

— У нас в деревне в церкви — матушка явленная царица. Три года назад, как засуха была, пронесли ее по селу — и сейчас же загорелось. В этом году пронесли — и опять.

— Значит, прогневили ее?

— Старцы через деревню проходили, сказали: есть три души грешные.

9

— У нас в деревне человек один помирал. Священник над ним читал отходную. В это время вдруг младший брат его приехал из Москвы. Упал перед ним на

колени, головою к груди его прижался, плачет. «Вася, говорит, братец мой дорогой!» Так тот после этого восемь дней криком кричал,— уши себе рвал руками, ноздри. Пальцы в рот запустит и щеки себе рвет, никак помереть не мог. Пришел один старичок знакомый, посмотрел — помешали, говорит, помереть.

10

Киево-Печерский монастырь. Внизу зеленого откоса с бесконечными лесенками, под огромными вязами,— Почаевский колодезь с навесом. Всюду цветут вишни, в бойницах монастырской стены синеет Днепр. Около колодца несколько иссструганных дубовых колод. Близ каждой по нескольку женщин соструганвают с них перочинными ножами стружки.

На одной из колод сидела баба средних лет с костылями. Тамбовская. Зипун, синяя понёва. Лицо плакало, рот некрасиво расширялся, слезы текли по носу и подбородку. Рассказывала:

— Первые сто верст шла от своих мест, как играла. А потом,— продуло, что ли,— ноги и отнялись! Доехала кое-как на машине, а от вокзала сюда три версты на карачках приползла. Две недели в печерской больнице пролежала. Вот только сегодня как будто чуть-чуть полегчало, приползла сюда. Говорят, от стружечек этих святых большая бывает помощь.

Стоял и смотрел молодой купец с красным затылком, в лаковых сапогах и длиннополом сюртуке. Спросил:

— Это вы для чего колоду стругаете?

Одна из стругавших ответила:

— Знаете, по деревенскому обычаю: зубы заболеют или что, стружечку святую приложишь — и пройдет. Лекарства покупать достатку у нас нету. Вот мы больше святостью и лечимся.

— Ну да! — подтвердила другая.— Скажем, дитя заболеет. Обкурить его этой щепочкой вместе с ладаном — и все пройдет.

Молодица с лукавыми глазами засмеялась.

— Вот! Одна начнет скрести, за нею другие следом... Не знают сами, что делают!

Купчик авторитетно стал объяснять:

— Тут вера помогает, а не стружки. В Твери у нас было: купчиха одна сильно очень животом маялась. Доктора никак пособить не могли. Вот послала она кучера своего к святому Нилу Столбецкому настругать стружек с его столба святого, на котором подвизался. А кучер себе и говорит: «Лучше же я это время в трактире на большой дороге просижу, а стружек можно где хочешь достать». Настругал стружечек мелких у старого колеса, привез. Женщина съела — и выздоровела. Отчего же она выздоровела? От колеса? От ве-еры!

Баба, сидевшая на бревне, жадно слушала и качала головой.

— Вот видишь, помог, значит, святитель!..— И с глубоким, истерическим вздохом произнесла:— Все святые преподобные, молите бога за меня, грешную.

Перекрестилась, наклонилась к колоде и стала ее стругать.

## 11

Эта же женщина рассказывала:

— Дочь у меня тридцать недель была горбатая и без ног: раз отец послал ее в сундук за табаком, она посклизнулась и спиной ударилась о стенку сундука. С тех пор взялась хиреть, взялась хиреть. Возили по докторам. Никакой пользы. Вот раз летом пошла я в поле жать и забыла ей, грешница, водички оставить... Лежит она в сенцах. Вдруг входит странник,— с гумна, значит, прошел через трое ворот. Входит. «Дай, говорит, испить водички! Испить, говорит, дай нищему брату!» — «Я бы и рада, да видишь, сама убогая, а мама в поле ушла, водички забыла поставить».— «Обрекись к тамбовской божьей матери сходить, молебен отслужить,— и встанешь».— «Боюсь обречься-то! А ну как не смогу сходить. С оброком умирать будет трудно».— «Обрекись!» — «Ой, боюсь, батюшка! Оброк-то ведь на второй пришест придется нести,— тяжело будет».— «Обрекись!» Взял свою палочку, сунул ей в руки. «Встань!» Встала и пошла. Сходила к тамбовской божьей матери. И посейчас здорова.

## 12

За Байкалом объявился у нас разбойник один, казак Гришка Фомин. Богачей грабил, а простому народу помогал. Ловили,— никак не изловят, лошадей под ним убили без счета, а самого пуля не берет.

Я спросил:

— Почему?

Один из слушателей, как на глупый вопрос:

— Слово знал.

— Да. Раз едет мужик, везет бочку дегтю — на ярмарку, продавать. Вдруг из кустов Гришка. «Знаешь, кто я?» Мужик поглядел, обомлел. «Знаю»,— говорит. «Ну, вот что: вынь затычку и поезжай, а я за тобой следить буду». Нечего делать. Выдернул мужик затычку и поехал. Деготь льется на дорогу. Весь вытек. Чего же дальше ехать? Завернул мужик лошадь и поехал назад. Вдруг опять из кустов Гришка. «На много ли товару сгубил?» — «На четвертную».— «На, получай пятьдесят». И уехал... Все его боялись. Иной раскуражится, скажет: «Эх, попадись он мне,— я бы ему показал!» Гришка это сейчас узнает...

— Ну да, переводчики, значит, у него всегда есть.

— Да. Чуть стемнеет,— подъезжает к избе, стучится. «Эй, выходи!» — «Кто там?» — «Ты, говорит, Гришку Фомина хотел видеть, так вот он я». Тот в ноги: «Помилуй!» Донесли в Петербург, что пуля его не берет, от царя приказ пришел: поймать живьем, в Петербург привезти. Но ничего не вышло. Народ ему помогал, не поймали.

## 13

## НА ПОЖАРИЩЕ

Уже в начале августа иногда бывает: солнце печет, а в тени холодно, ночи же — совсем студеные. Под вечер я был в Занине. Неделю назад оно сгорело. Перед тем долго была сушь и жара, народ весь был в поле, загорелось днем при сильнейшем ветре. В полчаса всю деревню как слизнуло языком.

Стояла деревня на обоих отлогих склонах лощины. Теперь это было широкое пространство, ровное, как

ток, усеянное мелким пеплом, и только закопченные печи стояли горбатыми уродами. Сзади — ивы и березы с рыжею, сморщившеюся листвою. В гору — коноплянники, тоже вначале рыжие, обгорелые. На маху несколько уцелевших риг. Из ручья торчат обгорелые столбы моста. Плотина тоже сгорела, пруд убежал.

У сложенной из кирпичей печурки — сухая старуха в рваной ситцевой юбке и кацавейке, со слезящимися глазами, молодая девка и двое мальчиков. В котелке что-то кипит.

— Хлеб вы уже убрали?

Старуха ответила громким, равнодушным голосом:

— Убрали, свезли — и пожгли!

Я с недоумением огляделся.

— Где же вы теперь живете?

— В риге дрожим. Ночи-то холодные, одежа вся погорела, подостлать нечего, покрыться нечем. Лежим друг возле дружки и дрожим!

Говорила она все так же громко и равнодушно, поучающим голосом, как будто читала лекцию. Подошел мужик с русой бородой, в серой поддевке.

— Отчего загорелось?

Мужик ответил:

— Кто ж его знает!

А старуха сказала:

— Шпитонок, говорят,— значит, из воспитательного дома,— стал ребятам показывать, как пчел выкуривают.

— Ну, бабы болтают,— тоже, верить им! Одна мелет, другая подлыгает.

Говорил он тоже спокойно, с легкой усмешечкой.

— Страховку вы получите?

— Ну как же! Получим! Богато получим,— от сорока до восьмидесяти рублей! А у Семибратова купить,— один сруб семьдесят два рубля стоит. А погорело-то ведь все — колеса, хомуты, одежа, телеги, сани,— лошадь обротать нечем! Прольешь — не подгребешь. Все ведь новое надо заводить.

Подошло еще несколько мужиков.

— Ну, а бочки, багры,— это все у вас было?

Первый мужик ответил:

— Самое это, я вам скажу, пустое дело — багры! Ведра,— больше ничего не надо.

— Почему?

— А потому. Моя вон изба: всю ее баграми растащили. Заплатить мне за нее ничего не заплатят,— не сгорела, а чем мне лучше, нежели другим? Все побили, поломали, порвали...

— Так ведь из леса опять можно избу сложить.

— Как ее сложишь? — заметил другой.

А первый продолжал:

— Изба-то ведь жилая была, гнилая,— тронули — и рассыпалась! Эх, бра-ат!.. Вот теперь и иди по миру, ни копейки ведь мне штраховки не дадут.

Постепенно он начинал говорить все взволнованнее, губы запрыгали, на глазах выступили слезы.

— Я на багор ругаюсь,— зачем инструмент этот такой вредный! Пускай уж, гори все подряд! Пропадай пропадом! Зачем же они мне жизнь мою изломали?!

И из груди его вырвалось короткое, глухое рыдание.

Подошедшие мужики стали рассказывать про пожар:

— Горело так, что в Марьине было жарко стоять. Из губернии запрос: «Что там такое жарко так горит?» И телеграммы об нас: «Занино! Занино!» Так со всех сторон и забирало. Прибежали с поля, бросились спасать,— куда тебе! Вихорь так и рвет, так и крутит,— со всех трех сторон охватило. Только и выходу, что к пруду. Так было жарко,— вода в пруде закипала. Сундук в воду бросили,— он плавает, а верх горит. Одна баба сгорела, другую, в огне всю, бросили в пруд, чуть не утопла. На другой день в Ненашеве в больнице умерла, от ожогов.

Третий сказал:

— Ну, да! Ведь свое добро,— жалко! Лезет баба в избу, кругом все горит, волосы на ней трещат, а она вот так рукой заслонится и тащит сундук.

— Много все-таки спасли?

— Куда там! Дай бог самим было живу уйти!

Первый мужик — опять совсем уже спокойный — сказал, смеясь:

— Вбежал я в пруд, кричу: «Дядя Матвей, ведь ты горишь!» А он мне: «Да ведь и ты горишь!» Хвать — ан вправду картуз на голове горит! И оба мы с ним в картузах — нырк в воду!

В холодавшем воздухе стоял дружный смех.

14

## НА ДЕРЕВЕНСКОМ БАЗАРЕ

Становой. Это что у тебя?

— Поросята, ваше высокородие!

— Дурак! Я сам вижу, что поросята! А вопрос — жирные ли?

— Очень жирные, ваше высокородие!

— Дурак! Я и сам вижу, что жирные. А вот — вкусны ли?.. Понял?

— П-понял...

15

Букинисты у Китайской стены в Москве. На картонках надписи:

10 копеек на выбор!
5 копеек на выбор!

Солдат взял огромную диссертацию: «О лечении молочной кислотой женских болезней». Перелистал. Положил, взял другую книгу: «Н. Загоскин. Столы разрядного приказа».

— Полезные книги! Купи,— не пожалеешь! По два фунта весом каждая, а цена за обе — всего двугривенный.

Солдат в колебании смотрел на книги, взвесил на руке. Потом раскрыл кошелек, в колебании заглянул в него.

— Чего думаешь? Покупай!.. В деревню едешь? Вот, на зиму тебе. Лучше не надо! Целый год читать будешь!

Купил.

16

Сапожник. Из промыслового кооператива. Любил выпить, жена все деньги отбирала. Однажды сдал он товар, получил под его залог девяносто рублей. Переправил в квитанции на восемьдесят, отдал ее жене, а десять рублей пропил. Подлог раскрылся, его судили на общем собрании кооператива. Он сказал пламенную защитительную речь.

— Вы все, братцы, знаете, какая моя жинка стерва. Хуже никогда не бывало на свете. Да еще к тому грамотная,— никак ее не обманешь! Господи, уже в гроб скоро, а даже не помню, когда и выпил в полное свое удовольствие! Все отбирает, только пятиалтынный выдает на табак. Для нее, братцы, только и сфальшивил. Все-таки теперь — хоть разок кутнул, как душа требовала. А вы меня судите по совести.

Хохотало все собрание. Простили.

17

## ВЕЖЛИВОСТЬ

Мы сидели с ним на веранде моей дачки за самоваром. После каждого стакана он решительно отказывался от следующего, но пил уже шестой стакан, конфузился, потел и вытирал лысину палевым ситцевым платочком с зелено-красною каемкой.

Я рассказывал:

— Представьте себе, в Давыдове крестьяне в этом году просят за комнату, за которую в прошлом году брали сто рублей,— триста рублей!

— Да неужели?! — изумлялся он.

— Да.

— Двиствительно! Что же это такое?

— Триста рублей!

— Какое нахальство! Скажите пожалуйста, а!

— Кто это мне рассказывал?..— Вдруг я взглянул на него.— Да позвольте... Ведь это же... вы мне рассказывали!

— Я-с!

— Вы?!

— Так точно!

18

## НА ПЧЕЛЬНИКЕ

— Она, пчелка,— ее господь любит. Недаром ей название — божья мушка. День целый работает, старается. Не для себя трудится,— ей самой много ли на-

до? Для человека трудится. Божия коровка, святая тварь.

— А что, дедушка, она тебя не кусает?

— Не-е! Она того жалит, кто бабами займается, а я это дело давно уже бросил. (Отмахивается.) Я этими делами... Шш, ты, окаянная!.. Этих делов я... А сетки я не люблю,— ни к чему она. Первое только дело — не дразни ее... Шш, вы! А-а, погибели на вас нету!.. Ой, батюшки! Чтоб вас разорвало!.. Ой, ой!! В шалаш, подлые, следом летят! Анафемы, будь вы прокляты! А-а, подлые! Словно прорвало их!..

— Что, дедко, видно, погрешил с бабой какой!

— Э, паралик их расшиби! Им это все одно! Они того не разбирают!

## V

### 1

В восьмидесятых — девяностых годах в Петербурге на сцене русской оперы в Большом театре пел тенор Мих. Ив. Михайлов. Голос прекрасный. Но держался он на сцене, как манекен, лицо было плоское и широкое, был очень недалек и невежествен. В «Русалке» пел, ударяя себя ладонью по лбу:

А вот и дуб заветный...

По поводу стихов: «Судите же, какие розы нам заготовил Гименей» — он спрашивал:

— Кто такой этот Гименей? Он в опере не поет.

Ему объясняли:

— Это садовник Лариных.

И Михайлов верил. Теперь, кажется, это стало уже ходячим анекдотом.

Он говорил:

— Вы предо мною промелькнули, как термометр (вместо «метеор»).

Слова текста жестоко перевирал и уверял, что это совсем не важно. Каватина Фауста начинается так:

Привет тебе, приют невинный,
Привет тебе, приют святой!

Михайлов пел:

> Привет тебе всегда невинный,
> Привет тебе всегда святой!

Певица Сионицкая пела в «Русалке» Наташу, Михайлов — князя. Она вокруг него мечется на сцене, а он на нее — ни малейшего внимания. Она ему за кулисами:

— Вы же должны меня обнять!

— Дорогая моя! Никак невозможно! Как я вас могу обнимать? Я — князь, а вы — простая крестьянская девушка.

## 2

В те же годы, на той же сцене, в тех же ролях, что и Михайлов, выступал Николай Николаевич Фигнер. Это был один из прекраснейших певцов-теноров, каких только знала русская оперная сцена. Голос был слабее, чем у Михайлова, тембр его, может быть, не так нежен. Но сравнивать их было просто смешно. Когда Фигнер пел Фауста или Ромео, Рауля или Фра-Диаволо, Ленского или Германа,— такою охватывало поэзией, такие светлые грезы роились в душе, так жизнь становилась хороша, что просто не хотелось разбирать, какой силы его голос и какого тембра. Был он к тому же прекраснейший актер и изящный красавец, манерам которого завидовали великосветские денди. Весь Петербург носил его на руках, билеты на него перекупались у барышников за чудовищные цены.

Он был раньше морским офицером. Рассказывали, что, когда его корабль был в заграничном плавании, он в Италии дезертировал с корабля и остался в Италии. Там учился пению. Его полюбила итальянская певица Медея Мей, взяла под свое покровительство. Он быстро выдвинулся и стал приобретать европейскую славу. Услышал его великий князь Владимир Александрович и выхлопотал ему прощение. Фигнер явился в Петербурге в 1887 году.

Выступления его были сплошным триумфом. Он выступал непрерывно — на оперной сцене, в концертах, в частных домах у вельмож и миллионеров-промышленников и купцов. А голос у него был непрочный. Ему

говорили, что так он скоро погубит его. Фигнер беззаботно отвечал:

— Э! Накоплю двести тысяч рублей, обеспечу себя и тогда поступлю профессором в консерваторию.

И как часто бывает в подобных случаях — беззаботный вызов будущему, а когда придет будущее — неспособность с ним примириться, горькое сожаление о прошедшем. Через пятнадцать — двадцать лет Фигнер голос потерял, но со сцены не ушел. Он стал директором Народного дома на Выборгской стороне, где ставились оперы. Завистливо оттирал сколько-нибудь даровитых других теноров, сам выступал в самых ответственных ролях. И публика, морщась, говорила:

— Опять этот Фигнер!

И смеялась, слушая его безголосое пение. И нам, слышавшим его в расцвете, больно и страшно было за него.

Человек он был нехороший. Заслуженная артистка М. А. Дейша-Сионицкая рассказывала. В восьмидесятых годах она пела на петербургской сцене. Фигнер стал за нею приударять. Она отвергла его домогательства. Он стал ее всячески преследовать. А влиянием он пользовался огромным. Вот мелочь, показывающая, сколько разрешалось Фигнеру. Он носил очень шедшие к нему усы и бородку и в таком виде, в нарушение всякой бытовой правды, пел, например, Ленского.

Фигнер стал систематически отказываться петь с Сионицкой. Заявил, что у нее гнилые зубы и всегда пахнет изо рту. В конце концов Сионицкой пришлось перевестись в Москву.

Однажды ездил в Петербург по служебным делам баритон московской оперы Б. Б. Корсов. Воротившись, говорит Сионицкой:

— Ну-ка покажите зубы!

— Что я, лошадь, что ли?

— Покажите, покажите. Мне нужно... Гм! Настоящие зубы?

— Господи, что это! Конечно!

— Прекрасные зубы!.. А ну-ка дохните на меня!

И рассказал ей, что в Петербурге у него произошел такой разговор с директором императорских театров И. А. Всеволожским. Тот его спросил:

— Как у вас там с Сионицкой?

— Ничего.
— Можете с нею петь?
— Отчего же нет? Пою.
— А изо рту у нее не пахнет?
— Не замечал.
— Да ведь у нее зубы гнилые.
— Приеду в Москву, посмотрю.

Когда Сионицкая была в Петербурге, она поехала к Всеволожскому объясняться и в заключение сказала:

— Я очень хотела бы поцеловать вас и укусить, чтобы вы убедились, что изо рту у меня не пахнет и что зубы у меня не гнилые, а очень крепкие.

Всеволожский галантно ответил:

— На первое я с удовольствием бы согласился, но на второе — нет.

3

Было это в конце 1898 года. Я служил ассистентом в Барачной больнице в память Боткина. Жена моя несколько уже лет была больна тяжелым нервным расстройством: неожиданный звонок в квартире вызывал у нее судороги, у нее постоянные были мигрени, пройти по улице два квартала для нее было уже большим путешествием. Мы обращались за помощью ко многим врачам и профессорам — пользы не было. (Через двадцать пять лет оказалось, что все эти явления вызывались скрытой малярией.) Один из товарищей моих по больнице рекомендовал мне обратиться к профессору нервных болезней В. М. Бехтереву — европейски известный ученый, прекрасный диагност.

Мы отправились к нему. Прием был очень большой,— наш номер, помнится, был двадцать второй. Наконец вошли в кабинет. Приземистый, сутулый человек, со втянутою в плечи головою, с длинными лохматыми волосами, падающими на лицо. Глаза смотрят недобро и с нетерпением.

— Что болит?

Жена стала рассказывать о своей болезни. Он прервал, провел рукою по ее спине, нажимая пальцем на позвоночный столб, и спрашивал: «Больно?» Потом, не расстегивая шелковой кофточки, приложил стетоскоп к груди жены, бегло выслушал и сел писать рецепт.

— Будете принимать три раза в день по столовой ложке и берите каждый день теплые ванны... Когда кончите лекарство, придите снова, только не забудьте взять с собою рецепт.

— Я взглянул на рецепт: Infus. Valerianae, Natrii bromati...

— Господин профессор! Жена всех этих валерианок и бромистых натров приняла уже чуть не пуды!

Профессор раздраженно ответил:

— Медицина для вас новых средств выдумать не может.

Я вручил ему пятирублевый золотой и пошел с женою вон. Он вдогонку еще раз напомнил, чтобы в следующий раз мы не забыли взять с собою рецепт.

Жена, выйдя на крыльцо, горько разрыдалась. Я был поражен: вот так исследование! Профессор ни о чем жену не спросил, не спросил даже, замужем ли она, есть ли дети, какими раньше страдала болезнями. Даже фамилии не спросил и не записал. Стало понятно, почему он так настойчиво напоминал, чтобы в следующий раз принести рецепт,— иначе бы он не знал, что прописал и что прописать.

Я так был возмущен, что, придя домой, немедленно написал профессору письмо приблизительно такого содержания:

Милостивый государь,

г. профессор!

Жена моя уже несколько лет страдает тяжелым нервным расстройством, не поддающимся никакому лечению. Как к последнему средству, я решил обратиться к Вашей помощи. На опыте испытав все неудобства, с какими связано лечение у врача врача и его близких, я не сообщил Вам, что я — врач.

Откровенно сознаюсь Вам — я не мог даже представить себе, чтобы врач мог относиться к больному с такою небрежностью, с какою Вы отнеслись к моей жене. Смею утверждать, например, что так, как Вы выслушивали ее сердце, Вы решительно ничего не могли услышать. Результатом Вашего исследования, разумеется, только и могли быть те валерианки и бромистые натры, которые Вы прописали. При этом Вы, видимо, так спешили, так заняты были одною мыслью —

поскорее отделаться от нас, что не обратили внимания на мое заявление, что всех этих валерианок и бромистых натров жена приняла чуть не пуды. Конечно, Вы были вполне правы — медицина специально для нас новых средств выдумать не может. Но извините, г. профессор,— не мне учить Вас, что верный диагноз и прогноз, что правильное лечение возможны только при тщательном исследовании больного. Обратился я к Вам как к авторитетному профессору-специалисту, а получил то, что с гораздо меньшими хлопотами мог бы получить от любого студента-медика третьего курса.

Ассистент Барачной в память Боткина больницы

*В. Смидович.*

Дня через два неожиданно получаю от профессора ответ. В конверт была вложена пятирублевка. Профессор писал:

Многоуважаемый товарищ.

Начиная со среды вечера и до сего дня я лежу в постели вследствие инфлуэнцы. Уже в среду я чувствовал себя так плохо, что едва мог закончить прием, после которого я тотчас же и слег в постель. Этим обстоятельством я прошу извинить меня в том, что не был в состоянии посвятить Вам более времени, чем это случилось на самом деле. Вместе с тем я глубоко сожалею о том, что Вы намеренно скрыли свое звание врача, предполагая почему-то, что к врачам и их женам их сотоварищи по профессии, и в том числе я (хотя до сих пор, мне кажется, мы с Вами еще не были знакомы), должны непременно относиться невнимательно. Это совершенно неосновательное огульное осуждение Вами своих собратьев по профессии (не знаю, на каком опять основании) привело в данном случае к тому, что лишило меня возможности проконсультировать с Вами, *как с врачом,* о состоянии здоровья Вашей жены.

Если Вам угодно будет впредь не скрывать своего звания (тем более что к такому обману я не подал Вам никакого повода) и если моя помощь Вам будет еще нужна, то по выздоровлении я всегда готов Вам служить в пределах моих сил и возможности, в часы ли

приема или в какое-либо другое время, как Вам удобнее. При этом прошу Вас принять обратно оставленный Вами у меня гонорар.

Примите уверение в совершенном к Вам почтении *(приписано, очевидно, потом, несколько более мелким почерком)* и поздравление с Новым годом.

*В. Бехтерев.*

*1 января 1899 г.*

Пусть так. И это действительно было так: один из ординаторов нашей больницы работал в клинике профессора и сказал мне, что на следующий день профессор слег в инфлуэнце. Но спрашивается: для чего в таком случае было принимать больных и обирать с них пятирублевки? Ведь для многих эти пятирублевки, быть может, были плодом отказа от необходимого.

Идти вторично или не идти? Мы решили — лучше идти. Узнали, когда профессор выздоровел и возобновил прием. Поехали. Я старательно обдумал все, что следует сообщить профессору касательно болезни моей жены.

Вошли к нему.

— Мы, господин профессор, были у вас...

Он насупился и коротко сказал:

— Я помню.— И обратился к жене: — Рецепт принесли?

Жена подала. Он посмотрел.

— Как себя чувствуете? Ванны принимаете?

— Чувствую себя по-прежнему. Ванны принимаю.

— Так... Спите плохо?

— Очень плохо.

— Угу!..— Профессор написал рецепт и протянул его жене.— Будете принимать по столовой ложке три раза в день, ванны продолжайте.

Я взглянул на рецепт: Inf. Adon. vernal... Ammonii bromati... Ничего не понимаю! Опять то же? И где же консультация со мною, каковой возможности я лишил профессора в прошлый раз?

Мы встали, он нас проводил до двери. Может быть, он хочет посоветоваться со мной в отсутствие жены? Но он протягивает руку. Я торопливо стал излагать профессору свои соображения о болезни жены,— он не-

терпеливо слушал, повторяя: «Да! да!» При первом перерыве сунул нам руку и сказал:

— Не забудьте в следующий раз захватить рецепт.

4

В конце, кажется, девяностых годов в Петербург приезжал знаменитый итальянский трагик Томазо Сальвини. В то время ему было уже семьдесят лет. Я видел его в «Отелло». Спектакли шли в Александринском театре; остальные роли исполняли артисты этого театра (Дездемону — В. Ф. Комиссаржевская). Я видел Росси, видел Барная — столь же, как Сальвини, прославленных европейских трагиков. Какими они показались крохотными в сравнении с Сальвини! Здесь душа сразу, без минуты колебания, сказала: «Вот это — гений!»

Сальвини играл по-итальянски, остальные актеры — по-русски. Я взял с собою дешевое суворинское издание «Отелло» и, когда говорили партнеры Отелло, читал по книжке вперед то, что должен был сказать Отелло; когда же начинал говорить он — слушал и смотрел в бинокль; хотелось понимать каждое его слово. И сколько же я из-за этого потерял!

Шло третье действие. Отелло требует от Яго доказательств неверности Дездемоны. Яго рассказывает, как однажды ночью он спал на одной постели с Кассио:

Вот слышу я — он говорит сквозь сон:
«О ангел Дездемона, скроем нашу
Любовь от всех и будем осторожны!»
Тут сильно сжал он руку мне, воскликнув:
«О чудное созданье!» — и потом
Стал целовать меня так пылко, будто
С корнями он хотел лобзанья вырвать,
Что на губах моих росли; потом
Он горячо прильнул ко мне всем телом,
И целовал, и плакал, и кричал:
«Будь проклят рок, тебя отдавший мавру!»

Случайно я задержался и в продолжение всей речи Яго смотрел в бинокль на Сальвини. И увидел ужасное. Передо мною была напряженно улыбающаяся маска с слегка оскаленными зубами: чудовищным напряжением воли человек заставил свои мускулы раздвинуть лицо в улыбку,— никто не должен знать, что про-

исходит у него на душе! — и из улыбающейся маски этой глядели безумно-страдающие, остановившиеся глаза,— припоминающе остановившиеся: так, значит, в те незабываемые ночи... Все те ласки, все те слова...

И он шептал, с трудом переводя дыхание:

— Mostruoso! Mostruoso!.. (Чудовищно! Чудовищно!..)

Тут уж не было искусства, это была голая, страшная жизнь. Стыдно, неловко было присутствовать при интимной драме великолепного этого человека: нужно же уважать чужое страдание и не лезть со своим любопытством!

Когда кончился спектакль, все остальные актеры, и Комиссаржевская в том числе, разгримировались, переоделись — и не стало уже ни Дездемоны, ни Яго, ни остальных. Но Отелло не исчез. Синьор Томазо Сальвини,— он, может быть, поехал сейчас со своими поклонниками ужинать к Кюба,— приятного ему аппетита. Но Отелло отдельно живет со своею великою тоскою, с развороченною своею душевною раною. Странно: как он может быть здесь, в Петербурге,— этот венецианец из средневековья? Однако он где-то здесь, и его можно случайно встретить.

5

Говорят, «ревнив, как Отелло». У нас много писали об Отелло несколько лет назад, когда драма была поставлена в Малом театре с исполнителем заглавной роли Остужевым. Возражали против обычной трактовки трагедии как «трагедии ревности»; говорили, что здесь — «трагедия героя, у которого разум подчинился крови»: хвалили игру Остужева, показывающего, как у Отелло постепенно зарождается прежде неведомое ему чувство ревности, как оно нарастает и доводит ранее спокойного и рассудительного воина до безумия. «Кровь одолевает разум» — в этом источник всей трагедии. Но в таком случае остается та же «трагедия ревности», только несколько усложненная. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, основная трагедия Отелло как раз в том, что у него «разум» одолел его «кровь», то есть нутро.

Почему Отелло так привлекателен, почему заставляет так горько страдать за себя? Нет более гнусной,

мелкособственнической страсти, как ревность. «Ты принадлежишь мне,— как смеешь ты принадлежать другому?» Казалось бы, так ясно! «изменила» тебе Дездемона,— устранись. Насильно мил не будешь, какую цену имеет принужденная любовь? Но мещанство всех времен признавало ревность, как и другие собственнические чувства, явлением вполне законным и даже почтенным. Но мы-то,— что, кроме омерзения, можем мы чувствовать к человеку, задушившему любимую женщину за то, что она, пускай даже и вправду, нарушила право его собственности на нее? А Отелло мы жалеем и горько болеем за него душою. И самый даровитый артист, если бы попробовал играть Отелло так, чтобы он в нас вызывал отвращение, безнадежно разбил бы себе голову о подобную попытку.

В чем тут дело?

Пушкин тонко заметил: «Отелло от природы не ревнив». Да, он не ревнив от природы. И он — честный, хороший, глубоко благородный от природы человек. Путем дьявольской интриги Яго приводит его к убеждению, что Дездемона ему изменяет. Что в таком случае должен испытывать ревнивый человек, да к тому еще с такою горячею, «мавританскою» кровью, как у Отелло? Любовь превращается в неистовую ненависть; нет такой утонченной казни, которая в достаточной мере могла бы утолить жажду мести. В мировой литературе мы встречаем немало образов настоящих ревнивцев, в бешенстве убивающих изменниц-жен, навеки заключающих их в домашние темницы, предающих их всенародному поруганию. А что мы видим у Отелло?

Яго всякими намеками старается заронить в душу Отелло подозрение в верности жены. Отелло:

Постой!
К чему ведут, что значат эти речи?
Не мнишь ли ты, что ревностию жить
Я захочу и каждый день встречать,
Одно другим сменяя подозренье?..
Нет, Яго, нет! Чтоб усомниться, должен
Я увидать. А усомнился — надо
Мне доказать. А после доказательств —
Вон из души и ревность и любовь! [1]

---

[1] Цитирую по старому переводу П. Вейнберга. Он много точнее и художественнее нового перевода. *(Прим. авт.)*

Яго одно за другим приводит как будто совершенно неопровержимые доказательства. Отелло:

Ну, что же! Нет жены!
Обманут я. И утешеньем только
Презрение должно остаться мне.

Но Яго приводит все новые и новые доказательства будто бы совершенно исключительного бесстыдства и лживости Дездемоны. Отелло в бешенстве:

— О, пусть же она пропадет, пусть сгниет,
пусть станет добычею ада!

И вдруг,— это место обычно либо пропускается, либо проходит у исполнителя совершенно незамеченным,— вдруг Отелло говорит Яго:

— Но как она мила!
— О да! Слишком мила!
— Так, ты прав. Но все-таки... Жаль, Яго! О Яго! Жаль, страшно жаль, Яго!

Мы ясно чувствуем этот смущенно умоляющий тон, с каким Отелло пытается отстоять перед Яго свое право на жалость к любимой женщине. Яго чувствует эту жестокую борьбу в душе человека, якобы «до безумия ослепленного ревностью»,— и спешит подогреть опадающую злобу.

— Ну, если вам так нравятся ее пороки,— дайте им полный простор: уж если они не трогают вас, то, конечно, никому другому нет дела до них.

И Отелло, вскипая прежнею яростью, восклицает:

— Я изрублю ее на куски! Украсить меня рогами!

Постоянно разжигаемая усилиями Яго, злоба Отелло достигает крайних пределов. Кровавое решение созревает. Отелло входит ночью в спальню, чтобы задушить Дездемону на оскверненном ею ложе. И этот «бешеный ревнивец», «отуманенный кровавою жаждою мщенья»,— что говорит он входя?

Вот, вот причина,— вот причина, сердце!
Не назову я вам ее, о звезды,
Безгрешные светила,— вот причина!

Ему оказывается нужным настойчиво твердить себе, что есть, есть причина к замышленному убийству, и причина самая основательная. И дальше, с любовью целуя спящую Дездемону, он говорит:

О, сладкое дыханье! Правосудье
Само бы меч сломало пред тобой!
Еще, еще... О, будь такой по смерти!
А я тебя убью и после снова
Начну любить...

И еще дальше, в последнем объяснении с Дездемоной, когда она продолжает отпираться от улик, как будто совершенно очевидных, Отелло в бешенстве восклицает:

О женщина коварная, ты в камень
Мне превращаешь сердце, заставляешь
То называть убийством, что намерен
Я совершить и *что считал я жертвой!*

Совершенно ясно, что перед нами не бешеный ревнивец, в нарушение всех божеских и человеческих законов готовый «раздавить гадину», а человек, с великою скорбью и с горестным преодолением себя приносящий *жертву* какому-то беспощадно требовательному богу. Какому?

Дездемона задушена. Интрига Яго разоблачена. Лудовико с грустью спрашивает:

О Отелло!
Как мне назвать тебя, который прежде
Героем был, а нынче жертвой стал
Проклятого мерзавца?

И Отелло отвечает:

Как-нибудь:
Желаете, так назовите честным
Убийцею, затем что *ничего*
*Я не свершил из ненависти, все же*
*Из чести лишь.*

«For naught i did in hate, but all in honour».

Можно ли выразиться яснее? Вот он, этот беспощадный бог,— честь! Честь, как она в то время понималась, требовавшая жесточайшей расправы с изменившею мужу женщиною. Благородная натура Отелло всеми силами протестует против такого отношения к

любимой, в сердце его действительно нет к ней никакой ненависти. Но честь — эта высшая, неоспоримая правда того времени — безоговорочно требует определенных действий. Говорят, в Италии и в настоящее время оправдательный приговор суда мужу, убившему изменницу-жену, встречается дружными рукоплесканиями публики. И Отелло как смертно-тяжкий долг берет на себя исполнение требований общепризнанного нравственного закона. И, естественно, чтобы подвигнуть себя на это, всячески разжигает в себе ненависть и злобу.

Если бы пришел к Отелло какой-нибудь мудрый старик, им глубоко почитаемый, то не к чему было бы ему убеждать Отелло, чтоб он не поддавался дурману ревности, чтоб не позволил «крови» одолеть «разум». Он мог бы только сказать Отелло:

— Слушайся своего сердца, своей «крови», и не слушайся разума, который уверяет, будто бы «честь» требует убийства разлюбившей тебя женщины. Честь требует от тебя только одного: разлюбила тебя,—

Вон из души и ревность и любовь!

И Отелло с радостью, с чувством великого освобождения послушался бы старика.

## 6

В девяностых годах в Петербурге существовал драматический театр «Литературно-артистического кружка», во главе которого стоял издатель «Нового времени» А. С. Суворин. В публике этот театр называли суворинским, а официальное его название было, кажется, «Малый театр». Режиссура была хорошая, много было талантливых актеров. Ставились плохие пьесы самого Суворина, поставлена была юдофобская пьеса «Контрабандисты», вызвавшая большой скандал и уход из театра ряда актеров. В общем, однако, репертуар, сравнительно с репертуаром казенного Александринского театра, был свежий. Ставился Ибсен, «Потонувший колокол» Гауптмана, Ростан.

Крупным событием была постановка драмы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Пьеса с самого времени своего написания находилась под цен-

зурным запретом, и, кажется, было заслугою Суворина, что он, благодаря своим связям, добился снятия запрета. Разрешение пьесы было со стороны правительства такою же непонятною глупостью, как последовавшее вскоре отлучение Льва Толстого от православной церкви. Хотя, впрочем, и то сказать: чем можно было мотивировать запрещение? Не тем же, что пьеса слишком напоминает теперешнее положение. Очень был тогда популярен такой анекдот: услышал городовой, как на улице кто-то сказал слово «дурак»,— и потащил его в участок.

— За что ты меня?

— Ты «дурак» слово сказал.

— Ну да, сказал! Так что же из того?

— Знаем мы, кто у нас дурак!

Умственное убожество царя Федора невольно наводило мысль на такое же умственное убожество императора Николая II. И когда со сцены звучали слова царя Федора:

Видно, богу
Угодно было, чтоб немудрый царь
Сел на Руси,—

по губам всех зрителей проносилась улыбка. Рассказывали, что Вл. Ив. Ковалевский, директор департамента торговли и мануфактур, сказал:

— Да, все совсем так! Только где же у нас теперь хоть Борис Годунов!

Пьеса выдвинула в суворинском театре великолепного молодого актера — П. Н. Орленева, игравшего царя Федора. В это же время пьеса была поставлена и в Москве, в молодом Художественном театре, и выдвинула в той же роли не менее великолепного актера — И. М. Москвина. Особенность игры очень талантливого актера — что он заставляет зрителя принять образ именно в его трактовке и враждебно относиться к трактовке другой. Так было и с ролью царя Федора. Петербуржцы, видевшие в этой роли Орленева, совершенно не принимали Москвина, москвичи не принимали Орленева. Может быть, потому же, что и я тогда был петербуржцем, мне Орленев казался в этой роли несравненно выше Москвина. У Москвина на первый план выдвигалось мяклое благодушие и глупость Фе-

дора, у Орленева — его тонкое душевное благородство, освещавшее изнутри все существо Федора. От этого еще ужаснее и трагичнее представлялось его полное бессилие перед творящимся.

В это же время выдвинулся в суворинском театре и другой великолепный актер — Казимир Викентьевич Бравич. В «Царе Федоре» он исполнял роль благородного боярина Ивана Петровича Шуйского. После него уже ни один исполнитель этой роли меня не удовлетворял. Великолепен он был в инсценировке «Преступления и наказания». Он — Свидригайлов, Орленев — Раскольников. Но больше всего покорил он меня в трагедии того же Ал. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в маленькой роли польского посла Гарабурды.

В Престольной палате назначен прием Грозным польского посла. Иоанн упоен победами русских войск над королем польским Стефаном Баторием и не знает еще, что Баторий явился к границе с новым войском, разбил русских, что Нарову взяли шведы. А польский посол рано утром уже получил эти сведения от Баториева гонца.

Грозный входит, садится на престол и приказывает:

Впустить посла! Но почестей ему
Не надо никаких. Я баловать
Уже Батура боле не намерен.

Вдали быстрый звон шпор, в палату легкой походкой стремительно входит Гарабурда в изящном польском костюме и с низким поклоном останавливается перед Иоанном.

К изумлению Грозного, Гарабурда предъявляет царю ряд требований, уместных в устах только полного победителя:

Коли же милости твоей, пан-царь,
Условия такие не смакуют,
Король Степан велит тебе сказать:
«Чем даром лить нам кровь народов наших,
Воссядем на коней и друг со другом
Смертельный бой на саблях учиним,
Как рыцарям прилично благородным!»
И с тем король тебе перчатку шлет.

И посол бросает к ногам Грозного железную перчатку. Грозный от удивления и негодования на минуту немеет. Наконец:

Из вас обоих кто сошел с ума?
Ты иль король? К чему перчатка эта?
Помазанника божья смеешь ты
На поле звать? Я поле дам тебе!
Зашитого тебя в медвежью шкуру
Велю я в поле псами затравить!

Гарабурда в изумлении смотрит на Грозного, медленно поводит головою и уверенно произносит:

Ни! Этого, пан-царь, не можно!

Царь в ярости восклицает:

Что?
Да он не шутит ли со мной? Бояре,
Ужель забавным я кажусь?

И с тою же несокрушимою уверенностью в полной неприкосновенности посланца, высоко подняв голову, Гарабурда повторяет:

Ни, ни,
Посла никак зашить не можно в шкуру!

Бравич был тут поистине великолепен.

Потом он играл в театре Комиссаржевской и Мейерхольда. Там я его не видал. В десятых годах поступил в Московский Малый театр. В Москве я с ним познакомился. Репертуар Малого театра его глубоко не удовлетворял. Я его как-то спросил, какие у них в театре намечаются новые пьесы. Он махнул рукою и с тоскою ответил:

— Опять какая-нибудь пьеса Тимковского или Рышкова!

Потом Бравич был приглашен в Художественный театр. Но тут он умер.

## 7

Весною 1901 года молодой Художественный театр в первый раз приехал в Петербург показать себя. Слава предшествовала ему. И он сразу завоевал петербуржцев.

Первый спектакль, который я видел, был «Доктор Штокман» с Станиславским в заглавной роли. Это была одна из тех радостей, за которые на все дни остаешься благодарен жизни. И до сих пор я никак не могу соединить в своем представлении образ Стани-

славского с созданным им образом доктора Штокмана. Станиславский — гигант, с медленными движениями, с медлительной речью. А на сцене был маленький (да, да маленький, я это ясно видел!), маленький, суетливый, сгорбленный старичок с быстрой походкой, с странной манерой держать опущенною вниз правую руку с вытянутыми двумя пальцами. Это был человек, существовавший совершенно отдельно от Станиславского. Юродивая улыбка про себя, очки на очень близоруких глазах,— о, он ничего не видит кругом, видит только реющую перед его глазами правду! Умница и в то же время ребенок, наивный чудак, постоянно вызывающий улыбку. На народном собрании он говорит боевую свою речь,— и вдруг такая вставка:

— В домах, где не подметают ежедневно полов,— Катерина, моя жена, уверяет даже, что их нужно ежедневно мыть, но это уже вещь спорная,— в таких домах люди в два-три года теряют способность нравственно мыслить и действовать!

Доктор Штокман сделал открытие, что минеральные воды, которые составляют богатство города, загрязнены бактериями и что все предприятие нуждается в коренной перестройке. Но это грозит совершенно подорвать интересы акционеров и всего города вообще. Доктор Штокман собирается опубликовать свое открытие. Этим решением он объявляет прямую войну «сплоченному большинству» городских собственников и акционеров. Жена его в ужасе, она указывает ему на мальчиков-сыновей:

— Что будет с ними? Что ты хочешь сделать?

И он коротко, решительно отрубает:

— Я хочу сохранить за собой право смотреть моим мальчикам прямо в глаза!..

Время в Петербурге было горячее. 4 марта 1901 года произошла знаменитая демонстрация на площади Казанского собора. Когда демонстрирующие студенты собрались, то спрятанная в соседних домах конная полиция выскочила на площадь, окружила толпу и стала топтать ее лошадьми и избивать нагайками. Отвратительная бойня эта вызвала всеобщее возмущение. Воздух был насыщен революционным электричеством, все кипело и бурлило. Даже газета «Новое время», выступившая, как всегда, на защиту властей и нагово-

рившая кучу гнусностей по адресу избитых во время демонстрации,— даже «Новое время», в первый, кажется, раз за все многолетнее свое существование, почувствовало силу общественного осуждения и несколько растерялось.

Ничего, казалось бы, злободневного нельзя было найти в «Докторе Штокмане». Однако то и дело в пьесе неожиданно выплывали словечки и положения, как будто прямо намекавшие на современность. И публика бешеными рукоплесканиями и смехом подчеркивала эти места. Спектакль превратился в сплошную демонстрацию.

В пятом действии доктор Штокман, помятый «сплоченным большинством» за его речь на народном собрании, сокрушенно рассматривает дыру на своих новых брюках и сентенциозно замечает:

— Когда идешь защищать дело справедливости и свободы, никогда не следует надевать нового платья!

Хохот и рукоплескания: яркий намек на полицейские нагайки, от которых пострадало далеко не одно только платье бывших на Казанской площади.

В том же пятом действии к доктору Штокману являются редактор местной газеты Гауштад и издатель ее Аслаксен — продажные души, всегда готовые держать нос по ветру. Они предлагают доктору Штокману вступить с ними в гнуснейшую сделку. Он в негодовании бросается на них с зонтиком и выгоняет вон.

Рукоплескания, смех и неожиданные крики:

— Суворин! Суворин!

Суворин, издатель «Нового времени», был в театре, и публика это знала. Сначала он не понял, удивленно в своей ложе поднял голову — и вдруг страшно побледнел. Публика продолжала иронически рукоплескать и кричать:

— Суворин! Суворин!

Он поспешил исчезнуть из театра.

## 8

4 марта 1901 года произошла знаменитая демонстрация на Казанской площади в Петербурге,— я об ней только что упоминал. Когда демонстрирующие студенты собрались, спрятанная в соседних дворах конная

полиция выскочила на площадь, окружила демонстрантов и, не предлагая им разойтись,— что по закону обязана была сделать,— бросилась на толпу, начала топтать ее лошадьми и избивать нагайками. Отвратительная бойня эта вызвала всеобщее возмущение. Мы, петербургские писатели, подали министру юстиции как генеральному прокурору заявление; в нем мы как очевидцы доводили до его сведения о разбойном нападении полиции на безоружную толпу, об избиении ее без предупреждения и без предложения разойтись и выражали твердую уверенность, что министр юстиции как блюститель законности, конечно, не преминет привлечь к строжайшей судебной ответственности виновника описанного преступления, петербургского градоначальника Клейгельса. Не нужно, вероятно, прибавлять, что сделали мы это в агитационных целях, а никак не в надежде убедить министра юстиции вмешаться в дело.

Недели через две я, в числе других, получил приглашение явиться такого-то числа в таком-то часу к директору департамента полиции. Приглашение было составлено весьма вежливо,— чуть ли, помнится, не было написано: «Директор департамента полиции имеет честь просить вас...»

Пришел. Вице-директор департамента Зволянский принял меня в своем кабинете чрезвычайно вежливо и сказал с некоторым как бы недоумением в голосе:

— На имя господина министра юстиции подана одна весьма странная бумага, и под нею, между прочим, находится и ваша подпись. Подписывали вы действительно эту бумагу?

— Позвольте посмотреть бумагу... Да, подписывал, это моя подпись.

— В таком случае, пожалуйста, будьте добры написать вот здесь, что подпись действительно принадлежит вам... Очень вам благодарен! До свидания!

Я в то время служил ассистентом в Барачной больнице в память Боткина и жил в самой больнице. Однажды утром, когда я шел в свои бараки на обход, меня догоняет наш швейцар и просит немедленно зайти к главному врачу. Главный врач С. В. Посадский встретил меня весьма смущенно.

— Викентий Викентьевич, насчет вас получена из больничной комиссии бумага... Прочтите ее.

В бумаге сообщалось, что с.-петербургский градоначальник, ссылаясь на предложение министерства внутренних дел, предлагает Городской управе ныне же сделать распоряжение об удалении исполняющего должность младшего врача Барачной больницы лекаря В. В. Смидовича от занимаемой им должности, во исполнение чего... и т. д.

— В чем дело? Чем это вызвано? — спрашивал главный врач.

Я рассказал.

— Жаль, что вы мне заблаговременно всего не сообщили,— может быть, можно бы было предотвратить... Во всяком случае, очень мне жаль, но приходится вас просить в бараки сегодня уж не ходить: ваших больных посмотрит дежурный врач.

Врачи нашей больницы были типичные столичные врачи. Читали «Новое время», всякой политики чуждались, очень интересовались частной практикой и в сборной рассказывали пикантные анекдоты, поглядывая на дверь, не идет ли женщина-врач. Однако увольнение мое вызвало всеобщее сочувствие ко мне. Врачи возмущались, расспрашивали, чем вызвана кара. Однажды один из товарищей радостно подходит ко мне и сообщает:

— Ну, Викентий Викентьевич, я ваше дело устроил! У меня есть один пациент генерал-адъютант. Он согласился, когда будет дежурным при государе, передать ему ваше письмо,— напишите, что вы подписали бумагу не читавши, что если бы знали ее содержание...

— Извините, Борис Александрович,— подписал прочитавши...

Через несколько дней женщина-врач, заведовавшая женской амбулаторией нашей больницы, предложила мне устроить свидание с одним из товарищей министра внутренних дел, тоже ее пациентом. Я только должен был сказать ему, что весьма раскаиваюсь и сожалею.

Так все это было наивно, и так велика была у них охота помочь мне, что даже невозможно было оскорбляться, а было только смешно.

16 апреля, под 1 мая нового стиля, у меня был обыск, но ничего не нашли. Обыск произвел в больнице большую сенсацию,— ничего еще подобного в ней

никогда не бывало. Вскоре я собрался уезжать из Петербурга. Мне передали просьбу врачей зайти к 12 часам в сборную.

Зашел. Все врачи были в сборе. Старший ординатор сказал речь, где все было как полагается,— что я был прекрасным товарищем, что все они глубоко скорбят, что... В заключение он от лица всех товарищей просил меня принять от них на память вот эту вещичку...

И передал мне раскрытый футляр, в котором сверкал на золоте яркий рубин. Я ответил в соответственном тоне.

Дома рассмотрел подарок. Изящный брелок — золотая дощечка в виде визитной карточки с загнутым краем, и в углу ее — рубин. На оборотной стороне вырезано:

«Дорогому товарищу от врачей Барачной в память Боткина больницы».

Какому товарищу, кто он такой,— об этом брелок с благоразумною осторожностью умалчивал...

Я никогда его не надевал.

9

Смидович, Петр Гермогенович. Умер он в 1935 году членом президиума ВЦИКа.

В начале девяностых годов он был студентом Московского университета. Сильно нуждался. Писал для заработка компиляции в одном охотничьем журнале, редактором-издателем которого был князь Урусов. Предстояло получить несколько десятков рублей гонорара. Несчетное количество раз приходил Петр к Урусову. Тот в первый раз сказал, чтоб пришел через три дня, тогда он ему заплатит. После этого каждый раз, когда Петр приходил, ему отвечали, что князя нет дома. Однажды Петру неожиданно удалось застать князя. Князь нетерпеливо отмахнулся и опять предложил ему прийти через несколько дней. Петр ответил, что не уйдет, пока ему не заплатят. Поговорили крупно. Князь велел лакеям взять Петра и вывести вон.

На следующий день Петр отправился к инспектору студентов спросить совета, что ему делать. Ждет в приемной. Вдруг видит, от инспектора выходит князь

Урусов,— очевидно, приезжал на него же жаловаться! Петр тут же в приемной дал князю пощечину.

За участие в революционном движении Петр был исключен из университета.

Он уехал за границу. В Париже окончил курс Высшей электротехнической школы, стал инженером. Перебрался в Бельгию и в Льеже поступил на завод простым рабочим. Здесь он связался с бельгийской социалистической партией.

В конце девяностых годов он приехал в Петербург с паспортом бельгийского рабочего, вступил в петербургскую социал-демократическую организацию и энергично взялся за революционную работу.

Положение его было исключительно выгодное: как электромонтера его охотно принимали на любой завод или фабрику. Легко и просто удавалось налаживать связи с рабочими. Беда была только вот в чем: естественно, что высококвалифицированный инженер в роли простого монтера очень быстро обращал на себя внимание администрации, ему увеличивали жалованье, предлагали место «шеф-монтера». Отказаться от повышения значило навлечь на себя подозрение, принять — значило перейти с положения рабочего на положение инженера, что вовсе не входило в его планы. Петр бросал место, посмеиваясь, прятал в карман восторженный «сертификат»[1] об его знаниях и добросовестности и снова поступал простым монтером на другой завод, подальше от прежнего.

В конце концов Петр был арестован. На допросах он держался такой тактики:

— Да, занимался социалистической пропагандой! Что же из того? У нас в Бельгии это совершенно легальная деятельность. Я не понимаю, за что вы меня держите в тюрьме!

И твердо стоял на этой позиции.

Нервы с детства у него были не в порядке. В тюрьме он нарочно не спал ночей, много курил. И вот из камеры, где он сидел, стали раздаваться безумные крики, удары кулаками в дверь, грохот падающей мебели. Это, конечно, очень нервировало его товарищей по заключению. Сосед по камере перестукивался с Петром

---

[1] Письменное свидетельство (*фр.* certificat).

на французском языке. Спросил его, что с ним. Петр простучал в ответ:

— Когда актриса играет Офелию, это вовсе не значит, что она сумасшедшая.

В камеру к Петру явился прокурор. Петр с воплем накинулся на него, кричал, что они держат в тюрьме ни в чем не повинного человека, схватил прокурора за шиворот и выбросил из камеры. Начальство смутилось: все-таки — иностранец. Дойдет до Европы... Посадили Петра в вагон, довезли с жандармами до границы и отпустили на волю.

Через полгода Петр опять был в Петербурге и снова взялся за работу. Но теперь это был не бельгийский подданный Дюваль, а бельгийский подданный Желье.

## 10

## ДВА ПОБЕГА

Звали ее Димка. Она не раз уже сиживала в тюрьме, была в ссылке. Из ссылки бежала за границу. В 1902 году нелегально приехала в Россию по делам «Искры» с поручением объехать юг и наладить связи. В Кременчуге ее арестовали и отправили в Киев. Приехали поздно вечером. Тотчас же, прямо с вокзала, ее повезли на допрос в жандармское управление. Начальником управления был генерал Новицкий, очень в свое время известный охранник. Он сам стал допрашивать Димку. Паспорт у нее был подложный, на имя восемнадцатилетней немки, а Димке было уже тридцать два года. Отпираться было нелепо, она прямо заявила, что паспорт подложный, что настоящая ее фамилия такая-то.

Новицкий очень обрадовался, думал,— она и дальше станет на все отвечать. Но Димка заявила:

— А больше ни на какие вопросы отвечать не буду.

И замолчала, как утонула. Новицкий подходил и так и сяк, но ничего не смог добиться и велел отвезти ее в тюрьму.

Тюрьма называлась Лукьяновская, стояла за городом. Порядки, к изумлению Димки, оказались в ней самые свободные,— нигде она еще не видела такой тюрьмы. Двери камер не запирались, политические

заключенные ходили друг к другу в гости, прогулки были общие.

Из разговоров товарищей по заключению Димка узнала, что группа заключенных подготовляет для себя побег из тюрьмы. Димка заявила, что хочет к ним присоединиться. Но те ей отказали: корпус, в котором сидела Димка, был на другом конце тюрьмы, и участие Димки сильно бы затруднило побег.

Бежали без нее. Побег удался блестяще. Перед этим заключенные усиленно занимались на прогулках будто бы гимнастикой: упражнялись в лазании, взбирались друг другу на плечи, устраивали живые пирамиды. С воли удалось получить якорь с длинной веревкой и веревочную лестницу. Подпоили одного часового, связали другого, среди бела дня перебрались через высоченнейшую стену и убежали. Было их тринадцать-четырнадцать человек.

Легко себе представить, какие после этого пошли в тюрьме строгости. Все вольности были отменены, надзор стал самый жестокий и придирчивый. И все-таки Димка решила бежать, хоть одна. Инициатива у нее была огромная, энергией она вечно так и кипела. Самое для нее трудное и самое невыполнимое было сидеть сложа руки. Это ее свойство было известно всем товарищам. Лет пять назад, когда она сидела в петербургской предварилке, она просто изводила всех нас непрерывными проектами и поручениями, совершенно нелепыми и неисполнимыми, но в них она изливала закупоренную заключением неистощимую свою предприимчивость. Так было и теперь. Вырваться на волю во что бы то ни стало! Желание овладело ею неудержимое, болезненно-страстное. Как сокол или ласточка, она просто органически не выносила неволи. Каждую ночь ей снился все один и тот же сон: солнце, шумящие улицы, быстро снующие кругом люди, она свободно идет, куда хочет. Проснется — и со страхом медленно приоткроет глаза: сон это был или нет? Перед глазами — грязный сводчатый потолок, решетка на пыльном окне...

Один за другим она измышляла самые хитроумные планы бегства и с большими трудностями передавала их на волю товарищам. Предложила, например, так. С нижней площадки лестницы в жандармском управ-

лении одна лестница ведет на двор,— так выводили заключенных, а другая — к парадному ходу, на улицу. Пусть на улице ее поджидает товарищ, переодетый извозчиком. Она с нижней площадки быстро выбежит на улицу, вскочит на извозчика, и он ее умчит. Товарищи на воле отвергли проект.

Димка тотчас же предложила другой проект, третий. При данных обстоятельствах само намерение ее по существу было чистейшим безумием: какой был возможен побег при начавшейся слежке и самых придирчивых строгостях? Во главе киевской организации в то время стоял Степан Иванович, хорошо знавший Димку еще по Петербургу. Он велел ей сказать: «Умела гулять на воле, умей и в тюрьме посидеть». И решительно попросил не пересылать больше никаких проектов.

Тогда Димка решила бежать сама, собственными силами, без посторонней помощи.

И начала систематически готовиться. Прежде всего нужно было сделать разведку местности — бежать она собиралась из жандармского управления. До тех пор на допросах она молчала. Теперь вдруг заявила, что хочет дать показания. Ее повезли в карете в жандармское управление. Оно находилось на дворе Старокиевского полицейского участка. Дала кой-какие незначительные показания, а для себя выяснила обстановку и окончательно наметила план действий.

Самое важное и существенное в ее плане было научиться моментально менять свой внешний вид. Нескольких товарок по заключению она посвятила в свой план. Достали с воли нужные материалы. Больше месяца Димка усердно упражнялась в своей камере все время, когда не видела надзирательница. Наконец достигла значительной ловкости. Решила приступить к выполнению плана.

В этих целях было важно, чтобы тюремная карета, когда привезет ее в жандармское управление, не осталась стоять на дворе полицейского участка. Это могло быть в том случае, если к допросу назначалось несколько человек: в карете возили обязательно по одному только человеку; значит, если нужно было доставить нескольких, карета доставляла одного и сейчас же уезжала за другим. Если же всего был один, карета оставалась ждать его на дворе.

Вот раз Димку вдруг вызывают к допросу. Это было в понедельник, тринадцатого числа,— какого месяца, она точно не помнит. Димка спросила надзирателя:

— Одна я назначена на допрос или еще и другие?

— Вы одни.

Она решительно заявила:

— Не поеду. У меня голова болит. Да и башмаков нету, отдала в починку, не в чем ехать.

Надзиратель пошел доложить начальству об ее отказе.

Одна из товарищей по заключению, знавшая о намерениях Димки, опасливо сказала:

— И правда, лучше не ездите сегодня: понедельник, тринадцатое число... Отложите на другой раз.

Димка так и взвилась.

— Почему непременно для меня это будет неблагоприятно? А может быть, как раз для них? И будут говорить: вот, недаром тогда был понедельник и тринадцатое число... Еду!

И стала готовиться. Надела темно-синюю юбку. К волосам приколола изящную фетровую шляпку.

Надзиратель воротился и передал Димке решительный приказ начальства ехать, не то... Димка насмешливо ответила:

— Хорошо, поеду. У меня голова прошла.

Ее охватило лихо-задорное настроение, ничего впереди не пугало, пусть хоть весь мир пойдет на нее, пусть никто ей не помогает! А в душе в то же время было ледяное спокойствие.

Когда садилась в карету, сказала надзирателю:

— Прощайте! Больше к вам не ворочусь.

Он с сомнением покачал головой.

— Навряд ли отпустят.

— Отпустят, не отпустят, а к вам не вернусь, вот увидите!

На допросе она глумилась и издевалась над жандармами. Генерал Новицкий пил воду стаканами, несколько раз в бешенстве выбегал из комнаты. Наконец приказал:

— Уберите ее!

Два жандарма вывели Димку. Она быстро стала спускаться по лестнице. Жандармы еле за нею поспевали. Направо от лестничной площадки была комната,

где держали привезенных из тюрьмы до и после допроса. Димка мимо дверей побежала вниз. Жандарм ей крикнул:

— Эй, барышня! Направо, в комнату!

Она властно ответила:

— Незачем! Вон она, карета, стоит. Можно прямо ехать.

На дворе у подъезда ждала тюремная карета. О радость! Возле никого не было — ни кучера, ни третьего жандарма: мела метель, морозный ветер гонял по двору колючий снег,— видимо, ушли куда-нибудь греться.

Один из жандармов пошел их искать, другой остался стеречь Димку.

Она сказала, что ей нужно в уборную, и пошла к деревянной будочке женской уборной в глубине двора. Жандарм пошел за нею следом и остановился у двери. Она вошла в уборную.

И как только дверь за Димкой захлопнулась, она сейчас же опять раскрылась, и из уборной выбежала кокетливая девушка в голубом платочке, в серой юбке. Семеня ногами, она неспешной походкой направилась к воротам. Жандарм потом рассказывал: «Я думал, это горничная полицмейстера».

Стоял он, стоял, ждал, ждал. Димка все не выходит. Он забеспокоился, приоткрыл дверь, заглянул — никого. Вошел в уборную. На полу синяя юбка, фетровая дамская шляпка. И никого нет. Остолбенел, потом бросился к дыре, туда заглянул. Нет нигде. Поднял с полу юбку и шляпку, вышел наружу. Растерянно ходит по двору, на руках юбка с шляпкой, и твердит:

— Куда же это наша барышня подевалась?

Когда Новицкому доложили о побеге, он в ярости выбежал на двор в одном мундире, велел всех жандармов, всю полицию сию же минуту двинуть на розыски Димки.

Димка выбежала в новом своем виде из уборной, семенящей походкой направилась к воротам. Там была еще одна очень большая опасность. У ворот — Димка знала — стоит часовой, и выйти можно только с пропуском. Но очевидное дело: понедельник и тринадцатое число были сегодня для *них*. Часовой от метели и ветра спрятался в будку и не заметил Димки.

Димка взяла извозчика и поехала на Крещатик. В душе было холодное, дерзкое, владеющее собою спокойствие. Ветер мел по мерзлым улицам сухой снег. Женщины шли, кутаясь в платки, торчали только носы. Вот хорошо! Нужно сейчас же купить такой платок. Закутаться, и тогда иди спокойно. И вдруг ее охватило глубокое волнение. На Крещатике отпустила извозчика, вбежала в магазин.

— Дайте мне платок.

Приказчик взглянул с изумлением.

— Какой платок?

— Байковый, побольше размером.

Оглянулась,— кругом окорока, колбасы, консервы.

Вышла, села в первую попавшуюся конку. По улице скакали городовые и жандармы, внимательно вглядывались в проходящих.

Конка привезла ее на Подол. Димка зашла в еврейскую лавочку, купила байковый платок. Закуталась, вышла. Кругом люди разговаривают, смеются, бранятся, торгуются. Каждый идет, куда хочет. И она может идти, куда хочет. И вдруг все вокруг стало какое-то странное, невсегдашнее. А вслед за этим душу ошеломила неожиданная мысль: может быть, как все это время, опять — сон? Откроет глаза, и будет опять перед нею запыленное окно с решеткой, каменный сводчатый потолок? Ужас шевелился в душе и ликующий смех.

Однако куда же теперь? У нее был только одинединственный адрес — Афанасьевых. Милая семья из матери и двух дочерей. Одна дочь сидела в тюрьме, а мать и другая дочь делали передачи в тюрьму, переправляли с воли и на волю письма. Кого выпускали из тюрьмы, если ему некуда было деться, направлялся к ним. Место было очень опасное: конечно, полиция прежде всего должна была броситься к Афанасьевым. Но выбора не было.

Пошла. Понедельник и тринадцатое число продолжали работать на Димку: полиция к Афанасьевым не заглянула. Димка попросила поскорее поехать, сообщить товарищам об ее побеге. Сказала, что будет ждать в Софийском соборе.

Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день. Димка ходила, смотрела, сади-

лась отдохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание... Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть.

Стемнело. Началась всенощная. Димка стояла перед образом, крестилась. Видит, молодая худолицая женщина ходит от образа к образу, поставит свечку, перекрестится, идет дальше. Лицо как будто знакомое. Подошла к образу, где стояла Димка. Тонкое чернобровое лицо, румянец на смуглых щеках,— Вера Саломон. Переглянулись. Вера поставила перед образом свечку, стала рядом с Димкой, начала усердно креститься и отвешивать поклоны. И шепнула:

— Когда пойду, идите за мной следом.

Вышли из собора. Их ждал извозчик. Поехали на квартиру к профессору Тихвинскому. Туда уже раньше пришел Степан Иванович. Он жарко расцеловал Димку и изумленно сказал:

— Ну и чертова же кукла!

В тюрьме бегство Димки вызвало всеобщий восторг. Не меньше заключенных торжествовало и тюремное начальство: ему сильно нагорело за недавний побег политических из тюрьмы. А теперь сами там упустили политическую, да еще как позорно!

Димку недели через две-три переправили за границу. Упустивший ее жандарм был отдан под суд и присужден к нескольким годам дисциплинарного батальона. Там его распропагандировали, и он сделался революционером. Через выпущенного товарища он переслал Димке письмо и благодарил, что через нее стал человеком. Для Димки это была большая радость: ее очень мучило, что солдат пострадал из-за нее.

И еще был у нее один побег, тоже в Киеве. Это случилось уже в 1904 или 1905 году.

Шла конференция районных организаций — конечно, подпольная. Собирались у одного сочувствующего. Он имел отдельную квартиру. Большая комната в ниж-

нем этаже, натискалось человек пятьдесят. Доклады, споры, табачный дым. Интеллигенты, рабочие.

Вдруг двери настежь, жандармский офицер, за ним городовые; под окнами тоже полиция. Потребовали паспорта, стали всех переписывать. Записанные должны были переходить в соседнюю комнату той же квартиры. Народу было много, запись тянулась медленно.

Записали Димку (паспорт ее опять был подложный). Вошла она в соседнюю комнату. Была поздняя ночь. На середину комнаты вышел один из товарищей, потягивается:

— А-а-ах-ха! Пока что,— великолепно выспался!

Димка изумилась:

— Зачем же вы встали?

В темном углу комнаты стояли рядом две кровати. На одной спал закутанный в одеяло мальчик лет семи, на другой дремала одна из арестованных. Полежала, встала, отошла. Димка поспешно легла на постель, укрылась одеялом, лицом кверху. Решила не двигаться и не отзываться на зов жандарма. Даже и риска-то не было никакого: «Заснула, не слыхала».

Вошел в комнату полицейский пристав, громко скомандовал:

— Собирайся!

Одна из арестованных увидела Димку на кровати, подошла, стала будить:

— Вставайте, нужно идти!

Димка свирепо заморгала ей глазами. Отошла. Но подошла другая,— ведь вот дуры! Опять:

— Вставайте, все уж в сборе!

Димка прошипела:

— Ступайте к черту!

Комната опустела. Вошел жандарм, осмотрел все углы. Димка лежала, закутавшись в одеяло, лицом кверху, с закрытыми глазами, и тихонько похрапывала. Жандарм заглянул под ее кровать, для верности пошарил даже шашкой и ушел. Арестованных увели. Утихло. Но все ли ушли жандармы и полицейские? Вошел в комнату хозяин. Его почему-то арестовали только на следующий день. Увидел Димку, удивился. Она вопросительно указала на дверь. Он подошел, шепнул:

— Остался один. Сидит, приводит в порядок бумаги.

Очень долго сидел. Димка начинала волноваться: в тюрьме должно выясниться ее отсутствие, хватятся, станут искать, воротятся. Уже хотела лезть в окно. Но вошел хозяин, объявил:

— Убрался!

И черным ходом вывел ее через задний двор на волю.

Потом Димка узнала: когда все вышли из квартиры, им сделали на дворе перекличку. За Димку откликнулась другая. За воротами тюрьмы вторую сделали перекличку. За Димку опять откликнулась товарищ. Выяснилось ее отсутствие только тогда, когда арестованных стали разводить по камерам.

Их всех освободила только революция осенью 1905 года. А Димка в это время сама делала революцию в Севастополе.

## 11

*Берлин, 31 марта 1902 г.*

Вчера был с двумя знакомыми у доктора Генриха Брауна, издателя немецкого «Архива социального законодательства и статистики». Доктор Браун — с темной бородой и умными, насмешливыми глазами. Его жена Лилли Браун, известная деятельница по женскому вопросу,— стройная, изящная красавица. Показывали гравюры их приятельницы, художницы Кэте Кольвиц. «Крестьянская война» — исступленная толпа с косами, топорами, вилами мчится вихрем, сзади горят здания, над толпою парит нагая женщина с факелом. Танец пьяных от крови женщин вокруг гильотины...

Брауны рассказывали о художнице. Интересная двойственность. Родом из Кенигсберга, «города чистого разума и категорического императива», по натуре и образу жизни — человек самый трезвый и смирный. В искусстве же — страстная поклонница хмеля всякого рода, до алкогольного хмеля включительно. Возмущается трезвенниками, хотящими лишить человечество такой радости, как алкогольное

опьянение. Будучи в Париже, больше всего интересовалась балом художников, где они и натурщицы должны были танцевать голые. Попасть не удалось. Мечтает специально поехать в Париж, чтоб увидеть такой бал. Завтра пойдем к ней.

*1 апреля*

Сегодня были у Кэте Кольвиц. Она — жена врача больничной кассы. Уютная, большая квартира, просторная мастерская. Сама художница — просто одетая, с седыми волосами и внимательными, хорошими глазами, с удивительно молодым цветом лица,— сразу видно, что никаким «хмелем» не потрепана.

Думал об этой удивительной «двупланности» художника, так мало кем-нибудь отмеченной.

## 12

Прасковья Семеновна Ивановская. Член исполнительного комитета «Народной воли» в самый героический период его работы. Принимала деятельное участие в подготовке первомартовского покушения, была близка с «техниками» взрыва Кибальчичем и Грачевским. В 1882 году судилась в «процессе семнадцати» вместе с Юрием Богдановичем, Яковом Стефановичем, Грачевским и др. Была присуждена к смертной казни, которую заменили каторжными работами. Отбывала наказание в Забайкалье, на Каре, где при ней в 1888 году разыгралась знаменитая карийская трагедия с массовым самоотравлением заключенных.

Была человеком несгибающейся воли, беспощадно требовательной к другим, а особенно к себе. По отбытии каторги жила на поселении. Там вышла замуж за ссыльнопоселенца Волошенко. Была у них прелестная дочка Надюша, ей уж минуло семь лет. В России у Прасковьи Семеновны была сестра Авдотья Семеновна Короленко, жена знаменитого писателя Владимира Галактионовича. Вдруг Авдотья Семеновна получила из Сибири от близких ее сестры телеграмму, что случилось большое несчастье и чтобы она немедленно приехала. Моментально собралась, поехала. Оказалось: были у Прасковьи Семеновны гости, она с му-

жем пошла их провожать. Дочка их Надя облокотилась на стол, на котором стоял кипящий самовар, самовар опрокинулся на нее. Через несколько дней умерла в страшных мучениях.

Прасковья Семеновна дни и ночи сидела неподвижно, с окаменевшим лицом, не спала, не ела. И невозможно было ее разговорить. Не удалось это и Авдотье Семеновне. Раз Прасковья Семеновна вдруг сказала ей:

— Дуня, я больше не могу. Я покончу с собой.

Авдотья Семеновна подумала и сказала:

— Пашенька, потерпи еще,— может быть, отойдешь. А не осилишь себя,— ну, что ж! Бог с тобой, кончай!

Там же, на поселении, жил старый народоволец доктор Фейт. Авдотья Семеновна пошла к нему и все рассказала. Он ей сказал:

— Пришлите вашу сестру ко мне.

Прасковья Семеновна пришла. Доктор встретил ее сурово.

— Вы сейчас ничем не заняты. А мы в нашей больнице погибаем от недостатка обслуживающего персонала. Больных масса, уход отвратительный... Придите, пожалуйста, помогите нам!

И запряг ее в работу. Она дежурила при тяжелых больных, делала уколы, ставила клизмы. Заставлял он ее делать и самую тяжелую работу — носить дрова и воду, мыть полы. Навалил столько работы, что домой она приходила, валилась в постель и засыпала как убитая.

Когда через несколько месяцев доктор Фейт отпустил Прасковью Семеновну, душевная рана ее зарубцевалась, и она ожила.

В начале девятисотых годов, воротившись в Россию, она принимала деятельное участие в организации убийства Плеве.

13

Баронесса Доротея Эртман превосходно исполняла фортепианные вещи Бетховена. Бетховен сердечно любил ее. У нее умер единственный сын. Она без слез сидела неподвижно и безмолвно, устремив глаза в одну

точку, ничего не слыша. Напрасно окружающие старались вывести ее из этого состояния. Боялись, что она сойдет с ума.

Бетховен сначала никак не мог решиться пойти к ней. Однако через несколько дней, по ее приглашению, пошел. Попытался высказать ей свое сочувствие в ее горе. Но не мог ничего сказать, все слова казались банальными и замирали на губах. Тогда он тихо подошел к фортепиано, сел и стал импровизировать тихое adagio. Игра его продолжалась около часа. Когда он кончил, все лицо его было смочено слезами. Он встал, молча поцеловал Доротею и ушел. Из ее глаз лились потоки слез. Холодное отчаяние сменилось тихою печалью.

— Он высказал мне все,— говорила она,— и в конце концов дал мне утешение.

## VI

### 1

> Тот сильно оскорбляет человека, кто говорит, что он руководится легкостью. Трудность, самоотвержение, мученичество, смерть — вот приманки, действующие на человеческое сердце.
>
> *Т. Карлейль, «Герои и героическое в истории»*

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы...
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Это какая-то изначальная, первобытная стихия в душе человеческой. Во время японской войны в команде нашего полевого подвижного госпиталя был один старший унтер-офицер, по фамилии Хитров,— длинноусый, с узким лицом. Очень неприятный человек и нечистый на руку. Во время ночевок наших в китайских деревнях он тащил все, что мог разыскать. Встретится

на улице с китайцем; радушно улыбаясь, протягивает руку,— китаец с вежливой улыбкой протягивает свою, а Хитров вильнет рукою и схватит китайца за нос. И хохочет хулиганским смехом.

Перед мукденским боем мы долго стояли в одной китайской деревне. Целый ряд фанз оборудовали под госпитальные палаты. Отдельная фанза была отведена под операционную; стены ее и потолок были обиты новенькими золотистыми циновками, сложена из кирпичей хорошо греющая печь. И вот однажды вечером от слишком сильно натопленной печки операционная загорелась. Когда мы сбежались, вся ее внутренность пылала и была освещена, как бальный зал. К нашему офицеру-смотрителю подошел Хитров и, держа руку у козырька, сказал:

— Ваше благородие! Там, в операционной, ящик остался с инструментами, вон он, у печки. Дозвольте, я его вытащу.

Мы все ахнули. Это было почти то же самое, что броситься в пылающую печку. Смотритель грозно ответил:

— Только посмей у меня! Прямо под суд отдам!

Хитров отошел. Но когда смотритель отвернулся, Хитров подбежал к пылавшей фанзе, перекрестился и бросился внутрь. Все замерли. В трепетавшем ярком свете черная фигура подбежала к ящику, схватила его и, шатаясь, побежала назад. Хитров выбежал с обгоревшими волосами, с затлевшейся шинелью и бросил ящик на землю. В это же время тяжелый кулак смотрителя обрушился на шею Хитрова, и он кубарем покатился под колеса водовозной бочки. Вот единственная награда, какую он получил и какую только и мог ждать.

2

Нашему госпиталю пришлось стоять однажды вдалеке от проезжих дорог, кругом пошаливали хунхузы, подвоз был затруднен. С неделю мы оставались без съестных припасов.

Под рукою было сколько угодно крупы китайских растений — чумизы и каоляна. Это — обычная, основная еда местных китайцев. Чумиза по виду несколь-

ко напоминает наше пшено, каолян — гречневую крупу. Мы стали варить суп и кашу из чумизы и каоляна.

И вот — странное дело! Мы, офицерский состав, ели чумизную и каоляновую кашу вполне охотно и даже не без удовольствия. Солдаты же побросали ложки после первой пробы и отказались есть. Сидели на одних сухарях, голодали, а есть отказывались. Уверяли, что от каоляна болит голова, а чумиза вызывает ломоту в ногах. Командир полка возмущался привередливостью и избалованностью солдат:

— Скажите пожалуйста, какие гастрономы! Мы едим — и ничего, а они морды воротят! Пусть поголодают. Захочется есть, сами запросят!

А может быть, именно потому они и не могли есть чумизы и каоляна, что... не были гастрономами. Чем более однообразную пищу употребляет человек, тем труднее ему переходить на новую пищу и приноравливать к ней свой вкус. Нам, едавшим и устрицы, и сыр рокфор, и рябчиков, и артишоки, и бананы, легче было приспособиться к новой пище, чем людям, привыкшим изо дня в день есть капустные щи и гречневую кашу.

3

Из нашей части был послан в двуколке на почту за письмами и посылками старший унтер-офицер Бастрыкин в город Маймакай. Возвращается. Навстречу офицер верхом; проехал мимо, потом вдруг крикнул назад:

— Эй, ты! Пойди сюда!

Бастрыкин слез с двуколки, подошел.

— Ты как честь отдаешь?

— Я честь вам отдал.

— Как отдал? Отдаешь, а морду в сторону ворочаешь!

И три раза накрест ударил Бастрыкина нагайкой по лицу.

— Теперь будешь знать, как честь отдавать!.. Пошел!

Бастрыкин приехал домой, рассказал, как его избил офицер.

Работал в кузне солдат-кузнец Финкель. Шел с работы и спросил Бастрыкина:

— Как это вас, господин взводный, офицер избил?

Бастрыкин крикнул:

— Не знаешь, как перед взводным стоять? Руки по швам! Коленки вместе!

Финкель вытянулся.

— Как избил? Вот как!

И дал Финкелю накрест три крепких оплеухи.

Финкель пожаловался. Бастрыкина ротный поставил на два часа под ружье.

Бастрыкин стоял, вытянувшись, с вещевым мешком на боку, с винтовкой на плече. Дождь моросил. На бледном, изуродованном от злобы лице краснели полосы от нагайки.

4

## ВРАГИ

Дмитрий Сучков был парень горячий и наивный, но очень талантливый. Из деревни. Работал токарем по металлу на заводе. Много читал. Попал в нелегальный социал-демократический кружок, но пробыл там всего месяц: призвали в солдаты.

Время было жаркое. Отгремело декабрьское восстание в Москве. По просторам страны пылали помещичьи усадьбы. Разливались демонстрации. Лютовали погромы и карательные экспедиции. С Дальнего Востока после войны возвращались озлобленные полки. Начинались выборы в Первую Государственную думу.

Дмитрий Сучков попросился в Ромодановский полк, где служил его старший брат Афанасий. Полк только еще должен был прийти с Дальнего Востока. Триста новобранцев под командою двух офицеров, посланных вперед, ждали полка в уездном городке под Москвой.

Три дня всего пробыл Сучков в части, и случилось вот что. Солдаты обедали. В супе оказалась обглоданная селедка — хребет с головой и хвостом. Сучков взял селедку за хвост, пошел на кухню, показал кашевару:

— Это что у вас, для навару кладется?

Кашевар с изумлением оглядел его.

— Ты... этого... агитатор?..

Назавтра вышел дежурный капитан Тиунов, прямо направился к Сучкову. Капитан — сухощавый, с бледным, строгим лицом и тонкими бровями.

— Ты тут собираешься агитацией заниматься...— И спросил взводного: — Ему устав внутренней службы читан?

— Никак нет, еще не читан.

Капитан крикнул на Сучкова:

— Стой, как следует!

— Я не знаю стоять, как следует, я стою, как умею.

— Как его фамилия?

— Что вы взводного спрашиваете, я и сам скажу, врать не стану. Сучков фамилия.

— Это ты вчера на суп жаловался?

— Да.

Капитан топнул ногой и грозно крикнул:

— Как ты смеешь так отвечать начальству?! Спроси у взводного, как нужно отвечать.

— Господин Гаврилов, как ему нужно отвечать?

Капитан совсем вскипел:

— Не «господин Гаврилов», а «господин взводный» или по имени-отчеству, и не «ему», а «его высокоблагородию»!

— Господин взводный, как этому высокоблагородию нужно отвечать?

— «Так точно» нужно говорить, «никак нет», «слушаю-с».

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Капитан внимательно поглядел ему в лицо и отошел.

Вечером он пришел с фельдфебелем в казарму и сделал в вещах у Сучкова обыск. Однако Сучков ожидал этого и все подозрительное припрятал.

— Это что? Граф Салиас, «Пугачевцы». Ого! Какими ты книгами интересуешься!

— Вполне легальная книга!

— «Легальная»... Вот ты какие слова знаешь! Умеешь легальные книги отличать от нелегальных. А это что?

— Дневник мой.

Капитан Тиунов передал тетрадки фельдфебелю.

— Вы что же, читать его будете?

— Обязательно.

— А как это вам, господин капитан, не претит? Среди порядочных людей читать чужие письма не принято, а ведь дневник — те же письма.

Сучков за грубость был посажен на три дня под арест.

Вскоре он заболел тяжелым приступом малярии и был отправлен в московский военный госпиталь. Там повел пропаганду среди больных солдат. По его почину они пропели «вечную память» казненному лейтенанту Шмидту. По приказу главного врача Сучков был выписан обратно в полк с отметкой о крайней его политической неблагонадежности.

Полк уж воротился с Дальнего Востока. Он стоял в губернском городе недалеко от Москвы. В полку было яро черносотенное настроение. Начальство втолковывало солдатам, что в задержке демобилизации виноваты «забастовщики», что, по указке «жидов», они всячески препятствовали отправке войск с Дальнего Востока в Россию. Дмитрий Сучков пошел проведать брата Афанасия. Афанасий был ротным каптенармусом, имел в казарме вместе с фельдфебелем отдельную комнатку.

Встретились братья, расцеловались. Конечно, чаек, водочка. Тут же фельдфебель — большой, плотный мужчина с угрюмым и красным лицом.

Дмитрий спросил:

— Ну, что у вас там было на войне, рассказывай.

— Что рассказывать! Ты газеты небось читал... Расскажи лучше, что у вас тут.

Дмитрий стал рассказывать про 9 января, как рабочие Петербурга с иконами и хоругвями пошли к царю заявить о своих нуждах, а он встретил их ружейными залпами и весь город залил русскою кровью; рассказывал о карательных экспедициях в деревнях, как расстреливают и запарывают насмерть крестьян, о баррикадных боях на Красной Пресне в Москве. Рассказывал ярко, со страстью.

Когда он на минутку вышел из комнаты, брат его Афанасий покрутил головою и сказал:

— Мне это очень не нравится, что он говорит.

Фельдфебель же неожиданно сказал:

— А мне очень нравится!

Этого фельдфебеля солдаты в роте сильно боялись. Был он строг и беспощаден, следил за солдатами, не одного упек, служил царю не за страх, а за совесть. Но последние месяцы стал что-то задумываться, сделался молчалив, много читал Библию и Евангелие, по ночам вздыхал и молился.

Воротился в комнату Дмитрий Сучков. Взялись опять за чаек да за водочку. Фельдфебель спросил:

— Ну-ка, а как ты домекаешься — в чем тут самый корень зла, откуда вся беда?

— В царе, ясное дело! Безусловный факт!

В дверях толпились солдаты, дивились, что рядовой солдат так смело говорит с их грозным фельдфебелем, да еще какие слова!

Фельдфебель сказал:

— А ты этого, парень, не знаешь, что против царя грех идти, что это бог запрещает?

— Что-о? *За* царя грех идти! Вот что в Библии говорится!

— Ну что... Ну что глупости говоришь! Я Библию хорошо знаю.

— Есть она у тебя?

— Вот она.

— Ну гляди. Первая книга царств, глава двенадцатая, стих девятнадцатый. Я это место вот как знаю, взажмурки найду. Читай: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед господом богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».

Фельдфебель молчал и внимательно перечитывал указанное место. Долго думал, наконец сказал:

— Теперь все понятно!

Облегченно вздохнул, перекрестился и закрыл книгу.

Долго еще беседовал фельдфебель с Дмитрием Сучковым. И стал с ним видеться каждый день. И ему не было стыдно учиться у мальчишки-рядового. Он говорил ему:

— Все у меня внутри было как будто запечатано, а ты пришел и распечатал,— вот как бутылку пива откупоривают.

Сам воздух в то время дышал возмущением и ненавистью. Агитация падала в солдатские массы, как искры в кучи сухой соломы. Агитацию вели Дмитрий Сучков, фельдфебель и еще один солдат, рабочий-еврей из Одессы. Дмитрий Сучков рос в деле с каждым днем. Солдаты смотрели на него как на вожака. И все большим уважением проникались и к фельдфебелю, которого раньше ненавидели.

Весною случилось вот что. В железнодорожных мастерских арестовали четырех рабочих. Мастерские заволновались, бросили работу, потребовали освобождения арестованных. К мастерским двинули три роты Ромодановского полка. Перед тем как им выступить, перед солдатами в отсутствие офицеров пламенную речь сказал Сучков, научил, как держаться, а фельдфебель Скуратов добавил:

— Если кто из вас по офицерской команде стрельнет, я его на месте уложу пулей. Когда дойдет до дела, не слушать офицеров, слушай моей команды.

Пошли. По дороге солдаты завернули на двор воинского присутствия. Выступил один из ротных командиров, тот капитан Тиунов, о котором уже говорилось. Бледное, строгое лицо с тонкими бровями. В упор глядя на солдат, спросил:

— Скажите мне, братцы, вы знаете, что такое присяга?

— Так точно.

— Может быть, не совсем хорошо знаете. Так я вам объясню. Не ваше дело рассуждать. Вы давали присягу царю и отечеству. Ты не отвечаешь за то, что твоя винтовка сделает,— за это отвечает начальство...

Увидел среди солдат Сучкова. Сучков часто замечал на себе и раньше пристальный подозрительный взгляд капитана.

— Пойди-ка сюда! А ты знаешь, что такое присяга?

— Так точно! Только всякий ее по-своему понимает.

Капитан понял, что он соглашается с ним, и обрадовался. И повел солдат к железнодорожному вокзалу.

Перед мастерскими чернела и волновалась тысячная толпа рабочих. Солдат выстроили спиною к вокзалу. Комендант кричал на рабочих, в ответ слышались крики:

— Выпустить арестованных!.. Все мастерские разнесем, поезда остановим!

Комендант крикнул:

— Теперь я с вами иначе заговорю!

И шатающимся шагом пошел к ротам. Стал сзади солдат и стал командовать:

— По толпе... залпом... роты...

И вдруг оборвал команду. Ряды стояли неподвижно, ни один солдат не взял ружья на изготовку. Комендант растерянно обратился к Тиунову:

— Капитан, почему ваши солдаты не берут на изготовку?

Тиунов, страшно бледный, молчал. Комендант вышел перед ряды и стал спрашивать отдельных солдат:

— Отчего не берешь на изготовку?

Солдаты стояли, неподвижно вытянувшись, и молчали, как окаменевшие. Скуратов, волнуясь, шепнул Сучкову:

— Ну, как кто поддастся!

Но никто не поддался. Комендант крикнул Тиунову:

— Тогда распоряжайтесь сами!

И исчез.

Рабочие замерли на месте, услышав команду коменданта.

Теперь они в бешеном восторге кинулись к солдатам.

— Ура, ромодановцы!

Окружили солдат, целовали, обнимали, совали в руки баранки, колбасу. Солдаты по-прежнему стояли неподвижно, соблюдая строй,— совсем истуканы!

От вокзала показался комендант, с ним человек пятнадцать жандармов с винтовками. Рабочие к солдатам:

— Братцы, дайте нам винтовки, мы их встретим!

Фельдфебель Скуратов скосил глаза на сторону и быстро ответил:

— Небось! Пусть хоть раз стрельнут,— мы им сами покажем!

— Ура! — закричали рабочие.

Комендант опять стал уговаривать рабочих, но теперь он говорил очень мягко. Рабочие толпились вокруг и постепенно оттирали жандармов. Жандармы очутились поодиночке в густой рабочей толпе. Ничего не добившись, комендант исчез.

Солдат повели к мастерским, выстроили перед воротами с приказом никого не выпускать. И опять молча и неподвижно, как окаменевшие, солдаты стояли, держа строй, а мимо них выбегали рабочие. Соединились в колонну и с пением «Марсельезы» двинулись к городу, раньше прокричав ромодановцам «ура».

Командир полка, узнав о случившемся, пришел в бешенство, рвал на себе волосы.

— Батальон был самый боевой, а теперь как опоганился!

Командовавший отрядом капитан Тиунов все не являлся к полковому командиру с рапортом, так что пришлось послать за ним вестового. Вестовой побежал и, воротившись, смущенно доложил:

— Капитан Тиунов — застрелимшись.

Он выстрелил себе в грудь, пуля прошла навылет, но не задела ни сердца, ни крупных сосудов. Его снесли в лазарет.

Роты, участвовавшие в описанном деле, ходили как победители. Время было такое, что начальство боялось их покарать. Вскоре полк ушел в лагеря. Ходили на стрельбу за пять верст от лагеря. После поверки солдаты уходили в лес, в условленное место, на митинг. По дороге — свои патрули; спрашивали пароль. Выступали присланные ораторы. Говорили о Государственной думе, о способах борьбы, о необходимости организации, о светлом будущем. Это был для солдат какой-то светлый праздник. Все ходили, как будто вновь родились. Постановили больше не ругаться матерными словами. Красное, угрюмое лицо фельдфебеля Скуратова теперь непрерывно светилось, как раньше у него бывало только в светлое воскресенье. Установились у него близкие, товарищеские отношения с солдатами. Однажды стирал он в прачечной свое белье. Увидел дежурный офицер.

— Вот молодец! Фельдфебель, а сам стирает! Каждый рядовой норовит теперь это на другого свалить, а он — сам. Молодец! Вот это хороший пример.

Фельдфебель молча продолжал стирать.

— Слышишь, я говорю тебе: «Молодец!»

Скуратов молчал. Офицер грозно крикнул:

— Ты что, скотина, не слышишь? Я тебе говорю: «Молодец!»

Нужно было ответить: «Рад стараться!» Но Скуратову противно было это сказать. И он неохотно ответил:

— Не молодец, а нужда. Нет денег прачку нанять.

В начале августа, когда полк стоял еще в лагерях, случилось вот что. В праздник Преображения, 6 августа, два солдата гуляли за полковой канцелярией. И вдруг нашли в овраге большую кучу распечатанных писем и отрезов денежных переводов, адресованных солдатам. Стали читать письма. В них солдатам писали из деревни, чтоб не стреляли в мужиков, чтоб стояли за Государственную думу. А по сверке денежных переводов оказалось, что адресаты денег этих не получили.

Заволновался полк. Сходились кучками, передавали друг другу о находке, ругались и грозно сжимали кулаки. К вечеру весь лагерь шумел, как развороченный улей. Офицеры попрятались. Солдаты искали Сучкова, чтоб он им «сказал». Но Сучков в тот день поехал в город за мясом — его солдаты выбрали батальонным артельщиком. Кинулись к фельдфебелю Скуратову. Но он был только хорошим «младшим командиром», исполнителем, а теперь лишь недоуменно пожимал плечами. Да и правда, нелегко было направить общее негодование в нужное русло. Стали слушать каждого, кто громко кричал. Решили идти к помещению первого батальона, где находился денежный ящик и полковое знамя, деньги поделить меж собой и со знаменем, с музыкой двинуться в город. Пошли вдоль палаток, выгоняя спрятавшихся солдат. Открыли карцер, выпустили восьмерых арестованных — «пускай нынче всем будет радость». Пришли. Вдруг перед ними появился командир полка. Упал перед солдатами на колени:

— Братцы! Товарищи! Господа! Что хотите со мной делайте, а знамени и денежного ящика не трогайте!

— Э, слушай его! Валяй, ребята! Часовой, отойди!

Но тут фельдфебель Скуратов начальственно крикнул:

— Смирно, товарищи! Полковой командир дело говорит. Не трогать знамени и денежного ящика. Дайте полковому командиру сказать, что хочет.

Полковой командир приободрился и сказал:

— Ребята! Вы заявите свои требования, я их все добросовестно разберу, а дело сегодняшнее мы замнем.

Солдаты наперебой стали говорить о найденных в овраге письмах и денежных переводах, о незаконных работах для офицерского состава, которые заставляют делать солдат.

— Ребята, вы все сразу говорите и очень далеко стоите. Подойдите ближе!

— А, сукин сын, заметить хочет тех, кто говорит! К черту его!

Раздались пьяные голоса:

— Идем офицерское собрание разнесем!

В это время — были уже сумерки — воротился из города Сучков. Солдаты кинулись к нему. Он развел руками и покачал головой.

— Ай-ай-ай! Что же делать теперь?

Сказали ему, что часть солдат пошла громить офицерское собрание. Он побежал к ним, остановил. Повел всех в рощу за лагерем «вырабатывать требования». Поздно ночью солдаты мирно разошлись по палаткам. Сучков задумчиво шел со Скуратовым домой.

— Да... Как теперь эту кашу расхлебывать!

Около палаток к Сучкову в темноте подошел вестовой.

— Сучков, иди скорей, тебя к себе капитан Тиунов зовет. Велит, чтоб сейчас же пришел.

— Что я ему? Почему я должен к нему являться? Однако пошел.

Капитан Тиунов, на днях только вышедший из госпиталя, исхудавший, сидел на табуретке перед бараком и курил.

— Это ты, Сучков? Здравствуй!

— Здравия желаю!

— Пойдем в барак.

Вошли.

— Садись.

— Я, ваше высокоблагородие, постою.

— Садись, говорят тебе.

Сучков сел. С минуту молчали. Наконец Тиунов заговорил:

— Вот еще раз встретились с тобой. Теперь, может, уж в последний раз.— Помолчал. Потом нагнулся к Сучкову и шепотом спросил: — Что ты такое сделал, сукин сын?

— Что я такое сделал?

— Что сегодня было, это твоих рук дело.

— Меня тут даже не было, я в город ездил.

— Все равно, это все ты... Ты жид?

— Никак нет.

— Может, поляк?

— Никак нет.

— Ну, может, в роду у тебя поляки были?

— Этого знать не могу,— с усмешкой ответил Сучков.— Тогда не жил.

— Та-ак, та-ак...— задыхаясь, произнес Тиунов. Вдруг взял со стола замок, подошел, привесил к двери и запер на ключ.

Сучков подумал:

«Бить, что ли, будет? Ну, это еще посмотрим, кто кого! Как бы ему самому не было большого полому!»

Тиунов из-под шитой подушки на диване достал револьвер и нацелился на Сучкова.

— Сознавайся!

Указательный его палец лежал на спуске, в дырах барабана видны были пули. Заряженный. У Сучкова же шинель была внакидку, застегнута у шеи на два крючка, руки спутаны; пока станешь отстегивать крючки,— застрелит.

— Да в чем сознаваться?

— Ты им брошюры давал, прокламации писал... Сознавайся! Убью тебя, как пса. Что ты им давал?

— Что давал! Газету сейчас дать — почище будет всякой прокламации! Правда теперь пошла в газетах, тоже вот в них отчеты Государственной думы печатаются...

Тиунов схватился за голову.

— Эх, вот эта Дума еще!.. Нет, ты им все-таки еще прокламации давал... Ну, слушай! Ведь вот твоя смерть здесь, в дуле... Сознавайся!

— Да ну, стреляйте! Что там разговаривать! Жизнь мне не дорога, а смерть не опасна.

Тиунов вдруг положил револьвер, снял с двери замок и опять сел рядом с Сучковым.

— Ну, смотри, видишь? Я револьвер положил, дверь отпер. Но все-таки знай: если ты меня не убьешь — я тебя убью!

Замолчали.

— Давал ли им прокламации, нет ли,— а все это дело — твое. Ну-с, что же, доволен? Денежки из казенного ящика поделить, офицерский буфет разграбить... Чего ж вы этим достигнете? Ты хочешь анархии.

— Я не хочу анархии.

Капитан удивился.

— Не хочешь?

— Не хочу. У вас анархией называется свобода, вы сами рабы и хотите, чтоб все рабами были. Нам друг друга не понять. У вас одна душа, у нас другая.

— Свобода... Свобода? Ты хочешь свободы, а вызовешь анархию, проклятый ты человек! Ты ее вызовешь, в ней и я погибну, и сам ты, и Россия!.. Радуешься ты на то, что сегодня было?

— Нет, не радуюсь.

— Ну и никакой тебе никогда радости не будет. Может, когда-нибудь, как увидишь, что вы с Россией сделали, сам ужаснешься!

— Как говорится,— бог не выдаст, свинья не съест.

Тиунов встал.

— Ну, теперь прощай! — Он протянул Сучкову руку и с ненавистью пожал ее.— Прощай. А мы — мы будем драться с вами до последнего!

Сучков с вызовом поглядел на него.

— Не испугаемся: кто кого!

Тиунов скрипнул зубами и бросился к столу за револьвером.

Остановился, повернулся.

— Уходи скорей, говорю тебе!

— Здравия желаю!

Сучков откозырнул и вышел из барака.

VII

1

# МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

С начала девятисотых годов до Октябрьской революции в Москве существовал Литературно-художественный кружок — клуб, объединявший в себе все сливки литературно-художественной Москвы. Членами клуба были Станиславский, Ермолова, Шаляпин, Собинов, Южин, Ленский, Серов, Коровин, Васнецов, все выдающиеся писатели и ученые, журналисты и политические деятели (преимущественно кадетского направления). Это были действительные члены. Кроме того, были члены-соревнователи,— без литературно-художественного стажа: банкиры, фабриканты, адвокаты и почему-то очень много зубных врачей. Эти члены права голоса на общих собраниях не имели. В чем они могли в кружке «соревноваться» — неизвестно. А чем они были полезны кружку, будет видно из последующего.

Ежегодный членский взнос действительных членов был — пятнадцать рублей, членов-соревнователей — двадцать пять. Формально говоря, эти членские взносы были единственным доходом кружка; в год это составляло не больше десяти тысяч рублей. Между тем кружок занимал огромное, роскошное помещение на Большой Дмитровке в доме Востряковых, № 15 (где впоследствии помещался Московский комитет ВКП(б), а теперь — Верховная Прокуратура СССР). За одно это помещение кружок платил сорок тысяч в год, ежегодно ассигновывал по 5—6 тысяч на пополнение библиотеки и столько же — на приобретение художественных произведений, оказывал материальную помощь нуждающимся писателям и художникам. Библиотека была великолепная, стены кружка были увешаны картинами первоклассных художников; особенно много было портретов: знаменитый серовский портрет Ермоловой, Лев Толстой — Репина, Южин и Ленский — Серова, Шаляпин — Головина, Чехов — Ульянова, Брюсов — Малютина и др. Думаю, не оши-

бусь, если скажу, что действительный ежегодный бюджет кружка был 150—200 тысяч рублей. Откуда же получались эти деньги?

В верхнем этаже кружка был большой с невысоким потолком зал, уставленный круглыми столами с зеленым сукном. Настоящею жизнью этот зал начинал жить с одиннадцати-двенадцати часов ночи. Тут играли в «железку». Были столы «золотые», где наименьшею ставкою был золотой. Выигрывались и проигрывались тысячи и десятки тысяч. Втягивались в игру и развращались все новые и новые люди. Ходит вокруг столов какой-нибудь почтенный профессор или молодой писатель, с ироническою усмешкою наблюдает играющих; балуясь, «примажется» к чьей-нибудь ставке, поставит золотой десятирублевик, выиграет (к начинающим судьба обыкновенно бывает очень милостивой), возвращается к ужинающим в столовой приятелям и говорит, посмеиваясь:

— Вот, заработал себе на ужин!

Глядишь,— через год-другой он уже не выходит из верхнего зала, уже не примазывается, а занимает место за столом и играет все ночи напролет. Вот тут-то «соревновались» и члены-соревнователи, вот для этой-то цели они и выбирались.

Приходилось тут наблюдать очень странные типы. Аккуратно после театра являлся сюда артист Малого театра К. Н. Рыбаков — великолепный актер, сын знаменитого Н. Х. Рыбакова. Высокий, плотный, очень молчаливый. Пристраивался около стола, где шла самая крупная игра, и — смотрел. В игре никогда не участвовал. Но смотрел очень внимательно, не отрываясь. Сюда же спрашивал себе ужинать и ел за приставленным маленьким столиком, продолжая следить за игрой. Молчит. По тонким бритым губам пробегает чуть заметная усмешка. Просиживал аккуратно до шести часов утра — крайний срок, до которого разрешалась игра, и уходил последним. И — никогда не играл. Меня очень он интересовал. В чем дело? Знающие люди мне объяснили. Так бывает с ярыми игроками, бросившими играть. Когда-то Рыбаков жестоко проигрался, дал себе слово не играть. И вот мысленно переживал все перипетии чужой игры, находя в этом своеобразное наслаждение.

Много видов видал этот верхний зал кружка, о многих острых событиях могли бы рассказать его стены. Вот одно из таких событий, о котором долго говорили в кружке.

Поздняя ночь. В накуренном верхнем зале ярко горит электричество. Вокруг одного из «золотых» столов — густое кольцо зрителей. Все взволнованно следят за игрой. Мечет банк знаменитый артист Малого театра князь А. И. Сумбатов-Южин. Лицо его спокойно и бесстрастно. Вокруг стола в волнении расхаживает уже мною упомянутый артист К. Н. Рыбаков (он тогда еще играл). Поглядывает на стол, хватается за голову и говорит про себя:

— Нет, он положительно — сумасшедший! Он — с-у-м-а-с-ш-е-д-ш-и-й!

Рыбаков половинною долею вошел в банк, заложенный Южиным. Девять раз Южин выиграл, в банке двадцать пять тысяч. Но Южин продолжает метать.

— Даю карту!

Выигрывает в десятый раз. В банке пятьдесят тысяч. Рыбаков требует кончить. Но Южин как будто не слышит и опять:

— Даю карту!

Проигрыш почти уже верный. Присутствующие ставят последние деньги в расчете на выигрыш, глаза горят, лица бледные, руки дрожат. Только руки Южина спокойны и лицо по-прежнему бесстрастно.

Выигрыш — в одиннадцатый раз! В банке сто тысяч. И — опять спокойный голос:

— Даю карту!

Общее молчание. И денег таких ни у кого уже нет, да если бы и были, так не пойдут, — всех охватил тот мистический ужас перед удачей, который знаком только игрокам.

Южин повторяет:

— Даю карту!

По губам его пробегает чуть заметная озорная улыбка. Рыбаков оживает: желающих нет. Вдруг тихий старческий голос:

— Позвольте карточку! По банку!

Табачный фабрикант-миллионер Бостанжогло. Золотым пером пишет чек на сто тысяч рублей и кладет на стол.

Южин мечет. Открывает карты. У Южина пять очков, у Бостанжогло — победоносная девятка. Банк сорван.

Рыбаков схватился за голову и тяжело упал в кресло. А князь Сумбатов-Южин барственным жестом провел рукою по лбу и спокойно-небрежным голосом сказал:

— Ну, а теперь пойдем пить красное вино!

Этот-то верхний зал и служил главным источником дохода кружка. Официально игра должна была кончаться в двенадцать часов ночи. За каждые лишние полчаса играющий платил штраф, увеличивавшийся в очень значительной прогрессии. Окончательно игра прекращалась в шесть часов утра. Досидевший до этого часа платил штрафу тридцать два рубля. Вполне понятно: человеку, выигравшему за ночь сотни и тысячи, ничего не стоило заплатить эти тридцать два рубля; человек, проигравший сотни и тысячи, легко шел на штраф в надежде отыграться.

Отсюда и шли в кассу кружка основные его доходы. Так было везде, на такие доходы жили все сколько-нибудь крупные клубы. Часто против такого положения дел в кружке раздавались протестующие голоса, говорили, что стыдно клуб сливок московской интеллигенции превращать в игорный притон и жить доходами с него. На это с улыбкою возражали: в таком случае нужно будет либо членские взносы повысить в двадцать — тридцать раз, либо нанять квартирку по сто рублей в месяц, обходиться двумя-тремя служащими, держать буфет только с водкой, пивом и бутербродами, выписывать в читальню пять-шесть газет и журналов. В такой клуб никто не пойдет.

И вот: анфилада больших залов с блестящим паркетом, с уютною мягкою мебелью и дорогими картинами по стенам, многочисленные вежливые официанты в зеленых фраках с золотыми пуговицами, огромный тихий читальный зал с мягкими креслами и турецкими диванами, с электрическими лампами под зелеными абажурами, держащими в тени потолок; на столах — всевозможные русские и заграничные газеты и журналы; чудесная библиотека с редчайшими дорогими изданиями. Прекрасный буфет, недорогой и изысканный стол, тончайшие вина. Очень удобно бы-

ло наблюдать до того мне совсем незнакомую жизнь старорежимного клуба и широкие круги сливок московской интеллигенции.

В помещении кружка заседали многочисленные литературные и художественные общества: Общество деятелей периодической печати и литературы, литературный кружок «Среда», Общество свободной эстетики и др. Устраивались банкеты и юбилейные торжества. В большом зрительном зале по пятницам происходили исполнительные собрания — выступали лучшие артисты и певцы, члены кружка и приезжие знаменитости. По вторникам читались доклады на литературные, художественные, философские и политические темы. Диспуты часто принимали очень интересный и острый характер.

Ярко стоит в памяти один из таких диспутов. Приехавший из Петербурга модернист Д. В. Философов читал доклад о книге Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности». Зашел ко мне Ив. Ив. Скворцов-Степанов — большевик, будущий редактор «Известий». Я ему предложил пойти на доклад. Он в кружке никогда еще не бывал. Заинтересовался. Пошли вместе.

На эстраде — за столом, покрытым зеленым сукном,—докладчик, приехавшие с ним из Петербурга Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Андрей Белый. Председательствовал поэт-модернист С. А. Соколов-Кречетов. Докладчик по поводу книги Шестова говорил о нашей всеобщей беспочвенности, о глубоком моральном падении современной литературы, о мрачных общественных перспективах. Потом начались прения. Выступил Андрей Белый с длинною истерическою речью. Он протягивал руки к публике и взволнованно говорил об ужасающей всеобщей беспочвенности и беспринципности, о безнадежности будущего, о неслыханном моральном разложении литературы. Писатели занимаются тем, что травят собаками кошек. (В это время петербургские газеты шумели по поводу забавы, которую выдумали себе один небезызвестный беллетрист и два журналиста: они привязали к ножке рояля кошку и затравливали ее фокстерьерами.)

— Литература сплошь продалась! — восклицал Белый.— Осталась небольшая группа писателей, кото-

рая еще честно держит свое знамя. Но мы изнемогаем в непосильной борьбе, наши силы слабеют, нас захлестывает волна всеобщей продажности... Помогите нам, поддержите нас!..

Андрей Белый был замечательный оратор. Речь его своею страстностью чисто гипнотически действовала на слушателей, заражала своею интимностью и неожиданностью. Публика горячо аплодировала.

Иван Иванович слушал, пожимал плечами и давился от смеха.

— Нет, не могу вытерпеть! Разрешается у вас выступать посторонним?

— Конечно.

Вышел — огромный, громовоголосый. Вначале слегка задыхался от волнения, но вскоре овладел собою, говорил едко и насмешливо. Недоумевал, почему так безнадежно смотрят выступавшие ораторы на будущее, говорил о могучих «общественных силах», временно побежденных, но неудержимо вновь поднимающихся и растущих. Потом о литературе.

— Господин Андрей Белый в пример развращенности нашей литературы приводит бездарного писателя, получившего известность за откровенную порнографию, да двух газетных репортеров, занимавшихся совместной травлею кошек. И это — наша литература? Они — литература, а Лев Толстой, живущий и творящий в Ясной Поляне, он — не литература? (Гром рукоплесканий.) Жив и работает Короленко,— это не литература? Максим Горький живет «вне пределов досягаемости»,— как вы думаете, неужели потому, что он продался? Или и он, по-вашему, не литература? Господин Андрей Белый докладывает вам, что осталась в литературе только ихняя кучка, что она еще не продалась, но ужасно боится, что ее кто-нибудь купит. И умоляет публику поддержать ее. Мне припоминается старое изречение: «Добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того, чтобы ее стеречь!» Так и с вами: боитесь соблазниться, боитесь не устоять — и не надо! Продавайтесь! Не заплачем! Но русскую литературу оставьте в покое: она тут ни при чем.

Как будто в душную залу, полную тонко-ядовитых расслабляющих испарений, ворвался бурный сквозняк и вольно носился над головами притихшей публики.

Когда Скворцов кончил, загремели рукоплескания, какие редко слышал этот зал.

Вскочил Мережковский с бледным от злобы лицом. С вызовом глядя черными гвоздиками колючих глаз, он заявил, что публика совершенно лишена собственных мыслей, что она с одинаковым энтузиазмом рукоплещет совершенно противоположным мнениям, что всем ее одобрениям и неодобрениям цена грош.

— И я вам докажу это. Вот я вас ругаю,— а заранее предсказываю с полной уверенностью: вы и мне будете рукоплескать!

И правда,— зарукоплескали. Но рядом раздались свистки, шиканье. Многие из слушателей порывались на эстраду, но председательствовавший Соколов-Кречетов не давал им слова. Все-таки одна курсистка взбежала на эстраду и взволнованно заявила:

— Я должна объяснить господину Мережковскому то, что он должен бы понимать и сам: «публика» — это не организм с одним мозгом и двумя руками. Одни рукоплещут Скворцову, другие — ему.

Пришлось закрыть собрание. Иван Иванович смеялся и потирал руки.

— Очень интересный провел вечерок! Никогда ничего такого не видал. Спасибо вам!

2

Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако Федор Никифорович. По всем рассказам, это был человек исключительного красноречия. Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы. Один адвокат, в молодости бывший помощником Плеваки, с восторгом рассказал мне такой случай.

Судили священника. Как у Ал. Толстого:

Несомненны и тяжки улики,
Преступленья ж довольно велики:
Он отца отравил, пару теток убил,
Взял подлогом чужое именье...

И ко всему — сознался во всех преступлениях. Товарищи-адвокаты в шутку сказали Плеваке:

— Ну-ка, Федор Никифорович, выступи его защитником. Тут, брат, уже и ты ничего не сможешь сделать.

— Ладно! Посмотрим.

И выступил.

Все бесспорно, уцепиться совершенно не за что. Громовая речь прокурора. Очередь Плеваки.

Он медленно поднялся — бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз. И присяжные оправдали священника.

Вот что сказал Плевако:

— Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который *тридцать лет* отпускал вам на исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?

И сел. Так это было сказано, что я сам, сообщал рассказчик, был глубоко взволнован.

Я с недоумением спросил:

— Плевако, что же, толстовец, что ли, был? Отрицал всякое наказание?

Адвокат пренебрежительно оглядел меня.

— Дело совсем не в этом. Но как ловко сумел подойти к благочестивым москвичам, а?

Прокуроры знали силу Плеваки. Старушка украла жестяной чайник стоимостью дешевле пятидесяти копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плеваки и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но — собственность священна, все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет.

Поднялся Плевако:

— Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Оправдали.

3

Инженер-путеец А. Н. С—ский. Чудесно играл на скрипке. Однажды по служебным делам остановился в Киеве. Вечером у себя в номере гостиницы играл Баха, любимого своего композитора. У Баха есть пьеса, специально написанная для одной скрипки, без всякого аккомпанемента. Ее он и играл.

Стук в дверь. Коридорный подал ему визитную карточку:

Сергей Тимофеевич Коненков

Знаменитый скульптор.

— Проси!

Вошел Коненков.

— Извините, что я к вам врываюсь? Вы Баха играете. Я целый час в коридоре стою, слушаю. Позвольте тут присесть.

— Пожалуйста!

И опять стал играть — пятую часть: она особенно хороша. Коненков сидел в уголке дивана и корчился в молчаливом восторге. Стал просить еще играть. Пошел к себе в номер, принес вина. И опять сидит, слушает, непроизвольно мычит и корчится. Принес фотографический снимок со своего знаменитого бюста Баха.

— Вот! Видите? На губах — ироническая улыбка к миру, а здесь,— он с почтительным благоговением указал на лоб,— здесь целый огромный собственный мир!

Назавтра днем С—ский уезжал. Хотел зайти к Коненкову проститься. Спросил коридорного.

— Спит еще. Пьяный вдрызг. Всю ночь пил и колобродил.

4

Последние годы совместной жизни своей со Львом Николаевичем Софья Андреевна Толстая томилась от бездействия и не знала, к чему приложить силы. Т. Л. Сухотина-Толстая рассказывала, что Толстой говаривал:

— Нужно бы для Сони сделать резинового ребеночка, чтобы он никогда не вырастал и чтобы у него всегда был понос.

5

Я сказал А. И. Куприну:

— Из современных русских писателей больше всех Лев Толстой любит вас.

Куприн юмористически вздохнул:

— Да,— три самых любимых современных писателя его — Семенов, Захарьин-Якунин и — я.

6

Скульптор Волнухин, автор памятника первопечатнику Федорову в Москве. Ученики звали его «тятя». Был он очень добр — специально старороссийскою добротою: слишком был ленив, чтобы быть злым. Но если с кем случалась беда, невозможно было заставить его хоть пальцем двинуть в помощь ему, пойти похлопотать и т. п.: лень. В мастерской его было грязно ужасно. Пришла раз жена одного из его учеников, смущенно оглядывается, где бы сесть. Волнухин сел на запыленную табуретку, повертелся на ней. Встал:

— Садитесь. Теперь чисто.

Жил и ел в своей мастерской, сам себе варил борщ. Была семья, но там он обедать не любил. Жена скажет: «Умой руки». Посуду не мыл неделями. Раз старуха няня ему сказала:

— Ужотка пойду в баню, давай посуду твою захвачу, там помою.

Только в бане можно было ее отмыть. Вздумает угостить чаем,— ужас: и стакан неделями не мыт. Если гость предварительно вымоет стакан, Волнухин обидится.

7

## П. Ф. ЛЕСГАФТ

Было это в 1909 году,— помнится, в декабре. В гробу лежал сухонький старичок с седою бородою, с очень высоким и крутым лбом. Гроб стоял в мрачной лютеранской часовне. Стрельчатые дуги арок, стрельчатые узкие окна. Сумрак вокруг. А в раскрытые двери знойно сверкала под солнцем песчаная пустыня, в далекой утренней дымке узорчато чернели финиковые пальмы и караван верблюдов, звеня бубенцами, тянулся к городу.

Над гробом стоял черноусый немецкий пастор с наружностью доцента фармакогнозии и произносил надгробную проповедь. Он говорил:

— Возлюбленный брат! Ты наконец достиг того успокоения и отдыха, которого тщетно жаждал всю свою жизнь! Покинутые тобою, мы горько скорбим о себе, но за тебя мы должны только радоваться: пришел срок — ты сложил с усталых плеч бремя жизни и идешь успокоиться навеки на родительском лоне господа нашего бога!

И еще больше, чем готическая часовня на фоне африканской пустыни, резали душу эти слова пастора, обращенные к тому, кто лежал в гробу. Мне казалось: старичок сейчас быстро поднимется, выскочит из гроба, стремительной своей походкой налетит на пастора и отчитает его так, как только он умел отчитывать. Докажет ему ясно, что никакого он никогда в жизни не искал покоя, что жизнь жива и прекрасна энергичною работою, что жизнь — не бремя, а крылья, творчество и радость, а если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват! И наклонялся бы к лицу опешившего пастора и спрашивал бы:

— Ясно?.. Ясно?.. Ну, что? Ясно теперь?..

И пастор смущенно пятился бы от старичка, как пятился от него я двадцать пять лет назад. Да, верно:

назад ровно двадцать пять лет, в декабре 1884 года. Я тогда был юным студентом-филологом Петербургского университета. Случайно я забрел на лекцию анатомии, которую этот самый чудесный старичок читал юристам (для судебной медицины). Читал совсем по-особенному: он волчком носился по аудитории с разрезом височной кости, совал ее под глаза каждому студенту и старался растолковать взаимное расположение полукружных каналов. Стремительно налетел и на меня, и указывал пинцетом ход каналов, и спрашивал:

— Ясно? Ясно теперь?.. Ну, что? Ясно?..

А я краснел и старался ретироваться. И вот теперь, через двадцать пять лет, в Гелуане, под Каиром, я стоял на панихиде по этом самом старичке: месяц назад врачи для чего-то послали его из Петербурга умирать в далекий Египет. Профессор Петр Францевич Лесгафт.

Лесгафт!.. Кто знал его, тот поймет: Лесгафт — и искание покоя! Лесгафт — и бремя жизни! Да, отчитал бы он этого пастора с его «бременем жизни»!

8

Рудометов. Сибиряк. Высокого роста, крепкий, с большой головой. Напоминал Петра Первого. Был сектантом и очень был фанатичен: не только не ел убоины, но даже не убивал паразитов. Летом работал грузчиком, зарабатывал хорошо, зимою читал и учился. Потом поступил в почтальоны.

Однажды другой почтальон принес воинскому начальнику заказное письмо и не снял перед ним шапки. Воинский начальник его избил. Плачущий, окровавленный, почтальон рассказал об этом Рудометову. Три дня Рудометов ходил мрачный, задумчивый, по ночам сидел на кровати и угрюмо думал. А на четвертый день попросил избитого товарища передать ему не в очередь доставку почты воинскому начальнику. Доставил и не снял шапки. Воинский начальник его в зубы. Тогда Рудометов сказал:

— Отец помирал, не велел мне никогда долга на себе держать!

Развернулся и ударил начальника так, что тот отлетел в угол. И зверски потом избил. Судили. Несколько лет отсидел в тюрьме. Сектанты, его единоверцы, отнеслись к нему с решительным осуждением. Тогда он ушел от них.

Был мобилизован на войну. Во время керенщины, на австрийском фронте, сказал пламенную речь против войны до победного конца. Оказался прекрасным оратором, имел огромный успех, солдаты носили его на руках. Говорил от нутра, ни к какой революционной партии не принадлежал. Раз в Одессе, когда выступил против кадетов с требованием прекращения войны и отдачи всей земли крестьянам без выкупа, ему закричали:

— Большевик!

Тут он понял, к какой принадлежит партии, и вскоре стал большевиком.

Теперь он ответственный работник. Но прежний сектантский аскетизм крепко сидит в нем. Живет с женою и семьею брата в одной комнате, никогда не пользуется машиной, ходит всегда пешком.

## 9

По Новому шоссе близ Тимирязевской сельскохозяйственной академии неслась под гору легковая машина. Шофер с испуганным лицом давал непрерывные гудки и старался затормозить машину. Внизу, посреди неширокого моста, озорной мальчишка лет девяти, балуясь, удерживал на месте пятилетнего братишку и не давал ему убежать. Всем было ясно со стороны, что мальчишка с братом не успеют увернуться. Мать с воплем бежала к мосту.

Гибель ребят была неминуема. Вдруг в последний момент шофер повернул руль — и машина вместе с шофером рухнула в овраг.

Сбежался народ. Окровавленный шофер без чувств лежал в поломанной машине. Вызвали «Скорую помощь». Люди в белых халатах вынесли раненого в носилках из оврага. У него были перебиты обе ноги. Затуманенные глаза раскрылись. Морщась и крепко закусив губы, чтобы не стонать, он смотрел на облака.

Белая карета с красным крестом уехала. Народ взволнованно обсуждал случившееся. Пожилой человек в кепке авторитетно говорил:

— Ничего бы ему не было, если бы раздавил ребят. Дело вполне ясное. Я сам шофер, знаю порядки. Вон сколько свидетелей кругом, все видели. Ничего бы не было! А он — и сам погиб, и машину поломал. Наверно, не знал законов.

10

## МИМОХОДОМ

Было это последним летом в Крыму.

Секретарь местного сельсовета — молодой партиец — и приезжая журналистка разговорились. Вот ведь какая нелепость: в дачный поселок съезжается летом самая отборная интеллигенция; отдыхают, жарятся под солнцем на пляже, купаются, гуляют, флиртуют; а тут же рядом — темная деревня, безграмотная, дикая, живущая только хулиганством, пьянкой и абортами. Как бы было хорошо учредить Общество шефства дачного поселка над деревней. Пусть бы профессора читали крестьянам доступные лекции по своей специальности, в клубе выступали бы певцы, музыканты, артисты, писатели.

Секретарь сельсовета добавил:

— А для начала — хоть бы библиотеку нашу привели в порядок. Книг много, тысячи полторы, но все кучами навалено в шкапах, каталога нету, всякий берет из шкапов что хочет и не возвращает. Расхода на избача нам не утвердили, но пусть бы только привели библиотеку в порядок; я уж сам, если никто не пожелает, буду выдавать книги два раза в неделю.— И прибавил с улыбкой: — Работы так много, что и не заметишь, больше ли ее на два лишних часа в неделю.

И журналистка сказала:

— Да, конечно! Здесь отдыхает масса молодежи, вузовцев; найдутся и библиотекарши. Всякий с охотою пойдет, поработает часа два-три в день. С миру по нитке, а глядишь,— к осени библиотека будет приведена в порядок.

Стали они вдвоем обходить дачников и предлагать

основать общество. Первым делом пришли к известному одному профессору, автору книги «Кант и диалектика». Он со смеющимися глазами выслушал их.

— Сомневаюсь, чтоб многие откликнулись на ваш призыв. Публика инертна, приехала сюда отдыхать... Впрочем, все дело в активном ядре. Удастся вам подобрать человека три-четыре энергичных,— ну, что-нибудь сделаете. Что меня касается, то, конечно, много времени я на это отдавать не могу, но лекцию-другую прочту с удовольствием.

И все другие дачники выразили свое принципиальное согласие. Образовали инициативную группу. Инициативная группа собрала общее собрание. На собрание пришло восемь человек, но причины были совершенно случайные: как раз в этот день в сельской школе шел вечер самодеятельности, и многим интересно было его поглядеть, многие уехали в экскурсию. Решено было созвать новое собрание через неделю.

Утром журналистка лежала на пляже. Рядом с нею одевалась девушка с загорелым телом. Оделась, приладила к спине заплечный мешок, взяла рогатую палку. Спросила журналистку:

— Скажите, товарищ, есть тут в деревне библиотека-читальня?

— Есть. Только в большом беспорядке, поэтому книг теперь не выдают. Как раз собираемся привести ее в порядок.

И журналистка с одушевлением рассказала об Обществе шефства над деревней.

Дивчина сказала:

— День-другой я могла бы у вас поработать. Куда мне обратиться?

— Спросите в сельсовете секретаря сельсовета, он вам покажет. А вы здесь живете?

— Нет, иду из Феодосии.

У ней были короткие, невьющиеся русые волосы, светлее загорелого лица, нос немножко загнут кверху. Белая физкультурка, обшитая красным, шаровары, засученные до паха, крепко загоревшие руки и ноги. Сотни таких дивчат можно видеть летом в южных домах отдыха. На вид ей было лет семнадцать — такое у нее было молодое лицо. Но оказалось, она уже кончает вуз в Ленинграде и пишет дипломную работу по

математике. Летом была на практике, консультантом-математиком на одном южном заводе. Накопила там деньжат и решила обойти пешком Крым, от Феодосии до Севастополя.

Пришла дивчина в сельсовет, спросила секретаря. Был он молодой парень с узким лицом и высоким лбом, в голубой майке, с низким вырезом на груди.

— Мне там на пляже сказали, что у вас есть работа в библиотеке.

Секретарь замялся.

— Есть-то есть. Только работа большая. Тысячи полторы книг в полном хаосе. Нужно привести в порядок. И потом... платить мы за работу не можем.

— Я вас про это не спрашиваю. Покажите, я посмотрю.

Секретарь ввел ее в боковую комнатушку с запертым пыльным оконцем. Раскрыл шкапы. Дивчина сейчас же достала пачку книг и, разговаривая с секретарем, стала ее разбирать.

— Да, работа не маленькая. Ну, хорошо. Поработаю.

И тут же взялась за работу. Это было утром. Часа в три сбегала на базар, купила помидоров и огурцов, съела с хлебом, это был ее обед. Проработала до ночи.

Секретарь с удивлением приглядывался к ее несуетливо-быстрой работе. Она коротко сказала:

— Спать я тут останусь.

— Ну где тут, что вы! Мы вам отведем комнату. Вы для нас работаете, вправе же вы хоть отдохнуть. А тут душно и пыльно; да и устроиться негде.

— На столе устроюсь. Не надо комнаты. А вот это я у вас попрошу. По карточке я получаю триста граммов хлеба.— И вдруг она виновато улыбнулась.— Никак на это нельзя быть сытой целый день. Дайте мне разрешение на шестьсот граммов. Это будет очень хорошо.

Секретарь понял: с монетами было у дивчины туговато; питается она, видимо, одним хлебом с помидорами; конечно, этак на триста граммов хлеба сытым не будешь.

Обещал вопрос насчет хлеба уладить. Она разостлала на столе плащ, вместо подушки положила заплечный мешок. Он пожелал ей доброй ночи.

С утра она уже опять работала. В соседней комнате секретарь производил регистрацию вновь прибывших дачников. Между прочим, две библиотекарши из Москвы. Дивчина наша услыхала, вышла, попросила библиотекарш зайти к ней. Объяснила, в чем дело, и предложила помочь. Говорила, а сама в это время резала бумагу для библиотечных карточек. После обеда библиотекарши пришли, и стали они работать втроем.

На следующее утро пришел секретарь в сельсовет. В библиотечной комнате шум, галдеж, смех. Заглянул. Сидят за столом восемь ребят-школьников и наклеивают ярлычки на корешки книг. Работают, как играют. Дивчина с серьезным лицом рассказывает им что-то смешное, и они хохочут. Приспособила к работе также двух местных ребят-комсомольцев. Так было весело, что у секретаря грустно и сиротливо стало на душе: хотелось замешаться в эту веселую, кипящую работой толпу и с нею вместе работать изо всех сил и смеяться.

На третий день к вечеру все было кончено. Дивчина сказала, что завтра рано утром пойдет дальше, а сейчас отправится с комсомольцами кататься по морю на лодке.

Рано утром секретарь встал, чтоб проводить ее, подошел к сельсовету и видит: дивчина спустилась с крылечка с тазом грязной воды, выплеснула таз под куст дикой маслины и стала развешивать на перилах мокрые тряпки. Секретарь изумился. Что это? На прощание она еще вымыла в библиотеке пол!

Секретарь взволнованно глядел на нее и сказал сконфуженно:

— К сожалению, товарищ, мы не можем заплатить вам за вашу работу, у нас на это не отпущено средств.

— Я же вам сказала,— я и не прошу. До Алушты хватит денег дойти. А там устроюсь работать на виноградниках. Два рубля за день. Проработаю с неделю,— четырнадцать рублей. Работу на виноградниках я знаю.

Секретарь подумал и сказал:

— Ну, хоть вот что: мы вам выдадим справку от Совета, что вы здесь три дня занимались самой интенсивной общественной работой. Вы ведь знаете,—

такая справка очень сейчас важна, особенно для учащихся.

Она поглядела ему в глаза, засмеялась, махнула рукой и, с заплечным мешком на спине, зашагала по шоссе к Судаку.

Через две недели состоялось общее собрание членов Общества шефства дачного поселка над деревней. Избрано было исполбюро в составе семи человек из наиболее активных дачников и крестьян. Через неделю собралось исполбюро, выбрало председателя, секретаря и постановило выработать план работ. Через две недели собрались снова, обсудили план и постановили: ввиду окончания лета и начинающегося разъезда дачников, отложить работу до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией.

*1929*

## VIII

### 1

### БУКЕТЫ

В учительской комнате женской гимназии сидело несколько учителей. Старый учитель математики сказал:

— Андрей Владиславович меня зовут. Никогда не встречал другого человека с таким именем-отчеством.

Недавно переведшаяся в школу учительница истории, тоже сильно пожилая, возразила:

— Ну, это неудивительно. Отчество ваше у нас, русских, довольно редкое. Но вот странность: и имя и отчество у меня самые обыкновенные — Наталья Александровна, а я тоже до сих пор никого не знала с таким именем-отчеством.

Старый математик мечтательно сказал:

— Нет, я знал одну Наталью Александровну. Это была моя первая любовь. Наташа Козаченко.

Учительница с удивлением сказала:

— Простите, я вас никогда не встречала, а моя девическая фамилия — Козаченко.

Математик пренебрежительно оглядел ее.

— Нет, это были не вы. Может быть, родственница ваша. Гимназистка, чудесная девушка, с русой косой и синими глазами.

— Это в Киеве было?

— Да.

— Она жила на Трехсвятительской улице?

— Да, да!

— Так это была я.

Он пристально смотрел на нее, и, как сквозь сильно запотевшее стекло, сквозь темное морщинистое лицо с потухающими глазами проступило лицо прежней синеглазой Наташи Козаченко.

— Да, да... Ведь верно... Это, значит, вы и есть!..

— Но все-таки... Я вас не знала.

— Ну, фамилию-то должны знать. Я вам каждый день присылал по букету роз, у меня в саду чудесные розы росли. Самые срезал лучшие.

— Букеты мне приносил гимназист Владимир Канчер.

— Ну, да! От меня.

— Он этого не говорил.

— Как?! — Старик ударил себя по лбу. — От своего лица, значит?

— Да.

— Вот подлец!

## 2

## ИСПЫТАНИЕ

Евгения Николаевна и Валя — большие друзья. Живут в соседних комнатах. Евгения Николаевна — пожилая, солидная, очень положительная. Служит счетоводом. У нее — девочка Танюшка, десяти лет, хроменькая и мало одаренная. Валя — студентка математического факультета. Однако фантазерка отчаянная.

Вечер. Сидят вместе и пьют чай. Вдалеке за дворами большой дом, в крайнем окошке верхнего этажа светится огонек. Валя мечтательно смотрит и говорит:

— Там сидит студент, проходит анатомию. Перед ним лежат кости черепа...

— Вздор! Ничего ты отсюда не можешь видеть, чем он занимается!

— Занимается анатомией. Открылась дверь, вошла девушка с тремя веточками мимозы. Подошла тихонько сзади, одной рукой закрыла ему глаза, а другою поднесла к носу цветы...

— Да будет тебе! Как будто отсюда что-нибудь можно видеть!

— А он вдруг сердито вскочил, вырвал цветы и — вот мерзавец! — швырнул в сторону.

Евгения Николаевна с любопытством:

— А она что?

— Села в угол, закрыла ладонями лицо и плачет.

— Э, вздор! Выдумки одни!..

Танюшка пошла в школу на экзамен по арифметике. Она особенно слаба по арифметике. Мать и Валя взволнованно ждут ее возвращения. Евгения Николаевна вздыхает:

— Только бы ей не попались именованные числа!

Валя торжественно говорит:

— Женя! Согласилась бы ты влезть в ванну с тараканами, чтоб Танюшка выдержала экзамен?

— Э, вздор какой!

Евгения Николаевна панически боится больших черных тараканов.

— За это по всем предметам Танюшка блестяще выдержит экзамены.

— Ну, Валя, что за ребячество! Что может измениться от того, что я сяду в ванну с тараканами?

— Нет, не с тараканами, а на тараканов.

— Как это на тараканов?

— Тараканы в ванне будут большим слоем, и ты прямо должна сесть на них.

— А... какой высоты слой?

— Ну, как всегда воду наливают в ванну. Ты сядешь, они под тобою затрещат, задергают лапками, из них поползет белая кашица...

— Какая дикая фантазия! Будет тебе! Что за вздор!

— Танюша зато станет очень способной, будет первой ученицей в классе.

— А как в ванну нужно сесть — одетой или раздетой?

— Совершенно раздетой! Тараканы испугаются, заметутся, побегут по рукам, по плечам, по голове...

— А сколько времени сидеть?

— Четверть часа. Танюшка зато станет совершенно здоровая, красивая. Хромота исчезнет.

Евгения Николаевна быстро поднялась, взволнованная, красная, с блестящими глазами, и решительно сказала:

— Хорошо! Согласна!..

3

На южном берегу Крыма.

Он. Ах, да! Я тебе, кажется, не говорил. Мы завтра идем на Ай-Петри.

Она. И я тоже пойду!

— Твое дело.

— И Танюшку возьмем.

— Ну, вот еще! Отстанет,— возиться с нею!

— Отстанет,— домой воротится.

Молчание.

— А кто же идет?

— Да все та же компания.

— Какая та же?

— Ну, все эти... Неприятно, что Платонов будет: больно болтлив. Зато другие двое молчаливые.

Молчание.

— И Надежда Осиповна будет?

— Ну конечно. Она же все и затеяла. Разве я тебе с самого начала не сказал?

— (Кротко.) Нет, этого именно ты не сказал.

4

Была няня. Вырастила она двух сестер. Обе вышли замуж. И обе приглашали старуху нянею к своим детям. Она никак не могла решить, к которой из двух пойти. Отправилась к гадалке. Пришла от нее вполне удовлетворенная.

— Что же она тебе сказала?

— А сказала она мне вот что: «Иди, милая, к той, к которой тебе хочется!»

— К которой же тебе хочется?

Няня уперла правый локоть в левую ладонь, подбородок в правую ладонь и скорбно задумалась.

— Да... А вот к какой же мне хочется?..

5

— Сейчас я одну индийскую сказку прочел. Царь осудил своего министра на смерть, посадил в высокую башню. Ночью пришла к нему жена. «Могу тебе как-нибудь помочь?» — «Хочу бежать. Завтра рано утром принеси сюда длинную веревку, моток ниток, моток тончайшего шелку, таракана и немножко меду...»

— Таня, не ешь руками ветчину.

— Да, так вот, таракана и немножко меду. Принесла. «Крепко привяжи к таракану шелковинку и помажь ему медом усы...»

— Ты ветчину еще будешь есть?

— Нет.

— А то возьми, вот кусочек очень хороший.

— Да не хочу я!

— Чего ты злишься?

— Ничего не злюсь.

— Ну и что же? Помазала таракану усы?..

— Да. Помазала усы таракану. «Теперь, говорит, посади его на стену башни, усиками кверху...»

— Ах ты господи! Всегда ты окурки в блюдечко суешь! Возьми, вот пепельница. Потом всегда блюдечки табаком пахнут, такая гадость!

— Да я не окурок, я только пепел сбросил.

— Все равно, табаком будет пахнуть.

— В пепле табак перегорел, он не пахнет.

— Ну что же дальше? Посадила таракана на стену...

— А ну вас к черту. Тьфу! (Ушел.)

6

Ж е н а. Если тебе ночью захочется воды, то вон на столе стакан молока.

Муж. Гм!.. А если тебе ночью захочется вина, то вон под столом жестянка с керосином.

7

— Я вас давно заприметил, сразу вижу: умный человек. А меня, знаете, вопросы всякие мучают, хочется ответ услышать от умного человека. Можно вас спросить?

— Пожалуйста!

— Позвольте узнать: «включительно» — когда можно сказать? Можно сказать: «Дверь запирается включительно»?

— Нет, нельзя.

— (С грустью.) Нельзя-с?.. Ну, благодарю вас.

8

## СРОЧНЫЙ РАЗГОВОР

В сельском почтовом отделении. Солнце печет, в окна облаками несется пыль. По полу бродит курица. Почтальон, скуластый парень с огромным золотистым чубом, уж полчаса отчаянно вертит ручку телефона и кричит на всю площадь. Вошла баба, спросила конверт с маркой. Он отпустил — и с новой энергией завертел ручку. И завопил:

— Касимов?! Что?! Соедините с Давыдовом, срочный служебный разговор!.. В Вышгород? В Вышгород не дозвонишься!.. Что? Служебный, говорю, разговор, срочный! Не терпит промедления!

Наконец дозвонился. Лежит на столе, дрыгая ногою, и ведет разговор:

— Ждите третьего числа, еду в отпуск!.. Либо письмо напишу, либо дам телеграм, когда приеду... Йисть-то, йисть-то есть у вас чего? Шамать? Что?.. А? Та-ак!.. Полботинки? Ага, хорошо! Сороковой? Черные или желтые? Черные? Ладно! Передай там привет Мокею Васильичу... Ну?! Здесь?! Давай его сюда!.. Мокей Васильич? Здорово! Ну как живешь? Ничего? Как торговлишка идет? Хорошо? Угощенья готовь побольше! Чет-

верть красного!.. Ну, пока! А то перерывают,— строчный, говорят, разговор!.. Жениться еду, готовьте койчего!

9

Поступила к нам однажды кухарка — богомольная старушка с лисьим лицом. Весь наш домашний уклад вызывал в ней негодование и отвращение. Она смотрела злыми глазами, отвечала неохотно и ушла, не дожив и месяца.

Горничной у нас в то время служила девушка лет шестнадцати, Оля. Она, плача, прибежала к жене и в ужасе сообщила:

— Что будет! Что будет!.. Анисья в соседней квартире сидит у кухарки и пишет на всех нас — фельетон в газету!.. Я-то за что туда попала! Ой, батюшки, что будет?!

— Что же она там пишет?

— А пишет так: жена нашего хозяина — дура! Энергична!! Симпатична!!! Только утром встанет, сейчас же скок, все форточки настежь, белье постельное разбросает по стульям. И ходит сквозняк по всей квартире, тепло выдувает... Ни в одной комнате ни одной иконки. Войдешь вечером в комнату, пустишь свет, чертенята так по углам и кинутся, только хвостики мелькают... А барин наш, тот уж совсем дурачок. На службу не ходит, сидит у себя в комнате и только знай на картах гадает. (Отдыхая от работы, я раскладывал пасьянс.) Надоест гадать — начнет что-это писать. Письма, что ли! Пишет, пишет! И о чем только пишет, неизвестно!.. Вечером придут гости. С полчаса просидят без скандала, а потом вдруг ругаться начнут. Спорят, кричат, руками махают! Чуть до драки не доходит... И так каждый раз, как ни сойдутся... Ой, беда, что же это будет! Об вас-то она все правильно пишет, а я-то за что в газету попаду?

К нашему, а особенно к Олиному счастью, фельетон в газетах почему-то не появился.

10

Зимой 1906/07 года, в Москве. В актовом зале университета происходило заседание Общества любителей

российской словесности. Читали И. А. Бунин, я и еще поэты, не помню какие.

Я читал свой рассказ из русско-японской войны «В мышеловке». В нем описывалась жизнь передового нашего люнета, тщеславием корпусного командира выдвинутого без всякой надобности далеко вперед к вражеским позициям. Солдаты этот люнет прозвали «Мышеловкой».

Читал я в то время очень плохо, голос у меня не был поставлен, я не умел его приноравливать к акустическим условиям помещения, дикция была плохая. А акустика актового зала была очень неважная.

Начал я читать. Как я потом узнал, ничего в моем чтении нельзя было разобрать, слышно было только:

— Бу-бу-бу-бу...

Когда я поднимал глаза, я видел мучительно вслушивающиеся лица, ладони, приставленные к ушам Потеряв надежду что-нибудь услышать, слушатели стали потихоньку разговаривать.

Ночью происходит смена охранения люнета. Все идут, затаив дыхание. Когда спускались в окоп, один солдат зацепил прикладом за котелок. Ротный грозно зашипел:

— *Тише вы, черти!*

Эти слова раздельно пронеслись по всему залу. Разговаривавшие испуганно взглянули на меня и сконфуженно замолчали.

И опять потекло ровное, томительное: «бу-бу-бу-бу», гулко отражаемое гладкими стенами зала. Минут двадцать тянулось чтение. Слушатели окончательно потеряли терпение. Потихонечку, один за другим, стали они подниматься и на цыпочках, балансируя руками, выходили из зала.

В люнете командир роты убит японскою пулею. Солдаты взволнованно затеснились к трупу, напирали друг на друга и вытягивали головы. Младший офицер, к которому перешло командование, властным голосом крикнул:

— *Куда поперли? По местам!*

Выходившие так и замерли.

11

На одном кладбище Тульской губернии я списал такую эпитафию:

Природный нрав свой укрощая,
Была ты мужу верная жена,
А детям — мать родная.

12

— Мне доктора не хотели сказать, какая у меня болезнь. А когда они ушли, я сам прочел в больничном листе. Оказывается: диагно̀з.

13

У публициста Г. А. Джаншиева, автора в свое время очень известной книги «Эпоха великих реформ», на часовой цепочке висела в виде брелока серебряная итальянская монета лира.

— Это я получил за пение,— объяснял Джаншиев.

— Вы поете?

— Нет. Ни слуха, ни голоса...

— Так как же?

— Вот как. Был я в Италии. Раз во Флоренции поехал на извозчике осматривать Фьезоле. Извозчик на козлах все время поет-заливается. Потом вдруг оборачивается ко мне и протягивает шляпу: «Я вам пел».— «Да я вас вовсе не просил». Начинает скандалить, кипятиться. Дал ему две лиры. Едем дальше. Я начал во все горло петь. Попел, потом толкаю извозчика в спину и протягиваю ему шляпу: «Я вам пел!» Он изумленно взглянул, усмехнулся, достал кошелек и положил мне в шляпу лиру. Вот с тех пор я ее и ношу.

14

Дачный поселок Коктебель лет тридцать назад состоял всего из двадцати пяти, тридцати дач. Там имели дачи поэт Волошин, артистка московского Большо-

го театра Дейша-Сионицкая, поэтесса Соловьева-Аллегро, детская писательница Манасеина, артист петербургского Мариинского театра бас Касторский, искусствовед Новицкий, известный публицист, бывший священник Григорий Петров и др.

Среди дачников представительницею порядка, благовоспитанности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» (ошарашивания мещанина) был Максимилиан Александрович Волошин, или, как его все называли, Макс Волошин. Он был грузный мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне, с голыми икрами и с сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Сами они называли себя «обормотами» и яро враждовали с благонравною частью населения, возглавлявшеюся Дейша-Сионицкою.

Энергией и хлопотами Дейша-Сионицкой в Коктебеле было основано Общество благоустройства поселка. До этого времени мужчины и женщины купались в море где кто хотел, и это, конечно, было для многих женщин очень стеснительно. Теперь пляж был поделен на отдельные участки и на границах их поставлены столбы с надписями: «для мужчин», «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая как председательница Общества благоустройства написала на Волошина жалобу феодосийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову.

Исправник прислал на имя «Макса Волошина» грозный запрос, на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба на пляже. Волошин ответил: во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович. Правда, друзья называют его «Макс», но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Во-вторых, он, Волошин, считает неприличным не свой поступок, а водружение перед его дачею столба с надписями, ко-

торые люди привыкли видеть в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительною способностью сходиться с людьми самых различных взглядов и общественных положений. Он был в дружеских отношениях с тогдашним таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. Исправник же Солодилов, как только полагалось, дежурил у ворот дачи при губернаторской коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, дружески взял его под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович! Вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. В таком случае, пожалуйста, называйте меня — Мишей.

## 15

## СУД СОЛОМОНА

В западном крае до недавнего времени еще существовали у нас патриархальные еврейские местечки, где раввин был для местного населения не только посредником между людьми и богом, но был и судьею и всеобщим советчиком. Во всех спорах и ссорах благочестивый еврей прибегал к его суду.

Поссорились две еврейки, жившие в одном доме: сушили на чердаке белье, у одной пропало несколько штук, она обвиняла в пропаже соседку, та в ответ стала обвинять ее. Крик, гвалт, никто ничего не мог разобрать. Женщины отправились к раввину.

Старик раввин внимательно выслушал обеих и сказал:

— Пойдите и принесите сюда каждая свое белье.

Женщины принесли. Раввин объявил:

— Пусть это полежит у меня до утра, а утром придите, и мы попробуем разобраться, в чем тут дело.

Утром пришли женщины, пришло и много других евреев — всем интересно было поглядеть, как рассудит раввин это мудреное дело. Раввин сказал:

— Роза Соломоновна! Ревекка Моисеевна! Я знаю вас обеих как почтенных женщин и благочестивых евреек. Не может быть, чтобы которая-нибудь из вас пошла на воровство. Но, может быть, одна из вас по рассеянности сняла с веревки пару штук белья соседки. Переберите каждая еще раз, здесь, у нас на глазах, свою кучу и посмотрите, не попало ли в нее случайно чужое белье.

Роза Соломоновна гордо и уверенно стала разбирать свою кучу. Вынула простыню — вдруг побледнела, потом покраснела и низко опустила голову.

— Это... это не моя,— сказала она со стыдом.

— Вот ка-ак! Не ваша? — торжествующе воскликнула Ревекка Моисеевна.— А какой вы делали скандал, как позорили честных людей!

Судья приказал:

— Смотрите дальше.

Красная от волнения и стыда, Роза Соломоновна еще отложила в сторону полотенце, мужскую сорочку и произнесла упавшим голосом:

— Это тоже не мое.

— Тоже не ваше? Господин раввин, вы сами теперь видите...

Раввин бесстрастно прервал вторую женщину:

— Переберите теперь вы свою кучу и посмотрите, нет ли и у вас чужого белья.

— Извольте. Только я заранее ручаюсь: чужого белья у меня не найдете. Я не из таких, мне чужого не нужно, оно бы мне жгло руки... Ну и конечно же! Вот. Ничего нет чужого. Все мое.

— Все только ваше?

— Только мое.

Судья обратился к первой женщине, горестно ждавшей позорного осуждения, и приказал:

— Переберите кучу вашей соседки и выберите из нее ваше белье.

Все были в изумлении. Первая женщина отобрала из кучи несколько штук и радостно сказала:

— Вот это мое. И это мое.

— Возьмите. Это вправду — ваше.

Вторая женщина в негодовании завопила:

— Как — ее?! Позвольте...

Но судья строго сказал:

— В каждую кучу я ночью подложил по нескольку штук моего собственного белья. Роза Соломоновна даже не побоялась осуждения и честно созналась, что белье не ее. А вы, Ревекка Моисеевна,— если вы и мое белье объявили своим, то, значит, еще легче могли объявить своим и белье Розы Соломоновны.

16

В Дагестане существует около тридцати пяти совершенно различных языков. Есть аулы, говорящие на своем отдельном языке, которого даже соседние аулы не понимают. Языки эти еще очень мало изучены. Один профессор-лингвист изучал их, пользуясь в разговорах русским, арабским и аварским языками. Желая выяснить, как в одном из этих языков образуется прошедшее время, он попросил собеседника написать такую фразу:

Я дал тебе вчера сто рублей.

— Написал?

— Написал.

Но профессор никак не мог разобраться в написанной фразе. Обратился за разъяснением к другому. Оказалось, первый написал:

Никаких ста рублей ты мне не давал.

17

— Сколько яблоко стоит?

— Рубль.

— Штука?!

— Ну да!

— И находятся такие дураки, что покупают?

— Нет, дураки спросят и дальше идут.

## 18

В Крыму. Едем на извозчике в Новый Свет под Судаком. Спрашиваем извозчика о тропинке к гроту,— есть ли там опасные места.

Татарин-извозчик: «Не-е! Одна место страшно, так нестрашно!»

## 19

Председатель ревкома в маленьком городке южной России в годы гражданской войны.

— Заведовал у нас санитарною частью парнишка один, тоже, как я, из рабочих. Приходит ко мне. «Знаешь, говорит, что я надумал? Сады чтоб все в городе разводили, для хорошего воздуху».— «Нет, говорю, это не экономно». А я уже тогда слыхал, что наука такая есть, политическая экономия,— как раз на такие дела. Говорю ему: «Война, везде деревья рубят, а ты сажать. Затопчут. Ты лучше мостовые чини».— «Ладно!» Стал я думать: нужно политическую экономию читать. Достал Богданова «Краткий курс экономической науки». Ничего не понимаю. Созвал ребят: давайте вместе читать, авось поймем; узнаем, что экономно и что не экономно, например, насчет садов и мостовых. Там сразу узнаем, что тут самое первое. Вместе стали читать,— все равно ничего не понимаем. Посмотрели — написано: 1906 год. Ну, потому не понимаем, что устарела. Решили: давайте сами напишем книгу, что экономно и что неэкономно. Только так и не собрались: много было дела.

## 20

Я спросил пожилую работницу:

— Вы в бога верите?

— Как вам сказать? Отчего бы ему, думается, и не быть. А только уж очень он какой-то... бессильный. Как его большевики обижают! Из церквей повыгнали, а он — ничего! Разве только сезонника стенкой придавит, когда церковь разбирают. Я на той неделе видела — к больнице парня подвезли, из-под стенки вынули. До чего ужасно смотреть! А разве он тому виновен? Не пошел бы, его бы с учета сняли.

## IX

1

Ты любишь жить вкусно, но поваром своей жизни быть не умеешь.

2

Он не переваривал лжи, но от правды приходил в бешенство.

3

Этот человек горд и самолюбив, милостыни никогда не попросит. Предпочитает брать взаймы без отдачи.

4

Подошла к трамвайной остановке женщина. Лицо совсем раздетое: как ругалась в кухне с соседками из-за коптящего примуса, таким лицо и осталось. Нужно же одевать лицо, когда выходишь на люди!

5

Вдали, на горизонте, грозовые тучи кажутся гораздо чернее и страшнее, чем над головою.

6

Сколько термометра ни нагревай, в комнате теплее не станет.

7

Если ты не умеешь вывести у себя клопов, то, по крайней мере, не дави их на обоях.

8

В тридцатых годах прошлого века один кавказский генерал так отозвался о неудачном укреплении, построенном его предшественником:

«Я узнаю моего умного предместника. Если человек большого ума задумает сделать глупость, то сделает такую, какой все дураки не выдумают» (Воспоминания Г. И. Филипсона.— «Русский архив», 1880, № 6, стр. 243).

9

Он за нею не ухаживал, а так — появлялась в ее присутствии легкость движений.

10

Постепенно возникла между ними любовь. Она при встречах неудержимо хорошела, он неудержимо потел.

## X

## РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ

*(Очень коротенькие)*

1

— Отчего ветер?

— Вот глупая! Не видала? Деревья качаются — оттого и ветер.

— Какое большое дерево! Когда закачается — вот будет ветер! (Подумав.) А кто деревья качает?

— И этого не понимаешь? Бог!

Тогда все стало ясно.

2

Образ в церкви: голова Иоанна Крестителя на блюде. Маленький мальчик, благоговейно:

— Весь умер, только голова осталась.

3

— Соня, у тебя есть папа?
— Есть.
— А зачем у тебя еще крестный папа?
Она подумала и быстро ответила:
— Запасной.

4

— Ну, Сергунька, не гляди по сторонам, повторяй за мной: «Спаси, боже, папу, маму, братьев, сестер и всех людей. Подай, боже...»

— Что, мама, все «подай» да «подай». Ему, наверно, уж надоело. Дай я ему лучше песенку спою.

И запел, глядя на образ и благоговейно крестясь:

Матчиш — хороший танец,
Кэк-уок — вроде,
Его привез голландец
В своем комоде.

Мать, давясь от смеха:
— Сергунька! Где ты такой песне научился?
— Агаша меня научила.

5

С ним же. Утром проснулся, стал рассказывать матери сон. Путает, плетет — сразу чувствуется, что выдумывает. Старшая сестренка Наташа крикнула из соседней комнаты:
— Сергунька, ты все врешь!
— Ты почем знаешь?
— А я тоже этот самый сон видела.
— А-а...
Он сконфуженно прикусил язык.

6

— Почему в молитве «Отче наш» все слова русские, а одно слово французское?

— Что ты за вздор говоришь! Где французское слово?

— А как же! «Отче наш, иже *иси* и на небеси».

7

— Как тебя звать?

— Юра, а по батюшке — Георгий!

Отец с отчаянием:

— Юрка, ну что ты за дурак такой! Как твоего отца звать? Ведь Сергей!

Юра, покраснев:

— А как же, когда меня батюшка в церкви приобщает, он меня называет Георгий?

8

Идет по улице чиновник с портфелем, синий вицмундир с золотыми пуговицами, голова начисто обрита, круглая, синевато-серая. Мальчик, пораженный:

— Это сам государь идет?

— Нет, просто дядя.

— А я думал — сам государь император.

9

Я тогда жил в Туле. У нас жил маленький племяш Воля,— мать его, революционерка, была за границей, в Швейцарии. С ребенком ей было трудно, и она прислала его нам. Привезли его в августе. Он чудесно говорил по-немецки, с характерным швейцарским выговором, и почти не понимал по-русски. В середине зимы он говорил только по-русски.

Однажды утром ко мне входит в кабинет жена, ведет за руку упирающегося Волю и взволнованно говорит:

— Вот, дядя Витя, послушай-ка! У Воли есть хорошая новая синенькая шубка, старая ему теперь совсем не нужна. Пришла к нам бедная, больная прачка Марья Ивановна, с мальчиком Васей. У Васи совсем нет никакой шубки. Одет в какую-то рваную кофту, руки синие, весь дрожит. Я ему хотела отдать старую Волину шубку, а Воля разревелся, топает ногами, кричит: «Нельзя отдавать шубку, она моя!»

Я нахмурился.

— Как же это ты, брат, а? Неужели тебе не жалко Васю? На дворе мороз, ветер, а он раздетый. Ведь ему

холодно. А у тебя лишняя шубка висит, и совсем тебе не нужна.

Воля стоял насупившись, на пушке розовой щеки висела блестящая слезинка. Он молчал и смотрел упрямыми глазами.

Я с упреком покачал головой.

— Ну, скажи,— а если бы мы с тетей Марусей так поступили с тобой? Выгнали бы на мороз в одной курточке, заперли бы дверь. Воля ходит, ему холодно, руки стали синие. Пришел, позвонился. Дядя Витя ему открыл: «Чего тебе надо?» Воля говорит: «Мне холодно!» — «А нам какое дело? Холодно, так холодно. Пошел вон!» И запер дверь.

Воля, подняв брови, обдумывал создавшееся положение. Вдруг он с вызовом сказал:

— А Воля опять позвонился!

— Ну, дядя Витя опять открыл, спрашивает: «Опять ты? Чего тебе надо?»

Воля топнул ногою и крикнул:

— Отдай мне новенькую синенькую шубку! Это моя шубка!

Пряча улыбку, я ответил сурово:

— Нет, это не твоя шубка, ее тебе сшила тетя Маруся,— думала, что ты хороший мальчик. А злому, жадному мальчику она не стала бы шить. Уходи!

Мы долго усовещивали Волю. Наконец он смирился, печально вздохнул и сказал:

— Ну, хорошо! Ну, отдайте.

После обеда Воля пришел ко мне в кабинет. Он всегда после обеда приходил ко мне в кабинет,— я лежал на диване с газетой,— садился мне на живот и говорил:

— Ну, расскажи сказку.

Я спрашивал:

— Про что же тебе рассказать?

— Ну... Ну... Расскажи... про корову.

И я начинал фантазировать про корову: был маленький мальчик Воля, к нему пришла в гости соседняя девочка Таня. Они играли на дворе. Тетя Маруся им сказала: «Только, детки, не ходите на улицу». А они не послушались и вышли. Вдруг видят, идет корова. С большими острыми рогами. Мычит,— му-у! му-у! — и

мотает головой. Дети побежали, корова за ними Бегут, бегут. Устали. А корова все ближе. Танечка споткнулась и упала. Корова налетела на нее и стала бодать рогами. Девочка кричит: «Ай! ай!»—льется кровь, а корова рогами еще, еще! Потом бросила Танечку, побежала дальше за Волей. А у Воли уж нет больше сил, он не может бежать. Оглянулся — корова все ближе, все ближе...

Воля с ужасом слушал, вдруг быстро зажимал мне рот рукою и спешил вывести мораль, пока корова еще не добралась до него:

— И тогда дядя Витя сказал: «Вот видишь, всегда нужно слушаться тетю Марусю. Никогда больше не ходи со двора на улицу».

Он больше любил сказки без морали — вроде, например, про стулья, как они ночью, когда Воля спит, выбегают в сад, играют там в снежки, катаются на салазках, или про башмаки, как они ночью поссорились, как один убежал в столовую и заснул под диваном,— там его утром и нашли. Для Воли это были не выдумки, он все принимал всерьез и смотрел днем на стулья и башмаки как на существа, живущие таинственною, недоступною его глазам ночною жизнью.

Теперь, как всегда, Воля тоже уселся мне на живот и сказал:

— Ну, расскажи сказку!

Я стал рассказывать:

— Жил на свете маленький мальчик Воля. Тетя Маруся сшила ему хорошую новую синюю шубку. Прежняя, старенькая, ему была уже не нужна. Пришла бедная прачка Марья Ивановна с мальчиком Васей. У него совсем не было шубки. Тетя Маруся хотела ему отдать Волину старую шубку, но Воля не дал. Вася пошел домой и заплакал. Было холодно, дул ветер, мальчик весь дрожал. Воля смотрел в окошко, и ему не было стыдно. После завтрака он пошел с Акулей гулять. Воля, как он часто делает, побежал вперед. Акуля ему кричала: «Воля! Не убегай так далеко!» Но Воля не слушался. Забежал за угол, побежал дальше, еще повернул за угол. Оглянулся — Акули нет. Улицы незнакомые. Как домой пройти? Он не знает. Стало темнеть...

Воля часто задышал и встревоженно слушал.

— Все темнее становится. Людей на улицах нету. Улицы какие-то темные, без фонарей. Только снег кругом белеет. Над заборами гудят голые деревья. Вдруг навстречу идет большой черный мужчина. Увидел Волю (зловещим басом): «А-а, какая у этого мальчика хорошая синяя шубка! Она и мне пригодится!» Поймал Волю, снял с него шубку и ушел. Воля остался в одной курточке. Холодно ему, руки озябли, мороз кусает уши и нос. А кругом все темнее и темнее...

— Вольфы кричат! — с плачем подсказал Воля: вдруг у него из памяти вынырнуло немецкое слово.

— Волки воют: уу-у! уу-у! Все ближе, ближе. Воля бросился бежать. Бежал, бежал... Вдруг видит — огонек. Он подошел,— домик. Воля позвонился. Вышла девочка. «Чего тебе, мальчик?» — «У меня нету шубки, мне очень холодно. Посмотри, какие у меня красные руки; как уши распухли... Мне холодно! Холодно!»

Глаза Воли налились слезами. Он дышал, всхлипывая, робко смотрел и ждал.

— Девочка говорит: «Ну, что ж, тогда зайди к нам, обогрейся. И знаешь, что? У меня всего только одна шубка, но как же быть? Ведь тебе холодно. Надень мою шубку. И я тебе объясню, как пройти домой. Ты где живешь?»

Воля поспешно ответил:

— Гоголевская улица, дом Смидовичев.

— «Ну вот. Обогрейся, отдохни, и пойдем».

Воля просиял и, улыбаясь, поправил на себе штанишки.

— Вдруг входит мальчик Вася. Увидел Волю и спрашивает девочку: «Ты ему шубку даешь? А ты знаешь, какой это мальчик? Это мальчик Воля. У него было целых две шубки, а у меня не было никакой. Мне было очень холодно, а он мне не дал». Девочка посмотрела на Волю...

Я грозно взглянул на него. Воля втянул голову в плечи, прикусил губу и исподлобья уставился на меня.

— «А-а! Ты тот самый жадный и злой мальчик Воля? Когда самому холодно,— просишь шубку, а когда другим холодно,— тебе все равно? Ничего тебе не будет. Пошел вон!» И пошел Воля опять на улицу. Еще стало темнее, еще холоднее...

Воля разрыдался.

— Долго еще ходил Воля по улицам. Наконец увидел человека, думал — опять черный жулик, хотел бежать. Смотрит, это дядя Витя. Дядя Витя привел его домой и сказал: «Видишь, Воля! Когда мы помогаем другим, то и другие нам помогают. А когда мы жалеем отдать что-нибудь другим, то и другие нам ничего не дадут».

Назавтра после обеда Воля опять, как всегда, пришел ко мне, сел мне на живот и сказал:

— Ну, расскажи сказку! — И поспешно прибавил: — Про стулья!

Но я сказал:

— Нет, про шубку.

И стал рассказывать:

— Был маленький мальчик Воля. Тетя Маруся сшила ему новую синюю шубку, а у бедного мальчика Васи шубки не было...

В глазах Воли мелькнуло страдание. Он насупился и скорбно стал слушать.

— Тетя Маруся сказала Воле: «Отдай ему старую шубку, она тебе теперь не нужна». Воля сказал: «Ну, конечно! Зачем же мне старая, если у меня есть новенькая? Отдадим старую шубку Васе, у него ничего нет, ему холодно»...

Воля облегченно вздохнул, поплотнее уселся на моем животе и с интересом стал слушать.

Я опять рассказал, как Воля пошел с Акулею гулять, как заблудился, как черный мужчина снял с него шубку, как Воля увидел огонек и пришел к девочке.

— Девочка сказала: «Ты озяб? Зайди к нам, обогрейся». Вдруг входит мальчик Вася...

Глаза Воли блеснули хищно и торжествующе. Он обеими руками зажал мне рот и докончил сказку:

— И тогда Воля ему сказал: «Сейчас же давай назад шубку, какую я тебе дал! Ишь какой! Мне теперь самому нужно!»

## 10

В комнате было темно. В соседней комнате накрывали ужинать. Я сидел с ребятами на диване и рассказывал сказку. Эту сказку я им уж много раз рассказывал, но они ее очень любят и все просят еще: ребя-

та с дядей Витей пошли в лес, заблудились, остались в лесу ночевать, развели костер; заснули; вдруг вдали завыли волки. Все ближе. Ребята разбудили дядю Витю, и он прогнал волков.

На этот раз я конец изменил:

— Темно. Тихо. Вдруг слышат вдалеке: уу-у, уу-у! Волки. Все ближе. Ребята стали будить дядю Витю: «Дядя Витя, вставай! Волки!» — «А-а?» — «Волки! Поскорей вставай!» — «Ка-кие вол-ки?» Зевнул, повернулся на другой бок и опять заснул. А волки все ближе, сучки трещат под их лапами, глаза меж кустов горят... «Дядя Витя, дядя Витя! Да проснись же! Смотри, волки совсем близко!» — «А? Не мешайте мне, пожалуйста, спать!»

Маленькая Женя встала с дивана и сказала шепотом:

— А волки-то все ближе. А дядя Витя все спит. Я уж лучше пойду.

И на цыпочках ушла.

### 11

Таня начала раз такую сказку:

— Были воры. Они ели листья. И еще они ели сливы с косточками...

При чем листья и косточки? Вор — воплощение всего злого и недозволенного. А Тане строго запрещалось жевать листья и есть сливы с косточками.

### 12

— Я не люблю спать.
— Почему?
— Очень скучно.
— Как скучно?
— Если б я сны видел.

### 13

— Это кто?
— Мама.
— Кому?

— Моя.
— А это кто?
— Муся.
— Кому?
— Муся.
— Кому-у?
— Вот дурак! Сама себе. Никому.
— Никому...
Задумался.

14

— Это кто, сын Акулины?
— Нет, он ей больше уж не сын.
— Почему так?
— С бородой, с усами,— какой же сын.

15

— Маня, тебя как по батюшке звать,— Яковлевна?
— Нет, теперь уж нет.
— Почему?
— Умер он.

16

Трехлетний мальчик был болен, мать положила его спать с собой. Доктор стал строго выговаривать матери, что так она портит ребенка. Мальчик внимательно слушал и вдруг враждебно спросил:

— А почему же мама каждый день спит с папой и его не испортила?

17

Мать гуляла с Борей. С лаем бросилась на них собака. Боря испуганно заплакал.

— Не бойся, Борик, не плачь! Она не укусит... Не бойся!

— Да, говоришь: «Не бойся!» — а сама боишься! Я ведь вижу... Ай, мамочка!

18

Девочка — с прогулки на Гоголевском бульваре. Отец:

— Памятник Гоголя видела?

— Видела.

— Что там Гоголь делает?

— Сидит... (Подумала.) Дожидается.

19

Я спросил Марину (пяти лет):

— Марина, как ты думаешь, сколько мне лет?

Она внимательно поглядела на меня:

— Двадцать восемь, двадцать девять, может быть, тридцать... А вернее всего — восемьдесят.

20

Ира (пяти лет). Ей очень интересно увидеть те части тела, которые тщательно скрывают под одеждой. С бесстыдством невинности поджидает подходящего случая. Несколько семей купалось вместе,— в купальных костюмах. Галя (взрослая) вошла в кусты, чтобы снять мокрые трусики и одеться. Ира последовала за нею. И вдруг закричала купавшемуся отцу:

— Папа, иди скорей! Галя голая! Иди скорей, а то опоздаешь!

Все хохотали. Отец, смеясь, отвечал из реки:

— Сейчас бегу!

— Да скорей же! Ну вот... Опоздал! Ведь кричала я тебе! Эх, ты!

21

Она же:

— Как хорошо кто это придумал: летом цветут цветы, а осенью листья.

22

— Как Мишку вчера лупили!

— Ну что ж! А я небось не плакал.

23

В Коктебеле, на своей даче, крашу перила лестницы, ведущей наверх. Вокруг вьется Зинка. Все время в движении — прыгает, вертится, все ощупывает. Худенькая, голые ноги и руки — тонкие, как ниточки, круглая голова и оттопыренные уши,— совсем как дети рисуют девочек. На кончике вздернутого носа большая, смешная веснушка.

И все время одушевленно говорит:

— У нас, знаешь, где? — в Москве есть слон и звери все. Как называется? Зологи... Зологичешний сад! Ты был там? Курочки там, зайчики, хрюшки; еще там гуси. И еще там слон есть,— видишь дом этот? Еще большее.

— Ну, Зинка, врешь!

— О! Правда!.. И у него есть,— знаешь чево! Это не нос, а знаешь чево? — рука! Он отворяет свою, где он живет-то, спит? И яблоко может взять — и в рот себе. У него вот этот такой — вот так, а рот вот здесь.

Я отхаркнулся и плюнул за перила. Она замолчала, внимательно посмотрела — подошла к перилам, отхаркнулась и плюнула тоже. Потом заглянула в ведерко с краскою, озабоченно спросила:

— Не хватит краски?

— Хватит! Даже вот в этом соседнем доме можно бы все лестницы покрасить.

— Знаешь чево? Мы туда пойдем, попросим их: «У нас много краски осталось, можно у вас лестницу покрасить?»

— Вот еще! Нам самим краска понадобится! Если они даже сами придут, попросят, скажут: «Покрасьте нам лестницы!» — мы им ответим: «Нет-с, уж простите! Пойдите наймите себе маляров, красьте сами. А у нас нет времени этим заниматься. Что придумали, а?»

Зинка враждебно поглядела на дом и сказала:

— Ишь вы какие там!

На террасу соседней дачи вышел старик. Зинка не смогла сдержать негодования. Подбежала к оградке против террасы и крикнула старику:

— Делай сам! А мы тебе не станем! Ишь какой!

А мне стало очень стыдно.

## 24

Мы с нею знакомы с месяц. Сначала глядела зверьком, но потом сильно мы с нею подружились, и она от меня не отходила. Худенькая. Легонькая, как кукла. Я перекинул ее себе на плечо, потом спустил себе за спину головой вниз, держу за ноги. Она смеется быстрым, прерывистым смехом. Приседаю на корточки, говорю ей:

— Упирайся руками в землю, я тебя сейчас спущу.

Она не сообразила, как упереться, и ударилась локтем о землю. Вскочила, глаза блеснули испуганно и злобно, как у хищного зверенка, которого было приласкали и вдруг ударили. Я спокойно и уверенно сказал:

— Это ерунда! Подумаешь! Чтоб мы из-за этого стали плакать! Вот еще! Это ерунда!

Со слезами на глазах она повторила:

— Это йеренда!

— Конечно, ерунда! Они думают, мы заплачем! Из-за такого-то пустяка! Как же!

— Это йеренда!

— Ерунда, и больше ничего!

Взглянула на локоть: кожа содрана, на содранном месте, как росинки, выступили капельки крови. Опять глаза блеснули враждебно и чуждо. Я продолжал:

— Что крови-то немножко выступило? Эка! Мы этого не боимся! Подумаешь!

Она засмеялась.

— Это йеренда!

Слово было для нее новое, но оно сразу стало на свое место. Вечером, за ужином, она оглядела струп на локте и еще раз сказала сама себе:

— Это йеренда!

## 25

— Все комар мне на лицо садится. Я так разозлился. Нацелился — бац его по морде!

— Кого?

— Комара.

— Может быть, себя?

Подумал.

— Ну, верно. Себя.

26

## ИЗ ДНЕВНИКА

«Папа купил десяток яблоков. Сегодня вечером мы будем их есть в какой-нибудь комнате».

27

## ИЗ ДРАМЫ, СОЧИНЕННОЙ МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ

Марья Ивановна. Иван!

Лакей. Чего изволите?

Марья Ивановна. Скажите, чтобы запрягали коляску. Я поеду на дачу.

Лакей. Сударыня! Вы не можете ехать на дачу.

Марья Ивановна. Почему?

Лакей. Потому что у вас сегодня ночью родился сын.

28

Маленький, смешной карапуз, по прозванию Грач. На даче он нам подавал мячи на теннисе. И в мокрую и в холодную погоду — всегда босой. Одна гимназистка подарила ему свои старые башмаки. Он все ходит босой.

— Что ж ты, Грач, башмаков не надеваешь?

— Их только по праздникам носить: очень жмут.

29

Я снимал дачу на берегу Оки, верст за десять от Алексина. В этом же дачном поселке жил писатель Н. И. Тимковский. Однажды вечером сидели у нас Тимковские, пили чай. Вдруг маленькая Катя Тимковская говорит:

— Вчера в прошлом году мы жгли за рекой костер.

Почему — «вчера»? Не могла же она точно запомнить число. Да и было вовсе не вчера. В прошлом году они жгли костер в ночь на Ивана Купала, значит, 23 июня, установить это оказалось нетрудным. А теперь было начало августа. Почему же вчера?

Наконец разобрались. В прошлом году, на следующий день, 24-го, Тимковские были у нас и рассказывали, как они *вчера* жгли костер. Кстати, оба раза было у нас за чаем дынное варенье.

30

— Леля, ты давно в Киеве живешь?

— Девять лет.

— А раньше где жила?

— А раньше я совсем не жила.

Хохот. Девочка удивлена и сконфужена.

31

Профессор писал у себя в кабинете. К жене его приехала из Сибири ее племянница с малышом сыном. Сидели в столовой и пили кофе. А мальчик пошел бродить по квартире. Вошел к профессору. Профессор изумился:

— Откуда ты, мальчик?

— А я недавно только родился.

32

— Мама, ты меня любишь?

— Когда ты хороший мальчик, — люблю, а когда нехороший, — не люблю.

Вздохнул.

— А я тебя всегда люблю.

33

Перед окном кондитерской. Маленький мальчик пристально глядит на пряник. Я спросил:

— Что, брат, хорош пряник? Давай-ка купим!

Он ответил басом:

— Денег нет.

— А мы давай вот что: поделим работу. Я пойду куплю, а ты съешь.

Он помолчал, подумал и сказал:

— Ну, ладно.

Так и сделали. И оба получили большое удовольствие.

34

На пляже. Отец, очень близорукий, — дочери:

— Дорочка! Видишь, вон там, на пляже, человек лежит. Пойди посмотри, кто это, — мужчина или женщина?

— Ах, папа, какие ты глупости спрашиваешь! Если бы одетый был. Он же раздетый. Как я могу узнать.

35

Мальчик Игорь. Всех изводил вечными надоедливыми вопросами: «почему?». Один знакомый профессор психологии посоветовал:

— Когда надоест, отвечайте ему: «Потому что перпендикуляр!» Увидите, очень быстро отвыкнет.

Вскоре:

— Игорь, не лезь на стол!

— Почему?

— Потому что нельзя на стол лазить.

— Почему нельзя на стол лазить?

— Потому что ты ногами его пачкаешь.

— Почему ногами пачкаешь?

Строго и веско:

— Потому что перпендикуляр!

Игорь замолчал. Широко раскрыл глаза.

— Пек...пер...куляр?

— П-е-р-п-е-н-д-и-к-у-л-я-р! Понял? Ступай!

Так несколько раз было.

Дня через четыре. Утром входит Игорь.

— Игорь, почему ты не здороваешься?

— Не хочется.

— Почему ж тебе не хочется?

— Потому что я сердит.

— Почему сердит? Ах боже мой! Почему же ты сердит?

— Потому что перпендикуляр!

С большим трудом удалось отучить: во всех затруднительных случаях прикрывался перпендикуляром.

36

Утром ко мне в комнату врывается Глеб.

— Дядя Витя, вставай! Я уж гулял, гулял, а ты все спишь!

И расталкивает меня. Спрашиваю:

— Солнышко есть?

— Нету. Только небо.

Весь кипит жизнью. Носится по комнате, упругий, как горячий уголек. Остановится то перед одной, то перед другой вещью.

— Это... это... это — щетка! А это — подушка! А это — одеяло! А это... это... Как это?

Он уже раньше спрашивал меня, а теперь себя экзаменует.

— Карандаш.

— Карандаш... А это?

— Табуретка.

Чувствуешь, какая колоссальная умственная работа совершается в этом маленьком мозгу, какое все время огромное происходит напряжение памяти; он непрерывно, усиленно учится, — жадно и так незаметно, играючи, с детски гениальною легкостью усвоения.

И весь день наблюдаешь эту напряженную работу восприятия и усвоения явлений жизни. Ни один взрослый мозг не выдержал бы такой работы и такой массы впечатлений.

Ходим с ним по садику дачи. В реденькой траве под березой — розовая сыроежка.

— Смотри-ка, это называется — гриб.

— Бып...

Новое слово сначала ложится только поверху. Потом глаза становятся пристальными, и он еще раз повторяет:

— Бып...

И как будто вдумывается в преодоленное слово. И еще раз, уже победителем, удовлетворенно:

— Бып!

Ходит по саду, садится на корточки перед каждым свинухом и каждою поганкою, внимательно вглядывается, как будто колдует, и говорит про себя:

— Бып!

Сижу с ним на скамейке в конце садика. Вдруг он медленно поднимает голову и пристально начинает вглядываться в ветки тополя над головой. Смотрит не отрываясь. Чего это он? Ничего особенного. Потом соображаю: для меня ничего особенного, а для него: вдруг неподвижные листья зашевелились сами собой, затрепетали, тревожно заговорили и зашумели.

А вечером на горизонте стоит огромное круглое ярко-красное солнце. И Глеб не может оторвать от него удивленных глаз.

Уложили спать, укутали одеяльцем. И вдруг он громко, раздельно:

— Был!

Помолчал, подумал и еще раз повторил удовлетворенно:

— Был!

37

В прекрасной книге Альбрехта Дитериха «Мать земля» (A. Dieterich. Mutter-Erde. Ein Versuch über Volksreligion) читаем:

У многих народов, исторически совершенно не связанных между собой, земля считается матерью всех людей: из нее они происходят и в нее возвращаются, чтобы из ее материнского лона снова быть рожденными для дальнейшей жизни. Но не только это. Первобытное мышление не в состоянии представить себе возникновения чего-нибудь, прежде не существовавшего: это было бы возникновением из ничего. Все вообще события вокруг первобытного человека представляются ему только бессвязным нагромождением чудес, я бы сказал — магических актов. В частности, зачатие и рождение является для первобытного человека именно таким чудом, таким магическим актом, как бы колдовски выводящим на свет нечто такое, что дотоле было где-то в другом месте. То, что возникает вновь, является откуда-нибудь, существовало раньше в каком-нибудь другом месте. Всякое новое возникновение понимается только как перемещение, как метатеза или метаморфоза. Сообразно этому характеру мышления, жизнь, «душа» является предсуществующею и вера в «переселение души» вполне соответству-

ет всему строю первобытных религиозных воззрений. Душа приходит из земли; возвращается в землю, чтобы оттуда снова прийти для нового рождения, — и так все опять и опять.

У наших детей можно наблюдать процесс мысли, поразительно схожий с кругом воззрений, отмечаемых Дитерихом. Как будто маленький человек в умственных исканиях своих вкратце повторяет те этапы, которые были пройдены его далекими предками, — как зародыш человеческий повторяет в своем развитии те дочеловеческие стадии, которые человек прошел миллионы лет назад (биогенетический закон Геккеля).

Я жил у Леонида Андреева на Капри. Однажды сынишка его, Димка, вдруг сказал задумчиво своей бабушке Настасье Николаевне:

— Когда я был старичком...

— Димка, что ты такое выдумал? Когда ты был старичком?

— Ну, бабка! Был старичком, был!

— Когда ты был?

— Еще давно. Я умер, меня закопали, и я лежал долго, долго. Потом напитался землей, понемножку стал подниматься. Поднимался, поднимался, влез к маме в животик и потом родился.

Другой мальчик, мой племянник, говорил матери:

— Знаешь, мама, я думаю, — люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. А потом они опять родятся.

— Какие ты, Глебочка, говоришь глупости! Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький.

— Ну что ж! Все равно как горох. Вон какой большой, даже выше меня. А потом посадят в землю — и начинает расти, и опять станет большой.

38

Галя, двенадцати лет, и Наташа, девяти, с упоением нянчат грудного ребенка.

Н а т а ш а. Ты хотела бы, чтобы у тебя дети были?

Г а л я. Хоть сто!

Н а т а ш а (задумчиво). Нет, сто много. Трудно будет воспитать. А двадцать я бы хотела.

39

— Лиза вырастет, разведет деток. А у этих деток — опять детки будут?

— Да.

— А у этих опять?

— Ну, да.

— А до каких пор? Все опять и опять?

Говорили уже о другом. Мальчик все молчал и думал. Вдруг говорит:

— А, знаю! Потом девочки разведут одних мальчиков, и тогда конец!

Убоялся бесконечности.

40

Гимназистка двенадцати лет:

— Почитать, что ли, газету. Не пропала ли какая-нибудь собачка.

41

Чтоб девочка не узнала тайну происхождения человека из грязных уст, мать решила сама посвятить Валю в эту тайну. Вале тогда шел тринадцатый год. Мать рассказала ей о пестиках и тычинках, о мужских и женских цветках, об опылении. И решила: все остальное ясно само собою.

А Валя пришла домой и говорит:

— Приехала на трамвае. Такая давка! Ужасно боюсь: вдруг у меня произойдет опыление!

42

## <РАССКАЗЫВАЛ ОДИН ХУДОЖНИК>

Когда в гимназии я учился, был у меня друг, очень крепкий. Вася его звали. Гимназист-одноклассник. Он влюбился в гимназистку Маню. Жила недалеко от нас. А мы жили на Домниковской улице, в номерах. Занимали плохенький номеришко, спали на одной кровати. Очень славная там была прислуга Лукерья,

очень толстая и очень добрая. Нас жалела. У Васи от любви была бессонница. Вставал очень рано, ходил по номеру и пел:

Приди, приди
Ко мне скорее,
Прижмись к груди
Моей сильней!

Лукерья входила с горячим чайником.

— Пришла, пришла. Чего не емши орешь?

Вася долго страдал и наконец послал Мане объяснение в любви. Она ничего не ответила. Тогда он решил покончить с собою и написал ей письмо: «Если, когда пойду на смерть, встречу вас, то не убью себя. Замечательно: до сих пор было неизвестно, что будет с моею душою, а теперь я узнаю». Вышел на улицу — и встретил Маню. Перебежал на другую сторону. Пошел к путям Николаевской железной дороги и бросился под поезд. Его буфером ударило в лоб и отбросило. Труп совсем был не изуродован, только лиловое пятно на лбу. Маня на похоронах рыдала и очень убивалась.

После похорон, на следующий день, я написал Мане письмо, что люблю ее. Она была напугана смертью Васи, ответила, что мне «симпатизирует». Я ей: «Что такое значит? Это слово мне незнакомо. Напишите понятнее». Написала, что любит. Вот те раз! Что же теперь делать? Если б отказом ответила, дело было бы ясно: тоже пойти на пути и броситься под поезд. А теперь как же?

Увиделись. Оба не знали, о чем говорить. Два месяца тянулась канитель и сама собою кончилась.

43

Боря, тринадцати лет:

— Мама, когда Татьяна в «Евгении Онегине» вышла за генерала, это был ее второй муж?

— Что за вздор ты говоришь! Первый, конечно!

— Нет, второй. Вот послушай:

Мартын Задека стал потом
Любимец Тани. Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

44

## ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ

*(Подлинный документ, из Донбасса)*

Рассказ «Моцарт и Сальере» драма «Пушкина».

«Моцарт и Сальер» это одно из сочинений «Пушкина». Здесь описывается, как жили два музыканта и они же писатели. Моцарт писал хорошо стихотворения без всякого препятствия, а Сальер писал немного хуже, и он как ни старался, чтобы написать хорошо, но все никак не выходило. Взяла злость Сальера, что Моцарт так хорошо пишет и ему все удается, а он сколько ни трудится, все у него не выходит. И решил он напоить Моцарта ядом. И вот он пригласил Моцарта на чашку водки и здесь его отравить. Когда пришел Моцарт, Сальер и говорит: «Здравствуй, гений!» Так приветствовал Сальер Моцарта. Здравствуй, целый час тебя я жду (сказал Сальер). В это время Моцарт зевнул. Моцарт разулся, сел на стул за столом, а Сальер сел на другой стул. Стали выпивать. Моцарт и говорит: «Знаешь что, брат, я хочу до свидание, у меня живот болить». Сальер говорить: «До свидание». Моцарт лег и заснул, и начал так играть на своем инструменте, что Сальер заплакал и умер в конце восемнадцатого века.

45

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЭМЕ «ПОЛТАВА»

*(Тоже подлинное школьное сочинение)*

Историческими личностями называются две главные личности, которые составляют следы в истории и двигают ее вперед и назад. Вот во времена Полтавы в России было две исторических личности: личность Петра и личность Мазепы. Третья историческая личность была личность Карла — шведского короля. Она жила в Швеции. Петр был очень хорошим, грозным и

замечательным царем. По его мнению, над народом стояло государство, и поэтому он решил устроить полтавскую войну. Он был очень храбрый и самостоятельный, и Мазепа, хотя тоже был храбрый, но думал, что всегда лучше самому быть царем. Он поднял страшное восстание и послал обманного гонца к личности Петра Петр доверчиво отнесся к доносу Мазепы и казнил Кочубея. Но Мазепа все-таки стал угрызаться совестью и однажды в темноте ночи вдруг попал в тюрьму. Пушкин очень красиво описывает этот случай: «и летней душной ночью тьма душна, как черная тюрьма». Но храбрый Мазепа из тюрьмы убежал и открыл полтавское сражение. Петр был в сражении ужасным и походил на грозу. За Петром летели птенцы из его гнезда. Поэтому он победил Карла, и того унесли в качалке на ужин к врагам. Поэтому Карл тоже историческая личность. Но у Мазепы есть хорошие черты: любовь к Марии. Хотя это не особенно хорошая черта, так как Мария была молодая, а Мазепа убеленный сединами. Тоже хорошая черта — ум. У Петра не было плохих черт. Но если и были, так он их скрывал и выставлял хорошие. После сражения Петр поднимал заздравный кубок за своих учителей. Это тоже является хорошей чертой. В то время как он пировал, взор его был горд и ясный, и он обводил им всех участников. Мазепа отличался своим неучастием в битве. Он после битвы бежал в степь и оказался трусом. Это его плохая характерность, и думал, что, несмотря на это, ему удастся сделаться самозванцем. Но его расчеты оказались ни к чему. Так кончилась полтавская война, в которой участвовали две великих русских исторических личности, которые по своему настоящему понятию сделались известными для тоже исторической личности Пушкина. Сопоставление Петра и Мазепы очень хорошее. Петр сам воздал себе огромный памятник, а Мазепу похоронили. Из Москвы велели привезти анафему в Полтаву, и она там вместо Мазепы каждый год гремела. В поэме есть нравственная цель, она учит, как Мазепа своею личностью поплатился за такое отношение, и как Петр за свою роль и подвиги был выбран в исторические личности.

### 46

— Откуда люди появились?

— Я знаю. Рыбы вылезли из воды, сделались обезьянами и народили людей.

### 47

## ВОИНСТВУЮЩИЙ БЕЗБОЖНИК

Бабушка. Что же, бога, скажешь, нету?

— Нету!

— О господи! И души нету?

— И души нету.

— Ну, ты подумай: дух-то есть? Дышишь ты?

— Не дышу!!

### 48

Примусы отшумели и теперь рядком стояли на черной плите. Жильцы разошлись по комнатам, в кухне никого не было. Только Сима сидела, напевая, за кухонным столом и рисовала. Мать ее Арина, работница «Москвошвея», выгнала ее из комнаты за то, что она кидалась за обедом хлебом и обозвала мать дурой. Сима болтала ногами, сосала огрызок карандаша и рисовала на оберточной бумаге трамвайный вагон.

В мягких туфлях неслышно прошла в ванную Мурка, студентка Первого МГУ. Не зажигая света, умылась. Поглядела, как Сима сидит к ней спиною за столом, и потихоньку брызнула в нее водою.

Сима с удивлением потрогала голову, взглянула на потолок. Мурка притаилась в темной ванной. Сима побежала к матери. Арина гладила на столе Симину блузку.

— Мама, вода откуда-то на меня капает! Капает сверху, а на потолке сухо!

Арина озлобленно крикнула:

— Это бог тебя обкапал, так тебе и нужно! Он тебя и по-настоящему водой обольет! А и тогда не станешь

слушаться, — огнем тебя начнет жечь! Ты понимаешь, это самый большой грех на свете — матери не слушаться! Нет больше греха. Если какая девочка не слушается матери, у нее руки и ноги отнимутся.

Сима с жадным любопытством спросила:

— А почему его не видать?

— Разве бога можно видеть? Он невидимый, ну... как ветерок. Старичок такой. С седенькой бородкой.

— Невидимый? С седенькой бородкой?

Сима воротилась в кухню и в раздумье остановилась перед столом. Мурка смотрела из ванной. Не одолела искушения: душа смех, выплеснула на Симу четверть стакана воды.

Сима, как зверенок, с воплем помчалась по коридору, вбежала к матери.

— Мама! Он на меня плеснул! Смотри, вся голова мокрая!

Арина не взглянула, она все еще была в своей злобе.

— Ага! Вот видишь! Я тебе говорила! Он тебя еще огнем будет жечь! Сейчас же проси прощения! Это он тебя за то, что матери не слушаешься!

— Мамочка, прости! Никогда больше не буду! Ой, как страшно-ужасно!

Помирились. Сели пить чай. Сима взволнованно расспрашивала, кто такой этот бог.

— Он и теперь здесь?

И опасливо оглядывалась.

— Нет, ты стала послушная, он теперь к другим непослушным детям полетел. А не будешь слушаться, опять воротится.

Утром на следующий день Сима встретилась в коридоре с Муркой и с глубочайшим волнением рассказала ей о вчерашнем событии.

— Ой, как страшно-ужасно! Я за столом сижу, вдруг как хлистинуло (хлестнуло)!

— Кто же это был?

— Как его? (Стала вспоминать). Дедушка Мороз? Нет. Знаешь кто? Сама не знаю. (Вспомнила). Вот кто: бог.

— Видала ты его?

— Нет, его нельзя видеть. Он, как ветерок, дует. Он ветерок сам. Невидимый. С седенькой бородкой.

— Что ж, он и сейчас здесь?

— Нет, он сейчас к другим непослушным детям поплыл.

Мурка не могла сдержать смеха. Сима с удивлением взглянула на нее. И потом на все расспросы о происшествии отвечала неохотно:

— Мне скучно.

И ясно было из ее тона, что «скучно» для нее значит: «страшно, жутко». В глазах были тревога и вопрос.

И стала она тихая, послушная. Мурка раз увидела в кухне ее задумчивую мордочку с большими глазами, стало ей стыдно за свою шутку. Она сказала Симе, что это она брызгала в нее из темной ванной.

Сима ахнула, засмеялась:

— Взаправду?!

Мурка показала Симе, где она стояла в ванной, как брызнула в нее. Сима хохотала.

Но все-таки тревога и вопрос остались в ее глазах. И через три дня она вдруг сказала Мурке:

— Есть такие, что в бога не верют. А я же сама видела, как он из воздуха брызжется.

## 49

Иду в Крыму по саду нашего дома отдыха. С горы навстречу, выпучив глаза, мчится со всех ног мальчугашка лет пяти.

— Дяденька, беги!

— Чего мне бежать?

— Беги скорей! Сторожа пришли!

— Чего мне бежать от сторожей?

Он остановился на бегу, с недоумением оглядел меня:

— За уши оттреплют!

И помчался дальше.

Вот подите: такая ужасная опасность, каждая минута на счету, а он все-таки остановился, чтобы предупредить меня. Спасибо, товарищ!

50

## ВАНЬКА

Большой мой приятель. Ему лет семь, не так давно из деревни. Крепкий, приземистый мужичок с большой головой, на щеке шрам: года два назад, в деревне, подошел сзади к жеребенку и хлестнул по ноге прутиком, а жеребенок его лягнул в лицо.

Идем по улице.

— Это солнце и в деревне светит?

— Да.

— Как же она одна хватает?

Смешно? А когда древний человек впервые задал себе такой вопрос, — родилась астрономия.

— Игде солнышко живет? Она под землей схораниевается? Она что же, живая?

Очень любит маленьких ребят.

— Когда буду большой, у меня тоже дети будут. (Вздохнул). Только вот не знаю,— как их сродить?

Спрашивает мать:

— А когда ты меня сродила, яйцо, чай, вот какое было, — с собаку?

Спрашивает меня:

— Ты что больше любишь — мармалад или меня?

— Тебя.

Изумился.

— Шутишь!.. Почему?

— Мармелад съешь, и его не будет. А ты вырастешь, — может быть, хорошим человеком станешь: ребенка от собак отобьешь, человека вытащишь из воды.

Высоко поднял брови, обдумывает. Спрашиваю:

— Ну, а ты кого больше любишь — меня или мармелад?

— Тебя. Мармалад съешь, ничего не останется, а ты... э... э... ты — вона какой!

Изводит вопросами:

— Ты что больше любишь — яблоко или гулять?

Я ему в ответ:

— Ты что больше любишь — яблоко или клопа?

— Яблоко. А ты?

Сердито:

— Клопа.

— Клопа? (Подумал). Ну и ешь его!

— Как тебе, Ванька, не стыдно? Какие ты дурацкие вопросы задаешь!

Это было за обедом. И он вдруг:

— Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется!

— Завтра мамушка из деревни приедет.

— Ты рад?

— Да. Она мне яблок привезет.

— А если яблок не привезет, будешь рад?

— Ну... Тогда чего другого привезет.

— А если совсем ничего не привезет? Самой ей будешь рад?

Неуверенно:

— Б-буду... (Подумав). Нет, все-таки чего-нибудь привезет.

Мать водила его на могилу умершего отца. Ванька заявил, что больше не будет ходить.

— Почему?

— Чего ходить? Он мне коньков не покупает, конфет не приносит.

Мать и тетки:

— До чего умный мальчонка!

— Я бы шофером хотел быть. Да не на что будет жить: платить не станут.

— Почему не станут платить?

Ванька удивился:

— За что же платить?

— Ты, Ванька, хочешь помереть?

— Не! Я бы все жил ба!

51

## ЮРА

*Одного года*

Только что научился ходить. Идет неуверенно-пьяной походкой, вскидывая ножонки и крепко припечатывая их к полу. Если куда нужно поскорее, предпочитает привычный способ — ползет, быстро подбирая зад.

Ударился головою о спинку кровати. Заплакал. Мать притворилась спящей и не отозвалась на плач. Перестал плакать, с любопытством поглядел на угол спинки, слегка ударился головой. Потом сильнее. И заревел.

Тугой, с блестящими глазенками. Трясет перед ухом папиросную коробку с двумя камушками в ней, упоенно слушает. Потом откроет коробку, с любопытством разглядывает камушки. С трудом закроет — и опять трясет перед ухом, и слушает, широко раскрыв глаза.

Плетеный стульчик лежит на полу, спинкой кверху. Юрка чувствует, что из него можно сделать хорошую забаву, но не знает, как подступиться. Взялся за передние ножки. Вдруг торжествующий крик: «Га!» — и поехал со стулом по комнате. Доехал до конца комнаты, ударился стулом о стену, стал поворачивать. Стул задел его ножкой и свалил. Юра заплакал. С трудом повернул и поехал обратно. На лице торжествующее наслаждение.

Но чего-то никак не мог сообразить: возьмется за обе ножки — и под руками твердо, возьмется за одну — стул подвертывается, и Юра летит с ним на пол. Наконец что-то уловил. Когда стул начинает под рукой уходить вниз, быстро отдергивает руку, шатающейся походкой идет к матери, берет ее за палец и подводит к стулу. Она дает ему хорошо взяться за ножки — и Юрка с тем же торжествующим криком «га!» едет к противоположной стене.

Кругом — огромный мир, полный непонятнейших загадок и самых неожиданных решений.

На палке лошадиная головка, Юра вечером скакал на ней по комнате, остановился у стены. Вытащил палку, держит в руках. Вдруг испуганно заплакал.

— Кто это?

На белой стене — черная тень лошадиной головки. Бросил палку и с ревом убежал за шкаф. Отец и мать стали объяснять, что такое тень, показывали ему отражение своих профилей, его собственные ручонки. Но когда потом показали тень лошадки, Юра затопал ногами, опять заплакал и зажмурился. И вдруг сказал:

— Больше не буду смотреть. Я забоялся.

С зажмуренными глазами поужинал, дал себя раздеть и уложить в постель. С зажмуренными глазами и заснул.

На следующий день идет с матерью по улице. От солнца перед ними четкие тени. Увидел их уже как старых знакомых. Показывает пальцем.

— Как их звать?

— Тень.

Радостно засмеялся.

— Мама, моя маленькая тень, твоя большая!

Долго следил за движениями своей тени. Наконец с недоумением спросил:

— А куда этот мальчик идет? Домой, с нами?

И вопросы, вопросы без конца. Такие, на которые и взрослому трудно ответить, и такие, которые на взгляд взрослого совсем глупы.

— Почему листья падают?

— Кто сделал солнце?

— Кто приклеил лампочку на дом?

— А чей это дом, кто здесь живет?

— А зачем у тети завязан пальчик?

— Как я сделался?

Долго смотрел на крышу соседнего дома. Вдруг говорит:

— Люди упали.

— Откуда упали?

— С крыши.

В чем дело? Никакие люди не падали с крыши. Выяснилось: вчера с этой крыши счищали снег, а сегодня людей на ней нет.

Набросил себе на голову большой черный платок. Долго сидел, с любопытством ворочая головой. Потом сбросил платок.

— Мама, ты видела, как сейчас было темно?

В комнате платяной шкаф с большим зеркалом на дверце. Мать боялась, чтобы Юра не стал стучать по зеркалу и не разбил его. Сказала, чтоб он не подходил к шкафу: шкаф сердитый и не любит Юрика. Вошла в комнату. Юра ходит вокруг шкафа, заложив руки за спину, и кричит на шкаф:

— У! У!..

— Что ты делаешь?

— Это я шкаф пугаю. Чтоб думал, что я сердитый. Чтоб шкаф меня боялся.

Мать уехала в служебную командировку. Юра беззаботно играет, матери совсем не вспоминает. Но раз был в Лосиноостровске у тети, играл с ребятами. И не захотел идти домой:

— У всех папа и мама, а у меня только папа!

А другой раз увидел фотографию матери и вдруг горько заплакал. С надеждой заглядывал на изнанку фотографии, разочарованно морщился и плакал еще горше.

На сквере. Неутомимые работнички бесполезных дел, все ребята заняты. Истинные ударники! Юра копает лопаточкой снег, двухлетняя девочка уже полчаса терпеливо укладывает на скамейке рядышком мел-

кие осколки стекла, другая пеленает куклу. «Играют». Но наукою доказано, что игра маленьких детей и животных — вовсе не «так себе», не баловство. В игре они серьезно и сосредоточенно подготовляются к действиям, наиболее впоследствии нужным: котенок гоняется за бумажкой, привязанной к веревочке,— подготовка к умению поймать мышь; щенята грызутся и т. д.

— Папа, пойди сюда.

— Чего тебе?

На ухо:

— Спроси меня: хочет Юра еще конфетку?

В руках у него плюшевый мишка. Я взял мишку и зарычал. Юра испугался. Объясняю ему.

— Он не страшный?

— Нет. Только как будто страшный.

— Как будто страшный? Не сердитый?

Это уже выработавшийся тип: домработница из деревни. Румяная, неудержимо полнеющая от нетяжелой работы; с огромною крепкою грудью; тело так из нее и прет. В домработницы поступила, чтоб пройти в профсоюз. Некультурная, вороватая, глубоко равнодушная к своему делу, жадная до вкусной еды. Утром пойдет за провизией, пропадает по своим делам часа три, воротится: «Ничего не могла достать». Продала все хлебные карточки: «Потеряла». Надевает для прогулки с кавалерами хозяйкины туфли, чулки.

Такая вот няня у Юры — Дуся. Родители специально для Юры покупают сливочное масло, — фунт исчезает в два дня. Мальчик худеет, по вечерам, при родителях, жадно набрасывается на еду, потому что весь день голодает. Мать заказала для него на обед суп, котлету и молочную рисовую кашу; неожиданно пришла с работы днем: Дуся кормит Юру супом, а котлету и кашу съела сама.

Родители оба заняты и служебною работою и общественною. Весь день ребенок на руках у Дуси. У Юры появились новые слова—грубые, циничные. И не только слова. Однажды он с невероятною игривою улыб-

кою вдруг потянулся к матери и стал расстегивать у нее на груди кофточку.

— У тебя там два голубка. Дай я поиграю!

Мать в отчаянии, мечется, отыскивая другую домработницу.

Но как раз началась паспортизация, приток из деревни прекратился, домработниц с паспортами рвали из рук. Дуся это учитывала и наглела еще больше.

— Дуся, вчера сестра принесла Юре восемь конфеток, я их положила на стол. Где они?

— Я съела.

— Как же ты могла?! Не знаешь, что это для ребенка принесли, а не для тебя? Ведь сахару даю тебе сколько хочешь.

— Мне сахар больше не ндравится.

— А нравятся конфеты, покупай сама.

— Мне ндравится хозяйские есть.

Юра очень замкнут, все тяжелое переживает сам с собою. Но в глазах появился испуг. Соседки по квартире сообщили матери, что часто слышат в ее комнате взрывы плача Юрки, что Дуся жестоко бьет его, не стесняясь, при всех. Ей говорят:

— Как не стыдно тебе?

А она:

— Своего бы я еще не так, своего бы я просто убила.

Мать кинулась к Юре.

— Била тебя Дуся?

— Била нынче.— Помолчал и прибавил: — Сначала била, а потом позалела.

А Дуся на все:

— Не ндравится вам — рассчитайте.

Терзает душу это молчание маленького, беззащитного человечка. Бьют его,— и он рад, что хоть под конец его «позалели».

Рассчитали Дусю, с огромными усилиями нашли наконец новую домработницу-няню.

Как-то вечером я подошел к кроватке Юры, думал, он уже спит. Но Юра лежал с открытыми глазами. И вдруг благодарно сказал мне:

— Ты хороший.

Так и живет он в двух стихиях: грубой, равнодушной, презрительной, идущей от домработницы, и лю-

бовной, нежной, которую дают родители. В первой страдальчески сжимается, во второй чувствует себя центром жизни, баловнем, вызывающим всеобщее восхищение, и нет с ним сладу.

На лето отдали его в детскую коммуну, километров за тридцать от Москвы. За лето вырос, поправился, загорел и как-то загрубел. Не тот темп речи, выговор, не то построение фразы. Нет прежней суетливости, беготни, спешки — и доверчивости. Загрубел и физически и душевно. Но что-то твердое появилось, подтянутое и мужественное. Однако по ласке, видимо, томится и страдает не по-детски. Серьезно, без улыбки, допрашивает мать:

— А почему ты раньше не приехала? А ты меня не забываешь? А когда ложишься,— помнишь?

При прощании сам несколько раз крепко поцеловал мать и отчетливо сказал:

— До свидание! Приезжай в выходной.

«Дорогой мой мальчик! Тебе сегодня исполнилось три года. Три года назад, в такое же солнечное утро, как сегодня, ты родился. Своим появлением ты много принес мне незабываемой радости. Сегодня я не могла тебя видеть: ты живешь на даче с детками, — я здесь в городе занята, работаю. Через две недели ты приедешь к нам, и мы начнем жить вместе. Я бы хотела, Юрик, чтобы ты не капризничал, не мешал бы мне работать, вел бы себя хорошо... Ты вырастешь у нас новым, и сильным, и славным человеком. Но пока ты растешь, крошка, твоя мама также не хочет отставать от жизни, также хочет расти в работе. Я не хочу, чтобы после ты стеснялся меня, как стеснялась я своей матери, не одобряя общую ее установку жизни. Будь же здоровенький, мой малышка, целую тебя крепко. Твоя мама». (Из дневника.)

### *Трех лет*

Новая няня — старушка, очень религиозная. Раз пришли с прогулки. Мать спрашивает:

— Где ты гулял, сынок?

— Мы гуляли в большом, большом доме. Там Петровна голенького дядю нюхала.

Няня ахнула.

— Что ты Юра, врешь? Какого я дядю нюхала?

— Да, да! На стенке был дядя голенький нарисован, в простынке. Петровна подошла, рукой возле лица машет и дядю нюхает... А старушки всё баловались: станут на колени и лбом об пол. И Петровна тоже. А я не баловался!

— Что же там еще было?

— Еще два дяди, только совсем как тети, и волосы длинные. В очень красивых платьицах. На платьях много цветов, настоящий сад. Ходили, руками махали и все кричали: оо-оо-ооо!

Шел раз с матерью по лесу. На полянке табун лошадей. Стоят и отмахиваются головами от мух. Юра остановился, долго смотрел.

— Мама, я думал, одни только старушки молятся, а оказывается, и лошадки тоже.

В речи его — постоянная смесь простонародных слов от няни и самых интеллигентских, как «оказывается»,— от родителей.

Родителям весьма не нравится, что няня говорит ребенку о боженьке. Строго запретили.

Юре очень понравился «Крокодил» Чуковского. Запомнил из него много звонких стихов, все снова и снова пересматривает картинки, где подвизается гражданин с противной крокодильей мордой, в английском клетчатом пальто. Любовно называет его «крокодильчик».

Укладывали Юру спать. Он засунул в рот угол простыни. Отец строго сказал:

— Нельзя в рот совать простыню.

— А что можно совать?

— Хлеб, котлету, печенье.

— И конфетку.

— Да, и конфетку.

Все-таки держит простыню во рту. И никакие уговоры отца и матери не помогают. Тогда отец сказал:

— Ну, я скажу крокодильчику.— Снял трубку телефона.— Алло! Тутушка, ты? Позови крокодильчика.

Юра потихоньку вытащил простыню изо рта и сконфуженно стал прислушиваться. Отец спрашивал в телефон:

— Крокодильчик, ты? Юра сует в рот простыню... Нельзя? Я ему говорю, что нельзя, а он не слушается... Юра, крокодильчик сказал, что нельзя простыню совать в рот.

Юра смиренно ответил:

— Я не буду.

Мне было смешно: не доглядели родители! Выгнали боженьку в дверь, а он перекинулся гражданином с крокодильей мордой, облекся в клетчатое пальто и по телефону стал передавать мальчику свои приказы.

Спрашивает отца:

— Кто дождь капает?

— Видал, как губка намокает? Вот так и тучка: намокнет, и тогда из нее начинает капать дождь.

Объяснение Юрку не удовлетворило. Спросил бабушку.

Она долго говорила об испарении, об охлаждении. Юра слушал внимательно, почтительно и ничего не понял. Однако сказал:

— А папа какой глупый! Говорит: оттого, что тучка намокла.

Мать принесла абрикосов. Жадно стал расспрашивать, на чем вырос, кто деревцо посадил.

— Кто лазил на деревцо его поливать?

Мать смеется:

— Он убежден, что нужно влезть на дерево и поливать его сверху.

А я возражаю:

— Юра прав. Вы, ученые люди, вы знаете, что вода нужна именно корням дерева. А нам с Юрой откуда это знать? Цветы поливают *сверху,* дождик мочит деревья *сверху.* Почему же и абрикос нужно поливать не сверху?

У Юры была белая, оструганная палка, это была его лошадка; все прогулки он делал на ней верхом. Раз он этой палкой ударил мальчика с соседней дачи. Мать отобрала палку, поставила ее в угол террасы и неделю не давала Юре. Потом с наставлением возвратила.

Через три дня Юра с ревом несет матери на террасу свою палку.

— Ты что?

— На, поставь ее в угол, а то я мальчика побить хочу!

Попадают ему иногда и шлепки. Взгляд на наказание не как на возмездие, а как не неотвратимое последствие дурного поступка.

Плача, кричит матери из садика в окно:

— Мама, возьми меня за ручку, дай шлепка: я мальчику плохое слово сказал.

— Юра, отчего ты так тихо идешь? Устал?

— Нет, я не устал, а просто у меня сегодня ноги тихие.

— Мама, каша горячая, прямо мне в сердце попала.

Виктор Гюго писал: «Имейте жалость к русым головкам». Взрослые мало имеют этой жалости. На серьезные вопросы ребенка, потешаясь, дают дурацкие ответы; лгут для временных целей.

— Мама, поедем в зоопарк.

— Нельзя, детка, дождь идет.

— А почему в дождь нельзя?

— В дождь птички и звери бывают сердитые.

— Кусаются?

— Да.

Прояснилось. Поехали в зоопарк, Юра бегал по дорожкам, пытался ловить перелетавших с пруда уток. Вдруг остановился, робко прижался к матери.

— Ты что?

— Дождик пошел.

— Маленький дождик, это ничего.

— Птичка стала кусачая.

— Что ты глупости говоришь!

— А дождик пошел.

Мать прикусила губу.

Крепыш, здоровяк, с звонким голосом и озорными глазами. Мать его — научный работник, умная и талантливая, но у нее циклотимия, и губы, когда молчит,— страдающие. У Юры тоже в губах страдание. И бессознательно, но настойчиво он охраняет маленькую свою душу от ранящих впечатлений.

Рассказываю ему сказку: мама поехала с Юрой за город на автомобиле. Вдруг (страшным голосом) — на дороге большой слон!

Юра поспешно:

— Он хороший!

— Стоит, машет хоботом. Машина дальше не может ехать, остановилась...

Юра настойчиво:

— Он не сердитый!

Мне непонятно: для меня в детстве — чем страшнее, тем интереснее. Но невольно подчиняюсь.

— Слон говорит: «Не бойтесь меня, а вот я вижу, у вас в машине свободное место. Покатайте моего слоненка».

Юра радостно кричит:

— Покатаем! Садись!

— Поехали дальше со слоненком. Вдруг — трррррр!! Машина свалилась в яму...

— И никого не ушибла!

— Ну, да... Не ушибла. А только яма глубокая. Никак не могут вылезти. Вдруг видят, сверху заяц смотрит...

Юра торжествует.

— И зайчик нас вытащил!

— Юра, подумай: зайчик маленький. Как он может вытащить?

— Ну что жа?

Приходится устроить так, что зайчик сообщает о беде слону, папа-слон и мама-слониха прибегают и всех вытаскивают из ямы.

И теперь у нас с Юрой выработалась точная, хотя и не формулированная в словах договоренность: в сказке все гармонично, светло, участники — хорошие и несердитые и конец совершенно благополучный.

Плакатный рисунок в газете: по черному откосу поднимается вверх большой грузовик, а под откосом лежит разбившийся автомобиль; колеса валяются отдельно. Около стоит человек и протягивает руку к грузовику.

— Что это такое?

— О! Это очень интересная история!.. Ехал в гору автомобиль. Вдруг слетел в овраг. Колеса сломались. Мимо едет грузовик. Человек кричит: «Дядя! дядя! возьми меня с собой!» Шофер остановился, взял его. Приехали в город. Человек купил новые колеса, поехал назад, починил свою машину и — ууу! Покатил.

Юра слушал с горящими глазами.

— Куда покатил?

— Ну, домой.

— А потом?

— И все.

Рассказ произвел на Юру потрясающее впечатление. Глядя на картинку, он стал пересказывать его сам, потом еще раз заставил меня рассказать, опять пересказывает.

Подошла мать.

— Юра, иди творог есть.

Он нетерпеливо отстранил ее, с одушевлением продолжает рассказывать:

— А тогда он кричит: «Дядя, дядя! Возьми меня с собой!» А колеса на земле сломанные.

Целую неделю только об этом говорил, показывал всем картинку и рассказывал. Приду я — заставляет рассказывать меня, а когда кончу, каждый раз спрашивает:

— А потом?

Непонятно было, что ему еще нужно «потом»? Один раз я кончил так:

— Приехал домой и сел чай пить.

Юра с огромным удовлетворением повторил:

— И сел чай пить.

И несколько раз повторил:

— И сел чай пить.

В прежней редакции для него не хватало концовки.

*Четырех лет*

— Мама, отчего, когда большие ушибутся или упадут, им не больно?

И вопросы, вопросы без конца — для взрослых смешные и дурацкие, а на деле — говорящие об огромном стремлении осмыслить непонятные явления жизни. Не раз уже, кажется, отмечавшийся, удивительно умный вопрос над ночным горшком:

— Мама, почему из меня всегда льется в горшок только чай, а молоко никогда не льется?

— Бывает гусеница, а зайка? Червячок, а верблюд?

— Юра, ну что ты какие спрашиваешь глупости!

Сейчас же — «глупости». И сейчас же предположение, что ребенок болтает зря, только чтобы болтать. Юра краснеет.

— А как же бывает жук-олень, жук-носорог?

Винкельман замечает: «В детстве мы смотрим на все происходящее вокруг нас как на нечто необычайное». Верно. В детстве мы видим жизнь собственными, не предвзятыми глазами и улавливаем то, что взрослыми совершенно не замечаем.

Юра спросил:

— Почему очень скоро пососать называется поцеловать?

Я был поражен: как верно подмечено! Ведь правда: поцеловать — это коротко пососать. Как мы этого не замечали?

Логика, действующая по своим, совсем отличным от нашей законам. То так умно, что поражаешься, то так глупо, что недоумеваешь. Мать сидела с Юрой на дворе; на дворе — гараж. Машина собралась ехать. Мальчишки бросились цепляться сзади. Бросился и Юрка.

Мать отозвала его. Юра охотно отошел и спросил мать:

— Отчего, как машина поедет, мальчикам обязательно цепляться сзади?

Он порядочный трусишка. Но, исполняя гражданский долг, считал нужным исполнять обязанности, наложенные судьбою на мальчиков.

С очень серьезными глазами Юра меня спросил:

— Когда какой-нибудь мальчик умрет, ему потом года засчитываются?

Трудно проникнуть в тайны детской логики. Только после долгих, осторожных расспросов мне удалось выяснить, что́ тут Юру интересовало. Два года назад он много играл с мальчиком из соседней комнаты Васей. Вася его поколачивал. Тогда же он вскоре умер от скарлатины. Недавно Юра об нем вспомнил. Как же ему в настоящее время представить себе Васю? Если в тех годах, когда он умер, то теперь Юра легко мог бы от него защититься. И вот — вопрос очень существенный: засчитываются Васе последние два года?

И еще изумляет словотворчество ребенка,— не само по себе, а то, как он умеет усвоить дух языка, как сочиняет слова в строгом соответствии с законами именно этого языка.

Юра принимал хинин.

— Горько тебе было?

— Сперва было горько, а потом *отгорьчилось.*

Гуляет весною по скверу.

— Смотри, мама: клен не только цветет, но и *листет.*

Корней Чуковский, так много сделавший в исследовании детской речи, пишет:

«Начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным филологом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. Тончайший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и когда ему понадобится создать то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то окончание, которые по сокровеннейшим законам языка необходимы для данного оттенка мысли и образа. Страшно подумать, какое

огромное множество грамматических форм сыплется на его бедную голову, а он, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, ежеминутно сортируя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов — и при этом даже не замечая своей колоссальной работы! У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить те мириады синтаксических и морфологических форм, которые, играючи, усваивает двухлетний лингвист».

Утром Юра долго с большим любопытством смотрел на пиявок в пруде. А вечером спросил:

— Откуда ко мне язык в рот попал? Из *воде*, наверно.

Долго и сосредоточенно смотрел, как черный жеребенок сосет черную кобылу.

— А молоко тоже черное?

Мать разбирает фотографии.

— Мама, почему тут и папа и ты, а меня нету?

— Ты тогда еще не родился, детка.

Увидел фотографию, на которой одна мать. Побежал с нею в кухню и стал объяснять няне:

— Тут одна мама, а я и папа еще не народились.

Спросил отца, что такое крематорий. Отец объяснил. Юра слушал с большим интересом. Потом сказал с наслаждением:

— Когда вы с мамой умрете, вас тоже будут *пекти* в крематории?

Родители огорчены.

Родители часто огорчаются понапрасну. Я иногда приношу Юре конфет. Сидит и с аппетитом ест. Мать спрашивает:

— Ты любишь дядю Витю?

— Да. Он мне конфет принес.

Мать ахнула.

— Вот видите! Сколько раз я вам говорила: не носите ему конфет... Ну, а когда дядя Витя без конфет придет, тогда ты его не будешь любить?

— Тогда не стоит.

— Значит, ты его только за конфеты любишь?

Юра подумал:

— Нет, еще за щегла. У него очень щегол хороший, сам в клетку летит, когда платком махнут.

— А дядя Витя за что тебя любит?

Еще подумал.

— Мы ему тоже конфет даем. И еще чаю, печеньиц.

Мать в отчаянии. Странные люди! Требуют от ребенка ответа — за что? Как же он может ответить: «Так, ни за что»? Ну, и подыскивает своим умишком реальные причины. По тому, как он со мною держится, как встречает, я знаю, чувствую, что это не за конфеты,— да и приношу я ему конфеты не так часто. И мать хорошо знает, что не за конфеты. Раз было так. Меня ждали. Вхожу в подъезд. Между двумя дверями подъезда — маленькая фигурка, стоит смирно-смирно.

— Юра, это ты?

Говорю с ним. Он равнодушно и как будто неохотно отвечает, глядит мимо. Я решил: должно быть, поджидает товарища и ему не до меня. Он взял меня за руку, вместе пошли наверх, в квартиру. И вдруг узнаю от матери: это он меня вышел встречать. Не давал матери покоя, все просился и за полчаса уже вышел. И полчаса смирно стоял между дверями, поджидая меня. А что значит для ребенка в одиночестве и без дела простоять полчаса! А к этому я уже привык: Юра совершенно не проявляет наружно своих чувств.

Через неделю после происшествия с конфетами принес я мышеловку,— мать просила дать на подержание. Юра с любопытством ее рассматривал. Мать спросила:

— Ну, дядя Витя конфет тебе сегодня не принес. Любишь ты его?

— Да. Он нам принес мышеловку.

— Юрка! Ну, а если бы не принес?

Юра нетерпеливо:

— Все равно бы любил.

Мать кормит грудью братишку Юры. Юра подошел, но ему запрещено подходить — у него подозревается ангина. Мать толкнула его ладонью в лоб.

— Ведь сказано тебе, чтобы не подходил к Боре!

Юра вскипел.

— Ты не смеешь меня бить!.. Папа, объясни маме, что она не смеет меня бить.

— Она тебя не била, а оттолкнула.

— Нет, побила, побила!

Иногда он испускает дикие крики, которые очень пугают спящего Борю. Мать потеряла терпение и, в первый раз, поставила Юру в угол.

Юра постоял, подумал и сказал:

— В угол ты меня ставить можешь. А только... Пожалуйста, запри дверь; и папе ничего не говори.

Был со своею матерью у тетки в Лосиноостровке. Там сильно озорничал, стал душить ребят тетки. Они сказали, чтобы он больше в Лосиноостровку к ним не приезжал. Мать при мне рассказывает про его подвиги, чтобы его пристыдить. Я Юру спрашиваю:

— Тебя, значит, теперь в Лосиноостровку не пускают?

Вполне спокойно:

— Не пускают.

— Почему?

— Потому что я их душил.

— Зачем же ты их душил?

С эпическим спокойствием:

— Чтоб они были мертвые.

Ужинает. Оживленно болтает с матерью. Вошла няня.

— Юра, а ты рассказал маме, что ты сегодня на сквере делал?

Юра сжался, спросил:

— Что?

— «Что»! Забыл?.. Набросился на маленькую девочку в колясочке, стал бить, таскать за волосы. Мы его хотели отправить в милицию.

Мать негодующе смотрит на Юру.

— Я не бил, только за волосы потаскал.

Юра терпеть не может девочек и постоянно их обижает.

— Ну, завтра не будет тебе твоих игрушек — ни магнита, ни картинок.

Он заревел, вскочил, обнимает мать за шею.

— Нет! Не надо! Ничего не делай плохого! Слышишь, мама? Не делай мне плохого!.. Я просто забыл.

— Забыл, что не надо девочку бить?

— Да.

— А думал, что надо?.. За что ты ее бил?

— Ни за что. Просто забыл.

Пришел к ним, спрашиваю:

— Ну, Юра, как живешь?

— Плохо.

— Что так?

Вздохнул.

— Очень много балуюсь.— Помолчал.— А ты как живешь?

— Хорошо.

— Не балуешься?!

## XI

## ВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

### 1

### НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ГЛАВА

В газетах появились огромные объявления. Иллюстрированный еженедельник «Окно в будущее» сообщал читателям сенсационную новинку: в бумагах, оставшихся после Льва Толстого, найдена рукописная, совершенно отделанная глава из «Анны Карениной»; глава только по ряду совершенно случайных причин не была включена Толстым в роман. Сообщалось, что глава эта, доселе нигде еще не напечатанная, целиком появится в ближайшем номере журнала «Окно в будущее».

И правда, появилась целая глава. Яркая, сильная, являвшая поистине вершину толстовского творчества. Описывался сенокос.

«Бабы, с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, веселыми голосами, шли по-

зади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторения, и дружно, враз, подхватили опять сначала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигается на него. Туча надвинулась, захватила его, и копны, и воза, и весь луг с дальним полем — все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и еканьями».

Чувствовался и запах свежего сена, и напоенный солнцем воздух, и бодрая радость здорового труда. Невольно хотелось вздохнуть поглубже, весело улыбаться.

Успех был огромный. Весь полумиллионный тираж номера разошелся целиком; припечатали еще двести тысяч, и те разошлись целиком.

Номер стоил двадцать копеек,— за двадцать копеек читатель получил высочайшее наслаждение, за которое не жалко было бы заплатить даже рубль.

Все были очень довольны.

И вдруг... вдруг в газетах появились негодующие письма знатоков литературы.

Знатоки сообщили, что якобы до сих пор не опубликованная глава эта неизменно печатается во всех изданиях «Анны Карениной», начиная с первого появления романа в журнале «Русский вестник», и в любом из изданий читатель может прочесть эту главу.

Негодование и возмущение было всеобщее. Да не может быть! Дойти до такого надувательства!

Но справились: верно. Слово в слово. Стоило платить двадцать копеек!

И тогда всем показалось, что они никакого удовольствия от прочитанного не испытали и только даром затратили двугривенный.

## 2

## ЗЕЛЕНАЯ ЛОШАДЬ

Шел съезд коневодов.

На трибуну поднялся щуплый паренек невысокого роста, с густыми, всклокоченными волосами, с озорными глазами, и заговорил пронзительным голосом:

— Вот уж несколько дней вы болтаете о различных породах лошадей...

Председатель строго прервал:

— Здесь не болтают. Здесь серьезно дискутируют.

— Я извиняюсь. Вот уж несколько дней вы «серьезно дискутируете» о различных породах лошадей — о свиноподобных першеронах, об английских скаковых стрекозах, тряхнули даже заплесневелою старушкой — арабской лошадью. Все это — никчемная болтовня... Извиняюсь: никчемная «серьезная дискуссия». Вы не придете ни к чему путному, пока не впустите себе в мозги простой и совершенно очевидной истины: единственная порода, которая способна вполне удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к лошади нашею современностью, это — зеленая лошадь.

— Какая?

— Зеленая.

— Зеленая?!

— Изумрудно-зеленая лошадь.

— Ха-ха-ха!

— Да! Зеленая лошадь с апельсинно-оранжевым хвостом.

Председатель еще строже сказал:

— Здесь обсуждаются серьезные вопросы, и шутки ваши совершенно неуместны.

— Я не шучу. Я именно самым серьезным образом...

Шум, гам, смех не дали ему докончить.

— Довольно!

— Долой!

Оратор несколько раз пытался продолжать, но ему не дали. Он презрительно оглядел шумевших и гордо сошел с трибуны.

В следующее заседание он опять появился на трибуне — такой же гордый и боевой.

— Пока вы серьезно не поставите вопроса о зеленой лошади...

— Да вы видали когда-нибудь зеленую лошадь?

— Нет, не видал.

— О чем же тут говорить?

— Когда Гальвани и Вольта исследовали такое как будто пустяковое, только курьезное явление природы,

как электричество, видали ли они телеграф, телефон, электрическое освещение?

Это было так глупо, что оставалось только развести руками. Седовласый член, знаменитый коневод, с тонкой иронической усмешечкой неопровержимо доказал в своей речи,— во-первых: что нет никаких оснований ждать, чтобы мы смогли каким-нибудь путем вывести породу зеленых лошадей, так как не существует никаких животных с зеленой шерстью; во-вторых: совершенно непонятно, почему лошадь, раз у нее будет зеленая шерсть, окажется в каком бы то ни было отношении выше лошадей существующих пород.

Все смеялись и говорили:

— Правильно!

Молодой человек ринулся на кафедру.

— Не существует животных с зеленою шерстью! А скажите вы, ученая древность,— разве оперение птиц генетически не то же самое, что волосяной покров животных? В запыленные свои очки вы смотрите только на лошадей. Вы не способны поглядеть вокруг глубже. Тогда бы вы увидели,— ну, например, хоть зеленого попугая. Не ученого попугая людской породы — это попугаи цвета самого неопределенного! — а настоящего ярко-изумрудного новогвинейского попугая-самца!

В следующее заседание он опять стоял на кафедре и опять говорил о зеленой лошади. Сумасшедший? Нет, глаза смотрели твердо и сознательно. Хохот катался по зале. Скрестив руки на груди, оратор стойко переждал шум и продолжал:

— Великие художники в пророческом вдохновении высоко поднимаются над путающимися в их ногах людишками и указывают им на невозможные идеалы, которые, однако, блистательно осуществляются в будущем. И вот посмотрите: на всех знаменитых бронзовых конных статуях лошади — зеленые.

— Да ведь и люди на них зеленые!

— Да, и люди. Не мешало бы и людям стать хоть немножко зелеными!

Это было уже не смешно, не глупо, а просто нагло. Аудитория дружно потребовала от председателя лишить оратора слова. Председатель предложил ему по-

кинуть трибуну. Но оратор отказался. Усовещивали, убеждали,— он заявил, что не сойдет, пока не доскажет, что хотел сказать. Ничего не оставалось, как насильно удалить его. Сторожа потащили оратора к выходу. Он громовым голосом протестовал против насилия, поминал Галилея, Джордано Бруно. Некоторые из членов недовольно морщились и говорили, что нельзя же все-таки стеснять свободу прений.

С тех пор не проходило съезда, не проходило заседания ученого общества, где бы не появлялась на трибуне маленькая фигурка пропагандиста зеленой лошади. Он был великолепен: скрестив руки на груди, стоял под бурей криков и смеха, ждал с насмешливой улыбкой три, пять, десять минут и начинал говорить о зеленой лошади. Постепенно стали появляться приверженцы его учения,— восторженные и непримиримые. Их становилось все больше. Теперь, когда их вождь появлялся на трибуне, смех, шум и возгласы негодования мешались с бурными аплодисментами.

По-прежнему спрашивали:

— Да видал ли кто когда-нибудь вашу зеленую лошадь?

Но теперь со всех концов зала раздавалось:

— Старо!

— Старо, старо!

— Придумали бы что-нибудь поновее!

Один за другим на трибуну всходили ораторы и громили заскорузлую отсталость жрецов официальной науки.

В городе стоит большое, красивое здание. На нем вывеска:

ИНСТИТУТ ЗЕЛЕНОЙ ЛОШАДИ

Директором института состоит, конечно, он, инициатор всего дела. Под его руководством штат научных сотрудников с энтузиазмом работает над разрешением проблемы о зеленой лошади.

3

## ЮБИЛЕЙ

Слонялся по залам клуба подвыпивший господин. Зашел в один зал: длинный стол, уставленный яствами и винами, цветы, сидят люди; речи какие-то, звон стаканов. Девица у дверей куда-то отлучилась, и господин прошел беспрепятственно. Одно место с прибором оказалось свободным. Сел. Сладким потоком лились речи.

— Скажите, пожалуйста, по какому случаю собрание?

Сосед удивленно поглядел:

— Банкет.

— В честь кого?

— В честь Ивана Ивановича Иванова. Сорокалетний юбилей.

— Юби... Ю... Ю... Юбилетний сорокалей?.. Он что, кажется, ранний сорт помидоров вывел?

— Что вы! Писатель он.

— Пи-са-тель?.. Как его звать-то?

— Иван Иванович.

— Господин председатель, прошу слова... Дорогой Иван Иванович! Рад приветствовать вас с сорокалетием вашего славного служения русскому слову! Мы все выросли на ваших произведениях, мы все учились на них правде, добру и красоте...

Гром рукоплесканий, крики:

— Правильно!

— Вы всегда высоко держали знамя, вы всегда были верны завету великого нашего поэта:

> Сейте разумное, доброе, вечное!
> Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
> Русский народ!

Я думаю, что выражу единодушное мнение всех здесь присутствующих, если скажу: позвольте мне от лица русского народа отвесить вам низкий поклон...

Рукоплескания долго мешали оратору продолжать. Раздались крики:

— Правильно! Вы выразили общее наше мнение! Браво!

— ...отвесить вам, дорогой Иван Иванович, низкий поклон и сказать: спасибо вам! Разводите и впредь помидоры с таким же успехом, как разводили до сих пор, и пусть еще немало скороспелых сортов этого полезного овоща перейдет в потомство с вашим славным именем... Ур-ра!!

4

## КОНЦЕРТ

В городе Пыльске, проездом из Крыма в Москву, застряли после свадебной поездки молодые супруги Кимберовский и Черноморова. Он — хорист московского Большого театра, она — статистка Художественного театра. Оба очень милые люди. Но слишком уж они повеселились в Крыму. И вот целую неделю сидели в Пыльске, в гостиницу не платили и были в таком же положении, как Хлестаков до переезда к городничему. И так же увидели они, как в столовой гостиницы какой-то коротенький человек ел семгу и еще много кой-чего. Разговорились. Коротенький человек узнал об их безвыходном положении и удивился:

— Артист Большого театра... Артистка Художественного театра... Это же капитал! Дайте здесь концерт, в чем дело?

— Кто же пойдет? Кому мы известны? Да и кто возьмется устроить?

— Устроить возьмусь я. А пойдет весь Пыльск, если умело взяться за дело.

Он поманил официанта и предложил изумленным супругам выбрать себе по меню обед. И заказал.

Отхлебывая из стаканчика малагу, коротенький человек говорил:

— Я не благотворитель, не меценат. Я по духу человек коммерческий. И сделаем мы так, если вы на это согласитесь. Я беру на себя все расходы по устройству вечера. А чистый доход разделим пополам. И еще вот что: двоим вам будет трудно заполнить весь вечер. Моя жена — прекрасная пианистка. Она, я надеюсь, не откажется принять участие в концерте. Давайте-ка обсудим программу. Это дело серьезное.

Сытые и счастливые супруги воротились в свой номеришко.

На домовых стенах и заборах города Пыльска появились большие, яркие афиши. В них сообщалось, что такого-то числа сего года в местном городском театре состоится

*КОНЦЕРТ МОСКОВСКИХ АРТИСТОВ*

*Артист московского Большого театра Аркадий Александрович Кимберовский исполнит арию Ленского из «Евгения Онегина», песню индийского гостя из оперы «Садко», арию герцога из «Риголетто» и другие популярнейшие арии.*

*Артистка московского Художественного театра Зинаида Николаевна Черноморова исполнит монолог Нины Заречной из пьесы Антона Чехова «Чайка» («Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...»), монолог Сони из «Дяди Вани» («Мы отдохнем!.. Мы увидим все небо в алмазах...») и другие монологи из репертуара Художественного театра.*

*Кроме того, местная пианистка-любительница Раиса Борисовна Славуцкая исполнит несколько ноктюрнов Шопена, «Времена года» Чайковского и др.*

Внизу афиши, как обычно, была помещена расценка мест, а под нею, не особенно бросаясь в глаза, но довольно четко, еще одна строчка:

*Билеты в продажу не поступают.*

Вскоре после расклейки афиш у кассы городского театра стали появляться люди. Окошечко кассы было наглухо закрыто, однако за ним слышался людской говор. Подошел прилично одетый человек, робко постучался в окошечко кассы. Окошечко открылось, нетерпеливый голос спросил:

— Что надо?

— Я извиняюсь... Нельзя ли получить билетики на концерт московских артистов?

— Ах ты господи! Вот народ!.. Ведь русским же языком напечатано в афишах: «Билеты в продажу не поступают».

— Мне всего парочку.

— Да поймите же, я не имею права продавать!.. Впрочем... Погодите минутку...— Кассир долго изучал билетные тетрадки, вздыхал; наконец сказал: — Могу

вам предложить пару билетиков во втором ряду, по пять рублей билет.

— Пожалуйста!

Гражданин радостно заплатил деньги, и кассир неохотно отрезал ему два билета.

Потом явился решительный гражданин мрачного вида и властно постучал в окошечко.

— Что надо?

— От профсоюза коммунального хозяйства. Десять билетов.

— Билеты в продажу не поступают.

— Меня это мало интересует. Для профсоюза билеты должны найтись.

Долго препирались, но в конце концов мрачный гражданин ушел победителем, отвоевав даже пятнадцать билетов вместо десяти, и гордо сказал своему спутнику:

— Я всегда сумею добыть! Не на таковского напали!

К кассе подходили все новые покупатели — и от профсоюзов, и от школ, и отдельные лица. Споры и препирательства у кассы становились все жесточе, получить билеты с каждым часом становилось все труднее. Кассир плачущим голосом умолял оставить его в покое, взывал к сознательности граждан.

В один день все билеты были проданы. Концерт прошел с аншлагом. *Как* прошел — это другой вопрос, до дела не относящийся. Молодые супруги получили свою часть, расплатились с гостиницей, весело и обильно поужинали с устроителем концерта и укатили в Москву.

## XII

## ДРУЗЬЯ В МАСКАХ

Есть ученые биологи-педанты, типичные гетевские Вагнеры. Они называют себя дарвинистами, но, когда речь заходит о душевной и умственной деятельности животных, строго сдвигают брови и предостерегающе напоминают, что нельзя приписывать животным наших чувств и мыслей, что у них это только инстинкты,

условные рефлексы. Вот, например, немецкий биолог А. Беете. Он решительно утверждает, что животные — простые «рефлексные машины»: они ничего не переживают, ничем не огорчаются, ничему не радуются, не способны ни к каким умозаключениям.

Дарвин ввел человека в огромную родственную семью животных, показал, что нет извечной, качественной разницы между человеком и животным, что все человеческие свойства путем длительной эволюции развились из свойств, присущих животным. Для нас возможна только точка зрения, какую, например, высказывает Гексли: «Великое учение о непрерывности не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания у себя самих считать органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы».

Ни один живой человек, сколько-нибудь имевший дело с животными, не согласится, конечно, с педантическою безглазостью ученых, подобных Беете. Слишком такой человек чувствует живую «душу» животного. Тем менее сможет согласиться художник. Почитайте Льва Толстого, как он постоянно в восторге повторяет про лошадь или собаку: «Только не говорит!» Почитайте Пришвина.

В этой главе «Невыдуманных рассказов» у меня только пригоршня рассказов самой строгой, проверенной невыдуманности из огромных залежей наблюдений, которыми могли бы поделиться сотни тысяч людей, любящих природу и животных.

1

Если внимательно глядеть кругом,— приходится изумляться на каждом шагу. Вошел в подъезд нашего дома, поднимаюсь к себе по лестнице. Мне навстречу серый кот из соседней квартиры. Я его иногда прикармливаю. Мяукает, поглядывает на меня и бежит

вниз. Остановится, поглядит и бежит вниз дальше. Я пошел следом. Он подбежал к двери, ведущей на двор, глядит на меня, мяукает. Я открыл дверь, и он выбежал.

Кот совершенно определенно *просил* меня выпустить его на двор. Какой дикий зверь знает *просьбу?* Может взять — берет. Не может — смиряется. Но чтобы обратиться к живому существу и ждать, что оно, без всякой для себя пользы, сделает что-то зверю нужное,— это ему не может прийти в голову.

Вообще человек среди зверей—существо совершенно особенное. Общение с ним зверей (так называемых домашних животных) создает в них навыки существенно особенные, которые невозможны при общении ни с какими другими животными. На домашних животных можно ясно наблюдать пробуждение и растущее развитие такой умственной и душевной деятельности, которая роднит их с человеком и совершенно чужда диким зверям.

2

У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордою — вернейший знак, что хорошо ловит мышей; с круглой мордочкой — такие кошки больше для того, чтоб ласкаться к людям и мурлыкать. Кошка эта ловила мышей с удивительным искусством. И — никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделала нечто заслуживающее похвалы. Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы. Уже по этому торжествующему, громкому мурлыканью все мы узнавали, что она поймала мышь. Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка еще и еще пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили. Потом обходила всех нас, и каждый должен был ее погладить и похвалить. Потом она душила мышь, бросала и равнодушно уходила.

3

На окраине Боржома по откосу горы густо лепятся дома грузинского типа, с крытой галереей вдоль фасада, на которую выходят двери каждой из комнат.

Был третий год Отечественной войны, голодали и люди, не только животные. Лежал на узеньком дворике перед домом неистово голодный, длинноногий черный пес. Он непрерывно чесался от одолевавших его блох и ласково вилял хвостом каждому входящему человеку, надеясь получить что-нибудь поесть. Ел он и человеческий кал, и помидорную кожицу, и огрызки яблок. Звали его Тузик.

На галерее нижнего этажа жила кошка с тремя котятами. Когда хозяева давали ей что-нибудь поесть, Тузик выходил из себя, лаял и прыгал к перилам. Кошка, кончив есть, садилась на перила. Тузик озлобленно бросался вверх на нее. Кошка щурилась и притворялась, что его не замечает, а когда морда пса оказывалась уже слишком близко, давала ему лапами несколько пощечин. Если хозяев на террасе не было, а дверца на двор не была закрыта, Тузик врывался на террасу и жадно поедал все, что было в кошачьей миске. Кошка сидела возле самой его морды и огорченно смотрела. Выходил кто-нибудь из хозяев.

— Тузик, это что?! Вон!

Пес поспешно удалялся, а кошка бросалась следом и била его лапами по заду.

Однажды утром пес уверенно, не боясь хозяев, взошел на галерейку и положил на пол дохлого котенка. Котенок был чужой. Положил и деловито удалился. Хозяин, смеясь, вышвырнул котенка на двор. Тузик внимательно поглядел на хозяина, подошел к котенку и с аппетитом съел.

Вот. Не съел сразу, как нашел. Увидел — и сделал умозаключение: подобные неприятные звери живут вон на той галерейке; наверное, и этот оттуда; надо отнести туда. С удовольствием сразу съел бы, но долгом своим почел отнести.

4

В Тбилиси, зимою 1943 года. Перед «хлебной точкой» стояли возле грузовой машины открытые ящики с привезенным хлебом. Возчики вносили их в магазин. А у стены стоял ужасающе худой шершавый пес — все кости можно было видеть целиком, как будто на них ничего уже не было, кроме кожи. Казалось, он

издохнет от голода не дольше, как через час-два. Пес грустно стоял и пристально смотрел на хлеб в открытых ящиках. Но в глазах его было написано:

*Нельзя!*

Возчики уходили с хлебом в магазин, можно было без большого риска схватить хлеб и скрыться. Но тут был не страх перед наказанием, перед побоями. Что все побои перед голодом! В голодный год я видел в Феодосии, как били на базаре человека, укравшего булку. Его били каблуками и палками, а он лежал ничком, втянув голову в плечи, не защищался и спешил съесть булку. Тут у пса был не страх перед наказанием, было что-то, более сильное и властное, чем даже голод, что-то совершенно непонятное дикому зверю и воспитанное в собаке человеком,— чувство долга:

*Нельзя!*

5

Мы катили на автомобиле по Сокольническому просеку. Впереди нас во весь опор мчался молодой доберман-пинчер. Было такое впечатление, что он отстал от хозяина и догоняет его.

Но вдруг пес остановился, подождал нашу машину, выравнялся с нею, взглянул на нас молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и стрелою понесся вперед. И на бегу оглядывался: кто кого? Но шофер был солидный, перегоняться с собакою не захотел, и она далеко нас обогнала. Так три раза она делала, до самого Яузского моста. Подбегала к машине, выравнивалась и потом неслась вперед. Была всего удивительнее та добросовестность, с которою пес устраивал старт: бежал некоторое время точно вровень с машиною, потом давал лаем сигнал — и устремлялся вперед.

Через три часа мы ехали назад. Навстречу нам несся грузовик, а рядом с ним, высунув язык, мчался вперегонки неутомимый наш доберман.

6

Потешнейшая собачонка из породы малорослых косматых пинчеров. Безобразна она была до крайности. Длинная, косматая шерсть, спутанная, как вой-

лок, от глаз волосы расходятся лучеобразно, глаза как будто совиные. Смешной какой-то черт. Великолепно ловила крыс.

Мне даже неловко писать, до чего она была умна. Никто не поверит. Сама безобразная, очень любила все красивое. Когда молодая девушка в семье надевала белое платье с красным поясом, собачонка садилась на задние лапы и часами любовалась ею. Сидит и смотрит. Любила и сама покрасоваться. И это было самое потешное. На косматую шерсть ее лба привязывали ярко-красный бантик. Она опрометью мчалась к трюмо,— да, да! бросалась к зеркалу! — оглядывала себя, потом садилась на подоконник открытого окна (жили они в нижнем этаже) и гордо сидела, выставляя себя на поглядение прохожим. Прохожие оглядывались на эту рожу, многие останавливались и хохотали. А она величественно сидела, гордая всеобщим вниманием.

7

У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом — куст бузины. На бузине сидели бок о бок два молодых воробья, совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил — и все поглядывал на другого, и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось — клюв был разинут от жары.

И вдруг я ясно увидел: тот, первый,— он уж давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва, и поглядывал на брата, и звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только коснулся лапками сырого, позеленевшего края — и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

8

В марте месяце 1911-го года я ехал на пароходе из Египта в Грецию. И необычная картина была на пароходе: на корме, заваленной товарами, сидела масса самых разнообразных перелетных птичек. Они кружились в воздухе, порхали над волнами и опять садились на корму, клевали сквозь камышовые решетки упаковочных ящиков пунцовые египетские помидоры. На ночь птички расположились спать на мачтах, реях и бушприте нашего парохода. Матросы очень любят этих птичек и не позволяют пассажирам их обижать. Я расспрашивал матросов про птичек. Весною их можно видеть только на судах, идущих на север, осенью — на судах, идущих на юг. Вы догадываетесь? Какой тут мог быть инстинкт? Птицы как-то почуяли, каким-то путем поняли: зачем им тратить силы на трудный перелет через море, когда можно с великолепнейшим комфортом переплыть море на пароходе? Когда-нибудь, может быть, выработается и инстинкт.

9

Часто я стою на улице и с интересом наблюдаю бегущую мимо собаку. Она все время обнюхивает на ходу камни, тумбы, стены. Вдруг остановится у заинтересовавшей ее тумбы, обнюхивает ее долго и тщательно, потом бежит дальше. И все время нос в камни мостовой, и все время нюхает. Конечно, это так: для собаки обоняние — то же самое, что для нас зрение. Я гуляю — и смотрю. Она гуляет — и нюхает.

А зрение у собак плохое и неприметливое. У меня на даче в Коктебеле щенок наш Бобка однажды притащил в сад вонючее крыло дохлой галки, с большим наслаждением грыз его и перетаскивал с места на место. Я сказал племяннице Але, чтоб она отвлекла внимание Бобки, и тут же, в пяти шагах от него, почти на его глазах, закопал крыло в землю. Бобка воротился — крыла нет. Он ничего не заметил. Не заметил, как я взял на лопату крыло, как закапывал в землю, не обратил внимания на свежую кучу земли. Крыло для него исчезло. Он бегал и напрасно нюхал. Однако через два часа крыло опять было в зубах Бобки: он-таки вынюхал его сквозь землю и отрыл.

Во время оно был у нас в Зыбине пойнтер Гетман. Обоняние его было изумительное: дадут понюхать коробку спичек, выведут из комнаты, коробку спрячут в ящик комода под белье и ящик задвинут. Впустят — он тщательно все обнюхает и остановится перед тем ящиком комода, где запрятаны спички. И вот раз идем мы на лыжах по саду. Впереди — грозно-испуганный лай Гетмана. Стоит в пяти шагах от небольшого пенька и лает: обросший черным мохом лохматый осиновый пенек в обтаявшей от февральского солнца снеговой воронке.

— Гетман! Чего ты? Вот дурак!

Я ударил палкой по пеньку. Гетман подбежал, взволнованно обнюхал пенек, равнодушно отвернулся и побежал дальше.

### 10

С этим самым Бобкой в Коктебеле был еще такой случай. У него вздулся большой нарыв на лапе. Племянница моя Аля попросила своего отца, доктора, вскрыть нарыв. Она держала на коленях Бобку, положив руку ему на голову. Отец с бесстрастным лицом резал, а Аля сидела с страдающим лицом. Когда Бобке уж очень было больно, он начинал скулить, пытался выдернуть лапу и вопросительно взглядывал на Алю. Аля гладила его по голове и успокаивающе говорила:

— Ну, Бобочка, потерпи! Сейчас не будет больно!

И Бобка покорно терпел и уж не пытался вырвать лапу. И вытерпел всю операцию.

### 11

Шел вечером по Денежному переулку. Пронесся автомобиль. Из-под колес бешеный визг, и по мостовой быстро закрутился белый комок. Небольшой фокс надсадно визжал и кружился, кружился спотыкающимся, неуклюжим волчком. Отовсюду настороженным лаем откликнулись собаки.

Фокс, странно изогнувшись и громко визжа, побежал по улице. С грозным рычанием на него налетела черная собака и хотела укусить в спину. Фоксы бешено храбры. Он обернулся, угрожающе ляскнул на

черную собаку. Она отстала. А он дальше побежал молча... Да, брат, если плохо тебе,— молчи!

Эта подлая собачья привычка: когда визжит собака, когда ее грызут другие собаки, стараться и самой ее укусить, поспешить на помощь сильным против слабой.

Но иногда приходится наблюдать и удивительнейшее собачье благородство по отношению к слабым. У нашей моськи Бэлы, о которой я дальше расскажу, был в молодости брат, Нарзан, задорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. На дворе же в тульском нашем доме был цепной пес — лохматый, белый, чудовищной величины. Звали его Дворняк. На ночь его спускали с цепи, он на свободе бегал по двору и по саду и густым своим лаем должен был отпугивать воров.

Вот раз как-то вечером дворник спустил Дворняка с цепи раньше обычного. Он вбежал в сад. Виляя хвостом, подбежал к нам. Вдруг на него с грозным лаем бросился дурак Нарзан, прямо бросился на него, чуть не чтобы драться. Дворняк рявкнул и мгновенно подмял под себя Нарзана. Мы замерли: конец Нарзану! Замер от ужаса и сам Нарзан, прижатый спиною к земле могучими лапами Дворняка. А Дворняк, оскалив над Нарзаном ужасную пасть, подержал его с минуту под своими лапами и, не тронув зубом, отпустил. Знай, мол, вперед, на кого бросаться, а я об тебя пачкаться не хочу.

### 12

Была у нас в семье моська, сестра этого Нарзана. Маленькая, жирная, с одышкою, с глазами навыкате, как у лягушки. Но по-человечески добрая и удивительно умная. Звали ее Бэла. Иногда прямо казалось, что у нее человеческая душа. Однажды заговорили мы о том, что Бэла очень стара, что следовало бы ее отравить. Сестра Лиза, подросток-гимназистка, серьезнейшим образом испуганно заметила нам:

— Господа, говорите по-немецки, а то Бэла все поймет!

Сестренку Аню кто-то обидел, она не пошла обедать, лежала у себя на постели и плакала. Бэла вер-

телась вокруг обедающих, повизгивала, махала хвостом и глядела просящими глазами. Всех это очень удивило: Бэла никогда не просила за столом, она знала, что ей еда полагается после обеда.

Решили, что очень проголодалась, дали куриную косточку. Бэла побежала к плачущей Ане и бережно положила ей косточку на подушку.

13

В таком же роде. В Ялту на осень приехала девушка, больная туберкулезом. Дули сильные ветры. Она подпростудилась. Появилось кровохарканье. Полторы недели лежала, не вставая, совсем одинокая.

Вошла к ней проведать ее хозяйка. Когда она уходила, в дверь проскользнула хозяйская собака; больная часто ее кормила. Перепрыгнула через табуретку, кинулась к больной, положила ей морду на грудь. Девушка прижала ее голову, ласкала и горько плакала. Собака внимательно поглядела на нее и убежала. Через минуту появилась с плюшкой в зубах и положила девушке на грудь — стащила у хозяев.

Собака была самка, но детей у нее не было. Она отыскивала беспризорных щенят и котят и носила им еду.

14

## РАБИНДРАНАТ ТАГОР «ЖЕРТВЕННЫЕ ПЕСНИ».

«Я часто думаю: где пролегает скрытая граница понимания между человеком и животным, лишенным дара внятной речи?

Через какой первоначальный рай, на утре древних дней, пролегала тропинка, по которой их сердца ходили навещать друг друга?

Их следы на тропинке еще не стерлись, хотя давно уже забыты родственные связи.

Иногда, в какой-то музыке без слов, проснется темное воспоминанье, и животное глядит тогда человеку в лицо с нежной верой, и человек глядит в глаза животному с растроганною любовью.

Как будто сошлись два друга в масках и смутно узнают друг друга под личиной».

# [ГЛАВА БЕЗ НОМЕРА]

1

## ЧОХОВ

Наш пароход подходил к острову Цейлону. Цейлон! Местоположение земного рая люди полагали на Цейлоне. Повидать его было давнишнею моею мечтою. Для Цейлона и еще для Японии я главным образом и поступил судовым врачом на пароход Добровольного флота, делавший рейсы между Одессой и Владивостоком.

Уже со вчерашнего ужина все в кают-компании только и говорили—не о Цейлоне (остальному нашему экипажу он был давно известен), а о каком-то Чохове: «Чохов встретит», «Чохов примет», «надо приготовить для Чохова»... Что за Чохов?

За утренним кофе старший механик Бакшеев, полный блондин со смеющимися про себя глазами, мне рассказал.

В известную московскую чайную фирму братьев К. и С. Поповых поступил мальчиком в услужение сын ночного сторожа Чохов. Он обратил на себя внимание умом и энергией, быстро выдвинулся. Братьям Поповым первым пришла в голову мысль начать торговать цейлонским чаем. Он был крепче и должен был обходиться много дешевле китайского. Знатоки, конечно, не променяли бы китайского чая ни на какой другой, но в широкой публике цейлонский чай должен был пойти, что и оказалось. Поповы послали на Цейлон своего агента, а с ним — шестнадцатилетнего Чохова. В течение года Чохов прекрасно освоился с делом, великолепно выучился английскому языку, китайскому и сингалезскому. Фирма отозвала агента и все дело поручила Чохову. Через несколько лет его переманила к себе чайная фирма бр. Высоцких. А еще через несколько лет Чохов рассудил: чем ему работать на других, лучше открыть собственное дело. Теперь он колоссальный богач, русский генеральный консул, владелец огромных чайных и кофейных плантаций.

Бакшеев рассказывал:

— На вид совсем англичанин: высокомерный

взгляд, цедит сквозь зубы, а в душе русак. Держит тесную связь со всеми русскими пароходами. Мы ему возим из России зернистую и паюсную икру, смирновскую водку, гречневую крупу. Наверно, выедет нас встречать. На вас набросится. Всякий новый русский человек так его к себе и тянет. Нас всех он уже знает.

В сиреневой дымке завиделись вдали белые здания Коломбо, главного города Цейлона. В жарком блеске утреннего солнца, игравшем на тихих волнах, нам навстречу мчался белый катерок с развевающимся русским флагом. Он причалил к замедлившему ход нашему пароходу. На трап вскочил на ходу загорелый мужчина с темной бородой, лет сорока пяти, и поднялся на палубу. Его с радушием и почетом встретил весь высший командный наш состав, во главе с капитаном Целинским, изящным поляком с густыми русыми усами, отставным контр-адмиралом. Мне не понравилось: Чохов, с замороженным лицом, поздоровался со всеми нестерпимо покровительственно, а перед ним все явно лебезили.

Сели за роскошный завтрак. Чохова капитан, конечно, посадил рядом с собою. Я оказался как раз против Чохова. Он с вниманием и любопытством приглядывался ко мне, а я все больше закипал к нему враждою. Держался он очень величественно, даже самого капитана называл «милейший» и «мой дорогой». Изобразив на лице английски замороженную любезную улыбку, Чохов обратился ко мне:

— Вы-с, молодой человек, как,— в первый раз тут, в наших краях?

Я с вызовом оглядел его и резко сказал:

— Позвольте довести до вашего сведения, что у воспитанных людей не принято называть кого-нибудь «молодой человек», «милейший», «мой дорогой». Это хамство. Осведомятся об имени-отчестве, так и называют, и уж не забывают, не путают.

Присутствующие замерли и, довольные, опустили взгляды в тарелки. Чохов усмехнулся, оглядел меня. Я с удивлением заметил: как будто мой ответ ему прямо понравился. Он согнал с лица замороженную улыбку и смиренно спросил:

— А как вас по имени-отчеству величать?

— Владимир Александрович.

— Буду помнить-с.

В конце завтрака Чохов послал к себе на катер за десертом. Принесли шампанского, ананасов и других фруктов. Чохов очистил какой-то мною никогда не виданный фрукт, положил на тарелочку и подал мне.

— Вот, Владимир Александрович, попробуйте. Этого, наверно, вы никогда не едали. Называется «мангустана». Перевозки никакой не выносит. А стоит даже специально сюда приехать, чтоб попробовать.

Я холодно ответил:

— Благодарю вас, мне не хочется.

Чохов встал, обошел стол, сел рядом со мною, положил руку мне на локоть. Что-то детское появилось на его загорелом, темнобородом лице.

— Что хамом вы меня назвали, так это, может, и верно. Какое я воспитание получил! Вы на меня не сердитесь.

Я сконфузился и крепко пожал ему руку.

«В знак примирения» Чохов заставил меня съесть фрукт на тарелочке.

В жизнь свою не едал я ничего подобного. Он воротился на свое место.

После завтрака Чохов подошел ко мне вместе с капитаном.

— Владимир Александрович, не пожалуете ли вы ко мне сегодня пообедать чем бог послал? Вот Люциан Адамович будет, еще двое с вашего парохода. Я бы очень был рад, если бы и вы мне сделали честь откушать у меня. Не побрезгуйте!

Я поблагодарил. Он спросил:

— Вы в винт играете?

— Играю.

— Вот! Повинтим.

Чохов уехал на своем катерке.

К вечеру облачились мы в белые кителя и на нашем катере поехали в Коломбо — капитан, первый его помощник, старший механик и я. Старший механик Бакшеев продолжал осведомлять меня:

— Курьезнейший тип! Вы заметили — настоящий англичанин. А бороду не хочет снять. Во всем же прочем рабски им подражает. Обедает, как они, обязательно в смокинге и крахмальном воротничке, а ворот-

ничок от здешней жары моментально превращается в мокрую тряпочку. Живет, как все деловые англичане, в подгородной вилле, а в городе занимает помещение в гостинице и там ведет все дела. Из кожи лезет, чтобы выглядеть англичанином, а англичане его презирают и знакомства с ним не водят... Вот, подъезжаем. Ну, готовьтесь. Сейчас перед вами развернется Шехеразада.

Подошли к пристани, пришвартовались. Коридором в два ряда стояли во фронт команды всех чоховских кораблей в фантастической форме, сверкавшей золотом. В конце этого коридора появились два высоких индуса с длинными бородами, в желтых шелковых тюрбанах. Подошли. Прижав руки крестом к груди, в пояс поклонились нам и через живой коридор вывели на небольшую площадь к английской гостинице «Виктория». Один индус остался в вестибюле, другой повел нас во второй этаж, в апартаменты Чохова.

Чохов радушно встретил нас в богато обставленном салоне. Нудно поговорили о жаре, о погоде. Чохов предложил сыграть пару роберков в винт. Сели с одним выходящим, сыграли четыре робера. Чохов играл скверно и всем проиграл. Как-никак время убили, и не нужно было придумывать разговоров.

— Ну-с, господа, теперь прошу откушать чем бог послал.

Чохов вышел и воротился в белом пикейном смокинге с шелковыми отворотами. Мы спустились в ресторан.

Уже стояли два сдвинутых вместе столика. Почтительный толстый метрдотель. Шеренга лакеев. Столик у стены с обильною закускою, икра, смирновская водка во льду. Чохов все оглядел хозяйским оком и предложил садиться. Обедавшие англичане с великолепным пренебрежением следили за ним.

В первый раз в жизни я ел подлинно роскошный обед с не виданными мною кушаньями, начиная с черепахового супа. Вина подавались каждому, какого кто желал. Кофе, ликеры.

Встали из-за стола с шумящими головами, вышли из ресторана. Я разочарованно шепнул Бакшееву:

— И все?

Хотелось еще чего-то, веселого и яркого, что-нибудь предпринять, шуметь, смеяться, куда-нибудь ехать.

Бакшеев улыбнулся.

— Шехеразада только начинается.

Мы вышли на площадь. Солнце уже село, и, как всегда на тропиках, быстро наступила ночь. На востоке стоял огромный месяц. Чохов сказал:

— У меня тут под городом есть небольшая дачка. Так, паршивенькая. От скуки не желаете ли — прокатимся, поглядим.

— С удовольствием.

С самых тех пор как мы вошли в ресторан, у Чохова опять был английски надменный вид, и говорил он, цедя сквозь зубы. Медленно и громко он ударил два раза в ладони. Из-за угла вылетела великолепная, просторная карета, запряженная четверкою белых красавцев коней. На козлах сидел с длинным бичом индус в тюрбане, с бородою по пояс. На запятках кареты другой индус. Он соскочил и распахнул дверцы кареты.

Мы сели. Лошади понеслись. Карета мягко покачивалась. Резина шуршала по гравию. Темно-синее небо, узорно вырезные листья пальм, ярко-белый месяц, поблескивающая под ним гладь озера. Было красиво неестественною, оперною красотою. Вот сейчас в красном мундире английского офицера из-за угла буддийской пагоды выступит Собинов и запоет арию из «Лакме».

Ехали с полчаса. Свернули с шоссе в сторону. Роскошная арка-ворота, освещенная бегающими отблесками. По обе стороны въезда стояло по семь индусов с факелами в руках. Карета обогнула огромный, пряно благоухающий цветник и подкатила к крыльцу трехэтажного деревянного дома в русском стиле, с петушками и резными карнизами. У входа тоже стояли индусы с факелами.

По широкой лестнице мы поднялись во второй этаж. Чохов исчез. Бакшеев заговорил вполголоса:

— Вы замечаете: он занят только вами. Мы ему неинтересны — все давно уже знаем. А перед вами он сейчас пойдет развертывать свою Шехеразаду... Здесь, во втором этаже, он живет сам, внизу — служащие, а в третьем — любовница его. Только ее он нам не пока-

жет. У него на острове еще две виллы — на чайной и на кофейной плантациях, и в каждой вилле еще по любовнице.

Мы сидели в комнате, убранной в мавританском стиле. Оживленно вошел Чохов. Он по-детски сиял, как будто сейчас перед ребенком должна была распахнуться дверь на залитую огнями елку.

— Ну-с! Вот-с! — обратился ко мне Чохов. — Не угодно ли поглядеть. Комната в чистейшем мавританском стиле! Много я на нее потратил времени и средств. Вот, например, табуреточка...

Я уже раньше обратил внимание на круглые табуретки, чудесно вырезанные из черного дерева.

— Вот! Табуреточка-с!.. Возьмите в руки!

— Да я и так вижу, прекрасная табуретка.

— Ну, возьмите же в руки! — просящим голосом обижаемого ребенка сказал Чохов.

Капитан Целинский мне шепнул:

— Возьмите! Доставьте хозяину удовольствие.

Я взял табуретку за ножку, табуретка как приросла к полу, тяжесть неимоверная. Я в недоумении пробормотал:

— Что такое?

Чохов в восторге хохотал. Остальные улыбались. Бакшеев стал мне объяснять:

— Это, вы думаете, черное дерево? Не черное, а железное. Ему цены нет. Ни топор, ни рубанок его не берут, только пила и рашпиль. Клей не клеит, все собрано на шурупах. Штучка, я вам доложу, замечательная, достойная музея.

Чохов сказал:

— Проведите-ка ногтем по полировке. Ну, проведите же, я вас очень прошу. Покрепче нажимайте, не бойтесь. Видите, никакого следа, ха-ха-ха!.. Я вам одну такую табуреточку на пароход пришлю в подарок.

Пошли дальше. Комната в индусском стиле. Над огромным камином арка лестничными ступенями, и на каждой ступени по статуе Будды различнейших размеров. Чохов указал на статую средних размеров и лукаво попросил:

— Возьмите-ка в руки.

Я засмеялся:

— Опять в руки?

Сзади зашептали:

— Возьмите! Возьмите!

Неужели тот же фокус? Взял в руки — опять «как приросла». Из чистого золота статуя, около трех пудов весом. Чохов сиял.

Повел дальше. Мало разнообразной оказалась чоховская Шехеразада. Ничего, что бы затронуло и взволновало душу. Все должно было изумлять лишь своею дороговизною, тяжестью, редкостностью. Мы откровенно зевали.

Кончив осмотр, пили чай с чоховских плантаций, с индусскими печеньями и мартелевским коньяком. Разговоры совершенно истощились.

Мы сказали, что нам пора. Чохов оживился, позвонил. С почетом проводил до кареты. Опять стояли длиннобородые индусы с факелами. Карета весело ринулась прочь.

Ночью я лежал у себя в каюте. Было томяще жарко, хотя я перед сном принял холодный душ. Я тогда не знал, что в подобных случаях нужно брать душ горячий, сколько можно вытерпеть. Иллюминаторы каюты были открыты. Электрические огни города, отражаясь в воде, серебряными зайчиками прыгали по потолку каюты. На пароходе грузили уголь, гремели лебедки, кричали и ругались матросы. Тело противно липло.

Конечно, все-таки честь ему, что он не пьянствует с утра до утра, что не поливает шампанским дорожек сада. Медленно наваливалась тяжелая дремота. Вот сидит он сейчас у себя на даче с русскими петушками под тропическими пальмами. Черная табуретка давит тяжестью пол, золотой Будда двусмысленно улыбается над камином. Самодовольно улыбается хозяин, вспоминая изумление юного врача. Потом лениво встает, отправляется наверх к любовнице и без подъема, без порыва получает от нее полагающуюся ему дань притворной страсти. Как скучно быть богатым!.. Как скучно!

Через десять лет Чохов покончил с собою: увлекся биржевою игрою и совершенно разорился. Был он так богат — зачем ему нужна была игра? Должно быть, искал в ней того же, чего тщетно искал в черных табуретках и золотых буддах.

2

## АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Была в Туле знаменитая самоварная фабрика братьев Баташовых. На каждом их самоваре, спереди над краном, стоял штамп:

*Василий*
*Александр*
*Иван*
*Баташовы*

и изображены были полученные фирмой на выставках медали с неправдоподобными профилями царей и символических женщин-республик.

Младший из братьев, Иван Степанович, окончил медицинский факультет, выделился из предприятия и жил трудовою жизнью интеллигента-врача. Второй брат, Александр Степанович, выделился много позже, когда дела фирмы были уже в полном расцвете. Владельцем предприятия остался один старший брат, Василий Степанович. При нем дело продолжало расти, и он богател все больше.

Но и Александр Степанович, выделившись, оказался владельцем очень крупного капитала. Капитал этот и к смерти его не совсем оскудел, несмотря на постоянные большие траты. Когда Александр Степанович выделился, был он здоров, в средних еще годах, свободен от всяких дел и забот. И встала перед ним такая, как будто легкая, а вправду такая трудная-трудная задача, как жизнь без труда. Чтобы не задохнуться от скуки, чтобы жить сколько-нибудь счастливо, богатому человеку нужно быть и духовно богатым. Если же этого нет...

Александр Степанович был в Москве и возвращался в Тулу. Осенний дождь лил ливмя, холодный ветер дул бешено. Пообедав и выпив у Яра, Александр Степанович на лихаче приехал на Театральную площадь. Длинною вереницею стояли извозчики в ожидании театрального разъезда. Александр Степанович подрядил *их всех* ехать с ним на Курский вокзал. Площадь опустела. Для театральной публики не осталось ни одного извозчика. По Маросейке и Покровке двигалась

длиннейшая процессия порожних извозчиков. Впереди ехал на лихаче Александр Степанович и хохотал, представляя себе, как нарядные дамы, подобрав юбки, будут шлепать в туфельках по огромным лужам. Время от времени он объезжал процессию кругом, чтобы убедиться, все ли в порядке. У Курского вокзала городовые с беспокойным удивлением наблюдали необычную сцену: стоял в богатой бобровой шубе господин, к нему длинной вереницей один за другим подъезжали порожние извозчики, и он давал каждому по пять рублей.

На окраине Тулы, за церковью Александра Невского, был большой сад, почему, не знаю, называвшийся Баташовским. В нем по вечерам играла музыка, гуляла публика, выступали эстрадные артисты. Середину сада занимал большой пруд, весь зацветший ряскою. Однажды в воскресенье, основательно позаседав с толпою прихлебателей в садовом буфете, Александр Степанович вышел к пруду, подошел к хорошенькой мещанской девице, показал сторублевую бумажку и сказал:

— Барышня! Если вы сейчас в полном вашем наряде прыгнете в пруд и окунетесь с головою, то эта сторублевочка будет ваша.

Девушка обомлела от счастья. Быстро собралась толпа. Девушка прыгнула в пруд, окунулась и вылезла — смешная, вся в зеленой тине, с обмокшей и расползшейся прической, с юбками, прилипшими к ногам. Александр Степанович и вся публика покатывались с хохота. Девушка получила сторублевку и убежала домой.

Много рассказов ходило по Туле об Александре Степановиче. И все это были разные чудачества. Отберет у нищего мальчика суму́ и просит для него милостыни, а мальчик ходит следом и ноет:

— Дяденька, отдай сумку!

Едет по улице верхом на осле и что-то проповедует собравшейся публике. Подойдет городовой.

— Ваше степенство! Прекратите! Нет на это дозволения начальства!

— Ступай... знаешь, куда?

Сунет ему пятирублевку, и городовой скрывается за углом.

Страсть, которою Александр Степанович жил, которая владела им целиком, была страсть к славе. Он жертвовал крупные деньги на разнообразнейшие благотворительные учреждения. На улицах Тулы бросались в глаза вывески, золотом по голубому: «Убежище для слепых имени А. С. Баташова», «Вдовий дом, учрежденный иждивением А. С. Баташова» и т. п. Во всех учреждениях этих висели большие портреты Александра Степановича с грудью, увешанною орденами и медалями. Был, конечно, и неизбежный персидский орден Льва и Солнца за пожертвование в скудную персидскую казну.

Александр Степанович выпустил целую книгу под заглавием:

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА БАТАШОВА

В восторженно-хвалебном стиле в книге описывалась самоотверженная жизнь Александра Степановича, его сердечные заботы о страждущих и болящих, перепечатаны были все им полученные аттестаты, свидетельства и благодарственные письма губернаторш, архиереев и других высоких особ.

Еще он увлекался куроводством, получал награды на куриных выставках. Случайно я в одном доме в Петербурге познакомился с барышней, служившей в конторе распространенного иллюстрированного журнала «Нива». Она мне сказала:

— Ах, вы из Тулы. Мы недавно получили оттуда письмо от какого-то Баташова. Он пишет: «Прошу ответить, сколько это будет стоить, чтобы напечатать в вашем журнале мой портрет и написать, что я первый благодетель России, потому что у меня самый лучший в России куриный завод, а также много жертвовал на слепых и разных бедных».

Под старость у Александра Степановича случилось что-то с ногою, и ее пришлось ампутировать. Озорство в нем не умирало. Он заказал гроб для своей ноги. На кладбище похоронить ее не позволили. Он похоронил за кладбищенской оградой. Нашелся священник, который за хорошие деньги тайно отслужил над баташовской ногою панихиду. Над могилою своей ноги Баташов водрузил камень с надписью:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ НОГА
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА БАТАШОВА

*потомственного почетного гражданина,*
*многих орденов и медалей кавалера.*

Однако полиция заставила этот камень снять.

Вскоре умер и сам Александр Степанович. Никто не помнил об его пожертвованиях, никто не ценил их, никто не «благословлял его имени». Только держалось несколько лет воспоминание об его смешных причудах и озорных выходках, ни в ком не будивших уважения.

3

## МИЛЛИОНЕРША И ДОЧЬ

Когда Валя была гимназисткой, а я гимназистом, я был влюблен в нее романтическою юношескою любовью. Полногрудая, с русою косою до пояса, с круглым, румяным лицом и синими глазами навыкате. Тип русской красавицы.

Я поступил в Московский университет. Валя осталась в Пожарске, начала выезжать. Ничего общего между нами не оказалось. Любовь погасла серо и незаметно, как дождливый осенний вечер в мутных тучах.

За Валей усердно ухаживал молодой, но преуспевающий чиновник казенной палаты. Она благосклонно принимала его ухаживания. Но он был женат. Жена его отравилась. Валя вышла за него замуж.

Через три года он умер. Валя переселилась обратно к родителям. Отец ее был артиллерийский подполковник. Дал дочерям светское воспитание, но был очень небогат. Пришлось Вале поступить кассиршей на товарную станцию железной дороги. Своим красиво-медлительным, задушевно звучащим голосом она говорила знакомым:

— Вы только подумайте: труд — и я! Что может быть общего?

Прошло еще года два. Вдруг — ошеломляющая весть: Валя вышла замуж за вдовца-купца Талдыкина. Старик под шестьдесят лет, миллионер, вел крупную

хлебную торговлю на станции Аксиньино, держал ряд трактиров на больших дорогах. Седые усы, ястребиный нос над маленьким подбородком, долгополый сюртук. Представляю себе, как должна была его пленить такая красавица в русском стиле, как Валя, притом со светским воспитанием и прекрасным французским языком.

Валя иногда приезжала из Аксиньина в Пожарск. Голос у нее стал уверенный и властный. Она веско утверждала, что купечество — это фундамент культуры, что оно оплодотворяет своею работою и сельское хозяйство и промышленность. А однажды разоткровенничалась с моею тетею и стала ей рассказывать о кутежах, которые устраивают у Яра купцы-миллионеры и в которых ей приходится участвовать.

— Вы знаете, Юлия Сергеевна, за эти два года, как я второй раз замужем, я столько узнала грязи, сколько даже не думала, что есть на свете!

Тетя слушала ее рассказы, широко раскрыв глаза от омерзения и негодования.

Говорили, что муж Валю поколачивает. У нее родилась от него девочка Кира. Вскоре Талдыкин умер. Дело его перешло к сыновьям от первого брака, а жене он оставил дом в Пожарске и полтора миллиона чистоганом. Валя стала свободною вдовою-миллионершей. Поселилась в Пожарске, дом свой укрепила, как крепость. Выходные двери были на трех замках и на прочных крюках, окна в решетках. Ночной сторож должен был постоянно стучать колотушкою под окнами.

Валя смертно скучала. Разыгрывала роль неутешной вдовы. Стены комнат увешала увеличенными копиями с портретов, где была снята вместе с мужем, в безвкусных золотых рамах. Девочке ее Кире было пять лет. Остренькая мышиная мордочка и надменные губы. Все ее прихоти мать исполняла беспрекословно, строго следила, чтобы девочка не получала темных впечатлений. Раз Кира, объевшись шоколадом до отвала, бросила большую плитку «Гала-Петер» в ночной горшок (няню, однако, не угостила). Потом для забавы начала спускать в щель пола серебряные рубли. Няня стала ей говорить о бедных детях, которым было бы можно отдать шоколад и помочь рублями. Услышала это Валя и пришла в бешенство. Распушила няню и

предупредила, что рассчитает ее, если еще раз услышит, что она рассказывает Кирочке о бедных, о несчастиях, о болезнях.

Друзей и близких людей у Вали не было. Отношения с родителями и сестрами были холодные: Валя боялась, чтоб они не стали просить у нее денег. От скуки она иногда посещала мою тетю Юлию Сергеевну, свою гимназическую учительницу истории. Тетя однажды высказала ей удивление, как она скучно живет, как страшно одинока, как вокруг нее нет решительно никого. Валя ответила пренебрежительно:

— Мне люди не важны, мне важны рубли. С рублями всегда буду иметь сколько угодно друзей.

Старушка слушала и грустно покачивала головою.

Другой раз Валя зашла к ней и, заливаясь смехом, рассказала:

— Представьте себе, стирала у нас вчера Настасья. С нею была ее девчонка Аксютка. Кирочка вцепилась ей в волосы и стала таскать. Мы так смеялись!

Юлия Сергеевна изумленно глядела.

— Чему же вы смеялись?

— Аксютка старше и много сильнее Кирочки, но я была тут, и она не смела защищаться. Только морщилась и пищала. Ужасно была смешная.

Юлия Сергеевна, задыхаясь, попросила Валю больше к ней не приходить.

Странное дело! Валя была из интеллигентной семьи, но насквозь была пропитана как будто прирожденным купеческим благоговейным отношением к рублю. Рубль был для нее действительно все. Младшая ее сестра, Шура, курсистка, вышла замуж за студента-электротехника. Ждала ребенка. Жили, конечно, очень бедно. И Валя — п-р-о-д-а-в-а-л-а сестре детские вещи, оставшиеся от Киры, — пеленки и т. п.

Я отбыл ссылку. Въезд в столицы был мне воспрещен. Я поселился в родном Пожарске. После рассказов тети мне было интересно в натуре увидеть, чем стала Валя. Я посетил ее в ее крепости.

Она вспыхнула, когда неожиданно увидела меня, и заметно взволновалась. Вспоминала о наших гимназических годах, о том, сколько тогда в жизни было по-

эзии, как чисты и целомудренны были увлечения и как странно — почему с отъездом моим в университет отношения наши прекратились? И прибавила, понизив голос:

— Может быть, тогда бы вся жизнь сложилась иначе.

Она непритворно светилась. И в ответ у меня слабо заколыхались светлые тени минувшего. Валя просила бывать. Я подумал: может быть, и приду?

Пожарское студенческое землячество устраивало вечеринку. Врачи, адвокаты, либеральные чиновники платили за билет по десять — двадцать рублей. Я принес билет Вале, ждал, что она даст, по крайней мере, рублей сто.

У Вали стало скучающе-холодное лицо. Она спросила:

— Это что за вечеринка? Куда пойдут деньги?

— Пойдут на помощь нуждающимся студентам, на плату за ученье, на студенческую столовую.

В глазах ее я ясно прочел:

«Как вы мне все надоели с вашим клянчаньем денег, — боже, как надоели!»

Ушла и брезгливо вынесла мне три рубля.

Отказаться я не счел себя вправе: каждый дает сколько хочет. Взял и сейчас же ушел. И больше у Вали не был.

Шла война. Был 1915 год. Я получил в Москве письмо от Вали. Она извещала, что переселилась из Пожарска в Москву и была бы очень рада, если бы я посетил ее. Выражала недоумение, почему у нас оборвалось знакомство в Пожарске... Что ж! Понаблюдаем еще! Меня в ней продолжало интересовать, чем она живет, что от своего богатства получает? Ведь чего же нибудь она ждала, если свою красоту, молодость, непотрепанную свежесть целиком отдала во владение крючконосому старику, некультурному и развратному.

Валя жила в первоклассной гостинице, занимала с дочерью два больших номера. Почему уехала из Пожарска?

— Вы себе не представляете, Дмитрий Евгеньевич, что за мука быть богатым человеком, когда все кругом

об этом знают. Единственное спасение — бежать туда, где тебя никто не знает.

Почему живет в гостинице?

— Спокойнее. Хозяйства не вести, об обеде не думать, от прислуги не зависеть.

— Вы что же, очень заняты?

— Н-нет...

— Делаете что-нибудь?

— Зачем мне делать? Я вполне обеспечена.

— А не скучно вам?

Она промолчала и повела меня показать соседний номер, где жила ее дочь. Стены комнаты были увешаны большими фотографиями лошадей. Валя рассказала, что Кирочка страстно увлекается бегами и скачками, знает наперечет имена всех знаменитых лошадей и наездников, без ума от наездника Кетона. Вот и сейчас она на бегах.

В комнату вбежала Кира — худощаво-угловатый подросток лет четырнадцати, с острою мышиною мордочкою. Глаза блестели, она была в упоении. Не обращая на меня внимания, она стала рассказывать матери:

— Мама, мама, что сейчас было!.. Ехала я на трамвае. И вдруг встречный трамвай переехал на остановке собачонку. Отрезал ей задние ноги. Кровь фонтаном, собачонка крутится, визжит, все кругом ахают!.. Только я одна весело смеялась! Наверно, Кетон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Валя, конфузясь, перебила ее и познакомила со мною. Кира наскоро поздоровалась и повторила с гордостью:

— Наверно, наверно, Кетон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Февральская революция. Октябрьская. Кончилась гражданская война. В 1924 году я получил из Ялты от Вали длинное доплатное письмо, без марки. Она писала, что революция застала ее в Ялте. Капиталы погибли, ценные вещи в Москве и Пожарске реквизированы. Жили они продажей тех немногих вещей, которые были при них. Теперь они пришли к концу. Она и Кира просят милостыни у хлебных лавок и выбирают

съедобные остатки из мусорных ям. Родственники теперь, когда она стала нищей, не хотят ее знать. Во имя милосердия и в память о прошлом умоляла помочь ей.

Главное, что я испытал, было чувство большого удовлетворения. Достойный конец! Хоть теперь узнай, что рубли в жизни не все, что в жалости нуждается и сама она с дочерью. Я послал ей денег при холодном письме, что жалею ее, но систематически помогать не могу. Она ответила восторженно-благодарным письмом.

Месяца через два Валя прислала мне написанное ею стихотворение «Гимн пионеров» и просила пристроить куда-нибудь в журнал. В жизнь мою не читал я такой кровожадной, гнусной гадости. В гимне ребята грозили буржуйским детям, попавшим в их руки, вспарывать животы и выкалывать глаза, обещались заморить их голодом и смеяться, когда они будут к ним протягивать руки за хлебом. Я с омерзением разорвал стихи, а Вале ответил, что пересылаю стихи в журнал «Пионер». Если будут приняты, ей ответят по ее адресу. Получил ответное письмо по авиапочте, полное спешки и безмерного ужаса. Валя умоляла как можно, как можно скорее вытребовать из редакции стихи обратно. Я им сообщил ее фамилию и адрес, — вдруг они напечатают стихи с ее фамилией, вдруг как-нибудь иначе стихи дойдут до ее сестры Шуры. Шура — жена инженера-электротехника и ежемесячно высылает ей по семьдесят пять рублей. Если узнает про стихи, перестанет высылать. «А я написала их только в надежде, что мне, может быть, заплатят за них хоть три рубля». Ко всему, Шура, значит, высылает ей деньги, — та Шура, которой Валя, когда была миллионеркой, за деньги продавала ненужные ей пеленки и свивальники дочери!

Время от времени я получал от Вали просительные письма, все более отчаянные. Одну осень проводил я в нашем доме отдыха под Ялтой. Случилось быть в Ялте. На улице встретил Валю. Она сейчас же стала рассказывать, как нуждается, трагическим голосом сказала:

— Вот продала наши с мужем покойным венчальные кольца!

И показала сумку, в которой были разные пакеты, румянились сдобные булки. Я с любопытством приглядывался к Вале: такие отчаянные письма писала, а золотые кольца держала в запасе!

Мы с нею сидели на Пушкинском бульваре. Она рассказывала про дочь:

— На дворе ребята и подростки не дают ей прохода, задирают, дразнят «буржуйкой», «кружевницей». У нее есть кофточка из брюссельских кружев. Кружева старые, рваные, чиненые-перечиненные. А девушка молодая, жизнь ее очень нерадостная, конечно, хочется иногда принарядиться. Наденет кружева, — и по всему двору подымается улюлюканье... Боже мой, сколько ей приходится переносить! И с каким она мужеством все несет! Говорит: «Пускай голод, нищета, издевательства, — я бы все снесла, если бы была не Талдыкиной, а княжной Голицыной или графиней Апраксиной. С каким бы я тогда презрением все терпела, насколько бы себя чувствовала выше всей этой сволочи!» А иногда вдруг прорвется рыданьями, и рыдает, рыдает несколько часов, и все повторяет: «Все, все они у меня отняли, проклятые!»

Валя стала утирать глаза рваною, засморканною тряпочкой. Потом опять заговорила:

— Что она будет делать, когда я умру? Спать не могу я от этой мысли! Она и сама понимает, что тогда погибнет. Недавно я сильно заболела, температура поднялась выше сорока. Кирочка испугалась, стала меня расталкивать: «Мама, мама, ты умрешь, что я тогда буду делать? Сейчас же пойдем и вместе утопимся в море! Слышишь? Вставай сейчас же!» Но я была так слаба! А море мне представлялось таким холодным! Я не пошла.

— Ну и дочка. Трогательно! Мать тяжело больна, а дочь, вместо того чтоб за ней ухаживать, — «иди, топись со мною!».

Валя страдальчески наморщилась:

— Нет, она это так сказала, но все время за мною ухаживала...

Помолчали. Я сказал:

— Объясните мне, пожалуйста. Вы с дочерью вашей сильно нуждаетесь. Почему она не работает? Да и вы не такая уж старая и больная, чтобы не работать.

Валя неохотно ответила:

— Кирочка совсем не привыкла к работе. А меня кто же возьмет? Ведь я «буржуазный элемент».

— Ну, научились бы что-нибудь делать. И вы и дочь ваша.

— Что делать? Я ничего не умею. Вот меня недавно звала одна знакомая помогать ей на кухне, — она в Кореизе сдает комнаты со столом. Ну, что же я могу? Сделаю котлеты — они у меня разваливаются.

Говорила она красиво-медлительным, мило-беспомощным голосом. Положительно, она гордилась своею неумелостью и никчемностью!

Я сурово сказал:

— Я вам сделаю котлеты так, что они не развалятся. Спеку вам и белый и черный хлеб. Революция всему нас научила. Поглядите кругом: все нашли себе какую-нибудь работу и помимо службы; плетут сумки для провизии, вяжут чулки и джемперы. Да мало ли что можно придумать! Сейчас во всем нужда.

Валя вяло ответила:

— Когда я была богата, я не думала, что это может пригодиться, а теперь кто же захочет обучать конкурента?

«Да, — я подумал, — единственное, что ты в жизни сумела сделать, это выгодно продать свое тело! И сделкою этою надеялась навсегда застраховать себя и дочь от необходимости трудиться. Ошиблась, голубушка!»

Мне ясно стало: труд был для нее органически противен, она скорее была готова нищенствовать, лгать, унижаться, только бы не трудиться. Прирожденный паразит. Как может вошь не быть паразитом?

Мы поднимались от бульвара по переулку.

— Только я очень спешу.

Она умоляюще сказала:

— На пять минут!.. А я надеялась, что вы у нас хоть кофе попьете. Сегодня я имею возможность угостить...

Вошли в небольшой садик с кипарисами. На широкую террасу выходило несколько дверей. Валя нажала на ручку боковой двери. Дверь была заперта изнутри.

— Кирочка! К нам пришел Дмитрий Евгеньевич. Можно войти?

Властный голос спокойно ответил:

— Нельзя.

Ждали минут двадцать. За дверью слышался стук рукомойника, плеск воды. Валя волновалась, но поторопить не смела. Наконец щелкнул ключ. Голос сказал:

— Можно.

Комната была неубрана. Почему-то на самой середине высился мраморный рукомойник с разбитой доской. На полу стояла лужа мыльной воды. В кресле сидела девушка с гордым, надменным лицом, в роскошном платье из кружев. Не знаю, были ли эти кружева полноценные или «чиненые-перечиненные», но в то пуританское время на всякого такой наряд должен был производить впечатление вызывающей роскоши.

Валя отодвинула рукомойник в угол и стала подтирать тряпкою пол. Кира сидела неподвижною статуей и молчала. Потом пренебрежительно взглянула на меня и заговорила:

— Вас, может быть, удивляет, что мама вытирает за мною пол, а я сижу и ничего не делаю? Всю жизнь, когда я что-нибудь хотела сделать для себя, мама меня останавливала и говорила: «Для этого есть горничная». Ну а теперь у меня горничной нет, а меня мама к ней приучила. Пусть же сама делает то, что должна бы делать горничная.

Валя выжимала грязную тряпку над ведром и смиренно молчала. Кира очень похорошела, выровнялась. Но в голосе звучала ненависть и непрощающая обида. За что? За то, что мать ее не научила?

Я сказал, сдерживая улыбку:

— Уверяю вас, научиться тому, что делает горничная, вовсе не трудно. Вы напрасно такого плохого мнения о ваших способностях.

Кира вспыхнула и презрительно закусила губу, Валя с умоляющим испугом взглянула на меня... Да, кажется, единственное живое чувство, которое когда-либо жило в ней, была материнская любовь. Но и это живое чувство она положила на создание какой мертвой жизненной ненужности!

Больше я их не встречал. Валя, кажется, умерла. Судьбой Киры я не интересовался.

## СОФРОНИЙ МАТВЕЕВИЧ

В Алексине у Воскобойникова оказался его товарищ по физико-математическому факультету Пересыпкин, и всю нашу компанию в пять человек он привел переночевать к нему. Воскобойников сейчас был студентом-медиком, а Пересыпкин уже третий год служил учителем математики и физики в тульской женской гимназии и имел в Алексине собственную дачку.

Мы были студенты, мы были молоды, радовались на свою молодость и гордились ею. И все кругом, мы чувствовали, радовались на нас — и сам Пересыпкин, рыжеватый и плотный, с растерянным смехом, и его миловидная, худенькая жена, и ее румяная сестра-гимназистка, и ее старик отец Софроний Матвеевич, с крючковатым носом и маленьким подбородком, бритым с неделю назад. Что было еще важнее молодости — у нас было будущее, неизвестно, какое, но, наверно, яркое и солнечное, не то, например, что у Пересыпкина: все уже определилось, учитель гимназии, дачка, жена...

Давно стояла засуха. Сухое, красное солнце спускалось за колокольнями в пыльную даль. Мы пили в беседке чай, смеялись, шутили. Пели хором:

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности веселой
Собралися мы сюда!..

За решетчатой оградой девушки на улице внимательно слушали.

Старик тесть Пересыпкина, Софроний Матвеевич, сообщил нам, что он человек шестидесятых годов, что у него в Туле полный комплект «Современника» времен сотрудничества в нем Чернышевского и Добролюбова.

— Там и «Что делать?» Николая Гавриловича полностью... Вот был журнал!.. И заметьте, все столпы журнала — Николаи: Николай Некрасов, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов, Николай Щед-

рин, Николай Костомаров, Николай Помяловский... Хе-хе!

Воскобойникову почему-то нравилось заставлять людей проявляться с самой гнусной стороны и в душе потешаться над ними. Он радикальничал и безбожничал перед стариком, тот с готовностью поддакивал и смеялся.

Софроний Матвеевич рассказывал:

— Засуха жестокая. Мужички здешние всё молебны служат о дожде. Крепка еще в них эта темная религиозность! Сидит для них на небе капризный старикашка. Покланяйся хорошенько — пошлет дождичка, не поклонишься — уморит голодом... Попы здесь сейчас вот как наживаются! Каждый день молебны служат о дожде. И все никаких результатов!

Он захохотал. Жена Пересыпкина с удивлением слушала отца. Воскобойников спросил:

— Поповские речи, оказывается, не вода?

— Да. Они хоть и водянисты, но не вода... Хе-хе!

Спать нас положили на сеновале сарая. Тотчас же все заснули. На заре я проснулся. Так было хорошо кругом, что не хотелось тратить время на сон. Восток светлел, ярко горела утренняя звезда, стояла сухая прохлада, на горке белела церковь, в ней медленно и протяжно звонили к ранней обедне.

Вдруг дверь в доме скрипнула. На крылечко двора вышел Софроний Матвеевич в картузе с четырехугольным козырьком. Подозрительно огляделся, внимательно покосился на сеновал и пошел к уличной калитке. Сверху мне было видно, как он поднимался по пустынной площади к церкви.

Да! В церковь шел, к обедне! Потихоньку, чтобы кто из нас не увидел!.. Бога, бога своего он стыдился и вел с ним дела тайком, чтобы не компрометировать себя знакомством с ним!

### 5

Фрейлина императорского двора, графиня, после Октябрьской революции говорила знакомому моему врачу:

— Мы теперь недостаточно богаты для того, чтобы быть честными.

6

## ВЕРА ФИГНЕР

Я с нею познакомился, помнится, в 1915 или 1916 году. На каком-то исполнительном собрании в московском Литературно-художественном кружке меня к ней подвел и познакомил журналист Ю. А. Бунин, брат писателя. Сидел с нею рядом. Она сообщила, что привезла с собою из Нижнего свои воспоминания и хотела бы прочесть их в кругу беллетристов. Пригласила меня на это чтение — на Пречистенку, в квартире ее друга В. Д. Лебедевой, у которой Вера Николаевна остановилась.

Подошел Ю. А. Бунин. Маленький, кругленький, с всегда благожелательною улыбкою на красненьком лице. Типичнейший во всем москвич.

— Вера Николаевна! На вашем чтении очень хотел бы присутствовать Сергей Сергеевич Голоушев — известный художественный критик Сергей Глаголь.

Вера Николаевна подняла голову и прищурила глаза.

— Это тот, который был в процессе ста девяноста трех, а потом служил полицейским врачом? Нет, избавьте!

Так это было не по-московски! Во-первых, ну, полицейский врач, — что же из того? А во-вторых: счел человек нужным почему-нибудь отказать, — и лицо станет растерянным, глаза забегают... «Я, знаете, с удовольствием бы... Но, к сожалению, помещение тесное... Несмотря на все желание, никак не могу...» А тут, как острым топором отрубила: «избавьте!»

На чтении присутствовали, сколько помню, В. Я. Брюсов, И. А. и Ю. А. Бунины, А. Б. Дерман, Б. К. Зайцев, А. С. Серафимович, Н. Д. Телешов, А. Н. Толстой, И. С. Шмелев и др. Один из товарищей, впервые увидевший Веру Николаевну, был изумлен безмерно:

— Я думал, увижу косматую, безобразную нигилистку, с грязными ногтями, размахивающую руками, и вдруг, — какая красота, какое изящество!

И правда: ей было за шестьдесят лет, но и теперь она поражала сдержанно-гордой, властной красотой и

каким-то прирожденным изяществом. Что же было, когда она была молода! Я представляю себе: иной студент с восторгом шел на виселицу, на каторгу, — только чтобы эти прекрасные, суровые глаза с товарищеской лаской улыбнулись ему и благословили на подвиг.

Она невысокого роста. Губы решительные, властные, во всем — что-то благородно-соколиное. Но иногда при разговоре вдруг брови поднимаются, как у двенадцатилетней девочки, и все лицо делается трогательно-детским.

Но какая красота! Какая красота!

Передо мною два ее портрета. Они помещены в первом томе Полного собрания ее сочинений.

Первый портрет — 1877 года, когда ей было двадцать пять лет. Девически чистое лицо, очень толстая и длинная коса сбегает по правому плечу вниз. Вышитая мордовская рубашка под черной бархатной безрукавкой. На прекрасном лице — грусть, но грусть светлая, решимость и глубокое удовлетворение. Она нашла дорогу и вся живет революционной работой, в которую ушла целиком. «Девушка строгого, почти монашеского типа». Так определил ее Глеб Успенский, как раз в то время познакомившийся с нею.

Второй портрет — 1883 года. Фотография снята после ее ареста, для Александра III. Невозможно себе представить более трагического лица. Но невозможно представить и более трагического положения, вызвавшего такое лицо. Прогремело 1 марта, всколыхнувшее весь мир. Непрерывные покушения на Александра II, взрыв мины на Московско-Курской железной дороге при проезде царя, взрыв в центре Зимнего дворца, где он жил, мина на Малой Садовой улице, где он мог проехать, и, наконец, бомбометальщики на Екатерининском канале, с ним покончившие. Было и в России, и за границей впечатление, что друг против друга стоят две огромные силы: самодержавие со своим всеохватывающим полицейским аппаратом — и неуловимый исполнительный комитет «Народной воли», держащий в непрерывном трепете бессильную против него власть. В действительности грозный этот комитет представлял из себя небольшую кучку смелых и ре-

шительных людей человек в тридцать, на своих плечах выносивших огромную эту борьбу. Уже до 1 марта сознание бессилия охватывало большинство членов комитета, даже такого человека, как Желябов. Нарастало чувство усталости и развинченности. После 1 марта большинство было схвачено, казнено или заключено в казематы самых страшных крепостей. Из членов исполнительного комитета уцелела одна Вера Фигнер. В руки ее перешло все дело партии, перед нею встала задача создать новый центр. Вера Николаевна рассказывает:

«С тяжелым чувством вспоминаю я темную полосу жизни, наступившую затем. Я видела, что все начинания мои не приводят ни к чему. Что я ни придумывала, все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию... Я упорствовала, но все было напрасно. Кругом меня все рушилось, все гибло, а я оставалась одна, чтобы совершать скорбный путь, не видя конца. Наружно я бодрилась, а в тишине ночной думала с тоской: «Будет ли *конец? Мой конец?»* Наутро надевалась маска и начиналась прежняя работа. Близкие знакомые не раз говорили мне: «Почему вы задумываетесь так? Почему вы смотрите куда-то вдаль?» Это было потому, что в душе звучало не переставая: «тяжело жить!» и взгляд бессознательно обращался вдаль, потому что в этой дали скрывался *конец»*.

А все по-прежнему были убеждены, что исполнительный комитет представляет из себя серьезную грозную силу. И вот до чего доходило. В Харьков к Вере Николаевне приехал знаменитый в то время критик и публицист Н. К. Михайловский, ближайший сотрудник «Отечественных записок». Радикальный публицист Н. Я. Николадзе передал ему для сообщения исполнительному комитету ошеломляющее предложение русского правительства, сделанное через министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова: правительство утомлено борьбою с «Народной волей» и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены, и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозой революционного террора. Если «Народная воля» воздержится от террористических актов до коронации, то при коронации будет из-

дан манифест, дающий полную политическую амнистию, свободу печати и свободу мирной социалистической пропаганды.

Вера Николаевна отказалась вести переговоры, правильно увидев в предложении лишь попытку одурачить революционеров, чтобы во время коронации обезопасить царя от террористических покушений.

10 февраля 1883 года, преданная Дегаевым, Фигнер была арестована.

Тут вот и была снята с нее фотография, о которой я упомянул. Изумительный портрет по глубочайшей, безысходной трагичности прекрасного этого лица. И когда смотришь на этот портрет, как смешон становится трагизм разных Федр и Медей, леди Макбет и Дездемон! Мелкие любовные делишки, мелкая месть, своекорыстные преступления. А здесь... Фигнер вспоминает:

«Революционное движение было разбито, организация разрушена, исполнительный комитет погиб до последнего человека. Народ и общество не поддержали нас. Мы оказались одиноки... Туже затягивалась петля самодержавия, и, уходя из жизни, мы не оставляли наследников, которые продолжали бы начатую борьбу».

Веру Фигнер судили. Суд приговорил ее к смертной казни. Через восемь дней объявили, что государь император всемилостивейше изволил заменить ей смертную казнь каторгой без срока. Надели на нее пропитанный потом, несоразмерно большой арестантский серый халат с желтым бубновым тузом на спине и отвезли в Шлиссельбургскую крепость. Там она пробыла в одиночном заключении двадцать два года.

Странное я испытываю чувство, когда смотрю на Веру Николаевну, когда разговариваю с нею. Я знавал не одного крупного человека. Но подобного чувства совсем не было при общении, например, с Чеховым, Короленко, Горьким, Станиславским, Шаляпиным. Здесь передо мною было *настоящее*, близкое, рядом стоящее. А то, что к Вере Николаевне, я еще испытывал только со Львом Толстым. Странно было ви-

деть в настоящем этих двух людей, так ярко осиянных прошедшим. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Тютчев, Фет—и Лев Толстой. Желябов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Кибальчич — и Вера Фигнер. И вот вдруг эти двое — Толстой и Фигнер — перед тобою живые, слышишь их голос, говоришь с ними. Странное, необычное впечатление, как если бы вдруг увидел и заговорил с Гете, Спартаком или Юлием Цезарем.

Я пристально приглядываюсь к ней. Какой цельный, законченный образ революционера,— «революционера, который никогда не отступает» (ее выражение)! Слово, ни в чем не расходящееся с делом. Смелость на решительный шаг. И непрерывная борьба — на воле со всероссийским императором, в Шлиссельбургском каземате — с каким-нибудь злобным старикашкой-смотрителем. Из скудной тюремной библиотеки администрация изъяла все сколько-нибудь дельные книги. Сговорились голодовкою требовать отмены этого постановления. Книга в одиночном заключении— это три четверти жизни. «Голодовку, как я понимаю,— пишет Фигнер,— надо или вовсе не предпринимать, или предпринимать с серьезным решением вести до *конца»*. И она вела ее до конца. Один заключенный за другим, не выдержав, прекращали голодовку. Держалась одна Фигнер и медленно приближалась к смерти. Двое товарищей простукали ей, что, если она умрет, они покончат с собою. Только это заставило ее прекратить голодовку,— она ее прекратила с отчаянием и с разбитою верою в мужество товарищей. Лет через пятнадцать администрация вдруг решила восстановить во всей строгости тюремные правила, смягчения которых заключенные в течение многих годов добились путем упорнейшей борьбы, сидения в карцере, самоубийств. Вера Николаевна, не полагаясь уже на товарищей, решила бороться в одиночку. В объяснении с офицером-смотрителем она сорвала с него погоны — величайшее для офицера бесчестие,— чтобы ее судили и там она бы могла рассказать о всех незаконных притеснениях, чинимых над ними. Несколько месяцев она жила в ожидании суда с неминуемо долженствовавшей последовать смертною казнью. Но дело предпочли замять.

Она очень нервна. От малейшего неожиданного шума вздрагивает, как от сильного электрического тока. Легко раздражается. Долгие годы одиночного заключения сильно надломили здоровье когда-то крепкой и жизнерадостной женщины. В большом обществе малознакомых людей держится замкнуто и как будто сурово, многим кажется высокомерной. Она сама пишет:

«Тюремное заключение изуродовало меня: оно сделало меня, по отношению к обществу людей, чувствительной мимозой, листья которой бессильно опускаются после каждого прикосновения к ним. Присутствие людей тяготило, вызывало какое-то нервное трепетанье; потребность быть с людьми упала до минимума. Мне и теперь трудно быть много с людьми».

При близком знакомстве она пленяет необоримо. Мы иногда виделись. Нравилась ее нестесняющаяся прямота и простота в отношениях. Раз зашел к ней по делу часа в два дня. Она в коридоре варит на керосинке кофе.

— Пройдите в комнату, я сейчас.

В комнате сидит человек средних лет. Вошла Вера Николаевна с дымящимся кофейником.

— Вас, Викентий Викентьевич, я кофе не угощаю. Это — приезжий из Нижнего, я для него варила.

Как просто — и как хорошо! Другая пошла бы подваривать кофе, чтобы на всех хватило, вместо беседы с пришедшим толклась бы за керосинкой, и никому это не было бы нужно.

Прочел подаренную ею книгу — «Запечатленный труд», подробную ее автобиографию. Сказал ей:

— Мне не нравится, что мало конкретных бытовых подробностей. Поэтому образы их не стоят передо мною живьем. А главное — теней мало. Нимбы, как вы сами признаете. Может быть, Плутарх и полезен для юношества, но мне тогда только и дорог герой, когда он — с мелкими и даже крупными недостатками и, несмотря на это, все-таки герой. Позвольте, например, узнать,— вы этого в своей книге не объясняете,— почему товарищи называли вас «Топни-ножкой»?

Вера Николаевна засмеялась.

— Потому что у хорошеньких женщин есть привычка топать ножкой.

Ну, разве от одной этой подробности образ «стальной революционерки» Веры Фигнер не становится живее, ближе и милее?

*2 февраля 1927 года.* Недели две назад, вдруг слабо вспыхнув застенчивой улыбкой, такою странною на ее лице, она сказала:

— Когда вы в следующий раз придете ко мне, я вам дам письмо к вам.

— От кого?

— От меня.

— Отчего же просто не скажете?

— Нет, это нужно письмом.

И вот сегодня, с тою же вспыхнувшей застенчивой улыбкой, дала мне письмо.

Дома прочел его — и ничего не понял. О ком идет речь? Кто такой Р.? Что за статья? Раза три перечитал и, наконец, вспомнил.

Года три назад мне случайно попал в руки берлинский журнал на русском языке «Эпопея», под редакцией Андрея Белого. В нем, между прочим, были помещены воспоминания о Февральской революции Алексея Ремизова под вычурным заглавием: «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. Орь». Откровенный обыватель, с циничным самодовольством выворачивающий свое обывательское нутро, для которого в налетевшем урагане кардинальнейший вопрос: «революция или чай пить?» Одна из главок была такая:

### Сталь и камень

Были у Веры Николаевны Фигнер.

Я уже раз ее видел на первом скифском собрании в январе у С. Д. Мстиславского.

Закал в ней особенный, как вылитая.

Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто выдираются из опута, другие же, как сталь,— холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля может быть беспощадна.

Я чего-то всегда боюсь таких.

Или потому, что сам-то как кисель, и моя воля — *неразлучна*.

И мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают через эту холодную сферу.

Веру Николаевну я больше слушал и старался отвечать по-человечески, а это было очень трудно, и выходило очень глупо.

Веру Николаевну я слушал и смотрел так, как на живую память.

Ведь с ней соединена целая история русской жизни — совсем недоступная моей душе сторона, выразившаяся для меня в имени — 1 марта.

Я это всегда представлял себе — от убийства до казни,— как сквозь густой промозглый туман, по спине от зяби мурашки, и хочется, чтобы было так, если б можно было вдруг проснуться.

И не это, а неволя—Шлиссельбургская крепость — долгие одиночные годы смотрели на меня, и я не мог поверить,— такая крепь! — и верил.

Я дал Вере Николаевне прочесть это. Ее, мне показалось, все эти восхваления очень мало тронули. Она сказала с недоумением:

— Вот странно! А тогда же, по одному случаю, я получила от него несколько строчек совсем в другом роде, я много раз их перечитала...

Вот что она теперь писала мне в письме, о котором я говорил:

*25.1.27.*

Викентий Викентьевич.

Я редко встречаюсь с вами и в разговоре не чувствую себя свободной.

Два года назад вы дали мне прочесть:

«Камень и сталь»

И всадили мне занозу.

Если б Р. прочел 2-ю часть «Запечатленного труда», он узнал бы, как я чувствовала за себя и за других, и не только чувствовала, но и реагировала.

Я познакомилась с Р. и его женой в 1917 году, но мы не сблизились; он остался для меня чужим и непонятным, а его литературные произведения не находили никакого отклика во мне.

В конце 18 г. или в начале 19-го, когда улицы Петербурга были завалены снегом и на них целыми сутками лежали мертвые лошади; деревянные дома разбирались на топливо, и мы, высшая категория, получали восьмушку хлеба (из овса), похожую на комок конского навоза, кто-то сказал мне, что Р. погибает от нужды.

Моим ресурсом был литературный заработок, и как раз я получила тогда 300 р. за два фельетона в газете «Власть народа». Я написала Р., чтоб он взял эти деньги как бессрочно отдаленный заем.

В ответ я получила записку, строки четыре. Он писал, что не находил слов для описания положения, из которого я вывожу его. Далее была отдельно написанная строчка, давшая мне великую награду:

«Никогда не забуду».

Но он забыл. Не только забыл, но и оскорбил полным непониманием моего внутреннего «я».

В наивности своей, быть может, он даже думал, что пишет нечто лестное для меня!

Он многого не видал на свете: на заводе Кокериля в Бельгии я видела громадную, правильно обработанную глыбу железа, которую при известной температуре при мне разрезали с такою же легкостью, с какой режут плитку сливочного масла.

А в Швейцарии я видала высокие скалы твердокаменной породы. Прозрачная вода струится из них каплями, и они падают на землю, как слезы.

Их зовут: Rochers de pleurs [1].

*В. Ф.*

Письмо представляется мне неоценимо характерным не только для самой Веры Фигнер, но и для всех революционеров ее эпохи и ее склада: холод стали,— да, хорошо! Но — если под этою сталью бьется горячее человеческое сердце. Арестованную на юге Софью Перовскую везли в Петербург по железной дороге два

---

[1] Скалы слез *(фр.)*.

жандарма. Она несколько раз имела возможность убежать, но жандармы относились к ней доверчиво. И она не сочла возможным их подводить. И убежала только в Чудове, где жандармы попались свирепые. Каляев имел удобный случай бросить бомбу под карету вел. князя Сергея, но в карете, вместе с Сергеем, сидели дети,— и Каляев прошел мимо, не бросив бомбы.

Но как же, с другой стороны, характерен и этот тоскующий по чаю обыватель: «холодную атмосферу» помнит хорошо, а об горячей руке помощи, протянувшейся к нему из этой атмосферы в смертную минуту гибели,— забыл или не почел нужным вспомнить!

*6 марта 1927 г.* Возмущается драматургами и беллетристами, выводящими ее в числе других революционных деятелей в драмах и романах из эпохи народовольчества. Какая бесцеремонность! Как можно выводить живых людей!

— Вы настолько принадлежите истории, что возмущаться этим нечего. А лучше было бы, если бы после смерти? Теперь хоть имеете возможность возразить, если что не так.

— Да что возражать? Как возражать? Слащавые, ходульные, напыщенные фигуры,— человек искренно воображает, что возвеличивает. Совсем все это делалось не так, все было гораздо проще, серее — и, может быть, именно поэтому — гораздо величественнее. Странно было тогда даже подумать, что мы совершаем какие-то «подвиги». Читала статьи о себе Ив. Ив. Попова, Сергея Иванова,— все фальшь, все не так, противно читать. Или вот Ник. Ал. Морозов: описывает в своих воспоминаниях, как я раз явилась к нему в тюрьму: открывается дверь, меня вводят, надзиратель запирает за мною дверь,— и мы целый час беседуем. Он это изображает как какое-то чудесное видение, как бешено-смелый поступок с моей стороны. А все было так просто! Я посещала в тюрьме мою сестру. Разрешения на свидания давал прокурор, который совершенно не мог устоять перед... (Она запнулась)... перед хорошеньким личиком. Я про это слышала, пошла к нему и попросила дать мне свидание с Морозовым. Он дал. Больше ничего.

— С Глебом Успенским я встречалась, но по большей части в неинтересной, обывательской компании. Раз я попросила его дать свою квартиру под конспиративное собрание. Он отказал. Я молода была, прямолинейна,— отнеслась к этому с резким осуждением. Теперь понимаю, что он был прав: у него несколько раз был обыск, квартира находилась под наблюдением.

— Мы тогда были ярые народницы и негодовали на то, как Глеб Успенский изображает мужиков. Он посмеивался: «Вере Николаевне хочется шоколадных мужичков».

*Глеб Успенский, Венера Милосская и Вера Фигнер.*— В 1872 году Глеб Успенский был в Париже. Он побывал в Лувре и писал об нем жене:

«Вот где можно опомниться и выздороветь!.. Тут больше всего и святее всего Венера Милосская. Это вот что такое: лицо, полное ума глубокого, скромная, мужественная, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни. Это — такое лекарство от всего гадкого, что есть на душе, что не знаю,— какое есть еще другое? В стороне стоит диванчик, на котором больной Гейне, каждое утро приходя сюда, плакал».

Один из друзей Успенского, А. И. Иванчин-Писарев, рассказывает:

«Мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, Глеб Иванович не замедлит воспользоваться ими для очередного рассказа. Между тем время шло, а Венера Милосская не находила себе места в его произведениях. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в котором высокая идея была бы гармонично слита с его личными переживаниями. С таким человеком он столкнулся в лице Веры Николаевны Фигнер. Он почти молитвенно преклонялся перед нею, восторгался ее умом, энергией и в особенности отзывчивостью к людским страданиям даже в тех случаях, когда причины этих страданий могли казаться ничтожными с ее личной точки зрения. «Она понимает великое горе,— говорил он о ней.— Страдает

человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце!»

В 1885 году, в серии рассказов «Кой про что», Успенский напечатал рассказ «Выпрямила», будто бы из записок деревенского учителя Тяпушкина. Душа была истерзана целым рядом тяжелых явлений тогдашней российской действительности. И вдруг, как ярко светящиеся силуэты на темном фоне, перед глазами начинают проходить неожиданно всплывшие воспоминания, наполняя душу сильным, радостным теплом.

Что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. Та глубокая печаль, печаль *о не своем горе,* которая была начертана на этом лице, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали сливались *в одну,* не давая возможности проникнуть в ее сердце, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла,— что при одном взгляде на нее всякое страдание теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым,* что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

От образа Веры Фигнер воспоминание переходит к давнему впечатлению от Венеры Милосской, полученному тринадцать лет назад.

«Я стоял перед нею, смотрел на нее и непрестанно спрашивал себя: «Что такое со мной случилось?» Почувствовал я, что со мною случилась большая радость... Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? Я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа... Как бы вы тщательно ни разбирали это великое создание с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую,

высшую цель. Да, ему нужно было и людям своего времени, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах огромную красоту *человеческого* существа, показать всем нам и обрадовать нас видимою для всех нас возможностью быть прекрасными... Он создавал то истинное в человеке, чего сейчас, сию минуту, нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку».

Нужно сделать усилие, чтобы ограничить себя в выписках из этой замечательной статьи Успенского — самого глубокого и самого прекрасного во всей мировой литературе, что написано о Венере Милосской. Интересно тут то проявление самой светлой и самой высшей человеческой гармонии, которую Глеб Успенский наибольше почувствовал в мраморной эллинской богине с острова Милоса и в живой русской девушке-революционерке. Мысль о несравненной гармонии самопожертвования, о которой говорят не — «как страшно!», а — «как хорошо! как славно!» — мысль эта, которую Успенский почувствовал в Вере Фигнер, не покидала его до смерти. В 1884 году, во время суда над Фигнер, Успенский через ее сестру передал ей, что он ей завидует. Это очень удивило Веру Николаевну. Положение было никак уж не такое, чтобы вызывать зависть. Она пишет:

«Почему, почему?» — думала я. И решила в одном понятном мне смысле: Глеб Иванович видел во мне в эти минуты цельного, нераздвоенного человека, шедшего определенной дорогой без колебаний и оглядки, имеющего что-то заветное, за что отдает все».

Прошли годы. Глеб Успенский, безнадежно сошедший с ума, находился в психиатрической лечебнице доктора Фрея. Иванчин-Писарев рассказывает:

«Глубокие симпатии его к Вере Николаевне сказались даже в его бредовых идеях. В зависимости от его несколько мистического настроения образ Веры Николаевны стал воплощаться в «монахиню Маргариту, приносившую с собою утешение и ободрение».

«Угрюмый сидел я, склонивши голову,— рассказывал Глеб Иванович,— вдруг чувствую — именно чувст-

вую, а не вижу,— что ко мне медленно приближается женщина в белоснежной одежде. Сосредоточенная, строгая, она смотрит на меня с глубокой тоской. Такою я видел Веру Николаевну, когда она была удручена чем-нибудь. Да и видение, как мне казалось, походило на нее. Были и другие знакомые черты, ее глаза, фигура... Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку. Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами. Всё сердца, сердца... Весь мир переполнила она любовью. С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть, бывало, снова набежит мрак, ненависть к людям, жажда смерти — мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мною».

## 7

## ТУЧА И ЗОРЬКА

Коротконогий, с прекрасно сформированным, высоким и широким лбом, с землистым лицом, покрытым крупными неврастеническими складками. Звали его Николай Иванович. Ему предстояло остаться при университете по кафедре философии, но несколько удачных рассказов дали ему некоторое имя, и он повернул на литературную дорогу. Большой успех имела его драма «Сильные и слабые». Она прославила его и — как всякая у нас пьеса, имеющая успех,— давала порядочный доход.

Я с ним познакомился осенью 1903 года, когда поселился в Москве. Незадолго до того в Москве основался литературный кружок «Среда». В него входили Леонид Андреев, братья Ив. и Ю. А. Бунины, И. А. Белоусов, Сергей Глаголь, Серафимович, Телешов, Тимковский и др. Там я с Николаем Ивановичем и познакомился.

Он пригласил меня к себе. Был я у него в Замоскворечье на Большой Якиманке. Смотрел он угрюмо, говорил очень серьезно, все время покашливая. Но иногда неожиданно улыбался, и тогда лицо освещалось мягким, теплым светом. Разговаривая, я взял с

письменного стола перочинный ножик и поворачивал его, касаясь стола то одним концом, то другим. Когда я положил ножик, Николай Иванович кашлянул и водворил его на то место перед чернильницей, где он лежал раньше.

Вышла его жена, Екатерина Николаевна, невысокая, как и он, золотистая блондинка с очень нежным цветом лица. Она была миловидна, но странно бросался в глаза необычный для женщины, по-мужски несколько отлогий лоб. Разговаривали. Сразу в ней почувствовался человек интеллигентный и хорошо умный. Она позвала нас в столовую пить чай. Налила нам чай, вышла, воротилась с годовалым ребенком на руках и стала поить его молоком. Я с изумлением поднял брови. Сидело у нее на руках обезьяноподобное существо, почти совершенно без лба, с раскосыми маленькими глазками и бегающею по губам странною улыбкою. Екатерина Николаевна украдкою следила за впечатлением, которое на меня произведет ребенок. Николай Иванович смотрел угрюмо.

Екатерина Николаевна преподавала историю на Пречистенских вечерних курсах для рабочих — учреждении, игравшем в то время очень большую культурную роль. Не бросила работы и когда стала беременною. Работала много, приходила домой такая усталая, что ложилась спать не евши. Оттого ли, что мать неразумно потребляла на себя весь мозговой фосфор, отнимая его у зревшего плода, от более ли глубоких причин, но девочка родилась с крохотной, безлобой головкой. Врач сомнительно покачивал головой. Однако родители старались уверить себя, что все еще, быть может, «выровняется». И жадно приглядывались, какое впечатление производит девочка на постороннего.

В 1907 году я нанял дачу на Оке недалеко от Алексина, близ станции Средняя, в сосновом бору, где жил и Николай Иванович. Восемь лет мы там проводили лето в дачах шагов за триста одна от другой.

Николай Иванович был человек размереннейшей и аккуратнейшей жизни. Еда была в точные часы, ложился спать и вставал всегда в определенное время.

До 15 мая, как бы ни было жарко, ходил в теплой одежде, после пятнадцатого — в легкой, как бы ни было холодно. Гулять шел, руководствуясь барометром.

Обедаем у него. Из большой рюмки водки он делает глоток и ест. Потом опять глоток. Так у него эта рюмка растягивается на весь обед. И говорит, покашливая:

— Иногда я люблю... гм! гм!.. возноситься помыслами в небо...

И хочется спросить его:

— По каким дням недели и в котором часу вы имеете обыкновение это делать?

Леонид Андреев, когда еще был холостым, прожил одно лето на даче с Николаем Ивановичем на товарищеских началах. Он с юмористическим ужасом вспоминал это лето и рассказывал, как трепетал, опаздывая к обеду, и как Николай Иванович, покашливая, говорил ему:

— Мы с вами, Леонид Николаевич... гм! гм!.. определенно условились обедать в три часа, а теперь уж двадцать минут четвертого.

Горький не выносил Николая Ивановича и в письме к Чехову изумлялся, за что их друг, д-р Средин, любит Николая Ивановича. «Вот задача!»

Много в Николае Ивановиче было странного и курьезного. Но много было и очень привлекательного. Этот серьезный и мрачный человек изумительно умел, например, сходиться с детьми. Никого я другого не встречал, к кому бы дети с первого же знакомства относились так просто и доверчиво. Все мы более или менее разговариваем с детьми присюсюкивая и почти всегда некоторым тоном превосходства. Николай Иванович говорил с ребенком об его куклах или о предстоящей прогулке таким же серьезным, интересующимся тоном, как с товарищем-писателем об его рассказе или с мужиком о видах на урожай. Это сразу располагало к нему ребенка. В его аккуратности было много хороших сторон. Он никогда не заставлял себя ждать, всегда приходил к сроку. Всякую общественную работу исполнял с величайшею добросовестностью.

В кружке «Среда» Николай Иванович был одним из немногих, толкавших кружок на политические вы-

ступления. Но фальши не выносил и иногда как будто впадал с самим собою в противоречие. Был юбилей Короленко. «Среда», вообще по-московски падкая на всякого рода юбилеи и торжества, конечно, долгом своим почла откликнуться на юбилей адресом. Николай Иванович решительно восстал против. Было непонятно. Все изумились. А он, покашливая, говорил сурово:

— Что «Среде» до того главного, чем горит Короленко? Искренно она может восхвалять только его художественные заслуги, а Короленко нужно чествовать не только за это.

Мы написали хороший, задушевный адрес. Он кончался двустишием, которое Короленко приводит в одном из своих рассказов:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Николай Иванович отказался подписать адрес.

— Какое «Среде» дело до того, поют ли на Руси петухи и скоро ли будет на ней день?

Это уже было несправедливо по отношению к товарищам: конечно, им это не было совсем уж безразлично. Все, посмеиваясь, переглядывались и пожимали плечами. Николай Иванович сидел, нахохлившись, и поглядывал с угрюмым вызовом.

Когда, проездом через Москву, «Среду» посещали Чехов, Короленко или Горький, они, естественно, становились центром общего внимания, к ним льнули, почтительно замолкали, как только они открывали рот, за ужином поднимали за них тосты. Хозяйка металась с глазами, ошалевшими от подобострастного восторга. Николай Иванович держался в стороне и поглядывал с насмешкой. Становилось в душе немножко совестно за то идолопоклонство, которое проявляла «Среда» в отношении к своим знатным гостям.

Критик он был требовательный и читаемые в кружке произведения разбирал строго. Особенно доставалось от него Леониду Андрееву. Он нападал на него за отсутствие простоты и подогретую искусственность тона.

— Я не верю тому, что вы это переживаете так, как пишете.

Сам, однако, своих произведений в кружке никогда не читал.

У них было теперь двое детей. Старшая, Таня, то обезьяноподобное существо, о котором я рассказывал. Другая, Катя, на два года моложе, была нормальная девочка, умненькая и одаренная, но очень нервная. Таня подрастала, ей уже было лет семь-восемь. Та же безлобая головка на пышном длинноруком теле, в разные стороны глядящие глаза и блаженно-бессмысленная улыбка, порхающая по губам. Гуляя, нужно было держать ее за руку, иначе побежит и будет бежать все прямо, пока не свалится в канаву. Возьмет стакан, выбросит за окно и смеется довольным смехом. Дождь проливной, лужи на дворе,— она в только что надетом чистом платьице выскочит на двор и пляшет по лужам. Николай Иванович всегда ходил гулять с детьми и вел Танечку за руку, с гордым и суровым лицом проходя сквозь строй внимательных взглядов и сострадательных шепотов гуляющей публики:

— Несчастный ребенок!.. Несчастные родители!..

Года два-три пьеса «Сильные и слабые» давала Николаю Ивановичу хорошие деньги. Как большинство русских людей, он по соответственной сумме и построил свой бюджет. Но оказался он автором одного произведения. Это—тяжелейшая трагедия в жизни не одного писателя. Грибоедов, Ершов, Сухово-Кобылин, Найденов, Гославский. В одном-двух произведениях они высказались целиком. И мало у кого находится ума и мужества, чтобы сказать себе: «довольно!» — и взяться за другое дело. Кровь уже отравлена, начинается мучительное насилование себя. И пишет человек, пишет... К той же трагедии пришел и Николай Иванович.

Он писал драму за драмой. Из уважения к автору «Сильных и слабых» драму ставили. Она выдерживала три-четыре представления и снималась с репертуара. Иные пьесы и прямо отвергались. Имя Николая Ивановича становилось нарицательным для серой драматургической бездарности.

Продолжал он писать и рассказы. Безнадежно тусклые, угнетающе гуманные, с идейными сельскими учительницами и самоотверженными земскими

врачами,— как писали только лет тридцать до того. Может быть, если бы он бросил перо лет на пять, у него накопилось бы в душе что-нибудь важное и нужное, что властно потянуло бы к перу. Но писательство стало ремеслом. Он писал, потому что нужно было платить за квартиру, потому что Тане нужно было сшить шубку. Писал через силу и против желания. И ему все мешало работать. Когда он сидел за письменным столом, вся квартира ходила на цыпочках, детей уводили в самую дальнюю комнату, и все-таки он то и дело в ярости выскакивал из кабинета и кричал, чтобы уняли детей, чтобы прогнали полотеров. Ярость окончательно рассеивала охоту работать, и он весь день ходил обиженный и на всех сердитый.

А расходов по жизни требовалось все больше. Главным, тяжелейшим расходом лежала на бюджете Таня. Прислуга соглашалась ухаживать за нею только за большую плату. Таня постоянно пачкалась, рвала платья,— нужно было на нее стирать, чинить. Била посуду, рвала рукописи и книги отца,— нельзя было ни на минуту спускать ее с глаз. Ко всему, в одиннадцать лет этот звереныш сформировался в взрослую...— не поворачивается перо написать «девушку» — в взрослую самку. И это было уж совсем ужасно. Для Кати приходилось держать отдельную няню, так как общение с Таней совершенно ее дезорганизовывало.

Истинным стержнем в доме, костяком, невидимо поддерживавшим и оформлявшим всю семейную жизнь, была Екатерина Николаевна. Это был чудеснейший человек. Всегда с ясным лицом, всегда ровная и спокойная, всегда владеющая собою, как бы ни ворчал и ни капризничал муж, какие бы выводящие из терпения выходки не обрушивала на нее Таня. Когда она шла рядом с Николаем Ивановичем, все говорили:

— Как ясная зорька рядом с черной тучей.

Так они оба и стоят рядом в моей памяти — как угрюмая туча и ясно светящаяся зорька.

Для Тани Екатерина Николаевна основательно изучила литературу о дефективных детях, много общалась с врачами и педагогами, специалистами по этой отрасли, и стала сама специалисткой. И стала заниматься с дефективными детьми. Почему-то особен-

но много их было в богатом московском купечестве. Уроки оплачивались хорошо. Но Николай Иванович выходил из себя, потому что при постоянном отсутствии Екатерины Николаевны некому было с должным вниманием следить за едою в точно определенное время, за тем, чтобы дети не шумели; да и просто ее присутствие в доме было ему необходимо для некоторого душевного равновесия.

И он раздраженно доказывал ей: гораздо целесообразнее, чтоб ее заботы были направлены на создание благоприятных условий для *его работы*. На этом они получат гораздо больше, чем от всех ее уроков. Но Екатерина Николаевна, с отчаянием в душе за мужа, все больше начинала сознавать, что он исписался и что на литературу ему рассчитывать нечего. Николаю же Ивановичу и в голову не приходило, что может же он, человек образованный и неглупый, найти себе работу и помимо писательства.

Мучительно было видеть, как из жизни двух этих людей, подобно ненасытной пиявке, высасывала все соки, все силы безлобая, совершенно не нужная для жизни Таня. Было очевидно, что она всегда будет лежать только бременем на окружающих и беззащитно погибнет, если забота о ней окажется недостаточной. Мы с женою моею Марусею говорили друг с другом: какое бы это было избавление и счастие для них, если бы существо это умерло! И вставал вопрос, встающий в подобных случаях почти перед каждым, вопрос, шевелящий душу невольным ужасом: почему нельзя...

Однажды к вечеру, после купанья, Маруся с Екатериной Николаевной сидели на обрыве над просторами Оки, среди голубых репейников. Маруся сказала:

— По-моему, такие существа, как Танечка, не должны жить. Они все силы берут у других людей, а сами для жизни совершенно не нужны. И что ее может ждать, когда вы умрете?

Екатерина Николаевна отшатнулась, пристально взглянула Марусе в глаза и вдруг разрыдалась. И плакала долго. И сказала:

— Меня непрекращающимся кошмаром давит мысль об ее будущем. Но я и подумать не могу об ее

смерти. Мы оба с Николаем Ивановичем бесконечно любим ее...—И, грозно-предупреждающе глядя, прибавила: — Я бы возненавидела и никогда не простила бы тому, кто посмел бы это сделать.

Маруся гладила ее по золотым, слегка вьющимся волосам, целовала, а она, уткнувшись лицом в колени, плакала долго и горько.

Но странное дело! То страшное, что Маруся сказала, не отшатнуло от нее Екатерину Николаевну. Напротив, после этой беседы на откосе они быстро сошлись и стали близкими, неразлучными друзьями.

Когда я теперь вспоминаю Екатерину Николаевну, меня охватывает горькое чувство сожаления и позднего раскаяния. Она ко мне относилась очень хорошо, горячо интересовалась моими литературными работами. Я в то время писал самую мне дорогую книгу, «Живая жизнь», и по главам читал ее Марусе и Екатерине Николаевне. Но все больше у меня развивалась тяжелая нервная болезнь, которую врачи определили как астению мозга на почве умственного переутомления. Малейшее умственное напряжение вызывало сильнейшие головные боли. Сначала я был принужден прекратить творческую работу, потом серьезное чтение, потом вообще чтение, мог читать только «Рокамболя» и «Графа Монте-Кристо». Между тем в уме целиком уже оформилась «Живая жизнь», и я носил ее в себе, как беременная женщина — умерший и мацерирующийся плод, которого она не в силах родить. Не стало силы и на физическую работу, которая раньше всегда спасала меня. Настроение было ужасное. Никого не тянуло видеть, хотелось замкнуться и уйти от всех.

Однажды на огородных грядках моего садика я выламывал у помидоров жировые ветви. Маруся ушла на Оку купаться. Вошла в садик Екатерина Николаевна и решительным шагом подошла ко мне.

Я сказал:

— Маруся ушла купаться.

Она, волнуясь, возразила:

— Я не к Марусе пришла, а к вам.

Ей-богу, по-моему, я был с нею очень любезен и разговорчив. Она поговорила минут пять и ушла. Маруся, возвращаясь с купанья, встретилась с нею на до-

рожке парка. Екатерина Николаевна быстро шла, прижав ладони к пылающим щекам, с неподвижно устремленными вперед блестящими глазами. Маруся окликнула ее. Екатерина Николаевна остановилась.

Маруся спросила:

— Что это ты какая?

— Дура я, дура!.. Вот дура!

— Да что такое?

— Дура, дура!.. У меня так болит сердце за Викентия Викентьевича! Сегодня я прочла у Толстого в «Круге чтения» цитату из Корана: «Улыбнуться, глядя в лицо ближнего,— милосердие». Мне захотелось пойти к Викентию Викентьевичу и улыбнуться, глядя ему в лицо... Дура, дура!.. «У-л-ы-б-н-у-л-а-с-ь»!..

— Что же он?

— Все время на лице его я читала: «Чего вам, собственно, нужно?» Ох, дура, дура какая!..

Да! Мало мы дорожим хорошим отношением к себе! Подумаешь, так уж много на свете людей, которым вправду больны твои беды, дороги твои удачи. Мы равнодушно проходим мимо таких людей, и только тогда, когда ничего уже нельзя воротить, недоумеваем, как могли мы так легко отвергнуть участие и расположение к нам!

Однажды ночью, зимою, у Екатерины Николаевны появились сильнейшие боли в правой стороне живота. В карете «скорой помощи» ее увезли в больницу. Оказался жестокий аппендицит. Сделали операцию. Но гной уже оказался в полости брюшины. Положение было очень серьезное. Екатерина Николаевна не хотела, чтобы до нее допускали мужа, Марусю. Но передала, чтобы я посетил ее. Я увидел перед собою крохотную, исхудалую женщину с желтым, сморщенным, старушечьим лицом. Только глаза горели сосредоточенным, решительным блеском. Она мне говорила:

— Викентий Викентьевич, вы понимаете, *я не могу, я не должна умереть!* Что будет тогда с моими тремя младенцами — Танечкой, Катей и Николаем Ивановичем! Ведь он совсем как Танечка, он даже яйца себе не умеет сварить, не умеет постелить себе постели.

Я потому не хочу видеть Николая Ивановича и Марусю, что они мне слишком близки, встреча с ними взволновала бы меня, а мне все силы нужно сосредоточить на том, чтобы выкарабкаться из могилы, в которую валюсь. Как-нибудь объясните им, почему я их не хочу видеть.

Врачи предложили ей вторичную операцию, но предупредили, что она будет очень болезненна и за благополучный исход поручиться нельзя. Она без колебаний ответила:

— Делайте со мною, что хотите. Я на все согласна.

В глазах ее, полных нечеловеческой решимости, читалось одно: «Мне совершенно невозможно умереть. *Этого не будет!*»

На всякий случай Екатерина Николаевна через меня передала Николаю Ивановичу свои последние распоряжения. На следующий день, вскоре после вторичной операции, она умерла.

Николай Иванович пришел к нам с застывшим, темным, как чугун, лицом. Покашливая, глядя бесстрастно-угрюмыми, внимательными глазами, он еще раз обстоятельно расспросил меня о моих посещениях Екатерины Николаевны, о самых мелких деталях. Потом долго сидел молча и непрерывно курил. Мы старались рассеять его разговорами, предложили остаться у нас ночевать. Но он вдруг встал и сказал, что ему нужно быть еще в одном месте. И ушел. Через полчаса прибежала его сестра справиться, у нас ли он. Сказала, что они боятся, как бы он с собою не покончил. И побежала его отыскивать.

На похоронах Николай Иванович не присутствовал, совершенно равнодушный к тому, «что скажут». Никого из знакомых не принимал и целыми днями безвыходно сидел в комнате Екатерины Николаевны. Все в комнате осталось в том виде, в каком ее покинула Екатерина Николаевна. Раскрытый роман Гамсуна на письменном столе, туфли под кроватью. Все стены он увешал увеличенными ее портретами.

Жизнь дома, конечно, стала быстро разваливаться, хотя сестры Николая Ивановича и другие близкие люди старались сделать все, что могли. Но все оживляющий дух отлетел от семьи вместе со смертью Екатерины Николаевны.

Прошло два-три года. Писал Николай Иванович все хуже. Тяжело вспоминать. У нас в то время существовало товарищеское «Книгоиздательство писателей в Москве». Оно, между прочим, издавало беллетристические сборники «Слово». Я был их редактором. Николай Иванович предложил для них повесть. Она была безнадежно плоха. Я отклонил. Николая Ивановича хватил удар. Удар был легкий, Николай Иванович вскоре поправился, но это было грозным предостережением. Он стал еще угрюмее. Потом редактором «Слова» был Н. Д. Телешов. Николай Иванович представил ему новую свою большую повесть, еще хуже. Мягкий Телешов не решился прямо отклонить, а возвратил под предлогом, что сборник уже заполнен и для большой повести в нем не найдется места. Но ведь в таком случае повесть можно было отложить до следующего сборника. Совершенно ясно было, что это только вежливый предлог. Но Николай Иванович не захотел понять.

— Ах, длинна повесть? Прекрасно! Тогда вот! Пожалуйста! Рассказ в три четверти листа.

Телешов был приперт к стенке и — напечатал рассказ. Почти во всех рецензиях на вышедший сборник отмечался рассказ Николая Ивановича как непозволительно плохой и выражалось недоумение, как могут подобные рассказы попадать в печать: видно, «товарищи» готовы по знакомству печатать какую угодно халтуру «родного человечка».

В октябре 1918 года, через год после Октябрьской революции, я уехал в Крым, и там мне пришлось прожить три года. Когда я воротился, Николай Иванович уже умер. От удара. Таня раньше его умерла в приюте для дефективных детей, по-видимому, от плохого ухода.

8

## ОКОЛО ЛИТЕРАТУРЫ

Звали его Федор Алексеевич Холщевников. Маленького роста, с ровным горбом сзади, как с аккуратно прикрепленною к спине квадратною подушкою, с той

особенною взрослою солидностью, которая наблюдается у карликов. Отец его был очень крупный специалист, московский профессор. Он оставил детям порядочное состояние. Федор Алексеевич жил безбедно, в заработке не нуждался. И все его помыслы, стремления, надежды вращались около литературы.

У него были некоторые литературные способности, даже, пожалуй, талантливость, но не было в произведениях самого важного — собственного лица. Прогремит молодой писатель. Его читают нарасхват, везде о нем говорят, критика приветствует новый талант. И Федор Алексеевич с чисто сальериевской настойчивостью изучает его произведения, вчитывается, мучительно старается поймать,— в чем секрет силы и обаяния этого писателя? И вот появляется рассказ Федора Холщевникова, полный то озорства и насмешки над читателем-мещанином, как у Горького, то мистического ужаса перед жизнью, как у Леонида Андреева, то задумчиво-мягкого лиризма, как у Бориса Зайцева. Не очень тонкий читатель мог бы даже сказать, что это рассказ Горького, Андреева или Зайцева.

Существовал в Москве литературный кружок «Среда». О нем уже много писалось. Был он довольно замкнут, требования к вновь поступавшим членам предъявлялись строгие, и попасть в него было нелегко. Однако Федор Алексеевич каким-то образом попал, хотя двух мнений об его творчестве быть не могло. «Талантливый читатель» — убийственно назвал его Андрей Белый и этим вполне его исчерпал.

На собраниях «Среды» Федор Алексеевич должен был испытывать великие муки. Кругом были люди, имена которых повторялись всеми, за которыми бегали редакторы журналов и издатели альманахов, на которых заглядывались восторженные девушки, чьи портреты на открытках продавались всюду.

Однажды на «Среде» моя жена спросила Холщевникова, сколько ему лет. Он страдальчески вспыхнул и ответил со стыдом:

— Мне уже двадцать восемь лет, а я еще не знаменит.

Он бегал за всякой популярной формой, бегал за темами, которыми бы можно было пленить читателя.

Как-то за ужином на «Среде» я рассказывал Лео-

ниду Андрееву о своих впечатлениях от поездки в «Бережки» — санаторий для нервнобольных под Подольском. Там второй месяц лечилась моя жена. Просторный барский дом с террасой. Большой парк, февральски мягкая снежная тишина. Сидят в лонгшезах на террасе с заколоченною в дом дверью или медленно бродят по аллеям люди с темными лицами. Разговоры. Всех интересуют только болезни, свои и чужие.

— У меня сегодня желудок подействовал без клизмы.

— Как вы спали?

— У Зины Машуриной ночью опять был истерический припадок.

— Очень она уж распускается. Выдрать бы ее розгой, все бы прошло!

— Сосновые ванны положительно оказывают на меня благотворное действие.

Крохотные, вершковые интересы. А вдали с глухим грохотом проносятся поезда, люди куда-то спешат, действуют, где-то кипит и клокочет огромная жизнь. Но для здешних действительны не позорные поражения, которые мы терпим в Маньчжурии от японцев, не нарастающее у нас революционное движение, не еврейские погромы, устраиваемые министром Плеве,— а дерзости, которые наговорил врачу больной студент Дудин, и притворная попытка к самоубийству баронессы Муффель. Призрачные радости, призрачные горести, рождаемые болезнью. Жутко фантастическая жизнь, совершенно заслоняющая большую подлинную жизнь.

Вижу — из-за плеча Андреева, наклонившись над своей тарелкой, слушает Федор Алексеевич. Остренькое лицо полно жадного, вороватого любопытства. Выражение его лица меня удивило.

Когда через неделю я приехал к жене в санаторий, она мне сказала:

— Ты знаешь, сюда приезжал Федор Алексеевич, этот горбатый, из «Среды» вашей. Прожил пять дней, вчера только уехал.

А через четыре месяца в журнале появился рассказ Федора Холщевникова на ту тему, которую я рассказывал Андрееву, с фотографическим описанием санатория «Бережки».

Огорчить меня не огорчило, что Холщевников похитил у меня тему: тема была для меня чуждая, и навряд ли бы я за нее взялся. Но это послужило мне уроком — не делиться с братьями-писателями своими замыслами. Где гарантия, что не воспользуются? В данном случае это было бесспорным литературным воровством. Но часто бывает, что нельзя особенно и винить писателя. Темы и образы он берет из жизни. Если ему что сообщил писатель, то этим воспользоваться нельзя, если же другой кто — то бери с чистою совестью. А где все упомнишь? Je prends le mien...[1] Позднее, уже в Маньчжурии, я прочел рассказ Леонида Андреева «Призраки»,— на ту же приблизительно тему, которую я ему тогда рассказывал. Навряд ли он даже помнил, кто первый натолкнул его на эту тему. А я, конечно, так не мог бы написать.

Дальше я ничего не могу вспомнить о Федоре Алексеевиче. Он все тускнел, все делался незаметнее и постепенно совершенно исчез с неба литературы —

как месяц,
Утративший способность освещать.
Но так, как он, не мог он возродиться,—
Не мог затем, что солнца не нашел,
Откуда свет занять...

*(Шекспир)*

9

## ОКОЛО ШАМПАНСКОГО

Фамилия его была Паныч. Считался он писателем. Где-нибудь, вероятно, печатался. Мало кто читал его, но знали все петербургские писатели. Он был завсегдатаем петербургского писательского ресторана «Вена» и постоянным участником кутежей, которые устраивались после получки крупных денег видными писателями богемистого типа вроде Куприна или Арцыбашева. Поговаривали, что он имеет близкое касательство к охранке. Самому мне с ним не приходилось встречаться. Я — москвич и редко бывал в Петербурге.

[1] Я беру то, что мне ближе... *(фр.)*

Однажды критик Михаил Петрович Неведомский зашел в редакцию журнала «Современный мир», в котором сотрудничал. Издательница журнала, Мария Карловна Иорданская, познакомила его с сидевшим тут господином и назвала его, как послышалось Неведомскому, Муйжелем. Сероватый писатель этот почему-то интересовал Неведомского, он подсел к нему и завел литературный разговор. Его поразило, как шаблонны были все мысли, которые высказывал его собеседник.

Зашла речь о Куприне. Неведомский горячо говорил.

— Такой большой талант и совсем погибает! Пьет беспросыпу, окружил себя литературною сволочью, всякие Панычи пьют на его счет шампанское, обирают его якобы в долг...

— Михаил Петрович,— послышался из соседней комнаты голос Марии Карловны.

Неведомский пошел к ней. Она спросила:

— Вы знаете, с кем вы разговариваете?

— Знаю. С Муйжелем.

— С Панычем.

Неведомский воротился, подошел к Панычу и с негодованием спросил:

— Так вы и есть этот самый Паныч?

— Да, я Паныч.— И с большим достоинством прибавил: — А что касается шампанского, то не все имеют возможность пить его на собственный счет.

10

## Р. М. ХИН

Была такая в Москве почтенная беллетристка. Выпустила книжку рассказов «Силуэты». Леонид Андреев про нее говорил: ядовитейшая баба.

Было это в 1903—1904 году. Встречали мы Новый год у присяжного поверенного А. Ф. Сталя. Хозяин подошел ко мне:

— Викентий Викентьевич, с вами желает познакомиться Рашель Мироновна Хин. Пойдемте, я вас представлю.

У чайного стола, рядом с красавицей хозяйкой Анной Марковной, сидела высокая дама с величественным лицом. Она милостиво заговорила:

— Я давно хотела познакомиться с вами и очень рада, что случай свел меня с вами. Я услышала от Анны Марковны, что вы здесь, и попросила меня познакомить.

Недавно вышли мои «Записки врача» и шумели на всю Европу. Знакомиться желали многие. Я скромно потупил глаза, мычу, что и я тоже... со своей стороны...

— Очень, очень рада познакомиться с вами...

Помолчала, окинула пренебрежительным взглядом и закончила:

— Не из-за ва-ас, конечно. Вы меня мало интересуете. А из-за вашего батюшки, доктора Викентия Игнатьевича. Когда мы жили в Туле, он вылечил моего сына, и мы все так его полюбили! Сын мой и до сих пор постоянно о нем вспоминает.

II

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

## *МОЦАРТ И САЛЬЕРИ*

*Тбилиси.*
*29 апреля 1942 г.*

Ток в нашем районе выключен. Вечера при коптилке; читать невозможно. Для препровождения времени стал учить наизусть «Моцарта и Сальери». Эта маленькая трагедия стоит всех остальных драм и трагедий Пушкина, маленьких и больших, взятых вместе. Один из изумительнейших шедевров мировой литературы. Мало есть ей равных по глубине и тонкости, по сжатости и простоте.

Режет ухо один недостаток. В общем язык самый простой, разговорный. Когда я выдавал себе заученное и в чем-нибудь ошибался, то у Пушкина всегда оказывалось проще. «Когда впервые услыхал»,— «когда услышал в первый раз». И среди этой простой речи — отдельные обороты, совершенно выпадающие из

общего стиля: «звуки, мной *рожденны», «новы* тайны», *«ниже́*, когда Пиччини» и т. п.

Чем больше я учил, тем больше начинал чувствовать совершенно необыкновенную тонкость и сложность характера Сальери в изображении Пушкина. Был ли актер, который сумел сыграть его? Я о таком не слышал. И странно,— как будто никого к этому и не тянет. Помню, пробовал сыграть Станиславский. Позорно плохо. Стыдно и больно было за него. Мне кажется, причина в том, что актеры совершенно не понимают Сальери. Для них он — мелкий негодяй, из зависти отравивший великого гения. Чем тут соблазниться? Между тем Сальери — истинно трагическая фигура, по глубине трагических переживаний достойная стать рядом с Эдипом, Гамлетом, Отелло, Лиром.

Закрываю глаза,— и какие-то великие актеры разыгрывают передо мною великую эту трагедию. Вот как я это вижу.

## *СЦЕНА ПЕРВАЯ*

Сальери сидит в глубокой, угрюмой задумчивости. Произносит с усмешкой:

> Все говорят, нет правды на земле...

С вызовом медленно обращает глаза к небу.

> Но правды нет и выше! Для меня
> Так это ясно, как простая гамма...

Словно жалуясь кому-то, Сальери рассказывает, как восторженно любил с детства искусство, как подвижнически готовился к творчеству: подножием искусству поставил ремесло, поверил алгеброй гармонию; тогда только, достойно подготовившись, дерзнул отдаться творчеству. Наконец он достиг в искусстве степени высокой, был счастлив, наслаждался своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами товарищей...

> Нет, никогда я зависти не знал!
> О, никогда! — ниже́, когда Пиччини
> Пленить умел слух диких парижан,
> Ниже́, когда услышал в первый раз
> Я Ифигении начальны звуки...

И это верно. Он не знал зависти ни к Пиччини, ни к Глюку. Радовался их успехам, учился у них. Все они — его «товарищи в искусстве дивном». Они, может быть, преуспевают у публики больше, их слава громче, его—глуше. Важно ли это? В общем служении искусству они остаются дорогими его сердцу товарищами. А Сальери весь живет искусством, вне его для него нет жизни.

А ныне,— сам скажу,— я ныне
Завистник... Я завидую,— глубоко,
Мучительно завидую. О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,—
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного!.. О Моцарт, Моцарт!..

Вбегает Моцарт. Весь он брызжет весельем и смехом. Приводит трактирного скрипача и заставляет его сыграть «что-нибудь из Моцарта». Тот, фальшивя, деревянно пиликает чудеснейшую моцартовскую арию. Мне представляется,— арию командора из «Дон-Жуана»:

Дон-Жуан, к себе на ужин
Звал меня ты, и я явился!..

Старается играть с чувством, выразить на скрипице ужас, который должно вызвать появление командора. Моцарт неистово хохочет. Всем своим поведением он жестоко оскорбляет Сальери, его благоговейную любовь к искусству и к Моцарту. Сальери с негодованием спрашивает:

И ты смеяться можешь?
Моцарт.
Ах Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?
Сальери.
Нет!
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери!

Он прогоняет скрипача. Моцарт принес показать Сальери свою новую вещь.

Хотелось
Твое мне слышать мненье, но теперь
Тебе не до меня.

Сальери.

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись,
Я слушаю.

О да! Сальери всегда жадно, не зная усталости, готов слушать Моцарта.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу...

Дальше у Пушкина нечто крайне наивное, над чем расхохочется не один только специалист-музыкант.

Представь себе... Кого бы?
Ну, хоть меня, немного помоложе;
Влюбленного,— не слишком, а слегка,—
С красоткой или с другом, хоть с тобой.
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...

Плох музыкант, который все это не в состоянии выразить непосредственно в музыке и вынужден прибегать к предварительному словесному пояснению!

Сальери упоенно слушает. Задыхаясь от восторга и негодования, он восклицает:

Ты с этим шел ко мне,
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

В душе Сальери тесно переплетаются не знающая границ любовь к гению Моцарта и такая же злоба к нему за великое поругание искусства, им творимое.

Моцарт сообщает, что он проголодался. Сальери: «Послушай...» Кладет руку ему на плечо, несколько мгновений молчит в колебании. Страшное решение медленно вползает в душу.

Отобедаем мы вместе
В трактире «Золотого льва».

Моцарт соглашается, идет домой предупредить жену.

Сальери долго стоит в взволнованной задумчивости. Наконец решительно:

Нет! Не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить,— не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой.

И начинает натянутыми софизмами доказывать себе бесполезность и даже гибельность моцартовской музыки для искусства.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!

В этом все дело. Моцарт — это не Пиччини, не Глюк, и это не товарищ, пусть первый среди всех их, но «первый среди равных». Это — существо совсем из другого, высшего мира.

Вот Сальери стоит передо мною — в великой тоске чада праха, томящегося бескрылым желанием подняться над землею. Пока Моцарт жив, он, Сальери,— да и не только он, а и Пиччини, и Глюк, и остальные его «товарищи в искусстве дивном»,—все должны себя чувствовать «чадами праха», маленькими, бескрылыми «дарованьицами». Да разве возможно с таким ощущением творить? Чтобы вольно творить, нужно чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Нет, не софизмами, вовсе не софизмами доказывал себе Сальери гибельность Моцарта для всех их. При Моцарте никто из них не может чувствовать себя гением. Значит, не может творить. Значит, не может жить. Потому что для них для всех жизнь — только в искусстве.

И решение созревает:

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!..
Вот яд, последний дар моей Изоры...

В последующем монологе Сальери ярко чувствуется глубокая, неиссякаемая любовь его к музыке. Он становится трогательно-прекрасен в благоговейном своем восторге, как только заводит о ней речь. Весь как будто начинает светиться.

Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг,
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое,— и наслажуся им...

Но он зол и мстителен. Лицо его сразу меняется и становится зловещим:

Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты,—
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры!
И я был прав! *(с лютою ненавистью)*
И наконец нашел
Я моего врага *(в скорбном восторге),*
и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил...
*(Полушепотом, с великою скорбью и беспощадною решительностью)*
Теперь — пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы!

*СЦЕНА ВТОРАЯ*

Вся она проходит под знаком зловещей, чисто метерлинковской обреченности. Все время чувствуется дыхание надвигающейся на Моцарта смерти. От утренней веселости Моцарта, вызванной игрою слепого скрипача, нет и следа. Он нервен, тревожен. Сидит молча, положив голову на обе ладони. Сальери подозрительно приглядывается к нему.

Что ты сегодня пасмурен?

Взволнованно, с тайным ужасом, Моцарт рассказывает про черного человека, как он явился к нему, заказал реквием, исчез и больше не является; как тенью всюду гонится за ним. И с бледною улыбкою тревожно оглядывается. Сальери старается рассеять его страх, рассказывает про Бомарше. Моцарт, держа голову в ладонях, устало спрашивает:

Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери вздрагивает, на мгновенье теряется и с натянутым смехом отвечает:

Не думаю. Он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт.

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери с вдруг охватившим его тайным ужасом: «Ты думаешь?!» Неожиданная эта мысль тонким жалом незаметно входит в его душу. Он бросает в стакан Моцарта яд. «Ну, пей же!» Моцарт поднимает стакан и приветствует Сальери. Приветствие его над отравленным кубком звучит торжественно и задушевно. Он выпивает кубок. Свершилось! Сальери в ужасе кричит:

Постой!
Постой, постой!.. Ты выпил?!

Моцарт с удивлением смотрит. Сальери, запинаясь, старается объяснить свой крик:

Без меня?

Дрожащею рукою подносит к губам свой стакан и пьет. Моцарт играет реквием. Реквием самому себе. Это удрученно чует Моцарт. Это знает Сальери. Слышны глухие рыданья. Моцарт изумленно смотрит.

Ты плачешь?

Сальери.

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их! Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу!

Нет меры любви Сальери к гению Моцарта и нет меры скорби об его гибели. Более глубокой скорби Моцарт ни в ком не мог бы вызвать своим реквиемом. И Моцарт это чувствует. Он задумчиво говорит,—говорит слабеющим голосом: яд уже начинает действовать.

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству...

Моцарт чувствует себя сильно нездоровым. Говорит, что пойдет заснет. Прощается и уходит. Сальери торжествующе выпрямляется, как после сброшенной тяжелой ноши, и с злорадством смотрит Моцарту вслед:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт!

Теперь у него совсем другое лицо. В нем только ненависть и ликующее торжествование: опять—свобода от зависти, счастье, творчество! Моцарта не станет, никто не будет обесценивать его творчества, никто не будет мешать сознавать себя гением! А он — гений. Да, да! Он гений! Один только Моцарт все время подсекал в нем эту уверенность.

Но в душе вдруг острая боль от все глубже входящего длинного жала, всаженного туда Моцартом:

Но ужель он прав,
И я — не гений? Гений и злодейство —
Две вещи несовместные...

Но ведь в таком случае... И с яростью, с отчаянием погибающего Сальери кричит: «Неправда! А Бонаротти!» И вот, как грозный, неотвратимый приговор рока, звучат последние самообличительные слова Сальери, произносимые в безмерном ужасе:

Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы,— и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Микеланджело не был убийцею, ссылаться на него нельзя, гений и злодейство — да, они две вещи несовместные. Сальери, запятнанный злодейством, никогда не сможет почувствовать себя гением, хотя Моцарта уж не будет. Злодейство было совершено напрасно. И напрасно Сальери лишил себя и мир ждавших его новых величайших художественных радостей.

Вот оно, истинно трагическое возмездие!

## 12

## ПАРИ

Пароход, слабо пыхтя, таял в просторе белой ночи. Марина и Борис плыли в лодке по весеннему разливу среди голых еще ив и кустов тальника. Говорили, говорили. Очень много нужно было сообщить друг другу за полтора года разлуки. Борис со смехом рассказывал о притеснениях, которые ему чинит яренский исправник, о товарищах по ссылке. Марина рассказывала о революционной работе в родном ее городе Пожарске после ареста Бориса.

Проплыли три версты от пристани до Яренска. Борис привел Марину в приготовленную квартиру. К стенам были приколоты ветки пихты и ели, столы были застланы чистыми газетами, на них стояли букеты из распустившейся вербы и первоцветов. Чувствовалась во всем неуклюжая мужская рука, но Марина была в восторге, и Борис, довольный, хохотал таким ей милым детским смехом.

Ужинали, пили чай. И все время, захлебываясь, говорили. Марина была худощавая и стройная, от углов глаз расходились лучеобразно мелкие морщинки, бледное лицо было несколько увядшее, но прекрасно строгою духовною красотою. У Бориса были ярко-синие глаза и во всем — в интонациях, в манере держаться, в прорывавшихся восклицаниях — что-то привлекательно детское, что бывает у некоторых очень талантливых людей.

Борис вдруг воскликнул:

— Х-ха! Ведь я тебе вот еще чего не сказал. Моя статья принята в «Образовании».

— Та статья, о которой ты мне писал? Об Оскаре Уайльде?

— Ну, да! Ну, да!

— Замечательно! — Марина в восторге захлопала в ладоши.

Долго говорили о перспективах, которые открывает перед Борисом принятие его статьи в журнал. Говорили еще о многом. Но не спешили перейти к самому важному. По существу, впрочем, говорить тут было

не о чем: все было сказано согласием Марины приехать к Борису в ссылку и поселиться вместе.

Вдруг замолчали. Борис взял руку Марины, прижал к своей щеке и сказал:

— Ну, Марьяна, все-таки нам нужно договориться. Я решительно настаиваю на свадьбе.

Марина поморщилась.

— Борис, зачем? Давай с самого начала смотреть правде прямо в глаза. Тебе двадцать четыре года, мне тридцать семь. Разница лет чудовищная. Будет вполне естественно, если ты раньше или позже полюбишь другую, более молодую. Зачем же я тебя буду связывать какими-нибудь формальностями?

— Ну, Марьянка, молчи, я не хочу тебя слушать!

— Нет, Борик, об этом очень важно договориться заранее. Больше всего я боюсь связать тебя. За себя я ручаюсь, разве я не знаю, что при малейшем изменении наших отношений меня не остановит ничего? Я тебя немедленно оставлю. Но ведь тогда нужен будет развод, это целый ряд гнуснейших формальностей, о которых и подумать противно.

— Я, Марина, убежден, что ничего этого не понадобится, но настаиваю так потому, что невенчанное сожительство, особенно в условиях нелегальной работы, вызывает целый ряд неудобств. А потом: ты представляешь, какой это будет удар для твоей мамы в Пожарске? Ведь я ей в глаза не смогу смотреть.

— Ну, хорошо. Только вот что.— Марина положила руки Борису на плечи и, строго глядя в глаза, сказала: — Дай мне честное слово, что как только ты полюбишь другую, ты мне прямо скажешь, не боясь меня огорчить. Мне только больно, что я не способна дать тебе всего того счастья, которое дала бы, будь я моложе.

Борис крепко обнял Марину и шепнул:

— Большего счастья мне не надо!

И стал ее целовать. Она уклонилась и настойчиво сказала:

— Борис, я хочу, чтобы ты определенно дал мне честное слово. Даешь?

— Даю... Даю...

Оставшиеся полтора года Борисовой ссылки они вместе прожили в Яренске. Марина была врач, и врач хороший. Она работала в местной больнице, имела большую практику среди жителей, больше бесплатную. Все это не мешало ей создать Борису уютную и легкую жизнь, свободную от всяких забот. Он теперь мог целиком отдаться литературной и научной работе. Очень много читал, изучал английский язык. На свой заработок Марина имела возможность выписывать для Бориса все нужные книги, даже самые дорогие. Ободренный напечатанием первой статьи, Борис продолжал писать. Каждая его статья зарождалась и являлась на свет на глазах Марины, они тщательно обсуждали ее вместе во всех подробностях. Борис дорожил моральною чуткостью Марины и ее отвращением к напыщенности и фразе. А у него была к этому некоторая склонность.

Ссылка Бориса кончилась. Они поселились в большом фабричном городе Ромодановске. Марина служила врачом в заводской больнице и вела революционную работу. Борис в революционную работу ушел с головой, очень скоро стал членом городского социал-демократического комитета.

Пришла война. Потом Февральская революция. Потом Октябрьская. Вихрь закрутил и Марину и Бориса. Оба горели в работе. Октябрьский переворот выдвинул Бориса в председатели ромодановского ревкома. Работа была огромная и ответственная. Марина была помощником заведующего здравотделом, но по-прежнему находила время создавать для Бориса возможно благоприятные условия работы. Она восторженно считала его незаменимым для революции. Так, впрочем, смотрели на Бориса и в партийных верхах.

Но—блестящий оратор, яркий публицист и автор воззваний, великолепно разбиравшийся в политической теории и практике, даже прекрасный организатор—в обыденной жизни Борис был совершенно беспомощен. Он мог два-три дня совсем не есть — забывал; мог месяц-полтора не менять белья и не брать ванны, ходить в продранных штанах. Об нем действительно необходима была постоянная забота. Но ино-

гда Марине в этом отношении приходилось очень трудно: времена были крутые.

— Борик! Сегодня к ужину ничего нет.

— Ну, я выпью чаю с хлебом и маслом.

— Масла нет.

— Без масла тоже хорошо.

— Но и хлеба нет.

— Х-ха!.. Ну, выпью просто чайку. Да и есть-то мне не особенно хочется.

И всегда в таком роде, хотя удобства жизни и хорошую еду он любил. Есть — великолепно, нет — обойдется. Он только не знал, что весь свой паек Марина отдавала ему, а сама питалась просто неизвестно чем. Однако, если случалось, что Марина приходила домой позже его, он заботливо готовил для нее кофе, жарил яичницу и торжественно ставил все на стол: мы, мол, тоже не лыком шиты. Все было приготовлено отвратительно, но Марина, умиленная его заботой, ела с наслаждением.

Медленно, по каплям, Марина пила свое счастье — такое позднее, так неожиданно, на склоне лет, пришедшее к ней. Пару дружнее трудно было бы найти. Ладить с Борисом было легко. Иногда Марина, возмущенная отсутствием его заботы о себе, начинала говорить раздраженно. Он с детским недоумением спрашивал:

— Чего же ты сердишься?

И ей становилось совестно.

Мягкий и податливый, Борис вполне находился под ее нравственным влиянием. И это происходило без всякого с ее стороны нажима, он бессознательно подпадал под действие той атмосферы строгого отношения к себе, которая ее окружала. Он, например,— почти полный хозяин целой области — только в самых нужных случаях позволял себе пользоваться машиной, питался, как рядовые граждане.

И была тесная, общая жизнь. Придут усталые в двенадцать—час ночи, и начнут за чаем делиться впечатлениями и мыслями, и, случалось, просиживали так до утра.

В подобном общении прошло восемь лет их совместной жизни.

На улицах распускались душистые тополи, стояли зеленоватые майские сумерки. Борис только что воротился из длительной поездки по районам. Не зажигая огня, они с Мариной сидели рядом на диване, Борис рассказывал о своей поездке. Голос его звучал грустно и как-то необычно. Марина спросила:

— Борик, ты очень устал?

— Да, устал.

Марина внимательно смотрела ему в глаза. Она чувствовала в нем не только усталость, но и смущенье, и что-то скрываемое. И вдруг — она сама бы не могла сказать, почему, по интуиции, доступной только женщине,— спросила серьезно и настойчиво:

— Помни, Борис: если ты кого полюбишь, ты должен прямо сказать мне. Ты ведь не забыл нашего условия?

Марина не раз за их совместную жизнь задавала ему этот вопрос, но он в ответ либо весело смеялся, либо говорил нетерпеливо: «Оставь, пожалуйста!» — и зажимал ей рот рукою. Но в этот раз он растерянно помолчал, потом крепко прижал Маринину руку к губам и почти шепотом сказал:

— Я сам еще не знаю, не могу разобраться.

И сконфуженно рассмеялся.

На минуту голос у Марины отнялся, и сердце в груди перестало биться. Почти с первых дней их любви она ждала такого конца, и все-таки это было ужасно! Но она быстро овладела собою и спокойно заговорила:

— Борис, ведь это же вполне естественно. Мне сорок пять лет, тебе только тридцать два. Это вполне нормально. Я тебе это говорила и раньше, ведь я даже не хотела связывать тебя браком. Разберись только получше в своих чувствах. А за меня не бойся. Я по природе аскет, ты это знаешь. Для меня всего дороже твое счастье.

Они замолчали. Борис нежно гладил руку Марины. Было совсем темно. Через мозг Марины вихрем проносились мысли и решения. Наконец она сказала:

— Знаешь, что? Я думаю, тебе легче будет разобраться в своих чувствах без меня. Устрой мне командировку на фронт, врачи там нужны. А тебе тут ни-

чего не будет мешать совершенно объективно выяснить новый путь твоей жизни.

Борис помолчал и потом сказал:

— Хорошо.

Марина побледнела. Она готовилась к борьбе, готовилась все силы употребить, чтобы его уговорить,— и такое скорое согласие! Ясно — конец всему!

Но кто же будет о нем заботиться? Кто будет создавать нужные условия для его работы, такой тяжелой и ответственной? Что с ним будет?

Душу охватило отчаяние. Марина встала и весело сказала:

— Ну, обо всем договорились!

И зажгла свет.

Месяцев за пять раньше этого был веселый ужин у одного очень ответственного ромодановского работника. Встречали Новый год. Зашел разговор о сменах жен и мужей, ставших в то время обычнейшим явлением. Хозяин сказал:

— Ну, товарищи, вот за кого я бы поручился, что у них никогда подобного не будет, это за Ярцевых. Более идеального брака я не встречал.

И все согласились.

Вдруг молодой, красиво-тягучий женский голос задорно сказал:

— Хотите пари, что через полгода эта идеальная парочка распадется, и он женится на мне? Пари — на полдюжины настоящего французского шампанского Редерер.

Хозяин покачал головою.

— Крайний предел самонадеянности! А хватит у вас средств заплатить за проигранное пари?

— Не беспокойтесь, хватит. Продам браслет.

— Ну, иду на пари единственно с целью наказать вас за самонадеянность. И предупреждаю: в требовании уплаты буду беспощаден.

— Вы мне помогите только в одном: рекомендуйте меня Ярцеву в секретари, он, я слышала, как раз ищет сейчас.

Все расхохотались. Хозяин обещал.

Марина уезжала ночью. На квартиру к Ярцевым приехали проститься родные, знакомые. Ужинали, пили вино. Смеясь и любовно глядя на Бориса, Марина рассказывала:

— Недавно ночью вдруг входит ко мне в комнату Борис, будит и с недоумением говорит: «Марина, посмотри: там за окном какое-то светило!» Я встала, смотрю: над крышами поднимается огромное, красное солнце. «Так это же солнце!» Он глубокомысленно задумался: «Ты думаешь, солнце?»

Все хохотали, и Борис со всеми.

— Я работал, был убежден, что глухая ночь. Отдернул гардину и вдруг оно... это солнце... Я не мог поверить: откуда оно?

Старшая сестра Бориса, профсоюзная работница, внимательно приглядывалась к смеющейся Марине. В передней, среди наваленных пальто и кепок, она сказала Марине:

— Эх, Марина Николаевна, ведь вы зря едете. Вы здесь, Борису, нужнее, чем на фронте. Как вы можете оставить его одного?

Марина спокойно ответила:

— Так нужно, Елена Васильевна. Поверьте, если бы не нужно было, я бы не уехала.

Елена Васильевна чуть слышно возразила:

— Этого *не нужно,* вы ошибаетесь.— И вдруг прибавила: — В таких обстоятельствах, Марина Николаевна, *следует бороться.* Нельзя уходить без борьбы.

Марина вздрогнула и пристально поглядела в глаза Елене Васильевне.

— Если я вас поняла, то... Я слишком горда, чтобы в таком деле бороться.

Быстро ушла в столовую и со смехом вмешалась в общий разговор, сильно оживившийся после ужина. Через некоторое время она незаметно исчезла.

Вдруг из спальни донесся дикий, почти невероятный крик. Все кинулись туда. Марина стояла на коленях перед кроватью Бориса, прижавшись лицом к подушке. Когда вошли, она быстро встала, очень сконфуженная. Из прокушенной нижней губы кровь струйкою бежала по подбородку. Марина тряхнула головой и вышла из спальни, как будто ничего не было.

Борис отвез ее в машине на вокзал, заботливо устроил в купе, сидел с нею до третьего звонка. Жарко простились. Ее глаза были сухи, горячи и нежны-нежны. Борис смотрел виновато.

Поезд загромыхал. Пассажиры улеглись спать. Марина неподвижно смотрела в темное окно, отражавшее ее лицо. В груди как будто все замерзло, и трудно было дышать. Вдруг ей на память пришли странные стихи, переводные с немецкого, которые как-то попались ей и которые она тогда же выучила наизусть.

Верь, у любви нет выше права,
Как все прощать и забывать.
Тот мало любит, кто не может
Забвенью в сердце место дать.
Когда болит и ноет рана,
Утешить мысль тебя должна,
Что рана та рукой любимой
Тебе была нанесена.
Когда ж терпеть не станет силы,
Умри, но молча, от людей,
От той, кого любил, чтоб тайной
Осталась скорбь души твоей.

Слезы полились из глаз. Она смотрела в темное окно и повторяла:

Утешить мысль тебя должна,
Что рана та рукой любимой
Тебе была нанесена...

Как будто кто-то со стороны утешающе шептал ей это, нежно и ласково. И слезы лились все сильней и слаще.

На фронте Марина вся ушла в партийную и врачебную работу. Являлась в госпиталь в восемь утра, возвращалась к себе за полночь. Брала на себя всю работу, какую только было возможно. Когда оказывалось немножко больше времени, ее охватывала тоска непереносимая. Случившееся казалось сном. Какое большое счастье рухнуло и развалилось навсегда! Письма от Бориса были хорошие, но... Это были не те письма, которые она получала прежде.

И вдруг письмо. Странное какое-то по тону. Борис звал ее приехать.

Марина сейчас же поехала.

Но к пересадке поезд опоздал, и она приехала днем позже. Накануне он выезжал ее встречать, а сегодня у него было ответственное выступление на заводском митинге. Марина приехала в пустую квартиру. Сидела и ждала.

Щелкнул ключ. Торопливые шаги по коридору. Борис вошел. Точно солнце осветило для нее комнату. Синие глаза смотрели растерянно и виновато. Борис кинулся к Марине, крепко обнял, прижался к ней, как ребенок. Они сели на диван. Марина тихо и уверенно спросила:

— Борик, да?

Он шепотом ответил:

— Да.

Больше ничего не сказали. Он прижался головою к ее груди и нервно вздрагивал. Марина медленно гладила его по волосам, и слезы неслышно лились. Наконец она спросила, так же тихо:

— Кто?

— Изабелла Львовна Рогачевская.

— Твоя секретарша?

— Да.

— Началось, когда она была с тобой в поездке по районам?

— Д-да...

Долго молчали. Потом Борис заговорил. Он говорил, что любит Марину больше всех на свете, что там совсем не то, сравнения быть не может, там — страсть, а не любовь.

— Но понимаешь,— я раньше совсем не знал, что я такой страстный. Там совсем другое. Ты же — моя совесть, ты — все хорошее, что есть во мне. Я уважаю тебя бесконечно, твоими отношениями я дорожу больше, чем чьими бы то ни было.

— Ну и хорошо, мой дорогой. Мы останемся хорошими, близкими духом друзьями. Ты будешь моим — если не мужем, то сыном, дорогим, горячо любимым сыном. Я вас обоих буду любить, как своих детей. Только не надо терзаний, не надо трагедий. Вон, как ты вздрагиваешь! Наша жизнь была так хороша, так полна. Пусть ничто не испортит воспоминаний об ней.

При твоей работе тратить силы еще на личные переживания не надо, не стоит. Пусть все будет проще, будет легче. Научимся прямо смотреть в глаза жизни.

Марине самой стало легче от ее слов. Борис теснее прижался к ней и сказал:

— Простишь ли ты меня?

— За что?! Это же, повторяю, вполне нормально. Я — врач и понимаю, что в твоем возрасте физиология играет огромную роль... Ну, кончим. Итак,— все-таки друзья полные?

— Конечно, да!

Он рыдал, пряча лицо на ее груди.

Марина переселилась в отдельную комнату. В квартире Ярцевых водворилась Изабелла Львовна. Но въехала она не раньше, чем Борис развелся с Мариной и расписался в загсе с Изабеллой.

Вскоре Изабелле был доставлен на квартиру ящик с полудюжиной настоящего французского шампанского. Она напрасно искала хоть коротенькой записки. Записки не было. В этом почувствовалось холодное презрение.

Однажды вечером, созвонившись, Борис с Изабеллой приехали к Марине. Борис, сконфуженно смеясь, преподнес Марине «на новоселье» большой кондитерский торт. Здесь в первый раз Марина и Изабелла встретились. Обе украдкой приглядывались друг к другу.

Изабелла была с пышною грудью, с красивым, но очень большим лицом, с красиво-тягучим голосом. Подбритые черные брови и соломенно-желтые волосы (перекись водорода!). Прическа с твердыми, как у фарфоровой куклы, волнами (перманент!). Марину поразило: как мог Борис увлечься такою ординарной советской барышней? Но сейчас же со стыдом сказала себе, что не ей об этом судить, что она здесь не может быть беспристрастна.

Уезжая, Борис и Изабелла радушно приглашали Марину бывать у них почаще.

Марина была рада бывать очень часто. Но скоро убедилась, что эти встречи были совсем уже не то, что раньше. Оба они были сильно заняты. Они и раньше

виделись больше урывками, но урывки эти были для обоих глубоко полноценны. Создавать их специально было невозможно. Виделись, только предварительно сговорясь по телефону. Когда Марина приходила, Изабелла приветствовала ее фальшиво-радушным голосом, а глаза смотрели враждебно. Марина с жадным интересом расспрашивала Бориса о его работе, о задуманных статьях, Борис разгорался на этот интерес, и они одушевленно говорили часами. Изабелла Львовна приходила, садилась на диван и тоже принимала участие в разговоре. Борис не замечал, как от ее присутствия страдала Марина. Та наконец не выдержала и попросила его лучше хоть изредка приезжать к ней. Он сконфузился и ударил себя по лбу.

Стиль жизни Бориса быстро менялся. Ярцевы переехали на новую, более просторную квартиру, она была обставлена очень уютно и изящно. Изабелла одевалась в заграничные платья. Сам Борис стал одеваться заботливее. Теперь они всюду разъезжали на великолепном «роллс-ройсе».

Марина говорила себе: «Ну, что ж! Для чего же ему ходить замухрышкой? Почему, при тяжелой его работе, не жить ему в уюте, не пользоваться чаще машиной?»

Изабелла любила оперетку, Борис сопровождал ее. Однажды, воротившись с Борисом с кавказского курорта, Изабелла своим кокетливо-тягучим голосом рассказывала:

— Неприятно только, что теперь курорт этот стал очень многолюдным. Поперла серая профсоюзная шпана. Даже неприятно выйти погулять.

Марина с изумлением поглядела на Бориса. Он равнодушно слушал, попивая чай.

С болью Марина видела, что мягкий, податливый Борис все больше подпадает под бытовое влияние Изабеллы и что Изабелла поняла, какими путями можно над ним властвовать. Однако ни слова осуждения Марина себе не позволяла — боялась, что ревность делает ее пристрастной.

Сама она работала чудовищно. Всю колоссальную работу по здравотделу она несла на своих плечах, заведующий только представительствовал, выступал на митингах да почитывал у себя в кабинете газеты. Ма-

рина, всегда ровная и приветливая, принимала посетителей, носилась по области, лично контролируя работу врачебных учреждений. На весь Союз прогремело ее имя, когда она, привив себе противочумную сыворотку, потом разрешила привить себе настоящую чуму и осталась здорова. Все изумлялись на ее работу и ставили Марину в образец другим. Только Елена Васильевна, старшая сестра Бориса, смотрела и покачивала головою.

В 1923 году Марина умерла. Умерла, как всю жизнь провела,— никого собою не стеснив. В двенадцать часов дня, на приеме в здравотделе, почувствовала острую головную боль. Ее отвезли в больницу, и там, в пять часов вечера, при все усиливавшейся головной боли и параличе левой половины тела, она умерла.

Борис не отходил от нее. Она умерла у него на руках. Взглянула с горячею благодарностью на Бориса, прошептала ему на ухо:

— Спа-си-бо за все, за все!

И умерла.

Похороны ее совершенно неожиданно обнаружили, как она была популярна в массах. Борис на похоронах рыдал, как маленький мальчик.

Когда Марина умерла, Изабелла Львовна облегченно вздохнула. С нею давно уже случилось неожиданное: сойдясь с Борисом из озорства, на пари, чтобы испытать силу своих чар, она постепенно полюбила его глубоко и страстно. Но с болью видела, что ничем, кроме физической привлекательности и возбуждения в нем чувственности, привязать к себе не может. И ревновала его к Марине, к длинным беседам, которые с нею вел Борис, к большому ее портрету, который висел у него над письменным столом.

Борис недели две ходил как вставший из гроба. Потом практическая работа и литературное творчество исцелили его.

Прошло два года. Изабелла Львовна сильно пополнела и расплылась. По-прежнему она нигде не работала — только по партийной линии, поскольку это требовалось от коммунистки. Борис редко бывал дома. Говоря с Изабеллой, откровенно зевал. Она часто втихомолку плакала. По неуловимым признакам Изабелла заключала, что она ему «приелась», и что... кажет-

ся... у него есть уже где-то другая. Она только не знала, что их у него перебывало уже несколько.

Неблагополучно было в этом доме.

13

## НА ЗАКАТЕ

Профессор местного университета и академик, европейски известный ученый, Игорь Владимирович Ельчанинов, читал публичную лекцию в зале исполкома, бывшего дворянского собрания. Это было в восемнадцатом году. Морозный пар от дыхания клубился над головами слушателей, все сидели в шубах и теплых шапках.

Профессор читал о реформаторских и революционных движениях в античном Риме. Он не только был крупный ученый; его лекции носили и высоко художественный характер, как у Костомарова или Ключевского. Ярко проходили перед слушателями картины борьбы братьев Гракхов с крупными земельными собственниками, сицилийские восстания рабов, «солнечное царство» Аристоника, Спартак, оклеветанный Цицероном Катилина. С изумлением узнали слушатели, что прославленный Брут, убийца Цезаря, «непреклонный республиканец»,— Брут, о котором Шекспир сказал: «Человек он был!» — был один из самых свирепых римских ростовщиков, взыскивавший с должников ссуды с нечеловеческою жестокостью, поражавшею даже современников.

Овациям не было конца. Густая толпа окружила профессора, жадно его расспрашивала. Глаза девушек-комсомолок восторженно блестели, с любовною почтительностью смотрели обветренные лица бойцов, воротившихся с гражданского фронта.

Машина, отвозившая профессора домой, ныряла по сугробам неубранных, еле освещенных улиц. Профессор неподвижно смотрел перед собою и умиленно улыбался.

Вошел к себе в квартиру. Жена его, Софья Ивановна, худенькая, нервно-быстрая старушка, варила на

железной печке картошку. Она холодно оглядела Игоря Владимировича и, преодолевая себя, спросила:

— Ну, как прошла лекция?

— Превосходно!

Не замечая ее настроения, он расхаживал по холодной комнате, потирал руки и, полный испытанною радостью, рассказывал, какой ему прием оказали слушатели, как одна восторженная девушка взбежала на эстраду и обеими руками крепко стала пожимать ему руку, а зал гремел рукоплесканиями.

Софья Ивановна вдруг спросила:

— А хорошенькая была девушка?

Игорь Владимирович в недоумении остановился.

— При чем тут это? Странный вопрос!

Однако девушка была правда хороша, у нее были чудесные глаза, и это, конечно, усиливало впечатление. Было неприятно. Светлое настроение рассеивалось. Повеяло кислою домашнею тоскою.

Софья Ивановна помолчала и спросила:

— Скажи, пожалуйста: перед тем как ехать на лекцию, ты вынес из-под рукомойника полное ведро?

Игорь Владимирович смущенно поднял брови, подумал и решительно ответил:

— Да, да! Вынес.

— Вынес, верно. Но как ты его поставил? Неужели нужно тебе объяснять, что пустое ведро следует ставить в центре, под сточною трубой? Я стала мыть руки, и вдруг мыльная вода полилась по полу. Целая лужа! Тебе там хорошенькие девушки пожимали руки, а я в это время ползала тут по полу с тряпкой и подтирала грязную воду.

Игорь Владимирович сначала очень сконфузился, но когда Софья Ивановна упомянула о хорошеньких девушках, он нахмурился, махнул рукою и ушел к себе в кабинет.

Остановился перед письменным столом и начал вскрывать бандероли на полученных научных журналах. В дверях появилась Софья Ивановна.

— Ты что же, считаешь свое дело конченным? Можно усесться в кабинете и читать журналы? Иди накрывай на стол! Я с утра еще ни разу не присела. Следовало бы подумать и о других, не только о себе... Живо! Пошевеливайся!

— Послушай, ты разговариваешь со мною, как разговаривали когда-то только с крепостными горничными.

— Такую горничную и дня бы не стали держать в комнатах, сейчас же бы сослали на скотный двор.

Игорь Владимирович молча вышел из кабинета и стал выставлять посуду на стол. Он видел, что жену подхватила нервная волна и что единственный способ остановить ее — заговорить спокойно и ласково. Но сам он был уже раздражен и не находил в себе ласковых интонаций.

Сели ужинать. Оба угрюмо молчали. Софья Ивановна незаметно пододвинула к нему значительную часть пайкового хлеба, оставив себе маленький кусочек. Но он отрезал свою половину и съел только ее. Софья Ивановна кротко сказала:

— Я хлеба больше не буду есть, я без тебя ела сухари, которые вчера насушила. Это тебе.

— Благодарю тебя. Я уж достаточно сыт рукопожатиями хорошеньких девушек.

Софья Ивановна опять вскипела.

— Как всегда, только одно «нет»! Ну, как же! *Сам* так желает! На то он и повелитель! Настоящий провинциальный душка! Только, как душка хочет, так ему и важно.

— Соня, ну, какой же я провинциальный душка? Что ты говоришь!

— Да, привык, чтобы все на руках носили... «Ах, душка того желает!»

Он расхохотался.

— И главное: покушался бы я на твою долю хлеба...

— О господи! Бесконечные разговорчики о каждом кусочке хлеба!

— ...а ты упрекаешь за то, что я *не* хочу лишить тебя твоей доли...

— Кончи! Какой ты стал болтливый человек! — Она зажала уши и начала считать про себя: «Раз, два, три, четыре, пять...»

Он в негодовании замолчал. И в течение всего ужина они молчали.

После ужина Софья Ивановна при бедном свете мигалки штопала носки мужа, а Игорь Владимиро-

вич мыл посуду. В кухонном белом халате, он с сосредоточенным лицом тер мочалкою тарелки и как будто средневековый алхимик сидел в своей лаборатории. Он думал с горечью: вот, если бы профессора Оксфордского университета, избравшие его своим почетным членом, увидели, чем он вынужден заниматься!

Стукнула входная дверь. По коридору прошел в свою комнату профессор математики Дубовой. Как ученый, Игорь Владимирович имел право уплотниться по собственному выбору. Он вселил к себе этого математика и еще молодого, почтительного доцента химии с женою и ребенком. Профессор Дубовой — мрачный, молчаливый мужчина — каждый вечер, ровно от половины десятого до половины одиннадцатого, играл у себя на пианино. Он только учился играть, и учился самоучкой. Не играл ни гамм, ни упражнений. Все время разучивал только похоронный марш Шопена. Вначале медленно подбирал аккорды, но постепенно все больше наловчался и играл марш все скорее,— ни на минуту не отпуская педали и смазывая отдельные ноты. Теперь он играл марш уже темпом allegretto. Слушать его игру было мучительно. И Игорь Владимирович и Софья Ивановна возненавидели шопеновский марш как кровного врага.

Софья Ивановна сказала — опять кротким голосом:

— Вот что, Горя. Я знаю, ты, по обыкновению, будешь протестовать, но это необходимо. Твои калоши совсем продырявились, и их уже не хотят чинить. В исполкоме мне в калошах отказали, заявили, что у них абсолютно нет. Напиши письмо в Москву Луначарскому.

— Что?!

— Да. Он нарком просвещения, он, наверно, сможет это устроить для тебя. Ведь позор им будет, если академик, европейский ученый, простудится и умрет из-за отсутствия калош. Что тебе стоит написать?

Игорь Владимирович с достоинством ответил:

— Я на это никогда не пойду.

Софья Ивановна вспыхнула.

— Хорошо. Но зачем же говорить это таким благородным тоном? Здесь нет никого, кто бы по этому поводу сказал: «Какой высокопринципиальный человек!»

— Ну, как тебе, Соня, не стыдно!

— Чистоплюйство, нелепое интеллигентское чистоплюйство. Видите ли, не все могут получить таким путем калоши! А академический твой паек все получают!

— Я считаю вопрос исчерпанным.

— Все дело в твоем чудовищном самолюбии. Если пришлют калоши, ты, конечно, не откажешься, но чтоб *я, я,* знаменитый Ельчанинов, сам стал просить, это унижает мое достоинство!.. Ну, тогда я от себя напишу Луначарскому!

— Я решительно требую этого не делать!

— А я решительно заявляю, что это сделаю... Ты до сих пор смотришь на меня как на двадцатилетнюю девочку, для которой каждое твое слово — божеское откровение. Прошли, голубчик, эти времена, давно прошли!

— Всему есть предел! Это же невозможно!

Игорь Владимирович, в свою очередь, заткнул уши. Софья Ивановна продолжала говорить. Он напевал арию Амонасро из «Аиды». Она замолчала, но когда он принял пальцы от ушей — заговорила опять. Он опять заткнул уши и запел еще громче:

Но судьба нам, увы, изменила,
Обрекла нас на стыд и позор!..

Софья Ивановна окончательно замолчала.

Стало тихо. Игорь Владимирович чистил наждаком ножи, Софья Ивановна продолжала штопать носки. Обоим просто физически было трудно дышать от спиравшей грудь ненависти.

Вдруг Игорь Владимирович насторожился. В глазах запрыгали искорки смеха. Он схватил Софью Ивановну за руку выше локтя. Она вздрогнула и удивленно взглянула. Он прошептал:

— Слушай!

За стеною раздался похоронный марш Шопена. Звуки, неуклюже торопясь, цепляясь друг за друга и спотыкаясь, сыпались как горох. Игорь Владимирович хохотал.

— Ты слышишь? Похоронный марш — темпом галопа! Ка-ко-е дос-ти-же-ни-е!.. Ха-ха-ха! Ей-богу же, темпом галопа!

Они оба стали слушать и смеялись. Игорь Владимирович шептал:

— У него все так! Ведь это бездарнейший человек! Всю свою математику он изучил такою же долбежкою, как этот марш... Знаешь, что? Нельзя упускать такого благоприятного случая! Пройдемся-ка с тобою галопом! Под похоронный марш!... Пикантно!

Он охватил талию Софьи Ивановны, и они, смеясь, помчались вокруг железной печки, он — высокий и плотный, с длинными волосами на большой голове, она — худенькая и маленькая. Скоро оба задохнулись и бросились в кресла. Сидели и смеялись. Исчезла злоба, вдруг стало легко на душе и дружно.

Музыка замолкла. Игорь Владимирович, со слезами от смеха на глазах, взглянул на часы.

— Скоро одиннадцать. Пора спать... О-о-хо-хо! Ну и потешил!

Софья Ивановна крепко поцеловала его руку, лежавшую на ручке кресла, и блаженно прошептала:

— Как хорошо!

Стали укладываться. Игорь Владимирович лег, укрылся одеялом и сверху шубой: было очень холодно, железная печка давно остыла. Софья Ивановна с матерински любовною заботливостью стала подтыкать у него шубу.

— Вот такого я тебя люблю,— сказала она ему на ухо и нежно поцеловала в седую голову.— Спи, мой мальчик! — Наклонилась и горячо зашептала: — Милый мой, не приходи в отчаяние, отношения наши не совсем еще погибли, мы с тобою выправимся! Только будь со мною ласков... Давай с завтрашнего утра попробуем относиться друг к другу по-иному. Вот ты увидишь, все еще будет хорошо!

Он поймал ее руку и поцеловал.

Софья Ивановна заснула. Игорь Владимирович вдруг вспомнил, что она поручила ему отжать на ночь выстиранное белье и сложить в выварку. Потихоньку встал, накинул шубу, старательно выкрутил в кухне белье и сложил. Довольный, воротился и заснул.

Игорь Владимирович прожил с Софьей Ивановной больше тридцати лет и полагал, что теперь отношения их вполне определились.

Она была его ученицей по Высшим женским курсам, где он, молодым, блестящим профессором, читал

общую историю. Девушка была умна и с увлечением занималась наукой. Написала хорошую работу о римском колонате в Галлии. Он оставил ее при своей кафедре. Незаметно они полюбили друг друга и поженились.

Софья Ивановна ахнула, как он живет беспризорно и как совсем этого не замечает. Уволила воровку прислугу и завела новые порядки, совершенно устранила Игоря Владимировича от хозяйственных забот. Делала для него выписки из архивных рукописей и специальных сочинений, обсуждала с ним его новые работы. Жизнь его потекла ровно и счастливо, полная напряженного творчества, тщательно оберегаемая женою от всего, что могло помешать ему в его занятиях. Родилась дочь, потом сын. Софья Ивановна оставила аспирантуру и вся отдалась мужу и семье.

Вскоре Игорь Владимирович приметил, что у жены его характер очень властный и что никакого вмешательства в ее действия по дому и семье она не терпит. Но он, вообще тоже властный и не любящий подчиняться, с этим мирился, потому что сам сознавал — в практической жизни он очень неумел, и ее действия гораздо разумнее тех, которые предлагал он.

Потом пришлось примириться и с другим. Восторженное преклонение молоденькой женщины перед крупным ученым постепенно падало, она уже не принимала, как желторотый птенец, всего, что он говорил. Он понимал, что это вполне естественно, но все-таки было обидно все большее ослабление того трепетного обожания, которое его дома окружало.

Софья Ивановна была очень нервна и самолюбива. Иногда вдруг устраивала ему бешеные сцены, страстно упрекала, что из-за него она отказалась от самостоятельной научной деятельности, что отдала всю жизнь на него и что он так мало это ценит. Были в ней и другие неприятные стороны. Была она невероятно жадна в копейках. Раз на даче, напористо торгуясь, принудила мальчика уступить тарелку земляники за десять копеек, когда все покупали за пятнадцать. Мать дома избила за это мальчика. С прислугой Софья Ивановна была очень прижимиста, старалась давать ей еду похуже, не прочь была подсунуть тухлинку. Игорь Владимирович приходил в негодование от ее

мещанской скаредности, Софья Ивановна ясно читала на его лице отвращение и конфузилась.

Так шла их жизнь многие годы. Бывали трудные часы, которые, казалось, невозможно было нести. Но в жизни каждой семьи есть свои особенные, иногда очень тяжелые стороны. Разумные люди приучаются терпеливо нести их, как хроническую болезнь, пока они не достигли чрезмерной степени. Это были тучи, время от времени омрачавшие в общем довольно ясное небо семейной жизни Ельчаниновых.

И неожиданно пришло что-то совсем новое. Совпало это с революцией. Стояла жуткая разруха. Выдавали пайками тяжелый, невыпеченный хлеб в скудных количествах. Дров было мало, в комнатах царила стужа. О прислуге забыли и думать. Софья Ивановна бегала по очередям, готовила еду, стирала белье. Тут она проявила всю неистощимость своей энергии и мастерство на все руки. Игорь Владимирович приносил домой в рюкзаке академический паек, рубил дрова, чистил картошку и мыл посуду. Однако от очередей уклонялся, хотя видел, как измучивается на них Софья Ивановна: вдруг слушатели увидят его в очереди! Сын Ельчаниновых был на фронте, замужняя дочь жила далеко в Сибири. Старикам все приходилось нести на своих плечах. Оба были измучены и непрерывно ссорились.

Но не это все было главное. Это было только толчком, ускорившим уже раньше нараставшее изменение в их отношениях. Случилось то, что нередко бывает в брачной жизни у стариков. Они стали друг для друга заученными до буквы книгами. Один другого знал, как самого себя, ничего в проявлениях одного не было для другого неожиданным. И постепенно оба совсем перестали стесняться друг друга. Кто перед самим собою будет стесняться в отправлении хотя бы самых неизящных потребностей? Они все больше привыкали проявляться друг перед другом, совершенно не сдерживаясь. Игорь Владимирович бывал часто возмутительно невнимателен к Софье Ивановне — просто не замечал этого. Раньше, когда она его в этом обличала, он конфузился. Теперь он равнодушно слушал ее упреки и не старался оправдаться. Что она об нем думала, ему было безразлично: все равно, она все зна-

ла в нем. И ей было теперь безразлично, как он относится к ее скупости, самовлюбленности, некультурности, умственной недобросовестности. Она их проявляла откровенно, нисколько от него не таясь. И до отвращения, которое при этом появлялось в глазах Игоря Владимировича, ей не было никакого дела. И как они в злые минуты пользовались знанием другого насквозь, чтобы ударить в самое больное место!

А между тем Софья Ивановна по-прежнему все свои силы клала на мужа. Игорь Владимирович, лежа в постели, с горьким умилением слушал по ночам, как она стирала в кухне его белье, со стыдом смотрел, как она, иззябшая, приходила домой с долгой очереди.

Дома он теперь совсем не чувствовал уважения к себе как к научной силе, как к человеку, высоко всеми ценимому. Это все было — вне дома. Дома же он был блаженный дурачок, неумелый головотяп, деспот и эгоист, эксплуатирующий измученную жену. Для Софьи Ивановны постоянная его занятость собственными мыслями, равнодушие к окружающим трудностям, раздражающая неумелость и простоватость в житейских делах — это все било по ней каждую минуту и совершенно заслоняло то, за что она его когда-то полюбила,— творческий ум, сияние таланта, излучение горячих мыслей, от которых и у нее в мозгу становилось тепло и радостно. Иногда только, когда он, в мирные между ними часы, вдруг прорывался потоком своих мыслей, она с виноватым удивлением приглядывалась к нему и шутливо шептала ему на ухо, горячо и любовно:

— Ты у меня не совсем уж такой Иванушка-дурачок, с каким мне постоянно приходится иметь дело. О, у тебя тут много-много!

И нежно целовала его в большой лоб.

Игорь Владимирович проснулся раньше Софьи Ивановны. Она спала, свернувшись в комочек под шубкой. Его поразило, сколько страдания было в ее исхудалом, бледно-желтом лице. И подумал:

«Нет, это нужно помнить, как ей тяжело. Не стоит обращать внимания на оскорбления, нужно стоять выше этого».

Ступая на цыпочках, он тихонько наложил полешек в железную печку и затопил. Софья Ивановна зашевелилась, открыла затуманенные глаза. Игорь Владимирович подошел к ней и с гордостью сказал:

— Ну, девочка, вставай! Печка затоплена, белье ночью отжато!

Она вдруг быстро вскочила и в одной рубашке побежала в кухню. Воротилась с несколькими штуками белья в руках, с лицом, полным бешенства и отчаяния.

— Что ты наделал?!

Он смущенно спросил:

— Что я наделал?

— Умная голова! Ты же все белье испоганил! Разве можно было класть белье прямо на дно выварки? Оно же железное! Тряп-ку нуж-но бы-ло по-достлать! — закричала она.— Смотри, все белье в ржавчине, все испорчено! Этого теперь ничем не отстираешь!.. Господи, господи! Дай мне силы нести этого человека!

— Что же ты мне не сказала? Откуда я мог знать, что какую-то тряпку надо подостлать?

— Я думала, у тебя на плечах голова, а не ночной горшок! Неужели ты сам не мог этого понять! И как тебя мать, такого дурака, родила!.. О, какой ты неудачник в жизни!

— Ну, Соня, ну что же делать? Ну, случилась такая беда...

— Отстань от меня!.. Работаешь, как каторжная, а он, во что ни сунет нос, все напортит, испоганит!

Софья Ивановна разрыдалась и упала лицом в подушку. Долго плакала. Расстроенный Игорь Владимирович молча ходил по комнате. Софья Ивановна наконец встала.

— Ну, что же! Нужно со всем примириться, все терпеть! Завтра этот дурачок чайным полотенцем подотрет лужу на полу; вместо соли насыплет в суп наждаку. А я потом стирай и вари новый суп!.. За что мне в казнь послан этот человек! То-ва-рищ, по-мощник! Ой, какую ты мне трудную жизнь создал под старость!.. Да, впрочем, и вся жизнь с тобою была такая же трудная!

— Соня, ну говори, по крайней мере, потише. Зачем нужно, чтобы о позоре и муке нашей жизни знали все соседи?

— Мне важно, чтобы позора и муки ты мне не создавал в жизни, а что о нас подумают соседи, мне наплевать! Все только о том, что другие подумают. Самовлюбленный душка!

— Соня, да тише же!

Она в ответ бешено закричала:

— Негодяй! Душка провинциальный! А-ка-де-мик Ель-ча-ни-нов!

— Это у тебя тоже стало уже ругательным словом. Хорошенькая атмосфера для работы!

— Зуди, зуди, зуда!

Бледный от бешенства, Игорь Владимирович ушел к себе в кабинет. Сел за стол, положил голову на руку и тяжело вздохнул. Раскрыл рукопись последней своей работы о социально-экономических основах крестовых походов. Попробовал продолжать. Не писалось.

В кабинет заглянула Софья Ивановна и ласково сказала:

— Горя, иди чай пить.

Пили чай из шиповника. Софья Ивановна заговорила:

— Я вела себя безобразно, извини меня. Но думай же хоть немножко над тем, что ты делаешь. Ведь ты не маленький мальчик, тебе скоро пойдет седьмой десяток. Пора научиться сознательно относиться к своим действиям, больше требовать от себя.

Как будто гувернантка поучала непонятливую девочку. И это она — извинялась! Игорь Владимирович угрюмо молчал.

Напились чаю. Софья Ивановна ушла в очередь за керосином. Игорь Владимирович долго ходил по кабинету, наконец успокоился и взялся за работу. Перечитал написанное. Хорошо! И сколько оригинального. Будут читать — и подумают ли, что писал это автор — голодный, сидя в студеной комнате и дуя на руки, осыпаемый неистовыми ругательствами жены?

Долго писал. Вдруг острою иголкою в душу медленно вошла мысль:

«А она там все мерзнет в очереди! Уж сколько времени? Три, четыре часа!..»

Он постарался не заметить этой мысли, но она все шевелилась в душе и колола.

«Следовало бы пойти, сменить ее... Подлец, брат, ты!..»

Чувствовал себя очень виноватым. Но все-таки сидел, горько утешаясь сознанием своей виновности.

Наконец пришла Софья Ивановна, жестоко иззябшая. Сказала угрюмо:

— Весь разобрали керосин.

Он обнял ее. Софья Ивановна всхлипнула и припала к его плечу. Он нежно целовал ее в волосы. Она тряхнула головою.

— Ну, как-нибудь сегодня обойдемся! А завтра пойду пораньше, постараюсь не пропустить.

Иголка опять вошла в душу: социально-экономические основы крестовых походов могли бы подождать, а завтра за керосином мог бы пойти он. Но опять он постарался не заметить этой мысли и крепко-крепко поцеловал Софью Ивановну. Она пошла готовить обед.

Вечером случилось вот что.

Пришла к жене доцента просто одетая женщина. Их никого дома не было. Пришла она черным ходом, Софья Ивановна была в кухне. Только что она пролила тазик с мыльной водой, на полу стояла лужа. Она ласково сказала женщине:

— Милая, не можете ли вы подтереть эту лужу?

Женщина с удивлением взглянула.

— Сама я не могу,— объяснила Софья Ивановна,— у меня сердце больное. Будьте добры.

Та холодно ответила:

— У меня у самой сердце больное.

Софья Ивановна вспыхнула.

— Ну, тогда уходите, нечего вам тут делать. Их никого нет дома.

— Тогда дайте мне карандашик, я напишу записку.

— Не будет вам никакого карандашика!.. Хулиганка!

— От такой слышу. Я их тогда подожду.

— Потрудитесь уйти! Я не могу вас оставить в квартире, почем я знаю, кто вы такая. А присматривать мне за вами некогда.

Женщина села на табуретку и спокойно сказала:

— Не мерзнуть же мне на дворе.

Софья Ивановна кинулась к мужу.

— Там пришла какая-то нахалка к Алексеевым, их нет дома, а она сидит и не уходит. Как я ее могу оставить в квартире? Пойди скажи ей, чтоб ушла.

Игорь Владимирович накачался негодованием и грозно вышел в кухню.

— Простите, гражданка, Алексеевых нет дома и когда придут, неизвестно. Будьте добры уйти.

— Да я уйду, дайте мне только карандашик написать записку.

— Карандашик? Пожалуйста!

Он достал карандаш. Софья Ивановна, слушавшая за дверью, поспешно вошла в кухню.

— Не давай этой хулиганке карандаша!

— Что за нелепость! Почему не дать? Просьба вполне законная.

Софья Ивановна пожелтела от бешенства, вырвала у мужа карандаш и сунула себе в карман.

Женщина удивленно смотрела. Вдруг рассмеялась, сказала:

— Ну и дамочка!

И, смеясь, ушла.

Игорь Владимирович кричал и топал ногами. Софья Ивановна билась в истерике.

— Негодяй! Как ты смел давать этой хулиганке карандаш! «Я так желаю!» Повелитель! Бог Саваоф!

— Нет, как ты смела вырвать у меня карандаш! Понимаешь ли ты, что ты себе уже начинаешь позволять! До чего ты дойдешь!

— Ха-ха-ха!.. Какая прелесть! Душка сердится и топает ногами!

От входной двери прошел по коридору в свою комнату профессор Дубовой. Софья Ивановна закричала еще громче:

— Душка сердится! Какая прелесть!

— Тьфу!!

Игорь Владимирович плюнул и ушел к себе. Софья Ивановна продолжала хохотать и кричать:

— Посмотрите, люди добрые! Душка плюется!.. Ха-ха-ха!.. Какая красота!..

Была глубокая ночь. Окна, лохматые от инея, светились под лунным светом. Игорь Владимирович и Софья Ивановна лежали в своих постелях не шевелясь и притворяясь друг перед другом, что спят.

Игорь Владимирович, глядя горящими глазами в потолок, думал:

«Нет! Так дальше жить нельзя! Ну, больной человек, ну, истеричка! Но какое зловонное болото таится в ее душе, и какими брызгами она обдает все кругом, когда что-нибудь всколыхнет это болото! Невозможно, не-воз-мож-но!..

Любовь есть друг к другу. О, конечно, есть!.. Есть любовь. Но пропало уважение друг к другу, уважение к переживаниям другого, желание его беречь. А самое ужасное — кажется, пропадает... уважение и к самим себе. Да, как у Анны Карениной: «винт свинтился, мы делаем несчастие друг друга». Винт свинтился, и этого ничем поправить нельзя. Редкие хорошие их минуты — это только галоп под похоронный марш, под похоронный марш над их совместною жизнью.

Выход какой-то необходим. Невозможно жить в этой вечной атмосфере подчеркнутого неуважения к тебе, в этих гнусно-мелких ссорах, в которых сам себя начинаешь чувствовать восьмилетним мальчишкой. Стать выше? Легко сказать. Как станешь выше ее умственного жульничества, некультурности, ее карандашиков? Морально невозможно. Нет, нужен, нужен выход. Расстаться? Но куда денется она? А главное,— он-то что же будет делать без нее? Очереди, готовка еды, стирка, починка белья. Теперь и за большие деньги на это никого не найдешь. А где они, эти большие деньги?..

Хорошая ему выпала старость!..»

Софья Ивановна, свернувшись под шубкой, с закутанной в платок головою, смотрела на серебряные искры в инее окон. Невеселые были думы. Она погибает в совершенно непосильной работе на мужа, а от него, вместо помощи, только претензии и постоянное вмешательство в ее действия. Привык считать себя в семье божком. Ну да, крупный ученый. Но ценит ли он хоть сколько-нибудь, что она всю жизнь положила в него, что для него отказалась от научной дороги?

Ему важна только собственная его работа, перед нею все должно отступать и склоняться.

С болью вспомнила, как однажды, во время ссоры, он крикнул, что никакая ученая дорога ее не ждала, что творчества в ней нет, что из нее могла бы выйти только вечная ассистентка или учительница средней школы. Так уже он это точно может знать! И какая бессердечность ей это сказать!

Нет, пора расставаться! Ну, уедет к дочери. Но он-то — что он тут будет делать без нее? Ведь выйдет на улицу — его любая курица затопчет, надует десятилетний мальчишка. Горячая волна нежности к мужу окатила ее душу. Вдруг сладки стали и очереди, и непосильный труд на него. О, на все она готова, все будет нести с радостным самоотвержением! Только чтоб он держался с нею ласково и без претензий, чтобы понимал — больше она давать не в силах. Но так, как теперь... Не-воз-мож-но! Так жить нет сил... Как же быть?

Софья Ивановна покрепче закутала голову платком, чтобы муж не слышал, и плакала о своей неудавшейся жизни и безрадостной старости.

## 14

## КАК ОН МЕНЯ УДИВИЛ

Я долго прожил на свете. Мне довелось видеть много людей. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь: как много существует на свете никем не замечаемых интересных людей! Один — одною стороною, другой — другою; в третьем, может быть, маленькая только черточка, но совсем своя. Мы замечаем и вспоминаем это больше тогда, когда человек умрет. Удивительно, как смерть научает нас переоценивать человека! Вспоминаешь, как относился к нему при жизни,— отчего я тогда так мало ценил то, чем был он хорош?

Вот вспоминаю сейчас одного инженера. Он умер. Работал в Москве на заводе. Полный, с небольшим брюшком. Треугольничек рыжеватых волос под носом. Был добродушен, но мало развит и мало даровит. На службе им не дорожили. Больше всего любил анекдо-

ты и тщательно записывал их детским почерком в толстую переплетенную тетрадь. Любил и рассказывать их, но рассказывал плохо, и случалось, что забывал такую подробность, в которой была вся соль анекдота. Тогда он конфузился и, улыбаясь исподлобья, сознавался под общий хохот: «У мишки фокус пропал!»

Для меня он был олицетворением безнадежной банальности и неинтересности. Звали его Фома Иваныч.

И вдруг он меня удивил. Один раз, потом другой.

Был он холостой. Жил в одной квартире с женатым старшим братом, врачом-невропатологом, и замужнею сестрою-геологом. Жили очень дружною семьею. Столовались вместе. Хозяйство вела жена старшего брата, общая мама. Все ее и звали «мама Лиза». Я любил бывать у них.

Одно время стал я замечать, что иногда Фома Иваныч после веселого анекдота вдруг перестанет смеяться, поднимет брови и неподвижно смотрит перед собою, потом тряхнет головою и опять оживится.

Был вечер субботы — самое уютное время: завтра спи сколько хочешь, целый день свободный, на душе легко. У них в семье было принято: на субботу и воскресенье ввинчивать над обеденным столом лампочку в двести ватт; было светло, как в солнечный день, и на душе становилось еще веселее.

Вот в такой уютный субботний вечер, когда все уже сидели за ужином, вошел Фома Иваныч и торжественно поставил на стол две бутылки токайского, виноград и большую плетенку с кондитерскими печениями.

— Что это значит?

— Получил место.

— А ты его терял?

Фома Иваныч улыбнулся.

— Семь месяцев был без работы. Сократили.

Все ахнули.

— Как же мы ничего не знали?!

— А для чего вам было знать? Помочь вы мне ничем не могли. К чему было вас расстраивать?

Мама Лиза в негодовании всплеснула руками.

— «Расстраивать»! Просто возмутительно! Как можно было такую вещь скрывать. Ведь тебе было очень тяжело!

— Конечно. Поэтому и молчал.

— Легче было бы, если бы с нами поделился!

Старший брат, доктор, сказал, сурово покашливая:

— Да, наконец, просто с материальной стороны. Мы могли бы тебе помочь. Как ты эти семь месяцев прожил?

— У меня были небольшие сбережения. Потом... продал новые брюки.

Прямо уже вихрем взвилось возмущение. Сестра-геолог вскричала:

— То-то я заметила, что он эту зиму перестал ходить в театр! Санкюлот несчастный! Уродина мой очаровательный!

Доктор сердито возразил:

— Что очаровательного! Глупо, больше ничего!

Фома Иваныч посмеивался и повторял:

— Остаюсь при своем мнении. Нечего отягощать людей своим горем, если помочь они не могут.

Другой раз Фома Иваныч удивил меня большою естественностью, совершенною логичностью и в то же время полнейшею психологическою невероятностью одного своего поступка.

Получил Фома Иваныч отпуск и решил полететь на самолете в Киев, к другому их брату. Это происходило в середине двадцатых годов, летание было внове, мало кто на него решался, и на каждого, кому довелось полетать, смотрели вроде как бы на героя.

На аэродроме нужно было быть к пяти часам утра. Мама Лиза в половине четвертого подняла Фому Иваныча, напоила кофеем и, сильно за него волнуясь, отправила в дорогу.

Он воротился домой в этот же день к обеду. В чем дело? Фома Иваныч неохотно ответил:

— Полет отложен на завтра.

На следующий день он улетел. Из Киева от него получили открытку с извещением, что прилетел он благополучно. Месяц прогостил у брата, потом воротился.

В уютное вечернее время субботы, когда ярко горела над столом лампочка в двести ватт, Фома Иваныч за ужином вдруг объявил торжественно:

— Ну, товарищи мои дорогие, скажу вам теперь правду. Ведь в первый-то день я тоже летал, пролетел полпути, и самолет наш потерпел в дороге жесточайшее крушение.

Опять все ахнули. Фома Иваныч довольно посмеивался. Любил он удивлять.

Оказалось так: самолет вылетел вовремя, но под Брянском потерял управление, врезался в болото и перекувыркнулся. Пилот и один пассажир были убиты, другому переломало ноги, а Фома Иваныч остался невредим — благодаря тому, что он один выполнил правило, вывешенное в кабине самолета: пристегнулся ремнем к сиденью. Когда самолет перекувыркнулся, Фома Иваныч повис на ремне вниз головой и не расшибся. Администрация оплатила ему железнодорожный билет обратно в Москву и предложила на выбор: либо лететь завтра, либо получить обратно уплаченные деньги.

Фома Иваныч рассказывал:

— Я выбрал первое...

Все еще пуще ахнули. Сестра-геолог кричала, смеясь:

— Люди добрые, поглядите на этого человека! Да ведь это же определенно сумасшедший! Сумасшедший совершенно определенно! Этакое вытерпеть крушение — и завтра преспокойнейшим образом лететь опять!

— Ну да!.. Я так рассудил: крушения — не такое уж частое явление. Невероятно поэтому, чтобы они могли произойти два дня подряд. Значит, самое безопасное лететь именно на следующий день. Персонал подтянется, внимательнее осмотрит машину...

— Так-то так... Но все-таки... Как же это?

Да, вот именно: как же это? Вполне естественно и логично: всего труднее ждать двух крушений подряд. Однако после только что избегнутой смерти, под впечатлением окровавленных трупов и стонущих людей с перебитыми ногами, опять довериться незнакомому способу передвижения — для этого нужна была достаточная доза душевной своеобразности.

## 15

## ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛА

Трамвайный вагон подходил к остановке. Хорошо одетая, полная дама сказала упитанному мальчику лет пяти:

— Левочка, нам тут сходить.

Мальчик вскочил и, толкая всех локтями, бросился пробиваться к выходу. Старушка отвела его рукою и сердито сказала:

— Куда ты, мальчик, лезешь?

Мать в негодовании вскричала:

— Как вы смеете ребенка толкать?!

Высокий мужчина заговорил громким, на весь вагон, голосом:

— Вы бы лучше мальчишке вашему сказали, как он смеет всех толкать! *Он* идет,— скажите пожалуйста! Все должны давать ему дорогу! Он самая важная особа!.. Растите хулиганов, эгоистов!..

Мать возмущенно отругивалась. Мальчик с открытым ртом испуганно глядел на мужчину.

Вагон остановился. Публика сошла. Сошла и дама с мальчиком. Вдруг он разразился отчаянным ревом. Мать присела перед ним на корточки, обнимала, целовала.

— Ну, не плачь, мальчик мой милый! Не плачь! Не обращай на него внимания! Он, наверно, пьяный, не плачь!

Она взяла его на руки. Мальчик, рыдая, крепко охватил ее шею. Она шла, шатаясь и задыхаясь от тяжести, и повторяла:

— Ну, не плачь, не плачь, бесценный мой!

Мальчик стихал и крепко прижимался к матери.

Пришли домой. Ужинали. Мать возмущенно рассказывала мужу, как обидел в трамвае Левочку какой-то, должно быть, пьяный хулиган. Отец с сожалением вздохнул:

— Эх, меня не было! Я бы ему ответил!

Она с гордостью возразила:

— Я ему тоже отвечала хорошо... Ну что, милый мой мальчик! Успокоился ты?.. Не бери сливу, она кислая.

Мать положила сливу обратно в вазу. Мальчик с упрямыми глазами взял ее и снова положил перед собою.

— Ну, детка моя, не ешь, она не спелая, расстроишь себе животик... А вот, погоди, я тебе сегодня купила шоколад «Золотой ярлык»... Кушай шоколад.

Она взяла сливу и положила перед мальчиком плитку шоколада. Мальчик концами пальцев отодвинул шоколад и обиженно нахмурился.

— Кушай, мальчик мой, кушай! Дай, я тебе разверну.

Отец сказал просительным голосом:

— Левочка, дай мне кусочек шоколада!

— Не-ет, это для Левочки! Специально для Левочки сегодня купила. Тебе, папа, нельзя, это не для тебя... Ну, что же ты, детка, не кушаешь?

Мальчик молчал, капризно нахмурившись.

— Ты, наверно, еще не успокоился?

Мальчик подумал и ответил:

— Я еще не успокоился.

— Ну, успокоишься, тогда скушаешь, да?

Мальчик молчал и не смотрел на шоколад.

Через двадцать лет. Эта самая дама, очень похудевшая, сидела на скамеечке Гоголевского бульвара. Много стало серебра в волосах, много стало золота в зубах. Она с отчаянием смотрела в одну точку и горько что-то шептала.

Трудную жизнь она прожила. Еще до революции муж ее умер. Она собственным трудом воспитала своего мальчика, во всем себе отказывала, после службы давала уроки, переписывала на машинке. Сын кончил втуз инженером-электротехником, занимал место с хорошим жалованьем. И вот — она сидела, одинокая, на скамеечке бульвара под медленно падавшим снегом и горько шептала:

— А я ему всю жизнь отдала!

Они с сыном занимали просторную комнату в Нащокинском переулке. Сын задумал жениться. Сегодня она получила повестку с приглашением явиться в качестве ответчицы в суд: сын подал заявление о выселении ее из комнаты. Уже четыре года назад, когда они получили эту комнату, Левочка предусмотритель-

но вписал мать проживающею «временно». Это больше всего ее потрясло: значит, тогда уже он на всякий случай развязывал себе руки...

— А я ему всю жизнь отдала!..

Снег пушистым слоем все гуще покрывал ей голову, плечи и колени. Она сидела неподвижно, горько шевеля губами. Кляла судьбу, в которую не верила, винила бога, в которого полуверила. Не винила одну себя, что всю жизнь отдала на выращивание холодного эгоиста, приученного ею думать только о себе.

## 16

## Euthymia

Насмешка судьбы соединила друг с другом самого счастливого человека с самым несчастным.

Леонид Александрович Ахмаров был талантливейший инженер-строитель, один из лучших советских архитекторов. Каждая его постройка вызывала шум и разговоры. Она была оригинальна, ни на что прежнее не похожа и покоряла красотою, жадною любовью к жизни и мужественностью духа. Начинала светиться душа, когда глядел человек на благородные линии его зданий, на серьезную, чисто эллинскую радостность их, осложненную современною тонкостью и сложностью. Леонид Александрович много зарабатывал. Был красив, молод, здоров. Прекрасный теннисист и конькобежец. Во всем ему сопутствовала удача.

Жена его Люся была собранием множества болезней и множества несчастий. Восход ее жизни был ярок и многообещающ. Студенткой университета она была принята в студию Станиславского, там все носили ее на руках. Станиславский повсюду говорил торжествующе, что появилась в Советском Союзе первоклассная трагическая актриса с огромным темпераментом. И вдруг все оборвалось. У Люси открылся туберкулез кишечника. Рухнули надежды на артистическую дорогу. У ней много было и еще болезней. Прирожденное сужение аорты. Рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства. Сколько она проглотила пирамидона, фенацетина, кофеина! И только незадолго до смерти выяснилось, что мигрени вызывались скры-

тою малярией, не разгаданною врачами. Все почти время Люся проводила в постели. А была при этом полна огромной энергии, не имевшей приложения. Изнывала от страстной жажды материнства, но врачи запретили иметь детей.

Оба они сильно и прочно любили друг друга.

Машина мягко неслась по гудронированному шоссе дачного поселка. Леонид Александрович возвращался из Москвы с дневного диспута в Политехническом музее об его последней постройке — Всесоюзном Дворце физкультуры. Нападали, защищали, но в том сходились все,— что это будет одно из замечательнейших зданий Москвы, что оно, пожалуй, даже знаменует нарождение в архитектуре нового, советского стиля. Потом был банкет. Голова кружилась от шампанского и восхвалений. Дубы и сосны просеки чернели высокою стеною, закрывая заходящее солнце. Как всегда после временного отсутствия, все вокруг было по-новому мило, неожиданно значительно.

Машина въехала в ворота дачи. В саду, около куста цветущей жимолости, лежала в гамаке Люся и смотрела на заходящее солнце. Лицо у ней было бледное и страдающее. Она медленно перевела глаза на входившего в сад мужа и встрепенулась.

— Ну, иди скорей, рассказывай!

Расспрашивала о всех подробностях диспута, жадно глядя огромными черными глазами, расспрашивала серьезно и требовательно. Леонид Александрович сидел возле гамака на березовом пне, рассказывал, а в душе было горько: в какой он живет яркой, интересной жизни, а она тут вяло прозябает в одиночестве и непрерывных страданиях.

Кончил рассказывать, припал головою к ее плечу.

— У тебя очень страдающее лицо. Плохо тебе?

Она нетерпеливо повела плечами.

— Это совсем не важно! — И оживилась.— Знаешь, я сейчас лежала и смотрела вон туда. Березы стоят огромные, тихие-тихие. Зелень под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! И как будто все замерло в благоговении. Как хорошо! Какая красота! — повторяла она в упоении.— И воздух какой,

вдохни всею грудью! Ой, Леня, как у нас тут хорошо!.. И... ой-ой! Смотри-ка, Анна Павловна идет гнать меня домой!

По дорожке шла, подергивая головою, худенькая старушка и лукаво улыбалась.

— Людмила Александровна, солнце садится, нужно домой.

— Да уж вижу, идете отравлять мне жизнь!.. Ох, Леня, какая это отравительница жизни, если бы ты только знал!.. Ну, что ж делать! Нужно идти.

Анна Павловна сконфуженно улыбалась, и кожа темени светилась сквозь седоватые, очень редкие волосы.

Пошли к дому. В цветнике к вечеру сильнее пахло левкоями и резедой. На застекленной террасе кипел самовар. Анна Павловна села к нему.

Леонид Александрович сказал нерешительно:

— В филармонии объявлен концерт. Пятая симфония Шостаковича. Взять и для тебя билет?

— Что за вопрос? Конечно!

— Люся, ведь после этого опять на несколько дней придут твои ужасные мигрени.

— И из-за этого отказываться от радости! Какая нелепость! Очень прошу тебя не опекать меня. Обязательно возьми.

Он пожал плечами и сказал покорно:

— Хорошо.

С говором и смехом взошла на террасу молодежь: комсомолец-вузовец Борис, брат Леонида Александровича, и две племянницы Люси — сероглазая хохотунья Ира и чернобровая Валя с насмешливыми глазами. Все были в теннисных костюмах, с ракетками.

Перебивая друг друга, стали рассказывать: приезжал в гости к Куприянову чемпион по теннису, знаменитый Кидалов. Борька играл с ним сингль, конечно, проиграл, однако взял два гэма. Вот так Борька наш! Все-таки два на шесть!

Борис сказал брату:

— Кидалов много слышал про тебя и очень жалел, что не застал сегодня. В следующее воскресенье опять будет здесь и был бы рад сразиться с тобою.

— С удовольствием. Таким игроком интересно быть и побитым.

Леонид Александрович был очень рад. Он самозабвенно любил теннис — вольность и разнообразие движений в нем, красоту и удобство теннисных костюмов, упоение от удачно посланного или принятого мяча. А тут еще встреча с таким мастером, как Кидалов.

Всегда, когда у него была радость, Леониду Александровичу было стыдно перед Люсей, больно, что она в ней не может участвовать, и поднималась к ней особенная нежность.

Молодежь ушла гулять. У Люси глаза были очень бледны, она с трудом поднялась со стула: начинался скрытый припадок малярии. Леонид Александрович подал ей руку, чтоб отвести ее в комнату. Но Люся сурово сказала:

— Не надо. Я с Анной Павловной. Иди к себе работать.

В просторной спальне от открытых окон стояла сыроватая ночная свежесть. Анна Павловна грела постель, Люся причесывалась на ночь. Разделась, подошла к постели, сказала устало:

— Какая я счастливая! Уж не нужно раздеваться, не нужно причесываться, все позади. А постель какая мягкая, какая нагретая! — С наслаждением завернулась в одеяло.— Ой, как хорошо!.. Как тепло!— Притянула за руку Анну Павловну и шепнула:— Анна Павловна, милая! Я вам так благодарна за вашу всегдашнюю заботу обо мне! Я не представляю, что бы я без вас делала. Мне только перед вами не стыдно страдать.

Анна Павловна изумилась.

— Вы — благодарны мне! Я никогда не смогу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали.

Люся засмеялась, махнула рукой и сказала:

— Ну, покойной ночи!

Знакомство их началось так.

Года два назад, в слякотный осенний день, Люся шла через Патриаршие пруды и увидела на скамеечке маленькую женщину с трясущеюся головою. Лицо женщины, мокрое от мелкого дождя, застыло в таком страдании и отчаянии, что Люся невольно повернула к ней, села рядом и заговорила. Старушка отшатнулась. Но Люся была мягко настойчива, и постепенно старушка все рассказала. История была простая. У нее умерла от тифа единственная дочь восемнадцати лет, вузовка,

в которой была вся ее жизнь. Люся с жадным участием расспрашивала, и старушка с радостью рассказывала, какая ее девочка была талантливая, красивая, добрая, как ее все любили. Люся просидела со старушкой под зонтиком два часа. Старушка плакала, а Люся ей говорила, говорила горячо и долго. Ни Анна Павловна, ни сама Люся не смогли бы передать, что именно говорила Люся. Дело было не в словах, не в мыслях, не в логике. Действовала спокойная мягкость голоса, несокрушимая вера в жизнь, ясно ощутимое, жаркое сочувствие. Как будто музыка звучала, серьезная и торжественная. Анна Павловна слушала и облегченно плакала.

После этого Анна Павловна несколько раз была у Люси. Эта больная, уже негодная для жизни женщина непонятным образом давала ей силу нести горе и опять привязала ее к жизни. Вышло как-то так, что Анна Павловна поселилась у Люси и стала в доме совершенно незаменимой: заведовала хозяйством, ухаживала за Люсей, чинила белье и платье. И решительно отказывалась от вознаграждения. Жила же тем, что шила на заказ. Люсю она любила сильною, благодарною любовью, окружала материнскою заботою, в нее вкладывала весь огромный запас любви, который оставался в ее душе неистраченным после смерти дочери.

И обеим было хорошо друг от друга.

Утром Леонид Александрович проснулся по-обычному в мрачном настроении. Еще отуманенный сном, он только ощущал владевшую душою мутную тоску, но не мог бы даже ответить, с чего она. Вечные дома болезни. Вообще всегда что-нибудь мешает полной радости. Ах да, вот что сейчас главное: Борис. Скоро из-за неуспешной учебы ему придется покинуть вуз. Куда, к чему его приспособить? Перед необходимостью всякого решительного действия Леонид Александрович терялся и становился беспомощным. С Люсей надо посоветоваться.

Комната ее была уже прибрана. Люся, одетая, лежала на кушетке и читала. В раскрытые окна сквозь листья ясеней рвались в комнату запахи сада, зеленый солнечный свет, стрекот и птичий гам. Люся рассеянно

протянула мужу руку и, полная большой внутренней сосредоточенности, медленно стала читать из книжки:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне — и я во всем...

Леонид Александрович нежно поцеловал ее и спросил:

— Чье это?

— Тютчева.

В глазах Люси он прочел ту бурно кипящую радость, которая ею овладевала при художественных или умственных переживаниях.

Он нерешительно сказал:

— Мне хочется поговорить с тобою об одном деле, но, может быть, потом? Это не к спеху.

— Нет, отчего! Говори сейчас!

— О Борисе. Беда мне с ним. Мальчик он добрый, но какая умственная пустота и какое легкомыслие! Наукой не занимается, курса, наверно, не кончит. И думает только о теннисе. Говорить с ним совершенно безнадежно: он всею душою рад пойти мне навстречу, но что способен вместить этот низкий и отлогий лоб спортсмена, кроме дум о теннисе и футболе?

Он угрюмо зашагал по комнате. Люся спокойно ответила:

— Страшного тут ничего нет. Лобика ему не переделаешь. Нужно мириться с тем, что есть.

— Это довольно печально.

— В нынешнее время ничего не печально. Отчего ему не стать, например, инструктором по теннису? Чем это плохо? Пусть переведется в физкультурный институт. Что у тебя за склонность все видеть в мрачном свете и сейчас же падать духом! А по-моему, как бы было хорошо, если бы взамен постылой термодинамики и дифференциального исчисления у него явилась работа, в которой бы он горел душою. Ведь это же красота! Как я буду рада за него!

Леонид Александрович все больше светлел. Он подсел к Люсе, прижал ее ладонь к своей щеке.

— Поговоришь с тобою — и сразу как-то становится на душе крепко. Подумаю. Это выход.— Встал и весело сказал:— Ну, пойду купаться!

Странный встречается народ среди художников. Публика читает юмориста и покатывается со смеху, а сам он угрюм и в жизни никогда не смеется. С самою искреннею ненавистью писатель громит мещанство, а сам не живет как мещанин только потому, что живет как владетельный принц. Смеясь, умиляясь, любя, ненавидя, художник в творчестве своем искренне и сильно переживает соответственные чувства. А в жизни проявляет их очень мало. И в творчестве его нет никакой фальши. Этим он в корне отличается от художников неискренних, приноравливающихся, чувствующих про себя одно, а выражающих другое. Таких художников читатель раскусывает скоро и не стоит перед их биографией в недоумении, как перед биографией, например, Некрасова, Достоевского или Гейне.

Творчество Леонида Александровича дышало мужеством и благоговейною, чисто религиозною любовью к жизни. Но сам он был к жизни мрачно равнодушен, она не зажигала его, в будущем он опасливо ждал от нее самого плохого. Был косен и неактивен. В углах губ его красивого лица всегда лежала угрюмая складка. И часто Люся говорила ему:

— Леня, Леня, почему у тебя всегда такое нерадостное лицо? Да оглянись вокруг, погляди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг какому-нибудь там верховному существу взбредет в голову мысль устроить суд над людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было дано в жизни так много, а как ты к этому относился? Ничего не замечал». И даст оно тебе подзатыльник, и ты кувырком полетишь в бездну скуки, ничтожества и равнодушия. И поделом тебе будет!

Сама несчастная, кругом обделенная жизнью, Люся была подлинною музою Леонида Александровича, вдохновлявшею его на бодрость и радость.

У Люси стали сильно разбаливаться зубы. В начале августа она поехала в Москву к зубному врачу. На обратном пути полил дождь с холодным ветром. Она

вышла из машины продрогшая, бледная. Леонид Александрович заботливо спросил:

— Ну, что?

— Еще беда! И без того своих зубов почти уже нет, а тут: три зуба вырвать, две коронки, протез... Совсем хочет опустошить мой рот. И сам говорит: «Уж не знаю, на чем мне прикрепить протез». Господи, что же это!.. Ну, да ничего!

Но в потускневших глазах Леонид Александрович прочел отчаяние. Она прошла к себе, попросив прийти Анну Павловну. Начиналась жестокая мигрень.

Весь день она мучилась несказанно. Анна Павловна клала ей на голову горячие компрессы, поддерживала лоб при мучительных позывах на рвоту. К вечеру Люся заснула. К ночи позвала Леонида Александровича.

Лежала успокоенная, с ласковым, измученным лицом. Он тихо целовал ее худые руки.

— Трудно тебе, бедная моя!

— Ну, бедная! Сейчас ничего. Вот утром — да! Пала духом. Тогда стала бедная. А это — самое страшное преступление, какое только можно себе представить,— пасть духом. Тогда убивается все, и право жить на свете остается только за счастливчиками.

Он продолжал целовать ее пальцы, а сам думал: «Как может она жить в этих непрерывных бедах? Я бы уж давно покончил с собою».

Большие, черные глаза Люси засветились. Она говорила мечтательно:

— Ты сказал: трудно. Мне недавно пришло в голову: трудно, когда человек думает о будущем или прошедшем. А без этого жить всегда можно. Как все живое, кроме человека,— не заглядывать в будущее, не вздыхать о прошедшем. Как это у Тютчева? Погоди.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет;
И страх кончины неизбежной
Не свеет с ветки ни листа.
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Леонид Александрович думал: «Она настойчиво вырабатывает для себя особую, свою философию преодоления страданья».

Люся говорила:

— Вот я спрашиваю себя: ну, если не думать о прошедшем и будущем, чем мне сейчас плохо? Зубы не болят, голова прошла, на душе тихо, в спальне моей так уютно, в окно смотрит Юпитер... И ты возле меня... О, моя дорогая рука!

Она гладила его руку, сиявшими любовью глазами смотрела на него и вдруг сказала:

— Ничего, что ты в жизни такой нытик. Ты все-таки будешь творцом советского архитектурного стиля, от которого радостно улыбнется весь мир... Да, да!

Веселым солнечным утром Люся рыхлила в цветнике землю вокруг тубероз и подвязывала к палочкам их вытянувшиеся, пышно зацветавшие головки. Вышел из дома Леонид Александрович.

— Я сейчас еду в Москву. Нужно тебе там что-нибудь?

— Ой, как хорошо! Нужно очень. Сейчас, когда я вот здесь смотрела с обрыва на заречные дали, мне вдруг вспомнилась одна наша факультетская лекция о Демокрите, греческом философе. Особенно одно его изумительное слово — euthymia. И захотелось хорошо познакомиться с ним. Пожалуйста, поищи его у вас в библиотеке или еще где-нибудь и привези сегодня же.

Леонид Александрович неохотно возразил:

— Как же его искать?

— Только не говори себе с самого начала, что это невозможно. Если не на русском, то, наверно, на немецком найдется перевод дошедших до нас его отрывков. Только чтобы в подлиннике, а не в пересказе ученого тупицы. В университетской фундаментальной библиотеке, наверно, найдется.

Необходимость всякого энергичного действия вызывала у Леонида Александровича тоску. Люся внимательно посмотрела на него и настойчиво сказала:

— Леня, преодолей себя. Мне очень нужно. Ну как при желании не найти,— где? В Москве!

Он ответил с сомнением в голосе:

— Постараюсь.

Оказалось, найти было совсем нетрудно. Как раз только что вышло в русском переводе издание всех отрывков Демокрита, и Леонид Александрович с торжеством привез купленную книжку.

Люся с жадностью сейчас же принялась читать. Читала до вечера и сердилась, когда ее отрывали. К ужину она вышла с прочитанною уже книжкою. Люся обладала редкою способностью очень быстро читать и усваивать прочитанное.

Ужинали на застекленной террасе. Была половина сентября, но стояла такая теплынь, что все рамы были отодвинуты и теплые волны аромата тубероз плыли с цветника на террасу. Небо непрерывно дрожало тусклыми взблесками. Голубоватые зарницы перебегали с тучки на тучку, на миг выделяя их темные силуэты. Вся природа как будто была полна смутной нервной тревоги.

Огромные черные глаза Люси блестели, лицо было необычно оживленно. Как будто большим праздником была охвачена душа.

Она сказала:

— Ну, молодежь, слушайте и вы. Может быть, и вам будет интересно.

Дрожащими от волнения пальцами она перебирала по закладкам листы.

— Вот! Во-первых: огромный, всеобъемлющий гений. Путем почти одной интуиции он строит миропонимание, которое только через десятки веков было подтверждено наукой. Вы только послушайте! Все вещество состоит из атомов. Миров бесчисленное множество. Ничего не возникает из ничего. Люди явились на свет подобно червякам, без всякого творца и без всякого разумного основания. Борьба за существование научила людей всему. Ощущения и мысли — только изменения тела... Это все он говорил больше двух тысяч лет назад! — в восторге воскликнула Люся.

Леонид Александрович мягко положил руку на ее локоть.

— Люся, не так страстно! Разволнуешься — не будешь спать ночь.

Она сердито сверкнула глазами.

— Господи! Знаешь ли ты хоть какую-нибудь радость, из-за которой не побоялся бы бессонной ночи!

И продолжала говорить. Она горела, глаза светились жарким, как будто собственным светом. Вся она была в полном упоении от встречи с великим умом эллинской древности.

Леонид Александрович думал: да, радости такого размаха, какую сейчас переживает Люся, сам он, может быть, никогда в своей жизни не знавал. Даже самый яркий подъем вдохновения мутнел у него от мысли: «Не одолею, ничего не выйдет!» И удивительно, как из всего вокруг она умеет извлекать радость — из большого и малого. Симфония Бетховена и писк зверюшки в ночном болоте, великий человеческий подвиг и земляника со сливками,— ото всего она в восторге, обо всем: «Ой, как хорошо!»

Люся продолжала:

— В этой же книжке приведено: Сенека называл Демокрита «самым тонким из древних». А кто его у нас сейчас знает? Никто. Теперь вот! Самое главное. Слушайте. В чем высшее благо? Важно только одно: «euthymia». «Eu» по-гречески значит «хорошо», «thymos» — «дух». Переводчик в этой книжке переводит: «хорошее расположение духа». Хорошее расположение духа!.. Человек вкусно пообедал, закурил сигару, прихлебывает кофе — вот хорошее расположение духа. Но как перевести? «Прекраснодушие», «благодушие»... Это все у нас уже с совершенно определившимся значением. Нужно какое-то особенное слово. По-моему, вот какое: «радостнодушие». Слушайте же!

Леонид Александрович обеспокоенно переглядывался с Анной Павловной. Подъем даже для Люси был совершенно необычный, внутреннее пламя как будто сжигало ее. Но останавливать ее было бесполезно — только сердить.

Люся читала по книге:

— «Цель — радостнодушие. Оно не тождественно с удовольствием, как некоторые по непонятливости своей истолковали, но такое состояние, при котором душа живет бодро и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни боязнью демонов, ни каким-либо другим страданием». Демокрит называет такое состояние также бесстрашием и счастьем... Вот! Правда, замечательно?

— Замечательно! — отозвался Леонид Александрович. Анна Павловна сочувственно кивнула головой. Молодежь неопределенно промычала. Она осталась глубоко равнодушной. Миропонимание Демокрита было для них банальнейшими аксиомами, а «радостнодушия» у них самих было столько, что проповедание его казалось странным. Они с недоумением смотрели на восторженное оживление Люси. Поговорили, сколько требовала вежливость. Ира переглянулась с Борисом и Валей.

— Какая ночь замечательная! Пойдемте, ребята, пройдемся к реке!

— Пошли!

Шумно разговаривая, они скрылись в тревожно сверкавшей зарницами тьме.

Люся с любовною улыбкою перелистывала книгу. Она сказала усталым голосом:

— Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданьями — вот счастье! Леня, дорогой мой, как бы я хотела, чтобы ты почувствовал, сколько в этом счастья! А ты все измысливаешь себе каких-то «демонов»! Ой, как я боюсь: вдруг эти демоны прокрадутся и в твое творчество!..

Вдруг она замолчала. Глаза взглянули растерянно. Еще более побледневшее лицо склонилось на плечо. Книга упала. И Люся всем телом заскользила с кресла на пол.

Борис мчался в машине Леонида Александровича в Москву за профессором Багадуровым, всегда лечившим Люсю.

Догоравший костер вспыхнул последним ярким светом и теперь чуть тлел, угасая.

Люся быстро приближалась к смерти. Она стала малоразговорчива. Все силы ее были устремлены на преодоление темных волн, набегавших на душу, на смотрение поверх этих волн, в широкую даль, где она хотела видеть блеск и свет. Однажды она сказала мужу:

— А знаешь, Леня, в смерти определенно есть какая-то скрытая радостность. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!

Леонид Александрович хотел переехать с нею в Москву. Но она упорно отказывалась.

— Довольно лечений и курортов. Ничего мне уж не поможет, а я хочу видеть желтеющие березы, сверкающие в воздухе паутинки, трепеты воробьиной ночи.

С каждым днем она все больше худела и слабела. Малокровие быстро усиливалось. В ушах стоял непрерывный, очень тягостный звон.

Леонид Александрович, низко опустив голову, сидел возле ее постели. Дождь хлестал в окна, небо было серое, ветки ясеня бились под ветром, бросая желтые листья в воздух, полный брызг. Люся лежала вытянувшись, с закрытыми глазами, и тихим голосом говорила, как будто сама с собою:

— Какой странный звон в ушах! Как будто тысяча кузнечиков стрекочет кругом. Вспоминается детство, наше Опасово, залитый июльским солнцем большой наш сад.

А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колеблясь, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон!..

А потом вечер. От нагретого за день каменного крыльца дышит теплом. Падает роса. И задумчиво трещат сверчки... Как хорошо!

## 17

## КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

Человеческая психология — это чистейшая фантастика. Я человек абсолютно неверующий. Зачем бы мне перед вами притворяться? Чего бы стыдиться, если бы я верил? Но — я абсолютно не верю. Однако вырос в религиозной семье.

Вы знаете, у меня туберкулез легких. Жесточайший. Правого легкого совсем уже нет. Легочные кровотечения бывают ужасные. Не кровохаркания, а именно кровотечения, когда кровь хлещет из гортани, как из полной лейки, когда захлебываешься кровью,

Однажды это случилось со мною в чужом городе, где я был проездом по делам службы. Лежал в номеришке гостиницы. Мрачный, толстый доктор в непротертых очках прописал лед, морфий — все, что полагается, и уехал. Лежу один. Рядом на полу — таз, полный черными кровяными печенками, кровь бьет ключом. Взяло меня отчаяние. Надвигающаяся смерть, одиночество, равнодушные люди, грязный номер, дико освещенный жарким заходящим солнцем. Хотелось ласки, утешения, грустного благословения материнского. Я медленно перекрестился. И представьте себе: случайность, конечно, а может быть, морфий подействовал, но кровотечение стало затихать и вскоре совсем прекратилось!

После этого еще несколько раз было то же: начинается — перекрестишься, и остановится. Ну, тут уж более понятно: вера как в уже испытанное средство. Но все-таки курьезный случай, правда?

## 18

## В ПРИЕМНОЙ

В приемной секретаря Боржомского райкома сидела молодая, красивая грузинка. У нее было тупо-покорное, страдающее лицо. Такие лица бывают у женщин, сильно задавленных жизнью, привыкших принимать несчастия как обязательный, постоянный груз, совершенно неизбежный. Была она одета очень бедно, к загорелым ногам привязаны были тесемками подошвы от резиновых калош, без задков и с рваными передками. Ребенок месяцев девяти, страшно худой, с большою головою и огромными черными глазами, нетерпеливо и требовательно сосал ее тощую грудь. Около женщины сидело на стульях еще четверо ребят мал мала меньше, тоже одетых очень бедно. Женщина была так молода,— я спросил с изумлением:

— Это всё ваши дети?

Красивое лицо озарилось чудесной, застенчивой улыбкой, и, вся засветившись, она с тайной гордостью ответила:

— Мои.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать три.

На плохом русском языке, все время подыскивая слова, женщина рассказала: она вдова, потеряла все шесть хлебных карточек, а до нового месяца еще девять дней. Пришла просить секретаря райкома помочь ей — распорядиться выдать новые карточки. Видимо, для убедительности просьбы привела с собою всю свою ребячью команду.

— А что с вашим ребенком? Болен он?

— Шесть недель уж понос.

Младенец отвалился от груди, ничего из нее не получая. Мать отдала его старшей девочке. Та стала ходить с ним по приемной и коридору. Двухлетний мальчик все время стоял возле матери и ревниво поглядывал на сосущего братишку. Как только мать отдала его, мальчик, пыхтя, поспешно взобрался к ней на колени. Опять лицо женщины мгновенно осветилось теплым внутренним светом. Она прижала к себе мальчика и тылом большого пальца заботливо утерла ему нос. Скоро ясный свет в лице погас, как осенняя заря, и оно опять застыло в покорно-тупом безразличии.

Удивительно было видеть, какие все четверо ребят, кроме младшего, здоровые и крепкие, какие у всех блестящие, веселые глаза. Тут, конечно, целиком была заслуга этой женщины, понуро сидевшей на стуле.

В коридоре раздался заливистый смех трехлетней девочки, нестесняющийся, звонкий. Ее чем-то смешила старшая сестра, и она закатывалась смехом, тем смехом, от которого всем хочется улыбаться и радоваться на красоту жизни. Новое материнское сияние вспыхнуло на лице женщины. Она слушала и улыбалась.

Я с глубоким почтением смотрел на нее. В тяжелейших условиях жизни, с трудом невообразимым, сумела же она победоносно вырастить эту здоровую, жизнерадостную стайку. Сумеет, может быть, спасти и больного младшего ребенка, потому что неодолимо сильна она самым главным — силою и радостью материнской любви, неуклонно ведущею ее через все колючие заросли жизни.

## 19
## ТРУСИХА

И наконец — вдруг по улице дачного поселка пронесся на велосипеде мальчик, трубя воздушную тревогу. Уже две недели все со страхом ждали этого. Вдали загрохотали зенитки, над лесом засверкали их взрывы, по темному небу стали шарить голубые лучи прожекторов, и зловещие гулы потянулись в облаках к Москве. Это в первый раз германские самолеты появились над поселком.

В даче была суета. Люди метались, торопливо одевали детей, хватали чемоданы.

— Скорее, в щель!

— Ой, господи, что же это! Сейчас бомбы на нас посыпятся!

— Что брать с собой?

— Да ведь все уж приготовлено. Вот чемоданы с самым необходимым. Нельзя, господа хорошие, так теряться.

Центром суеты и панического испуга была Ольга Сергеевна. Она металась по комнатам, рыдала, бессмысленно хватала первые попавшиеся вещи. Домработница и маленькие дети, глядя на нее, начинали испуганно плакать.

— О господи! Сейчас на нас бомба упадет, что делать? Костенька, что делать, что с нами будет?

Она уцепилась за плечо мужа, припала к нему, дрожала и рыдала.

Муж, Константин Александрович, сказал нетерпеливо:

— Да ну, Оля, перестань! Как не стыдно!.. Идем в бомбоубежище.

Он взял под руку Ольгу Сергеевну, другою поднял чемодан и повел жену на огород. Там за ореховым кустом была вырыта «щель» — крытое бревнами и сверху засыпанное землею коридорообразное убежище со скамейками вдоль стен.

Набралось человек двенадцать. Подростки выскакивали наружу, высматривая аэропланы, взрослые кричали на них, чтоб воротились. Ольга Сергеевна с безумными глазами продолжала рыдать, ухватившись за плечо мужа.

— А вдруг бомба упадет прямо на крышу убежища!
— Ну, так уж прямо на крышу и упадет!.. Да и не пробьет потолка, бревна толстые.
— Неправда, ты меня только утешаешь! Бомба пробивает насквозь даже пятиэтажные дома, я знаю.
Люба, сестра Ольги Сергеевны, с негодованием сказала:
— Это просто позор! Ты бы хоть детей постыдилась!
Ольга Сергеевна лежала без сознания. Вдруг вздрогнула и подняла голову.
— Что это там?!
— Ну что? Опять зенитки застреляли.
— Нет, это бомбы рвутся! Боже мой, боже мой! Все мы погибли!
Глядя на эту откровенную трусость, все остальные стали успокаиваться. Все новые самолеты с гулом неслись к Москве. Зенитки стреляли. Но теперь это было уж не так страшно. Ясно было, что не станут самолеты тратить бомбы на какой-то поселок. Только Ольга Сергеевна непрерывно всхлипывала и с блуждающими глазами прислушивалась к тому, что делалось снаружи.
Прошел час. Зенитки замолчали. Гулы вверху прекратились. Но тревогу еще не отменяли, и голубые лучи продолжали испытующе обшаривать облака, скользя по ним светящимися пятнами.
После пережитых волнений все были нервно оживлены. Болтали, смеялись. Понемногу успокоилась и Ольга Сергеевна. Люба сказала:
— Ну, как, Оля, не стыдно быть такою трусихою!
— Ну да, я трусиха. Что же мне делать? Очень большая трусиха, прямо говорю.
Константин Александрович сидел, обняв ее за талию. Ему было стыдно за жену и больно. Любовно гладя Ольгу Сергеевну по волосам, он сказал:
— Да, трусиха невозможная! Просто позор и срам! Но вы знаете? Эта самая трусиха в восемнадцатом году одна обезоружила пьяного махновца, который хотел меня застрелить. И только ей я обязан жизнью.
— Как это?! Вот чудеса!

— А вот как... Я был тогда прапорщиком. Армия уж совершенно развалилась. Я вместе с Олей возвращался с турецкой границы через Украйну домой. Вагон был битком набит. Сидел пьяный махновец и ворочал озорными, свирепыми глазами. Жутко было смотреть на него, жутко было видеть, как он себя здесь чувствует полным властелином, перед которым все трепещут. Ехала молодая девушка-гимназистка. Он стал к ней приставать — цинично, нагло. Обнял за талию, потянулся поцеловать. Никто в вагоне не двигался, никто ему ничего не смел сказать. Я решительно обратился к нему: «Послушайте, как вам не стыдно приставать к беззащитной девушке? Оставьте ее в покое!» Он онемел от изумления, с минуту молча оглядывал меня мутными, тупо-грозными глазами. Потом сказал: «Ах, ты, офицерская харя! Не всех вас еще, видно, перестреляли!» И, не спеша, вынул из кобуры наган. Все замерли и не шевелились. Эта подлая трусость, когда несколько десятков человек бездейственно дрожат перед одним наглецом. Ясно было — конец мне. Вдруг я услышал пронзительный вопль. Оля, как взбесившаяся кошка, ринулась на махновца, прямо под наведенный на меня револьвер, охватила его вокруг плеч. «Отдай, отдай револьвер! С ума ты сошел! Сейчас же отдай! Не смей!» Вырвала револьвер и выбросила в окно. Махновец ошалело глядел на Олю, пробормотал: «Ишь, какая!» А она теребила его и кричала: «Вставай, иди в другой вагон! Нечего тебе тут делать! Ну, пошевеливайся! Живо!» Он, удивленно полусмеясь, поднялся. Оля подталкивала его сзади в плечо, он немножко упирался, однако шел. И вышел из вагона. Она крепко захлопнула за ним дверь. Тогда весь вагон захохотал. А Оля забилась в истерике.

## 20

## СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ БОЖЕСТВА

Чернобровый красавец с густыми, совершенно седыми волосами и такою же остренькою бородкою, с молодым блеском глаз и звучным голосом. Мстислав Александрович Цявловский. Специалист по Пушкину.

Пушкинистам всем известно, что Цявловский в Москве — и еще Б. Л. Модзалевский в Ленинграде — знают о Пушкине *все*. Чего они не знают, того уже никто не знает. Огромная библиотека Цявловского содержит в себе все, что хоть в отдаленной степени касается Пушкина. Стены его маленькой квартиры в Новоконюшенном переулке близ Плющихи сплошь заставлены книжными полками. Полки в коридоре, в передней, над каждою дверью до потолка. Все свои заработки он тратит на книги. Замечательно его отношение к книгам. Любой исследователь или любитель может у него получить любую нужную ему книгу. Отношение совершенно необычное для специалиста. При нашей некультурности, при нашем возмутительном отношении к чужим книгам всякий специалист бережет свою библиотеку так, как, например, покойный ленинградский литературовед С. А. Венгеров. Однажды приехал к нему академик Д. Н. Овсянико-Куликовский и попросил какую-то книгу.

— Мне ее надо на недельку-другую, не больше.

Венгеров изумился.

— Как?! Вы хотите взять ее к себе на дом?

— Ну да.

— Дмитрий Николаевич! Подумайте: вы вот поедете домой на извозчике и вдруг выроните книгу! Ведь ее теперь нигде не купишь. Извините меня: вот комната, пожалуйста, работайте в ней, сколько угодно. Но как я могу дать книгу на дом!

Цявловский никому не отказывал в книге. И сколько у него из-за этого пропало ценнейших книг! Но он продолжал давать: может быть, человек создаст что-нибудь ценное — как ему не помочь?

Любовь его к Пушкину была трогательно-бескорыстна. Совершенно не было у него обычного исследовательского эгоизма и ревнивости, что вот это *я* открыл и как бы у меня кто-нибудь не перебил. Всякому открытию другого исследователя он радовался совсем так, как своему собственному.

Был у меня с ним такой случай. Прихожу к нему. Он, потирая лоб, говорит:

— Никак не могу выяснить, кто такая Нина Воронская, о которой Пушкин упоминает в восьмой главе «Онегина». Вы помните, как он пишет про Татьяну:

Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы,
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

В выпущенной строфе Пушкин так описывает ее:

Неслышно в залу Нина входит,
Остановилась у дверей,
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева,
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

Это, несомненно, живое лицо, как многие второстепенные персонажи в «Онегине». Но кто такая?

В тот же вечер, дома, открыл я академическое издание писем Пушкина под редакцией Саитова. В нем помещены и все письма к Пушкину. И попалось мне письмо кн. Вяземского, где он пишет Пушкину: «Мое почтение княгине Нине. Да смотри, непременно, а не то ты из ревности и не передашь». Что за княгиня Нина? Такой любви у Пушкина не было. И вдруг меня осенило: да это же княгиня Нина из поэмы Баратынского «Бал»! А в этой поэме Баратынский вывел под таким именем А. Ф. Закревскую. Совершенно очевидно, что в своем письме Вяземский разумеет Закревскую, которою Пушкин как раз в то время сильно увлекался. А в таком случае — не Закревскую ли выводит и Пушкин в «Онегине» под этим же именем? «Мраморная краса», соблазнительный наряд Нины всего более подходят именно к Закревской. И кого с большим правом можно было назвать Клеопатрою, как не бешенострастную и порочную Закревскую — «беззаконную комету в кругу расчисленном светил»?

На следующий день пошел я к Цявловскому.

— Ну, Мстислав Александрович, а ведь я нашел, кто такая Нина Воронская!

Он так и взвился.

— Кто? Кто?

Я все рассказал. Он упоенно слушал и восклицал:

— Да!.. Да!.. Совершенно верно!.. Замечательно!..

А когда я кончил, в восторге воскликнул:

— Сегодня же напишу Модзалевскому: «А ну-ка, знаете ли вы в Ленинграде, кто такая княгиня Нина в письме Вяземского? Кто Нина Воронская в «Онегине»? А мы в Москве знаем!» За-ме-ча-тель-но!..

Я представил себе других знакомых пушкинистов. О, с какою кислою улыбкою выслушали бы они мое сообщение, с каким своекорыстным негодованием подумали бы:

«Ишь подлец! Перебил у меня тему! Нужно вперед быть с ним поосторожнее!»

Жену Цявловского мне редко приходилось видеть. Она обычно сидела в боковой комнате, к посетителям мужа не выходила и, кажется, мало интересовалась тем, чем он жил. Была очень религиозна, в этой области, по-видимому, жила глубоко и сильно. Писатель Г. И. Чулков, сам верующий, отзывался о ней с большим уважением. За работой Цявловский иногда кликал жену и отрывисто, грубовато бросал:

— Дай еще чаю!

Он, впрочем, вообще был грубоват, и многие на него обижались. У меня было впечатление, что муж и жена давно стали совершенно чужими друг другу и жили вместе, как многие, только потому, что разойтись — легче сказать, чем сделать. Был у них сын Андрей, студент института восточных языков, талантливый юноша. Однажды жарким летом, купаясь, он утонул в Москве-реке. Это было страшным ударом для родителей. Мстислав Александрович плакал по ночам, но, весь живя в своей работе, вскоре оправился. Жену же его этот удар совершенно сразил. Она стала еще религиознее, все время ходила по церквам и через год-другой умерла.

Очень скоро Мстислав Александрович женился на другой — Татьяне Григорьевне Зенгер. Стройная красавица с медлительными движениями, ученица Цявловского, сама пушкинистка. Нет сомнения, что полюбили они друг друга много раньше. Теперь большой письменный стол в кабинете Цявловского был приспособлен для работы с обеих сторон. На одной стороне сидел Мстислав Александрович, на другой — Татьяна Гри-

горьевна. Радостно было глядеть на их дружную жизнь и товарищескую совместную работу. Татьяна Григорьевна во многом исполняла работу Мстислава Александровича, деятельно помогала ему справками и подготовительным собиранием материала. Сама была хорошая пушкинистка. Между прочим, чуть ли не лучше всех умела разбирать в рукописях Пушкина его черновой, очень неразборчивый почерк. Печатала и свои собственные статьи. И в Пушкина была влюблена так же восторженно и благоговейно, как Цявловский.

Однажды зашел я к ним и застал обоих в сильнейшем волнении. Цявловский сейчас же стал рассказывать:

— Замечательное открытие! Найден дневник Пушкина в тысячу страниц!

В Стамбуле, сообщил он, живет одна из внучек Пушкина. Дневник у нее. Она написала в Париж Онегину-Отто с предложением купить дневник. Этот Онегин-Отто был владельцем музея со многими неопубликованными рукописями Пушкина, полученными им от наследников Жуковского. К рукописям он никого не подпускал и опубликовывать их отказывался. С трудом разрешил Б. Л. Модзалевскому сделать их поверхностное описание, ничего не цитируя. Отвратительный тип коллекционера-скряги, собирателя для эгоистического самоуслаждения, «собаки на сене». В конце концов он очень выгодно продал свой музей нашей Академии наук с правом ее получить музей после смерти владельца. В настоящее время музей уже у нас и, конечно, целиком использован.

Онегин-Отто командировал в Стамбул одного молодого пушкиниста, незадолго перед тем эмигрировавшего из Советского Союза. Ознакомившись с дневником, пушкинист этот написал кому-то в Берлин, что дневник ставит вверх дном всю биографию Пушкина. А внучке Пушкина сказал:

— Плюньте вы на этого старикашку. Давайте сами с вами опубликуем дневник.

Возмущенная внучка написала об этом Онегину.

Цявловский, весь кипя, восклицал:

— Дневник в тысячу страниц!.. Вот уже три дня мы с Танею не спим ночей, все говорим: что, если это правда?

И Татьяна Григорьевна, перебивая его:

— В тысячу страниц! Вы представляете себе, какое это событие! «Вверх дном вся биография Пушкина»!

— Пишу в Академию наук,— говорил Цявловский,—чтобы она побудила наше правительство за какую бы то ни было цену приобрести дневник. Попадет к Онегину, он его похоронит в своем музее, как те пушкинские рукописи, которые он у себя держит. Тут за ценою нельзя стоять — вещь совершенно бесценная.

Сообщение, однако, не подтвердилось. История вообще темная. В ней, по-видимому, сплелись и авантюризм, и попытки шантажа, и психическая ненормальность различных лиц, причастных к этой истории.

Другой раз пришел ко мне Цявловский, взволнованный, кипящий, как всегда, и рассказал, что найдена подлинная рукопись стихотворения Пушкина «Красавица», до тех пор известного только по печатному тексту. Он выложил передо мною листок.

— Вот!.. Вы понимаете, сам Пушкин писал! Его перо ходило по этой бумаге!

Листок был из хорошей, плотной бумаги с золотым обрезом на трех сторонах. Видимо, листок был вырезан из альбома. Четырнадцать стихов было на одной стороне, остальные два и подпись: «А. П — н» — на обратной.

— И просит владелец всего двести рублей. Эх, были бы деньги, купил бы! Оправил бы с обеих сторон в стекло и повесил бы на стенку! В будни висело бы с двумя последними стихами, а в праздники поворачивал бы всем текстом!

Я небольшой любитель всяческих реликвий. Но у меня как раз были в то время свободные деньги, и я купил листок с таким намерением: когда будет какой-нибудь юбилей Цявловского, оправлю листок в стекло с обеих сторон, как он мечтает, и поднесу ему. Пусть повесит у себя на стенку и молится.

Цявловский не был человеком широких тем и творчества. Он был страстно влюбленным в дело собирателем фактов. <...> Казалось бы, для всякого исследователя является естественною и неодолимою потребностью обобщить имеющиеся в его распоряжении факты, сколько бы их ни было; придут новые факты — он

исправит обобщения. Цявловский, обладавший исчерпывающим знанием фактов, такой потребности не имел. <...>. Характерно, что он, сколько я знаю, даже не пытался, например, написать биографию Пушкина.

Покойный пушкинист М. О. Гершензон с удивлением говаривал:

— Я сам горячо люблю Пушкина. Но не в силах понять, как могут интересовать Цявловского такие темы, как «Пушкин и гусары», или то, какая была у Пушкина шляпа.

Я в то время составлял мою книгу «Пушкин в жизни» — свод материалов, всесторонне касающихся бытовой жизни Пушкина. По задачам книги меня интересовала и всякая мелочь, касавшаяся его,— и его знакомцы — гусары, и его шляпа. Огромную здесь помощь мне оказывал Цявловский. А он удовлетворенно говорил:

— Наконец я имею дело с человеком, которого интересует и всякая, самая ничтожная, мелочь, касающаяся Пушкина!

Образовался у нас в Москве кружок любителей Пушкина. В него входили Цявловский с женою, Ю. Н. Верховский, Л. П. Гроссман, И. А. Новиков, Г. И. Чулков, я, артисты Художественного театра Л. М. Леонидов и В. В. Лужский. Через каждые две недели мы собирались и — читали «Евгения Онегина». В течение двух лет мы успели прочесть всего три главы.

Меж ними все рождало споры...

Тип Онегина. Меняющееся отношение к нему автора по мере развития романа. Значение эпиграфов над главами. Вообще роль эпиграфов у Пушкина, так отличающаяся от роли эпиграфов, например, у Вальтера Скотта или Стендаля. Выброшенные Пушкиным строфы. Всевозможные мелочи, на которые мы наталкивались при чтении, например: «Онегин был... ученый малый, но (?) педант (?)». Какой педантизм в том, чтобы касаться всего слегка и с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре? Почему *«взвившись* занавес шумит», а не «взвиваясь»? Иногда на обсуждение одной строфы уходил целый вечер.

Цявловский в этом кружке стоит в моей памяти как неистовый священнослужитель великого и без-

грешного божества, как блюститель безусловного поклонения Пушкину. Всякое слово критики его возмущало. Он прямо заявлял:

— У Пушкина все хорошо!

Как знающий о Пушкине все, он много сообщал нам интересного. Горел во всем, что говорил, и это покоряло. Однажды собралось у меня несколько знакомых, это не было собранием нашего кружка. За ужином Цявловский почти час говорил о найденном им ex libris на одной книге восемнадцатого столетия, и узенькой темой этой сумел захватить людей, даже совершенно такими вещами не интересовавшихся, как К. А. Тренев, М. А. Булгаков, да и я.

Был вечер в Политехническом музее, посвященный какой-то годовщине Пушкина. Выступали, между прочим, Цявловский и еще один пушкиновед из откровенно подлаживающихся, без колебания менявший свои взгляды на Пушкина в зависимости от того, в каком направлении, по его мнению, дул ветер: то он видел значение Пушкина в отражении психологии разорившегося старинного дворянина, переходящего на позиции мещанина, то готов был лакировать Пушкина чуть не под коммуниста. И Цявловский, и этот другой говорили на вечере о Пушкине в декабрьском движении. Цявловский говорил, что подпольные стихи Пушкина сыграли огромную роль в формировании революционных настроений декабристов, но самого Пушкина заговорщики считали слишком легкомысленным и не подпускали его близко к тайному обществу. Другой докладчик утверждал, что Пушкин был чуть ли не первым лицом в тайном обществе. Поднялся вузовец и сказал, что их очень смущает такое разногласие докладчиков и они желали бы знать, кто из двоих прав. Цявловский быстро поднялся и звучным своим голосом объявил под общий хохот:

— Отвечу вам по чистой совести. *Прав — я!*

В житейских делах он был совершенный младенец. Никогда не заговаривал сам о гонораре за статью, за консультацию, и довольствовался тем, что давали. Работал по двенадцать, по четырнадцать часов в сутки. При характере его нетворческой работы это было возможно, но на здоровье действовало разрушающе. Он никогда не гулял.

— Какого черта я буду ходить по улицам без дела?

Предпочитал возвращаться домой не пешком. Соберутся у него — курят, пьют вино, спорят, и это было для него отдыхом. С каждым месяцем он изменялся, лицо становилось одутловатым. Когда уж очень плохо становилось, уезжал на месяц в дом отдыха. В 1940 году его хватил легкий удар. Через два-три месяца оправился, но это было серьезным предостережением. Однако продолжал вести прежний образ жизни.

## 21

## МЕСТЬ

Виталий Болховитинов, красавец офицер. Огненные черные глаза и тонкие, злые губы. Совсем лермонтовский демон. Ему в городе и было прозвание «Демон». Городские дамы нарасхват покупали у фотографа его карточки. Романов у него было множество. Он всегда дирижировал на балах, умел выдумывать в котильоне самые замысловатые и смешные фигуры.

Приехал в город вновь назначенный управляющий акцизным округом. Его дочь Лара с первого же появления на балу стала бессменною царицею балов. Красавица с большими, невинными глазами и золотистыми волосами. Виталий постоянно танцевал с нею. Когда они с Ларой неслись в первой паре по блестящему паркету в урагане мазурки, то казалось, что лермонтовские демон и ангел помирились и в упоенном единении несутся в пространствах мира. И, как всегда при большой красоте, у всех появлялась легкая грусть: какая может быть в жизни красота, и как мало в ней красоты!

Через полгода Виталий и Лара поженились, как будто для семейной жизни самое главное — уметь хорошо танцевать.

Медовый месяц кончился. Насытившийся Виталий с изумлением спрашивал себя: на какого черта он пожертвовал своею свободою? Лара часто втихомолку плакала.

Началась японская война. Виталий со своею частью ушел на фронт. Он оказался очень храбрым офицером.

При штурме укрепленной деревни, идя впереди своей роты, Виталий был тяжело ранен: японская шимоза оторвала ему ногу и сильно контузила. Он воротился домой хромой, с искусственной ногой, сильно подурневший, с болезненно-желтым цветом лица, очень нервный и раздражительный, украшенный орденом Владимира с мечами и бантом.

Во внимание к боевым его заслугам, он легко получил в родном городе место в интендантстве. Оказался толковым работником и успешно продвигался на службе.

Под городом у него вместе с младшим братом Сергеем было неразделенное, довольно крупное имение. Сергей был студент, кончал Петровско-Разумовскую академию. Он вел в деревне хозяйство и постепенно выплачивал Виталию его часть. Семейство Виталия проводило лето в деревне. У Лары уже было двое детей. В отпуск и в праздники в деревню приезжал и Виталий.

Жизнь Лары была очень тяжелая. Виталий был омерзительно циничен. Самому невинному слову он умел придать что-то непристойное, и это тешило его. При гостях громогласно обращался к жене:

— Лара, убери со стола свои штаны!

Он говорил это о штанах их мальчика, которые чинила Лара.

С детьми своими охотно возился, но когда ему говорили, что он любит детей, Виталий, не стесняясь, возражал столь же громогласно:

— Вовсе я не люблю детей, а люблю то, отчего появляются дети. Это — да, это я очень люблю.

И ему нравилось, что дамы смущаются, а Лара густо краснеет. У нее в присутствии Виталия всегда было теперь ощущение какой-то нечистоты вокруг нее.

Был он очень эгоистичен, но умен и находчив, и в объяснениях с Ларой всегда умел убедительно доказать, что эгоистична она. Лара ничего ему не могла возразить и только плакала и считала себя виноватой. К хозяйству она была мало привычна и не расторопна. Опаздывала с обедом, пирог в праздник подавался невыпеченный, вдруг оказывалось, что нет вина. Виталий приходил в бешенство, кричал, стучал кулаком, осыпал Лару самыми обидными словами.

— Если вы, Лариса Александровна, полагаете, что обо всем этом должна заботиться экономка, а вы можете с утра до вечера бить баклуши, то вам следовало догадаться принести мне в приданое тысчонок двести. А вы вошли в мой дом нищею, хотя папаша ваш и был управляющим акцизным округом. Помните это!

Когда Лара, всхлипывая и утирая слезы, одиноко ходила в сумерках по липовой аллее, к ней подходил брат Виталия, Сергей, и мягко заговаривал. Постепенно у них вошло в привычку гулять вместе. Когда Сергей возвращался с полевых работ, они после ужина прохаживались по аллее сада, в лунные ночи уходили за версту в березовую рощу около мельницы.

Очень скоро прогулки их привлекли к себе насмешливое внимание прислуги и крестьян. Для них, если мужчина гуляет с женщиной, это значит, он за нею ухаживает с определенною целью. Не допускалось и мысли, что могут быть просто дружеские отношения. Сергей презрительно усмехался и считал ниже своего достоинства опускаться до всей этой грязи.

Между тем в усадьбе и на деревне уже определенно заговорили об их связи. Когда Сергей и Лара отправлялись гулять, скотница Мавра торопливо шептала Мише, старшему сыну Лары:

— Миша, Миша! Чего глядишь? Видишь, опять мамка твоя пошла с дядей гулять! Беги следом!

Миша с недоумением смотрел, страдальчески морщился и ничего не понимал.

Старая бонна-немка сочла своим долгом обратить внимание мужа на поведение Лары. Виталий спокойно выслушал ее и с достоинством ответил:

— Минна Карловна, это вас совершенно не касается. Я верю своей жене и не могу оскорблять ее подобными подозрениями. Прошу вас вперед с подобными докладами ко мне не являться. Это все гадкая неправда.

И это действительно была неправда.

Однако через полтора месяца, в теплый августовский вечер, вдруг это стало правдой — неожиданно и для Лары, и для Сергея. Была ослепительная радость. И мука. И стыд.

У Лары родился третий ребенок, девочка, с ярко-синими глазами и каштановыми волосами, совершенный портрет Сергея. Все смеялись и дивились: какая курьезная игра природы — уродилась не в отца, а в дядю. А впрочем,— что тут невозможного? Изумительного ничего нет. Однако каждый новый человек изумлялся:

— Ну, вылитый Сергей Павлович!

Лара краснела. Сергей спешил перевести разговор на другое.

Любовь их была для них сплошною мукой. Липкой паутиной опутывали ее постоянная ложь, притворство, всеобщая жадная слежка. Удивительно, до чего всех окружающих интересуют подобные отношения, до чего старательно засовывают они в них нос сколько возможно глубже. А выхода не намечалось. Материнский инстинкт у Лары был огромный, детей своих она любила самозабвенно. И она и Сергей хорошо знали, что Виталий очень зол, мстителен и самолюбив: если Лара от него уйдет, он отберет у нее детей, и она их никогда уже не увидит.

Да и без этого. Легко сказать: разойтись с мужем, сойтись и открыто жить с его братом. Это был бы для нее непрерывный позор, и сносить всеобщее презрение она чувствовала себя совершенно не в силах.

Они с мукой влачили нерадостную свою любовь.

Виталий продолжал разыгрывать из себя глубоко корректного человека, не позволяющего себе даже тени подозрения к жене. Трудно допустить, чтоб он не знал правды. Но был он очень консервативен в образе жизни и привык к установившемуся семейному укладу. Какая другая, сколько-нибудь стоящая, пойдет за него, калеку с тремя детьми? А не отдавать же детей Ларе! И он делил жену с братом, и в том, что она, все еще блестящая красавица, обязана была отдаваться ему, не любя, была для него особенная пикантность. А за создавшееся положение он мстил жене и брату, как не мог бы мстить, если бы отношения были откровенно выяснены и приведены к тому или другому концу. Он имел возможность все время играть ими, непрерывно держа в тревоге и идя по самому краю обрыва, так что у них у обоих захватывало дух: «знает!» И тогда Виталий, смеясь глазами, поворачивал от обрыва

прочь, и они опять начинали сомневаться: «знает ли?» Чистейшая достоевщина. Со стороны было вполне ясно, что он знает. Но когда люди рассматривают что-нибудь очень изблизи, то трудно дать себе правильный отчет в происходящем. Однако уже злобномстительное торжество, с которым Виталий вел разговоры с братом и женою, свидетельствовало, что ему все известно.

— Почему я все-таки каждое лето посылаю мою семью к вам в деревню? Потому, Сергей Павлович, что это имение — наше общее, и вы мне моей доли еще не выплатили. А вот почему *вы,* когда приезжаете в город, останавливаетесь у меня, этого я никак не могу понять. Я вас никогда к себе не приглашал и совершенно не думаю, чтобы вы посещали наш дом *из-за меня...*

Виталий умел мстить еще больнее, и тут он испытывал особенное наслаждение.

— Ну-ка, Машура, скажи мне, за кого ты выйдешь замуж, когда вырастешь?

Пятилетняя Машура, с темно-синими глазами и каштановыми кудрями, уверенно отвечала, довольная, что хорошо знает ответ:

— За богатого старичка.

Лара ахала. Сергей изумленно отшатывался. А Виталий покатывался со смеху.

— Почему за богатого старичка?

— Потому что он скоро умрет, и тогда у меня будет много денег, будут свои лошадки, и я могу кушать шоколада, сколько захочется.

— Правильно! Так и делай! Никогда не пожалеешь!

Лара негодующе вмешивалась:

— Машурочка, никогда так не делай. Это очень нехорошо.

— Почему нехорошо? — хохотал Виталий.— Мама с тобой шутит, Машурочка! Собственных живых лошадок иметь нехорошо! Шоколаду, сколько хочешь,— тоже нехорошо? Хорошо или нехорошо?

— Хорошо.

— Ну, вот видишь. Всегда верь твоему папе, если я твой папа. Будешь его слушать, станешь богатая, счастливая, все тебе будут завидовать... Только никог-

да не делись с другими, а то тебе самой мало останется. Станешь бедная, и ничего у тебя не будет.

Сергей молчал с страдающим лицом. Мстительный блеск в глазах Виталия обещал брату еще много подобных переживаний.

## 22

## КНЯГИНЯ

Город Пожарск. На тихой Старо-Дворянской улице — старинный барский особняк. Через забор сада над щербатым тротуаром черным сводом нависли ясени. В особняке — большие и высокие, с блестящим паркетом, зала и гостиная, низкие спальни и еще более низкие антресоли. Владелец особняка — член окружного суда Андрей Николаевич Суровцев — молчаливый старик с головою Тургенева. У него болезненная жена и две дочери. Живет у них еще сестра жены, тетя Зина, старая девушка-институтка, энергичная, заправляющая всем домом. Живут дружно, тихо и патриархально. Но трудно: жалование не такое уже большое. Однако гостей бывает много, и несколько раз в год задаются балы. Нельзя: обе дочери уж на выданьи. Красавицы, но бесприданницы.

Старшая дочь Ксения окончила гимназию с медалью, прекрасно играет на рояле. Молчаливая в отца и красавица в бабушку-грузинку. Прямая, стройная, с медленными движениями, две блестящие черные косы, изумительно правильные черты лица и на лбу — ореол девственной чистоты, который один только Рафаэль смог передать в своей Сикстинской мадонне и мадонне дель Грандука. Сестра ее Вера — в восьмом классе гимназии, хорошенькая и веселая.

На рождестве был бал. Дирижировал изящный студент-юрист Аргамаков, в этом году кончавший курс. Прекрасный французский выговор. Изысканно вежливый. Черные волосы вились мелкими кудрями. Когда он танцевал мазурку с Ксенией, все любовались ими.

Старики играли в гостиной в винт, но во время мазурки столпились в дверях залы поглядеть на веселье молодежи. Вышел из-за карт отец студента, крупный помещик Аргамаков, с такими же мелко-кудрявыми

черными волосами, но уже начинающими седеть. Была тут и его жена, худая дама с набеленным лицом, подведенными глазами и ярко накрашенными губами. В то время это совсем еще не было принято, и лицо казалось страшным, как мертвая маска. В карты не играл, а все время любовался танцующими член губернской земской управы князь Андожский, блестящий оратор и умница. Кадетская партия прочила его в члены Государственной думы от города Пожарска. Был он уже старик, с нависшим над лицом огромным лбом и выдающеюся нижнею челюстью. Как будто природа, слепив его голову, хлопнула ладонью по темени, и лоб съехал на нос, а нижняя челюсть выбежала вперед.

За ужином князь сидел рядом с Ксенией, много и умно говорил, смешил ее. Она улыбалась медленною улыбкою и молчала.

Дня через два к Суровцевым приехала мадам Аргамакова. Посидела со стариками, была очень любезна с Ксенией, пожелала поглядеть ее комнату. Восхитилась комнаткой и сообщила, что князь Андожский в совершенном восторге от Ксении, от ее ума и воспитанности. Ксения краснела и недоумевала, как имел князь возможность судить об ее уме.

Мадам Аргамакова стала рассказывать Ксении, какой хороший и умный человек князь, как он одинок и несчастен. Жена его умерла пять лет назад, нет никого, кто был ему товарищем и помощником в его ответственной работе. Уезжая, она пригласила назавтра к себе Ксению и ее сестру Веру.

Там оказался и князь. Ксения играла ему на рояле. Он много и с большим пониманием говорил о Бетховене, Григе и Скрябине. Сестры почтительно слушали, и обоим было очень скучно.

После этого мадам Аргамакова зачастила к Суровцевым. Объявила родителям, что ужасно подружилась с Ксенией, что чувствует в ней родственную душу. Сидела наедине с Ксенией в ее комнатке и все говорила о князе, об его одиночестве, о том, как несчастен этот человек, столь нужный России, будущая звезда Государственной думы.

Через три месяца князь приехал к Суровцевым, побыл сначала у Ксении, потом прошел к старикам и попросил руки их старшей дочери. Ему было заявлено,

что ответ дадут завтра. Вечером приехала мадам Аргамакова и долго говорила с родителями, потом с Ксенией. Ксении она говорила, что молодость отзывчива и способна на самопожертвование, что она совершит большой подвиг, если примет предложение князя и станет ему товарищем и помощницей.

В июле месяце весь Пожарск говорил только об одном: старый и безобразный князь Андожский женится на восемнадцатилетней красавице Ксении Суровцевой. Возмущались, говорили, что князь — сладострастник и в семье крутой деспот, повторяли слух, что его первая жена кончила самоубийством. Удивлялись, что такая чистая девушка, как Ксения, согласилась на этот брак. Видно, очень уж захотелось девочке стать княгиней.

Двадцать пятого июля была свадьба. Вечером молодые в вагоне первого класса уехали в имение князя.

В конце сентября они перебрались в город. Родители ахнули, когда увидели дочь. Она страшно исхудала, в ввалившихся глазах горело дикое страдание. Вечером, наедине с тетей Зиной, в своей бывшей комнатке на антресолях, где родители не могли снизу ее слышать, Ксения прорвалась отчаянными рыданиями.

Тетя Зина в испуге спрашивала:

— Деточка, что с тобою?

Ксения била кулаком по подушке и повторяла:

— Тетя, тетя, зачем ты мне не объяснила, что значит выйти замуж?!

Старая институтка недоумевающе раскрыла глаза.

— Не понимаю, что ты говоришь.

Ксения грозно смотрела в теткины глаза.

— Так ты... Так ты... Ты сама не знаешь, что значит выйти замуж?

Долго тетя Зина сидела над Ксенией и говорила ей:

— Как возможно, чтоб тут было что-нибудь нехорошее? Ведь и мать твоя вышла замуж за Андрея Николаевича, вот и Аргамаковы женаты, и сколько вообще почтенных людей... Что ты такое говоришь!

Ксения лежала и горько кивала головою.

Назавтра родители решительно насели на Ксению, допытываясь, что с нею случилось. Того, что она ска-

зала тете Зине, Ксения родителям не сообщила. Но рассказала, что в имении у князя живет молодая, очень красивая и румяная экономка с двухлетнею дочерью. Через неделю после приезда князь свел Ксению с экономкой и сказал, что он желал бы, чтоб они жили друг с другом, как сестры.

Андрей Николаевич, отец Ксении, очень сурово поговорил с князем. Князь сконфузился и дал слово, что экономку удалит.

Потекла жизнь в городе. Ксения больше сидела дома и жестоко скучала. Князь обычно возвращался домой в три-четыре часа ночи. Ксения рассказывала знакомым:

— Serge так занят! Каждый день заседания, комиссии. Возвращается домой только поздно ночью.

Но все, кроме Ксении, прекрасно знали, что князь засиживается в клубе за картами.

У Ксении родилась дочь, потом другая. Она вся ушла в детей, понемножку оправилась, пополнела и похорошела. Князь охотно появлялся с нею в обществе и гордился женою-красавицей. Было удивительно, что на лбу у нее, матери двух детей, все держался ореол девственности, придававший ее красоте особую чистоту и трогательность. А глаза были очень страдающие.

Одевалась она богато, ездила в деревню только в первом классе. Все насмешливо отмечали, как скоро девочка почувствовала себя «настоящей» княгиней. Но не знали, что от скромной Ксении этого требовал князь. Он не допускал мысли, чтоб его жена хоть бы два часа ехала во втором классе, где рядом с нею вдруг могла бы очутиться горничная.

Прошло шесть лет. Князь Андожский умер. О семье своей он совсем не позаботился. Оказался весь в долгах, имение было заложено-перезаложено и пошло с торгов. Ксения с двумя дочерьми осталась без всяких средств, только с маленькой пенсией от земства. Она стала жить и одеваться очень скромно, давала уроки музыки и бедность свою несла с большим достоинством. С нею вместе жила тетя Зина, заведовала хозяйством и помогала в уходе за детьми.

В одну сентябрьскую субботу, возвращаясь с урока через городской сад, Ксения зашла на уединенную

дорожку под кремлевской стеной. Листья тополей ярко желтели на глубоко-синем небе, солнце грело. На соборной колокольне медленно звонили к вечерне. На дорожке у Ксении была любимая скамейка, с трех сторон обсаженная сиренью. Тусклая черная листва кустов совершенно закрывала скамейку с боков. Ксения подошла. На скамейке, освещенные золотым светом заходящего солнца, сидели студент в серой тужурке с голубым воротником и девушка в красном берете. Они слились в крепком поцелуе, голова студента закрывала лицо девушки. Она отстранилась, Ксения увидела лицо, сверкавшее счастьем. Девушка вскрикнула. Оба вскочили и смущенно вышли мимо Ксении на дорожку.

Ксения медленно опустилась на скамейку. Даже смущенье не могло согнать с лиц ушедших сияния любви и счастья — такого счастья, какого Ксения во всю свою жизнь не знала ни одну минуту. И она задумалась о прожитой жизни.

Ксения знала: все объясняли ее замужество желанием стать княгиней. Нет, это было не так. Может быть, чуть-чуть было приятно об этом подумать, но решало не это. Мадам Аргамакова столько говорила ей о князе, о спасении его, о подвиге, что Ксения — податливая, мягкая — наконец согласилась на замужество, согласилась... не подозревая, в чем оно заключается.

И стали развертываться перед памятью Ксении угрюмые картины ее брачной жизни, заполненные величайшим поруганием женского ее достоинства. Уж сейчас же после свадьбы, в отдельном купе вагона, князь начал так ее ласкать, что она в ужасе забилась от него в угол. В усадьбе, после ужина с шампанским, Ксения легла в своей комнате. В дверь постучались. Ксения думала, что это горничная, и приветливо сказала:

— Войдите!

Вошел князь в халате и туфлях, не обращая внимания на то, что она раздетая. Ксения в негодовании воскликнула:

— Вы с ума сошли?! Уходите сейчас же!

Князь с недоумением поглядел на нее, усмехнулся и вышел.

Наутро, после кофе, князь увел Ксению к себе в кабинет и ласково, серьезно стал объяснять ей суть

супружеских отношений, Ксения была ошеломлена. Умный князь не настаивал, он благоразумно дал Ксении время освоиться с тем, что она узнала. Ну, а наконец все-таки, конечно, случилось то, что должно было случиться. И это была такая гадость, такой стыд и ужас!

Теперь, вспоминая студента с девушкой, Ксения с болью подумала, что, может быть, это не всегда гадость и ужас.

И еще вспомнилось. Это было под самый конец их «медового» пребывания в деревне, во второй половине сентября. Был ветер, холод. Князь велел протопить Ксенину спальню. Спали они отдельно. Горничная принесла две охапки дров. Ксения ахнула.

— Зачем так много? Положите десять поленьев, будет довольно.

К ночи к Ксении пришел князь и сердито спросил:

— Почему так холодно?

— Serge, посмотри на градусник, и так двадцать градусов. Я сказала, что довольно десяти поленьев.

Разразилась дикая сцена. Князь яростно топал ногами, кричал, что тут хозяин он, что он не привык, чтоб кто-нибудь отменял его приказания. Огромный его лоб как будто еще больше навис над лицом, и выдающаяся нижняя челюсть разевалась, как пасть ворвавшегося хищного зверя. Князь при Ксении распушил горничную и ушел к себе, оставив Ксению горько плачущей.

После этого, когда к Ксении должен был прийти князь, спальня ее натапливалась, как баня, выше тридцати градусов. После ужасающе бесстыдных ласк мужа Ксения оставалась в постели вся разбитая, полная отвращения, обливаясь потом, задыхаясь в невероятной духоте комнаты.

И потом еще вспомнилось. Лето Ксения обычно проводила с детьми в деревне, а князь по делам службы жил в городе. Однажды Ксении экстренно пришлось приехать в город за лекарством для заболевшей девочки. В первом часу ночи она позвонилась в квартиру. За дверью раздался кокетливый голос:

— Князь, вы?

Дверь распахнулась, и Ксения увидела хорошенькую горничную Настю в одной рубашке, с голыми

плечами и полуобнаженною грудью. Настя ахнула, поставила свечку на пол и убежала.

Было объяснение с князем. Он сразу перешел в наступление и сказал:

— Я не могу целыми месяцами быть без женщины. Настю я прогоню, но тогда живи здесь лето ты со мною.

Ксения переехала с детьми в город. Целый день она была одна. Князь часто даже не обедал дома. Разговаривая с нею, смотрел угрюмо и скучающе. Встречались они почти только в ее постели. Ласки его стали еще бесстыднее и мучительнее, и теперь в них был оттенок злорадства.

Так прошла вся их шестилетняя совместная жизнь.

Ксения пришла домой задумчивая и тоскующая. За чаем она спросила тетю Зину:

— Тетя, как ты думаешь, зачем мадам Аргамакова так старалась, чтоб я вышла за Сергея Львовича?

Тетя Зина пожала плечами.

— Они были большие друзья, она видела, как он увлекается тобою.

— Нет, тут что-то не то... Знаешь, что? Давай поедем в деревню к Аргамакову, мне хочется спросить его, для чего она все это сделала.

Мадам Аргамакова уже умерла. Аргамаков жил один в деревне. Он стал очень религиозен, построил у себя в усадьбе церковь. Обер-прокурор синода В. К. Саблер был его близкий родственник, через него он был рукоположен в священники и сам отправлял в своей церкви все церковные службы.

Богатое его имение было всего верстах в двенадцати от города. Ксения наняла извозчика и вместе с тетей Зиной отправилась.

Въехали в широкий двор. На крыльцо вышел благообразный лакей. Он со скрытою усмешкою ответил:

— Иван Николаевич сейчас служат обедню. Чем их дожидаться, вы пройдите в церковь.

Церковь была пуста. Только у входа две оборванных старухи, громко вздыхая, крестились и кланялись. Аргамаков, в золотой ризе, с длинными, мелко-кудрявыми, но теперь совсем уж седыми волосами, читал

великую ектенью. На клиросе старый псаломщик отзывался:

— Господи помилуй!

Аргамаков служил медленно, с чувством, четко выговаривал все слова молитв. Он с любопытством оглядел вошедших и продолжал службу.

Обедня кончилась. Псаломщик с поклоном поднес Ксении и тете Зине по просфоре. Из алтаря вышел разоблачившийся Аргамаков и с приветливою улыбкою пошел навстречу гостям.

Пили чай на террасе, перед осенним простором большого сада. Сквозь поредевшую ало-пурпурную листву дикого винограда сквозило синее небо, теплый ветерок сеял на каменные плиты желтые листья лип. Аргамаков неторопливо расспрашивал гостей об общих знакомых. Шла незначительная беседа, его глаза смотрели все с большим недоумением.

Тетя Зина спустилась с террасы в цветник, как будто чтобы ближе рассмотреть на грядке астры «Страусово перо». Ксения, сильно волнуясь, заговорила:

— Иван Николаевич! Я приехала, чтобы попросить вас ответить мне на один вопрос, и ответить вполне откровенно. Для меня это очень важно.

— Пожалуйста, княгиня. Если будет хоть какая-нибудь возможность, то отвечу.

— Скажите, Иван Николаевич. Зачем вашей жене, покойной Ларисе Игнатьевне, так было нужно, чтобы я вышла замуж за Сергея Львовича? Зачем она так домогалась этого?

Аргамаков слегка отодвинул широкий рукав рясы и задумчиво гладил бороду.

— Ну, что ж, княгиня. Дело прошлое, можно об этом говорить вполне откровенно... Видите ли. Наш сын Виталий заметно увлекался вами. Лариса Игнатьевна боялась, что, окончив курс в университете, он захочет жениться на вас. А такую партию она считала для нашего сына неподходящею.

Ксения сидела, понурив голову. Аргамаков помолчал.

— Сын наш вскоре женился на богатой вдове, крупной помещице Нижегородской губернии... Но брак оказался неудачным. Сын очень в нем несчастен.

## 23

## СУББОТА

Во время первой империалистической войны. В госпитальной палате для тяжелораненых умирал солдат-еврей с газовой гангреной. Метался и в тоске молил пригласить раввина для напутственной молитвы.

Сестра милосердия позвонила знакомой еврейке,— где найти раввина? Та дала его телефон. Подошла жена раввина.

— Сегодня суббота, он не может приехать. Приедет завтра утром.

— Что вы такое говорите! Да больной не доживет до завтра!

Долго препирались, сестра настаивала. Жена пошла к раввину вторично.

— Он сейчас молится и приехать никак не может. Завтра приедет рано утром.

В госпитале служили всенощную. Священник с крестом и кропилом обходил палату тяжелораненых, кропил лежащих святою водою и давал прикладываться ко кресту. Солдат-еврей в смертной тоске протянул руки к священнику и коснеющим языком произнес:

— Дайте!.. Дайте и мне!

Солдаты испуганно зашептали священнику:

— Он еврей!

А тот протягивал руки и повторял:

— Дайте и мне!

Священник поколебался — и протянул крест. Солдат жадно схватил руку с крестом, припал губами ко кресту — и умер.

Назавтра рано утром приехал раввин. Сестра злорадно сказала:

— Больной вчера умер. А перед смертью приложился ко кресту.

Раввин побледнел: что правоверный еврей по его вине приложился ко кресту — это был огромный грех на его совести.

Я старался выяснить у знакомых евреев: неужели суббота запрещает даже такую «работу», как напутствие умирающего, спасение утопающего и т. п.? Мне от-

ветили: может найтись такой фанатик буквы, но всего вероятнее, — раввину просто не хотелось нарушить свой субботний покой.

## 24

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Таня — девушка с двумя косами и с решительным шагом — заведовала театральной студией при районном Доме художественной самодеятельности детей. У нее не было цели выявлять среди ребят актерские таланты; назначение студии она видела в том, чтобы воспитывать их в духе товарищества, строгого отношения к исполняемому делу и культурности во всем. При распределении ролей, например, она руководствовалась не тем, что такую-то роль лучше всего исполнит такой-то, а тем, что такая-то роль окажет наиболее благотворное влияние на такого-то. И распущенному, расхлябанному мальчику она давала роль корректного, держащего себя на узде человека. Некрасивая, замкнутая девушка, плачущая по ночам, играла у нее роль счастливо любящей девушки, радостно переживающей всю поэзию и счастья и любви. При общественных показах начальству другие студийные коллективы побивали Танин коллектив талантливостью и слаженностью исполнения, но ни один другой студийный кружок не мог даже в отдаленной степени сравняться с Таниным кружком по дружеской спаянности коллектива и благородству общественно-моральной атмосферы в нем.

Танины ребята, студийцы, гордились тем, что не курят, не пьют, не флиртуют и не ругаются, выдавались своим культурным отношением ко всем, в общественной работе шли впереди всех других. Парни и девчата, окончившие школу и давно бывшие в вузах, помогали Тане в постановках и поддерживали преемственность студийной атмосферы. Была крепкая и дружная товарищеская семья, и она делала чудеса с вновь поступавшими в нее ребятами.

Однажды к Тане зашла ее соседка по комнате и попросила принять в ее кружок одного мальчика. Лет

ему двенадцать, изумительно талантливый музыкант, учится в музыкальном техникуме, живет в общежитии техникума. Импровизирует на рояле целыми часами, все не наслушаются. И мальчик этот погибает от тоски. Мать, родивши, подбросила его в детский дом. И всю свою коротенькую жизнь он перекочевывал из одного детдома в другой. Вырос без родителей, без материнской ласки. Когда других ребят вызывают в приемную для свидания с родителями, мальчик с отчаянием говорит:

— У всех есть отец и мать, а у меня хоть бы дядька какой-нибудь!

Таня приняла его в свой кружок. Был он рыжий, весь в веснушках, очень худой, маленький и некрасивый, с водянисто-голубыми глазами. Звали Петька. Походил он в Танин кружок, но через три-четыре раза вдруг перестал. Таня послала двух девчат-студиек узнать, что с ним. Оказалось вот что. Ребята из общежития прибежали к Петьке и сообщили, что пришла его мать, дожидается в приемной. Петька вихрем помчался туда. Никого не было. Раздался дружный хохот. Это ребята — жестокий народ! — подшутили над Петькой. Он тут же в приемной разрыдался и плакал долго. После этого резко изменился. Был вял, мало ел и спал, уроки готовил плохо. И совсем перестал играть на рояле для себя.

Посланные девчата уговорили Петьку опять начать ходить в кружок. А в его отсутствие Таня собрала кружок, рассказала, что случилось с Петькой, и стали они думать, как прийти ему на помощь. Таня предложила для начала отпраздновать день рождения Петьки. Он и сам не знал не только дня, но даже года своего рождения. Назначили условно 10 апреля. И стали готовиться. Все ребята загорелись — как взрослые, так и малыши, — и с пылом взялись за подготовку праздника.

Пришло 10 апреля. Маленький зал студии был изукрашен яркими бумажными лентами, на лампочках красные абажуры. В глубине зала, у стены, стояло специально для Петьки большое кресло, оплетенное алыми и белыми лентами. Недоумевающий Петька уже час сидел запертый в маленькой комнате около раздевалки.

Два старших мальчика, вузовцы, вошли к нему и объявили, что студия празднует сегодня день его рождения. Посадили на переплетенные руки и понесли в залу. Забили барабаны, затрубили рожки. Все члены студии, парни и девушки, мальчики и девочки, стояли двумя шеренгами от входа к Петькину креслу, между этими шеренгами парни и понесли Петьку. Он сидел, растерянный, недоумевающий и счастливый, одна штанина задралась и открывала рыжий ботинок.

Усадили Петьку в кресло. Ребята выстроились перед ним и хором, в один голос, прокричали:

— Дорогой наш товарищ Петя, поздравляем тебя со днем твоего рождения!

Петька поглядывал исподлобья по сторонам, смущенно смеялся и не знал, что сказать.

Ему стали подносить подарки. Стопку нотной бумаги. Петька захлебнулся от восторга.

— Ух! Хорошо как!

Потом — второй том сонат Бетховена в отрепанном переплете.

— Ах! А это — еще того лучше! Батюшки, что ж это!

Портрет Баха.

Петька в восторге завопил:

— Он!! Он самый! Во как!

Бах был его любимый композитор.

Все подарки сложили на столик. Петьку посадили за стол, где было приготовлено угощение (складчина ребят).

Таня сказала:

— Ну, Петя, мы у тебя тут гости, а ты — хозяин. Угощай нас, пригласи к столу.

Петька встал, задышал быстро и громко сказал:

— *Господа,* прошу вас в *столовую* откушать!

Это он вспомнил, что у Диккенса кто-то так приглашает своих гостей к столу. Дружный хохот.

Пили чай, ели конфеты, яблоки и мандарины. Встала девочка-подросток и прочла Петьке стихи. В них говорилось, что раньше Петька жил одиноким и никого у него не было, а теперь у него есть семья, которая его любит и которую он должен полюбить. Стали поднимать тосты из ситро и грушевой воды за Петьку, за

дружную товарищескую жизнь. Петька жадно слушал и во весь рот улыбался.

Встала Таня, подняла стакан и сказала:

— Милый мой! Ты теперь вошел в нашу семью. Но знай, что мы тебя будем не только приветствовать и ласкать. Мы будем строго спрашивать с тебя, чтобы ты хорошо работал, не лодырничал, чтобы был хорошим товарищем, чтоб не вздумал курить. Во всем ты будешь держать перед нами ответ.

Слова Тани особенно поразили и обрадовали Петьку. До сих пор у него хватало сил сдерживаться, но тут он вдруг прорвался рыданиями. Слезы бежали по его лицу, он смотрел Тане в глаза и повторял, радостно всхлипывая:

— Да... Да... Все будет в порядке!.. Да-да!

С завтрашнего дня Петька опять стал целыми часами играть и импровизировать на рояле.

# [РАССКАЗЫ, КОТОРЫЕ В. В. ВЕРЕСАЕВ НЕ УСПЕЛ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ]

1

## ЗЕВАКИ

Я разучивал с тремя ребятами басню «Слон и Моська». Все они уже знали ее наизусть.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.

И вдруг один с недоумением спросил:

— Почему они зевали?

Я спросил других — почему? Никто не смог объяснить. Но всем троим одинаково картина представлялась совершенно определенною: толпы людей ходят за слоном и — зевают. Как могло случиться, что дети так долго не спрашивали, в чем тут дело?

Дети очень часто не спрашивают о значении непонятных слов. Это — не отсутствие любознательности,— это своеобразное стремление справиться собственными силами с непонятным словом и создать картину в меру собственного разумения. Ну что ж! Ну да! Ходят за слоном и зевают. Вот какие бывают странные существа.

Один старый писатель вспоминал, что в детстве стихотворение Лермонтова «Ангел» он читал так:

По небу, по луночи ангел летел...

И ему представлялось, что «луночь» — это что-то вроде озаренного лунным светом небосклона.

*Рабиндранат Тагор, «Мои воспоминания».* «Отчетливое понимание смысла слов вовсе не есть важнейшее условие постижения. Всякий, кто вспомнит о своем раннем детстве, согласится, что наиболее ценные духовные приобретения нисколько не были тогда соразмерены полноте понимания. В детстве мы читаем от начала до конца всякую хорошую книгу, и на душу действует как то, что мы понимаем, так и непонятное нам. Этим же путем действует на сознание ребенка и сам мир: ребенок усваивает то, что понимает, между тем как то, что вне его понимания, ведет его ступенью выше».

2

— Мама, дай карандаш.
— На что тебе?
— Буду богу письмо писать.
— Что ж ты писать будешь?
— Чтоб солнце сделал, да скорей чтобы: гулять очень хочется, на балконе чай пить, купаться.

3

На бульваре. Прошла дама с маленькими черными усиками.
— Наверно, очень любит целоваться с мужчинами.
— Почему именно с мужчинами?
— А усики.

4

Мои родители отдали братишку моего Володю в школу Конопацких — лучшую в Туле. Мы были хорошо знакомы с Конопацкими. На первой же большой перемене они пригласили Володю к себе позавтракать. Вообще же дети должны были приносить завтрак с собою из дому. Когда мама узнала об этом, она сказала Володе, чтоб он ни в каком случае не шел к ним завтракать, а чтоб ел взятый с собою из дому завтрак.

— Мамочка, ну что же мне делать? Они очень просят.

— Ну... Если уж очень будут просить, тогда, конечно, нечего делать.

Назавтра его опять Конопацкие пригласили завтракать. Володя ответил:

— Нет. Мама сказала, чтоб только тогда пойти, когда вы очень будете просить.

— Ну, мы тебя очень просим.

Тогда он с чистою совестью пошел.

5

— Мой отец всегда говорил: «Кончай есть, когда чувствуешь, что смог бы съесть еще столько же».

— Го-го! Ну, наш закон посурьезнее. У нас вот как: ешь столько, сколько подымешь, пей столько, сколько увидишь.

6

— Э-э! Нежный, как блоха! Три дня поголодала, морозцем ударило — и лапки вверх! Ты будь, как клоп!

7

## НАСЧЕТ ПОДКРАСКИ

Насчет подкраски женской я сам себе образовал вполне категорическое мнение. Вот какое. Удалось однажды мне познакомиться с одной молодой, прелест-

ной, красивой девушкой. Но все же довольно сверхъестественно подкрашенная. Но я, к сожалению, до этих пор не обращал внимания на эти подкраски, а с первых же дней знакомства изучал незаметно для нее ее характер, поведение, обращение с одеждой, а на разные подкраски внимания не обращал. И вот провел я с нею знакомо-дружеское знакомство и проводил время с ней два месяца и тринадцать дней. И в конце концов я ею увлекся. И решил дать ей предложение вступить в семейную жизнь. А она? Что же, нисколько не против, но говорит:

— Я не возражаю, но только, если тебе не сказать, все равно впоследствии сам узнаешь, лучше скрывать не буду.

А сама, чем это дальше говорить, задумалась и замолчала. Но я с нетерпением стал просить:

— В чем дело, говори скорей!

А тогда она и говорит:

— У меня есть ребенок.

Меня так и поразило:

— Как это у вас есть ребенок?

Она и говорит:

— Да так.

И здесь я немного подумал и стал ей задавать вопросы:

— Лично ваш ребенок?

— Да, лично мой.

— Где же отец ребнка, и сколько времени ребенку? И где ваш ребенок?

Ее ответ:

— Ребенку четыре года восемь месяцев, находится у моей матери, отец его в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Меня все это и поразило. И стал волноваться, а она стала просить не беспокоиться, дескать, я все это устрою, ребенок так у мамы и будет воспитываться, а мы, мол, будем хорошо жить. Но нет, я с ней не согласился и стал ее уговаривать, что не надо так делать, никуда так не годится делать советской девушке, и с ней распростился навсегда. И больше я уж ни одной не давал предложения о семейной жизни. И вообще подкрашенных свыше естественного обхожу далеко.

8

На даче. За обедом. Гимназист:

— Какой смешной анекдот! Господа, послушайте! Сам сейчас выдумал... Хи-хи-хи! Такой смешной! Раз ночью на даче... Хи-хи-хи!.. Вдруг слышат — кричат: «Вора бей! Вора бей!» Все испугались, вскочили. А оказалась — знаете, что? Оказалось... Хи-хи-хи!.. Кричали: «Воробей, воробей!» Больше ничего.

Гробовое молчание. Отец мигнул бровями, расправил бороду.

— Ну, это что! А в соседней даче случилось происшествие еще более замечательное. Слышат, кричат: «Бей вора, бей вора!» Все тоже, конечно, испугались, вскочили... А оказалось — галка.

Общий хохот.

— Галка?

— Да, брат, представь себе, — галка!

— Как же это? «Бей вора» — и галка? Как же это выходит?

— Уж не знаю, как выходит, а оказалось — галка!

— Что ж тут смешного? Мой гораздо смешнее, а никто не смеялся. Почему твоему смеются?

Все, правда, смеялись.

9

В Финляндии, за водопадом Иматра, был в сосновых лесах прекрасный санаторий-пансион Рауха. Владелец его с гордостью говорил мне:

— У нас тут воздух такая чистая, такая хорошая, как в аптеке.

10

## ДВУХМИНУТНЫЙ РОМАН

Вдруг она села ему на колени. От неожиданности он стал глубоко целомудрен. Сидит и умозрительно смотрит вдаль. Она вскочила, презрительно спросила:

— Вы всегда были таким теленком?

И ушла.

11

## ИЗ ЭПОХИ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА (ПОДЛИННОЕ)

*Разрешение на приобретение бутылки денатурированного спирта*

Петросовет.
№ 525.

Дано сие гражданке Дарье Кушелевой на предмет денатурального спирта. У нее есть малютка, но как у нее нет в груди молочного сосания, а есть примус для изготовления малютки, что и удостоверяется для прочих надобностей.

12

В крестьянском санатории в Ливадии. Стали пропадать салфетки, их перестали поэтому подавать к столу. Приехавшая комиссия опрашивала живущих, нет ли у них каких претензий. Один парень-колхозник заявил:

— Когда я работаю, то ничего; а когда йим, то сильно потею. А салфетки перестали давать.

13

Где-то на немецком вокзале я хотел, для сокращения пути, перейти через рельсы. Немец-носильщик спокойно предупредил:

— Das kostet drei Mark[1].

Итальянец засуетился бы, замахал бы руками:

— Не ходите тут, а то заплатите три марки штрафу!

14

М. О. Гершензону врачи в последние годы его жизни запретили курить. Он не курил и томился по табаку. На заседаниях, например, Академии художествен-

[1] Это стоит три марки *(нем.)*.

ных наук, иногда не выдерживал, просил у знакомого папироску и закуривал. Я тоже старался отвыкать от куренья, не держал папирос и тоже томился по куреву. Подойдет в перерыве Гершензон:

— Викентий Викентьевич, хотите курить?

— Х-хочу...

— Погодите, я сейчас раздобуду!

С лукаво-торжествующим видом приносит две папироски, и мы закуриваем.

В феврале 1925 года он тяжело заболел. С каждым днем положение ухудшалось. Надежды уже не было. Вдруг Михаил Осипович с радостным лицом обратился к жене:

— Ну, Маруся, я умираю! Теперь можно покурить.

Жадно выкурил папиросу и вскоре умер.

15

Первый. Нет, брат, ничего из тебя не выйдет, я вижу. Не от тех ты родителей родился.

Второй *(в ярости)*. Ты не можешь знать, от каких я родителей родился, — от своих или от чужих!

16

Учитель греческого языка в нашей тульской гимназии:

— Некоторые писатели древности утверждали, что Гомер родился в двадцати городах. Но это неверно: он родился только в семи городах.

17

— Просто никто не поверит, до чего я хорошо устроилась. Нашла себе жениха с комнатой. Он не очень красивый, а я люблю только очень красивых мужчин. Но мне все говорят: «Дура, разве скоро найдешь жениха с комнатой?» Записались с ним в загсе. Ничего, он хороший, обо мне заботится. Придешь с работы, он уже кофе сварит. Только ревнивый. «Где ты была?» — «Не твое дело». Сердится: «Отчего ты меня не спраши-

ваешь, где я был? Значит, не любишь». А я и правда мало его люблю, потому что я очень влюблена в мужчин, которые очень красивые.

18

— Вы должны за этим смотреть, это безобразие! Не имеет собака юридического права лаять на проходящих!

— Зато моральное право имеет, довольно и этого.

— Как так довольно? Что вы, гражданин, глупости говорите!

19

В середине двадцатых годов существовало в Москве литературное общество «Звено». Один молодой пушкинист прочитал там доклад о Пушкине. Пушкин такой писатель, что, надергав из него цитат, можно пытаться доказать, что угодно. Докладчик серьезнейшим образом доказывал, что Пушкин был большевиком чистейшей воды, без всякого даже уклона. Разнесли мы его жестоко. Поднимается беллетрист А. Ф. Насимович и говорит:

— Товарищи! Я очень удивлен нападками, которым тут подвергся докладчик. Все, что он говорит о коммунизме Пушкина, настолько бесспорно, что об этом не может быть никакого разговора. Конечно, Пушкин был чистейший большевик! Я только удивляюсь, что докладчик не привел еще одной, главнейшей цитаты из Пушкина, которая сразу заставит умолкнуть всех возражателей. Вспомните, что сказал Пушкин:

*Октябрь уж наступил...*

20

— С выступлением Ивана Петровича я совершенно не могу согласиться. Вы уж извините меня, Иван Петрович: amicus Plato, sed magis amica veritas,— друг мне Платон, но еще больший друг — истина.

— Прежде всего вы мне вовсе не друг!

— Совершенно правильно. И кроме того — вы далеко не Платон...

21

Иногда бывает так: если это — правда, то смешно, если анекдот, то совсем не смешно. То, что расскажу,— правда.

На одном из южных наших заводов (в Бердянске), в заводской охране служит женщина. Ходит в военной форме, в брюках, с винтовкой. Мало кто принимает ее за женщину. И даже, когда не в форме, то ходит в мужской кепке, матроске, брюках и желтых ботинках.

Зовут ее — Ольга Небаба.

*(1939 г.)*

22

## ИЗ ЖАЛОБЫ КОЛХОЗНИКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

И тогда, проявляя явный оппортунистический уклон, он с самого большого размаха бьет меня кулаком по морде, от какой неожиданной причины я, конечно, сейчас же полетел торчмя головой.

23

— Много ли верст до солнца?

— Сто тридцать миллионов.

— Только-то? А говорили: далеко.

24

— Ну, как живете? Радуетесь ли жизни?

— Что? Жизни радуюсь ли? Я этими пустяками давно уж перестал заниматься.

25

Пьяного высадили из трамвая. Он стоит в недоумении.

— За что меня высадили?

Молодой человек, ждущий трамвая:

— Если вы трезвый, то вы сразу поймете, за что.

26

## В ЗАПАДНЕ

Мы тогда освободили Омск от Колчака и гнали его дальше. Впрочем, я в этом уже не участвовал. В Омск меня привезли больного сыпным тифом. Несколько дней я пролежал в казармах, а потом меня свезли в больницу. Что мне дальше пришлось испытать в течение нескольких дней, — до этого и Данте не додумался в своем «Аде».

Из приемного покоя притащили меня в «палату»; должно быть, это была раньше баня: пол цементный, и в нем воронки с дырками. Нары, и на них вповалку, тесно друг к другу, лежали мы, больные. Больные ходили и мочились под себя. Ухода никакого не было. Только ставили возле каждого больного по бутылке воды. Ночью света не зажигали. Бредили, бились, кричали, умирали. Доктора никогда не появлялись.

Возле меня лежал огромный сибирский казак. Он метался, наваливался на меня, хрипел. Мне казалось, что он умирает. А у самого меня в это время наступил кризис; я лежал, обливаясь потом, в смертельной слабости, с полузатемненным сознанием, и одно только было желание, — чтобы ласковая женская рука ободряюще сжимала мне руку. Долгая зимняя ночь и тьма кончались, светало. Я открыл глаза — и вдруг странная картина: наш санитар, пленный мадьяр с большими черными усами и очень отлогим лбом, наклонившись над казаком, старался снять с его пальца золотое кольцо. Казак машинально все время выдергивал па-

лец. Тогда мадьяр воровато огляделся и вдруг — что это? что это? — с размаху ударил казака кулаком в сердце. Казак опрокинулся мне на плечо, подергался и умер. Мадьяр снял кольцо и ушел. А у меня не было даже силы вылезти из-под казака.

На следующий день стали нас одного за другим выносить. Густо наложили в пятитонновый грузовик и повезли за город, к станции Сортировочной. Там выгрузили около рельсов в снег, и... Опять: что это?! Грузовик запыхтел и укатил. Темнело. Мороз. Больные лежат, плачут, проклинают. Я собрал все силы и пополз через рельсы, меж колес вагонов. Поезда маневрировали, каждую минуту колеса могли двинуться, но было все равно. Идти я не мог, пополз по направлению к городу. Пять верст. Как я полз, это пусть бы уж Данте рассказал. Дополз. Извозчик. Стал его нанимать. Он оглядел меня. А вид у меня ужасный: оброс, исхудал, лицо как на черепе, рваная, вшивая шинель.

— А деньги есть заплатить?

— Есть, не беспокойся.

Велел везти в штаб нашего корпуса. Подъехали — вывески нет, в комнатах пусто. Старуха объяснила: корпус ушел в Красноярск. Полное отчаянье. Объясняю извозчику:

— Оказывается, уехали все, а у меня денег нет.

— Ну, снимай что-нибудь, хоть шинель.

— Ведь замерзну без шинели.

— Что там у тебя? Френч еще? Ну, давай френч.

Отдал френч, пополз по улице. Куда? Сам не знаю. Вдруг вижу: идет старик в золотых очках, с седою бородкою клинышком. Доктор Задорожный. Он меня лечил в казармах, пока я не попал в больницу. Я прохрипел:

— Доктор Задорожный!

Он наклонился. Я ему в двух словах рассказал о моем положении. Он меня поднял, привел под руку к себе. Усадил в глубокое кресло, напоил чаем. Я, задыхаясь от волнения, стал ему рассказывать все, что пережил в эти дни. Доктор внимательно смотрел на меня.

— А это не пригрезилось вам? — спрашивает меня.

— Нет, все это правда!

Рассказал, как нас отвезли на Сортировочную и там бросили на морозе.

— Ну, бред! Ясное дело!

— Доктор, не бред, я вас уверяю! Пошлите сейчас же телеграмму, ведь товарищи там замерзают, может быть, успеем их еще спасти!

— Пошлем, пошлем телеграмму. Сегодня же распоряжусь.

Горячий чай с коньяком, мягкая чистая постель... О, какое это блаженство! Раз уж тут в дело Данте замешался, то — прямо из третьей части «Божественной комедии».— «Jl Paradiso» (рай)!

Спал всю ночь, весь день и всю следующую ночь. Спасибо старику доктору! Сообщил мне, что устроил меня, дал записку к доктору больничному, повезли меня—ужас безмерный: та самая больница!

Пролежал я там еще с неделю. Организм у меня могучий, поправлялся быстро. Странное что-то творилось в больнице. Три в ней было врача, но они почти к нам не являлись. Изредка пройдет, с скучливым видом выслушает, что-то неохотно пробурчит санитару— и дальше. Больница была расположена в нескольких зданиях. В одном из них в окнах огонь горел до поздней ночи, слышались веселые голоса, споры, иногда даже приглушенное пение. А в остальных, у нас — темнота кромешная, стоны.

Меня выписали. Пришел в ревком, рассказал о своих недоумениях. Меня назначили комиссаром больницы. На следующий день вхожу в канцелярию больницы. Вдруг казначей поспешно бросил в денежный ящик пачку денег и запер ящик на ключ. Он был очень бледен.

— Откройте ящик.

— Не имею права, я отвечаю за его содержимое.

— Откройте ящик.

— Да кто вы такой? Я не знаю. (Приказом я еще не был проведен.)

Быстро встал и хотел уйти. Я вынул наган и навел в него. Прочел в моих глазах, что выстрелю. Дрожащею рукою открыл ящик. Он весь был полон маузеровскими патронами.

Казначей наклонился ко мне и шепотом проговорил:

— Я поделюсь с вами половиною барышей!

Хотел показать, что просто ими спекулировал. Сделали мы повальный обыск во всем госпитале. В сараях под дровами, в амбарах и складах под мукою и припасами — везде оказались припрятанными пулеметы, винтовки, маузеры. Под видом больных в одном из больничных зданий — в том, в котором по ночам горели огни, оказалась масса скрывающихся здоровых офицеров. Это для них очищали помещения, когда нас вывезли на грузовике в поле.

Телеграммы об этом доктор с седенькой бородкой никуда, конечно, не послал. Мы откопали в сугробе трупы семнадцати замерзших товарищей. И никуда он не сообщил о том, что, как я ему рассказал, творилось в больнице. Счел все это за мой бред. При встрече я ему сказал:

— За приют вам, доктор, спасибо. И я вас не расстреливаю. Но запомните на будущее, что такие шляпы, как вы, нам совершенно не нужны, и мы с ними расправляться умеем.

## 27

## ТУЗ

В годы гражданской войны среди индивидуалистически-анархически настроенного украинского крестьянства то и дело возникали боевые группировки, то примыкавшие к красным, то вдруг выступавшие против них. Полубандиты, полуреволюционеры. Типичен Махно. Много было и еще—Григорьев, Тютюнник, другие. Про одного из таких я и хочу рассказать.

Прозвище его было — Туз. А может быть, это была его фамилия. Лет сорока пяти, огромный, рыжий. Красный нос картошкой. Странные у него были глаза: ресницы бледно-желтые, а из-под них загадочно глядели черные, таинственно-умные, как у свиньи, глаза. Бывший батрак-пастух. Человек неугасимой храбрости и стратег замечательный.

Однажды надоело ему — и вдруг, никого не предупредивши, он со всем своим отрядом оставил позиции,

оголив фронт. Решено было обезоружить его со всем его отрядом.

Была в советских войсках девушка, смелая и предприимчивая. Звали — Маруська Кацапка. Ее послали вперед в разведку, а в помощь дали бойца, ушедшего от Туза в советские войска. Отправились они в Звенигородку, уездный город Киевской губернии. Узнали, что отряд Туза — в лесах, а сам он с командной верхушкой — в деревне под Звенигородкой. Маруська и ее спутник разошлись в разные стороны, а к ночи сговорились сойтись у лесной сторожки. Туда же должен был подойти к ночи и советский отряд, и они бы его повели арестовать Туза.

Под вечер идет Маруська Кацапка по шоссе, слышит вдали конский топот. Спряталась под мост. Едут пьяные всадники, ругаются по-матерному. Слышит:

— А-а! Они нас хотели накрыть! Ну, посмотрим, кто кого! Всем отрядом на них ударим!

Пришла Маруська к лесной сторожке. Спутник ее уже там. На расспросы отвечает неопределенно, в глаза не смотрит. Очевидно, это он их предупредил.

Маруська, как будто гуляя, зашла в кусты, а оттуда бегом кинулась навстречу советскому отряду и предупредила о засаде. Туз всю ночь прождал в засаде советский отряд, а утром со всею своею бандою бесследно скрылся. За измену он был объявлен вне закона.

Нагрянул Деникин. Советские войска отступили. В тылу белых заработали партизанские отряды, советские и крестьянские. Нападали на карательные отряды белых, на мобилизационные пункты, захватывали воинские поезда; офицеров расстреливали, солдат обезоруживали и отпускали. Явился опять Туз со своим отрядом. Смелый, неуловимый, он был везде и нигде, совершенно расстроил тылы Добровольческой армии. На большой подпольный съезд большевики пригласили Туза, помирились с ним, решили действовать сообща.

Маруська Кацапка осталась в Звенигородке с подложным паспортом офицерской жены. Была она хорошенькая, легко завела знакомство со многими офицерами, два раза принимала участие в их пирушках. Из

расспросов узнала, что орудия у белых есть, но к ним ни одного снаряда. Увидела, что среди всего офицерства крайний упадок духа и полнейшее разложение. Все сообщила своим.

Ударили с фронта советские войска, с тылу партизаны. Совершенно разгромили белых. Туз показал чудеса храбрости и распорядительности. Пленных солдат — желавших — приняли в армию, нежелавших отпустили. С генералами и офицерами Туз расправился зверски. Всех их запрягли в тачанки и стали на них кататься, нещадно хлеща кнутами, пока те не попадали. Тогда пристрелили.

И стал Туз большим другом Советской власти. На выступлениях он бил себя кулаком в грудь и кричал:

— Я за Советскую власть! Я тоже в тюрьме сидел, тоже в ссылке был... За телушку! Что телку украл! Помещик, сукин сын, меня голодом морил. Я у него, как пастухом был, и украл телушку. Я тоже страдал!..

При таких настроениях Туза удалось его немножко обработать. Уговорили принять к себе в отряд Маруську и одного сельского учителя, Семена. Евреев направлять было опасно — эти банды их громили и избивали. Однако одного рискнули послать по собственному его настоянию, Абрама Гулькина, прекрасного агитатора и горящего революционера. Работа Маруськи Кацапки, Семена и особенно Гулькина оказалась очень успешной. Многие в тузовском отряде начинали проникаться советскими настроениями. Сам Туз очень благоволил к Маруське. Когда в одной стычке под нею убили лошадь, подарил ей прекрасного коня, подарил маузер. Просто за нею приударял. Был он вообще большой бабник. В деревне у него находилась жена и семь человек детей, здесь жил с молодой больничной сиделкой и усиленно ухаживал за Маруськой. Однажды, когда он спал пьяный, обе они обшарили портфель Туза. Выяснилось, что он ведет переговоры с Петлюрою и собирается заключить с ним союз. Они сняли копии с протоколов и переслали в дивизию.

Семена Туз не любил, а Гулькина Абрама ненавидел. Был бой. В конце боя Гулькин оказался убитым, при очень загадочных обстоятельствах. Между тем в городе был образован ревком, председателем его на-

значен Семен. Хотели использовать стратегические способности Туза, его оставили начальником отряда, но военным комиссаром назначили к нему большевика. Туз пришел в ярость, заявил, что не хочет подчиняться приказу и комиссара к себе не пустит. Тузовцы демонстративно срывали расклеенные приказы ревкома. Ревком постановил отстранить Туза от командования. Маруська в это время была секретарем партячейки. Семен вместе с нею пошел на почту и по прямому проводу послал в дивизию телеграмму, что Туз — бандит, Советской власти не подчиняется и что они постановили его отстранить. Туз перехватил телеграмму. Окружил ревком пулеметами, арестовал Семена и других членов ревкома и отправил их в тюрьму. Маруська успела скрыться. Туз заявил:

— Поймаю — отдам в отряд! Пусть там с нею делают, что хотят!

А в отряде был некий Грызло, в нее влюбленный,—отвратительный сифилитик со скользкой улыбкой. Холодный ужас охватил ее при мысли, что с нею тогда будет.

Через три дня приехал уполномоченный от дивизии разобрать дело. Маруська узнала: сидит с Тузом в ревкоме и пьет с ним. Маруська пошла в ревком. Телохранитель Верещага, стоявший на часах у входа, в ужасе попятился.

— Маруська! С ума сошла? Что с тобою Туз сделает!

— Пусти, дай пройти!

Он попятился к дверям, загораживая вход. Вдруг дверь распахнулась, вышел Туз. Пьяный, взлохмаченный, глаза налиты кровью. Увидал Маруську, ахнул.

— А-а, Маруська! <...> — шатаясь, сделал к ней два шага, заложил руки за спину.— Ну-ка, говори! Я тебе лошадку подарил?

— Подарил.

— А револьвер подарил?

— Подарил.

— А охранял в отряде так, что никто тебя и пальцем не тронул?

— Охранял.

— А ты что, сука, сделала? Против меня телеграмму послала? С Семеном на меня пошла! Спала с ним, что ли?

И поток циничнейших ругательств. Маруська холодно ответила:

— Я тоже много ругательств знаю, да ими никого не убедишь.

И мимо него прошла в ревком. На столе кувшины с самогоном, ветчина, жареный гусь. Сидит уполномоченный дивизии. Он как будто не был пьян. Сурово оглядел Маруську. Воротился Туз, сел. К нему уполномоченный предупредительно и ласково. Встал.

— Ну, значит, поехали в дивизию. Там все разберем.

Пришел Семен, которого вчера освободили из тюрьмы. Три дня продержали там в нетопленной камере (февраль), не кормленным, не принимая передач. Подали пролетку, в нее посадили Маруську, Семена. Сел к ним еще учитель-анархист Середа: его попросил ехать Туз в качестве свидетеля. Вокруг пролетки гарцевало двенадцать вооруженных телохранителей Туза. Получалось прямо впечатление, что их везут, как арестованных. Вдруг подошел Туз.

— Нате вам назад ваши револьверы.

И отдал Маруське и Семену их револьверы. А умные свинячьи глазки тайно смеются про себя.

Поехали. Туз и уполномоченный впереди верхом. Ехали с час. Туз со своим спутником ускакали далеко вперед. Вдруг сзади пролетки раздался винтовочный выстрел, за ним сейчас же второй. Пуля просвистела над самой головой Семена. Он и Маруська обернулись, выхватили револьверы. Сухой треск спусков: патроны были из револьверов вынуты. Телохранители, ехавшие рысью сзади, посмеивались. Маруська спросила Середу:

— Ваш револьвер заряжен?

— Да.

— Дайте сюда!

И выстрелила назад два раза на воздух. Скачет назад Туз с уполномоченным:

— Кто стрелял?

— Нечаянно винтовка выстрелила.

Маруська:

— Неправда! Два раза стреляли. Пуля пролетела над самой нашей головой... Товарищ уполномоченный, заявляю вам на всякий случай: похоже, что Туз дал своим молодцам приказ нас убить; если заявят, что мы убиты при попытке к бегству, то не верьте.

Туз посмеивался, любовался Маруською и крутил головой.

Приехали. В дивизии с почетом приняли Туза. Потом, отпустив его, позвали Семена с Маруськой. Комдив принял их очень сурово и задал головомойку:

— Что вы там натворили? Восстановили против нас такого ценного работника! Совершенно неправильный подход! Вздумали бороться администрированием и приказами! Да если умело к нему подойти, из него может выйти второй Буденный!

Маруська горячо возражала:

— Не выйдет из него никакого Буденного! Предаст он нас в самый опасный момент. Я его насквозь вижу.

Комдив ее прервал:

— Вы, товарищ, в регулярной армии, видно, мало работали. Я вас сюда вызвал не для дискуссии, а для выслушания приказа. Вы сейчас же должны помириться с Тузом. Если нужно, попросить извинения. Понятно?

Маруська поникла кудрявою головою и устало ответила:

— Понятно.

Вошел Туз. И опять набросился на Маруську с упреками:

— Я тебе лошадку подарил?

— А Гулькина ты убил?

— Ей-богу же, Маруська, не я! Как по-прежнему говорится,— вот тебе святая икона: от белой пули он погиб!

Помирились. Выработано было в штабе примирительное решение: Туз назначается начальником и комиссаром своего отряда, но все его действия утверждаются ревкомом. Семен на обратном пути был бледен и задумчив:

— Убьют нас!

Ночевали в встречном местечке. Меблированные комнаты; две кровати; рваные тюфяки, облитые жел-

чью и кровью. По стенам живою сеткою движутся клопы. Семен с Марусей легли на столе; одно пальто постелили под себя, другим вместе покрылись. За стеною до поздней ночи тузовцы кутили и пели песни. Семен все вздыхал:

— Убьют нас!

Маруська его пристыдила.

Утром Туз пригласил их позавтракать. И глаза его непроницаемо-загадочно посмеивались.

В коляску к Семену и Маруське сели два тузовца. В одном из них Маруська узнала того, кто стрелял им в спину.

— Ну, говори: застрелить нас хотели?

— Да ей-же-богу нет! Сама винтовка нечаянно выстрелила!

— А второй выстрел?

— Разве бы мы тебя, Маруся, застрелили? — С усмешкой поглядел на Семена.— Вот разве что, может, его...

В Звенигородке Туз кутил, бил себя кулаком в грудь, опять:

— Я за Советскую власть! Я сам в тюрьме сидел за телушку!

Приехали в город дивизионные квартирмейстеры. Дивизия направлялась на польский фронт. Узнав об этом, Туз всю свою артиллерию, кавалерию, пулеметы и часть пехоты отправил в уезд — «на борьбу с бандитизмом».

— Почему без разрешения ревкома?

— Я ему доложу.

Пришла дивизия. Туз выстроил остатки своей пехоты и с рапортом к комдиву,— дескать, все обстоит благополучно, артиллерия с кавалерией посланы в уезд для борьбы с бандитизмом, в наличии столько-то пехоты.

Маруська в бешенстве комдиву:

— Упустили!

— Еще посмотрим!

— Объясните же наконец, какая у вас установка?

— Товарищ, слишком много хотите знать!

Четыре дня дивизия стояла в Звенигородке. Дивизионные пили с Тузом, пели ему дифирамбы:

— Великий полководец!

— Второй Буденный!

— Тобою держится Советская власть!

А Туз бил себя в грудь и кричал:

— Я всегда был за Советскую власть! Я сам страдал, я сам в тюрьме сидел!

А за час до выступления на фронт неожиданно исчез с остатками своего отряда.

— Удрал!

Комдив схватился за голову. Маруська, забыв о всякой дисциплине, яростно накинулась на него:

— Тупица! «Слишком много его спрашивала»! Эх вы, вороны! Ловите орла!

Комдив не обижался. Он только раскачивался на месте, стиснув голову.

— Ведь я его обязательно должен был представить живого!.. Что ж теперь делать?

Разослал по уезду отряды, чтобы захватили Туза живого или мертвого. К одному из них прикомандировал, по собственному ее желанию, Маруську Кацапку. Для нее делом жизни и чести сделалось поймать Туза. В поисках его встретилась с Верещагой, телохранителем Туза, не хотевшим тогда пустить ее в ревком. Он ей сообщил, что Туз, тяжело больной сыпным тифом, лежит в одной лесной деревушке. Она сообщила, куда надо. Его захватили, привезли и расстреляли.

Комдив вскоре был арестован.

## 28

## ГОЛУБАЯ КОМНАТА

Родители его были очень богаты, отец — банкир. Звали его Мстислав. Студент. Красавец с задумчивыми глазами, поэтическая натура, знал наизусть Тютчева и Блока. Экстатически упивался природой. Был способен часами слушать, как журчит в лесу ручеек, и ловить в этом журчании чудеснейшую музыку; или, глядя на облака, наблюдать в них прихотливую игру изумительно оригинальных лиц, фигур и пейзажей;

физического труда не любил, но на даче охотно пилил со сторожем дрова для кухни: пила, вгрызаясь в дерево, выговаривала самые неожиданные и странные слова. В комнате его стоял рояль, и Мстислав целыми вечерами импровизировал на нем.

Нужно было ему позвонить по телефону товарищу. (У него в комнате был собственный телефон.) Отозвалась телефонистка, назвала свой номер: сорок два. Мстислав замер с трубкою перед ухом. Голос был совершенно небывалой красоты.

— Сорок два! — нетерпеливо повторил голос.

Мстислав назвал нужный телефон.

— Готово! — ответил голос и исчез. Мстислав положил трубку обратно и, стиснув голову, облокотился о стол.

— Дурак!

Несколько дней он почти не выходил из комнаты и звонил в телефон. Но отзывались все другие номера. Особенно надоедливо — одиннадцатый и тридцать третий. Но вот наконец Мстислав услышал желанный голос:

— Сорок два!

Он прерывающимся голосом заговорил:

— Пожалуйста, подождите!.. Я знаю, у вас строго, разговаривать с абонентами не разрешается... Но у вас голос такой изумительной красоты... Умоляю вас, позвоните мне после работы по номеру пять, пятнадцать, двенадцать. Меня зовут Мстислав... Страшно нужно!..

Голос бесстрастно ответил:

— Хорошо.

И исчез.

Весь вечер Мстислав просидел у себя в комнате, даже чай и ужин велел подать себе туда. Телефон молчал.

Только на следующий вечер раздался телефонный звонок, и желанный голос холодно произнес:

— Можно позвать к телефону Мстислава?

— Это я... Это я... Послушайте, что я вам скажу... Ваш голос потряс меня своею красотою. Никогда ничего подобного я не слыхал. В первый раз я услышал вас четыре дня назад и потом все время ловил ваш номер, чтоб с вами поговорить.

Раздался легкий смех, и голос медленно сказал:

— Ваш голос мне тоже нравится.

— Да?! Что вы говорите!.. Тогда — будем знакомы! Я себе не представляю, как вдруг будет, если я не буду иметь возможности слышать вас.

Завязалось знакомство. В ее свободные от службы часы они разговаривали, забывая все на свете. Звали ее Зоя. Прелестный ее голос журчал, как лесной ручеек; как неожиданным всплеском, журчание прерывалось мелодическим смехом. Он ее так и называл «Ручеек».

Зародилась любовь. Прошло три месяца. Со страхом и смущением они сказали друг другу:

— Давайте встретимся!

И оба испугались: вдруг — разочарование!

Встретились в Петровском парке. И — ни один не разочаровался. Она была красавица — светлая блондинка с ярко-синими глазами и темными бровями. Сразу заговорили друг с другом легко и просто.

Стали встречаться.

Любовь крепла. Он говорил ей о красоте мира и об еще большей красоте того, символом чего служат явления этого мира. Она журчащим, как ручеек, голосом рассказывала о своих нехитрых радостях и горестях. Он умиленно слушал и любовался ее красотою гетевской Гретхен.

Весною Мстислав сдавал выпускные экзамены. Однажды, в том же Петровском парке, когда на зеленоватом западе блестел золотой серп месяца и пахло кругом сиренью, он вдруг предложил ей быть его женою.

Она растерялась и молчала. Потом сказала:

— А как же ваши родители?

— Я вас познакомлю. Они меня любят без ума и ни в чем перечить не будут.

Мстислав сообщил родителям. Зоя пришла. Она понравилась своею воспитанностью и хорошими манерами. Умерший отец ее был разорившийся помещик, гвардейский полковник в отставке. Мать Мстислава пригласила Зою провести лето у них на даче и на прощание горячо расцеловала.

Когда Зоя ушла, отец поморщился и сказал жене:

— С его состоянием он мог бы рассчитывать на невесту побогаче.

Мать махнула рукою.

— А, господи! Мало ему будет нашего состояния! Сердце материнское говорит мне, что эта девушка будет ему подходящею женою. Пора ему жениться. А то я, право, боюсь, что стихи начнет писать.

Отец вздохнул.

— Наверное, давно уже пишет!

У них была богатая собственная дача верстах в сорока от Москвы, к Звенигороду. Мстислав сдал экзамены. Уехали на дачу. Приехала Зоя. Мстислав и она были неразлучны, вместе ходили гулять, вместе наслаждались природой. Он читал ей много стихов, говорил о символизме, о Метерлинке и Оскаре Уайльде. Она молчала и очень внимательно слушала.

У матери с Зоей возникла большая дружба. Она была очень довольна будущею женою Мстислава. Иногда обе они таинственно уезжали в Москву даже дня на два, на три, возвращались оживленные и довольные.

Свадьба была назначена в конце августа.

В начале августа мать повезла Мстислава в Москву. У них был в Леонтьевском переулке собственный особняк. Повела его через гостиную к комнате Мстислава и внезапно распахнула дверь.

Большая комната была отделана совершенно заново. Получилось очаровательное, уютное гнездышко для будущей молодой парочки. Зоя была блондинка, поэтому вся комната была голубая. Дорогие голубые обои, голубой фонарь под потолком, голубая обивка мебели, голубой ковер на всю комнату. Огромная двуспальная кровать была покрыта атласным одеялом цвета августовского неба. Письменный стол Мстислава пришлось задвинуть в угол. Мать, довольная зрелищем, говорила:

— А рояль, голубчик, я велела выкатить в гостиную. Ведь она почти всегда у нас пустая, ты можешь играть и там.

Мстислав широко открытыми глазами оглядывал комнату. И опять и опять останавливался взглядом на пышной двуспальной кровати, возвышавшейся, как торжественный жертвенник.

Он спросил:

— Зоя это видела?

— Ну конечно. Мы вместе с нею все это и устраивали.

Мстислав потемнел.

— Я никогда не буду жить в этой комнате.

Повернулся и ушел.

После возвращения на дачу он странно изменил свое поведение. Зоя часто ловила на себе его пристальный, испытующий взгляд, чего раньше никогда не бывало. Вставал он теперь с зарей, уходил с ружьем, будто на охоту, и возвращался вечером... Зоя все дни была одна и плакала. Через две недели она, по настоянию матери Мстислава, объяснилась с ним. Мстислав с страдающим лицом, глядя в сторону, сказал, что он ее не любит.

И они расстались.

## 29

## ЛЕГЕНДА

Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин.

Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. Вдруг они услышали в темноте кругом тихие стоны и оханья. Жуть их взяла. Всю ночь моряки не спали и жались к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны.

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли. Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка.

Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались.

Мне представляется: наша жизнь — это такой же священный лес. Мы входим в него так себе, чтобы развлечься, позабавиться. А кругом все живет, все чувствует глубоко и сильно. Мы ударим топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь... Как все это сложно, глубоко и таинственно! Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом как в священный лес, полный жизни и тайны.



# *Литературные воспоминания*



## Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

В 1892—1894 годах, на старших курсах медицинского факультета в Дерпте, я писал свою повесть «Без дороги». Писать приходилось урывками, в промежутках между чудовищной зубрежкой, которая требовалась для сдачи многочисленных выпускных экзаменов. Окончил я повесть летом 1894 года, после сдачи экзаменов, в деревне. и послал ее в московский журнал «Русская мысль», в то время выходивший под редакцией В. М. Лаврова. Три месяца я ждал ответа. Жил я в Петербурге и работал сверхштатным ординатором в Барачной больнице в память Боткина. Наконец получаю ответ:

Милостивый государь!

Редакция журнала «Русская мысль» имеет честь сообщить, что доставленная Вами повесть «Без дороги» не может быть напечатана в названном журнале.

Отчаяние меня взяло. Я уже много раз до того посылал свои рукописи в разные журналы. Кое-что печаталось—во «Всемирной иллюстрации», в «Книжках «Недели». Часто получал отказы. Еше чаще никакого ответа не получал. Огорчался, конечно. Но, перечитывая вещь сугубо критическими после отказа глазами, говорил себе: «Да, плохо!» Теперь — перечитывал и с отчаянием ощущал: «Нет — живо; даны подлинные, свои переживания; многое выражено сильно. Во всяком уж случае, даже в той же «Русской мысли» печатаются вещи много серее и неинтереснее. Вкуса ли во мне нет никакого? Настолько нет, что даже не могу понять, как бездарно то, что я написал?» Перед са-

мим собой страшно было стать смешным «непризнанным гением».

Маруся в это время была уже в Петербурге на Высших женских курсах. Она убеждала меня послать повесть в «Русское богатство», редакторами которого были Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Я к этому отнесся безразлично. Она отобрала у меня рукопись и сама отнесла в редакцию на Бассейной.

Прошло еще три месяца — ответа нет. В конце марта я попросил Марусю зайти в редакцию и взять рукопись обратно. Она зашла. Ее встретил какой-то господин и сказал, что только что прочитал мою рукопись, что повесть замечательная, что в настоящее время редко приходится читать такие хорошие вещи...

Я жадно спрашивал:

— А кто такой? Кто он?

— Не знаю. Среднего роста, с седоватой бородой, в золотых очках.

— Не Михайловский? — Я показал портрет Михайловского.— Не он?

— Пожалуй, немножко похож... Сказал, что окончательное решение зависит от всей редакции, что он на днях тебе напишет, но что в принятии повести ты можешь не сомневаться.

Через два дня получил письмо.

*28 марта 1895 года*

Милостивый государь
Викентий Викентьевич!

Приходившая по Вашему поручению дама уже слышала мой отзыв о Вашем рассказе «Без дороги». И во второй инстанции, Н. К. Михайловского, от которого в нашей редакции зависит окончательное решение, Ваш рассказ признан прекрасным. Нам очень хочется его напечатать. Будьте добры, примите в расчет состав наших ближайших книжек, где, к сожалению, для него уже нет свободного места, и согласитесь на помещение «Без дороги» в конце лета или в начале осени.

Кроме того, мы просим Вас постоянно сотрудничать в нашем журнале и, если есть что-нибудь готовое, непременно направить к нам. Извините, что пришлось так долго ждать этого окончательного ответа. Слишком много работы.

Всегда готовый к услугам Вашим

*А. Иванчин-Писарев*

Смеялся, дурил. Превратился в маленького мальчика. Еще, еще и еще перечитывал письмо.

— «Будьте добры, примите в расчет состав наших

книжек...» Гм! Как думаешь? Пожалуй, так уж и быть,— окажем им это одолжение?

Один был из самых радостных дней моей жизни.

Повесть была напечатана в августовской и сентябрьской книжках «Русского богатства» за 1895 год.

Был счастливый хмель крупного литературного успеха. Многие журналы и газеты отметили повесть заметками и целыми статьями. «Русские ведомости» писали о ней в специальном фельетоне, А. М. Скабичевский в «Новостях» поместил подробную статью. Но самый лестный, самый восторженный из всех отзывов появился... в «Русской мысли». Я отыскал редакционный бланк «Русской мысли» с извещением об отказе напечатать мою повесть и послал его редактору журнала В. М. Лаврову, приписав под текстом отказа приблизительно следующее:

Милостивый государь
Вукол Михайлович!

С удивлением прочел я в последней книжке «Русской мысли» отзыв о моей повести «Без дороги»,— повести, которая была возвращена мне «Русской мыслью» как негодная к печати. Отзыв этот настолько лестен, что невольно является мысль, что рукопись моя была возвращена мне непрочитанною. Сообщаю это к Вашему сведению в интересах других начинающих авторов.

А. И. Иванчин-Писарев, заведовавший редакцией «Русского богатства», передал мне приглашение редакции бывать на «четвергах», еженедельно устраивавшихся редакцией для своих сотрудников. Это была для меня радость больше всех других радостей, так обильно сыпавшихся на меня в эти месяцы: самой желанной, самой дорогой и близкой литературной средой была в то время литературная группа, во главе которой стояли Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко.

Собирались в редакции журнала, на Бассейной. Постоянно бывали ближайшие сотрудники журнала: Н. Ф. Анненский, жизнерадостный старик с душою юноши; философ-позитивист В. В. Лесевич, скромный, с красным, шишковатым носом горького пьяницы, в жизнь свою не выпивший ни капли вина (у него была алкоголическая наследственность, он знал это и берегся); захлебисто хохочущий публицист-социолог С. Н. Южаков с наружностью Фальстафа; изящный

А. И. Иванчин-Писарев в золотых очках, П. В. Мокиевский и другие. Наезжали В. Г. Короленко (кажется, он в то время жил уже в Полтаве), С. Я. Елпатьевский. Из беллетристов бывали еще польски вежливый Вацлав Серошевский, недавно воротившийся из страшной ссылки с «края лесов» на севере Якутской области; красавец инженер Н. Г. Гарин-Михайловский, с молодым лицом, блестящими глазами и совершенно седыми волосами; Юлия Безродная; Ек. Леткова и др.

За длинным столом пили чай с бутербродами, беседовали. Серьезных разговоров тут не поднималось, споров не было,— была веселая болтовня интеллигентных людей, обмен политическими и литературными новостями. Чувствовалось, что центральным лицом здесь является Михайловский. Он, в общем, говорил мало и сдержанно и был — странно это, но мне так казалось,— застенчив. В темно-синей австрийской куртке, прямой, с длинною, уже седою бородою, с густыми еще волосами, в золотом пенсне. Великолепный, умный лоб и недобрая линия губ.

Ко мне он отнесся радушно. Смотрел ласково, очень хвалил повесть. Я ему рассказал об отказе, полученном от «Русской мысли». Он усмехнулся.

— Ну, много я за нею знаю промахов, а такого не ожидал!

Расспрашивал, над чем я сейчас работаю, крайне заинтересовался моим намерением писать «Записки врача», говорил: «Пишите, пишите! Это очень важно и интересно».

Однажды среди обычных посетителей «четвергов» я увидел новое лицо. Почтенных лет господин, плотный, с седенькою бородкою клинышком, очень обывательского и совсем не писательского вида.

А. И. Иванчин-Писарев торжественно отрекомендовал его:

— Наш редактор, доктор Попов!

Что за редактор? Никогда раньше я не слышал упоминаний о нем, и все знали, что редактируют журнал Михайловский и Короленко. Тут вспомнил я, что на задней странице обложки, внизу, на каждой книжке журнала неизменно стояло: «Редакторы: П. В. Быков, д-р С. И. Попов». Со времени основания журнал «Рус-

ское богатство» несколько раз совершенно менял свою физиономию. Долго вел его Л. Е. Оболенский — философ с наклоном к толстовству, публицист, критик, беллетрист и поэт, заполнявший журнал преимущественно собственными своими произведениями под инициалами и разными псевдонимами; но печатались там и публицистические статьи Льва Толстого в тех обрывках, которые выходили из цензурной трепалки. Потом журнал перешел в руки народника С. Н. Кривенко, затем к Михайловскому и Короленко. Все менялось — издатели, направление журнала, внешний вид книжек. А внизу обложки каждого номера неизменно стояли два тех же самых редакторских имени: П. В. Быков, д-р С. И. Попов.

В те времена утверждение редактора сколько-нибудь оппозиционного журнала было сопряжено с неимоверными трудностями. Главное управление по делам печати, случалось, забраковывало одно за другим десятки лиц, представлявшихся на утверждение, и журнал попадал в совершенно безвыходное положение. Поэтому раз утвержденными редакторами приходилось очень дорожить, и они передавались вместе с журналом одним издателем другому. Так было и с редакторами «Русского богатства». К действительному редактированию журнала они, разумеется, не имели никакого отношения. Роль Быкова ограничивалась тем, что он ежемесячно заезжал в редакцию, подписывал готовый к выпуску номер и получал за это свои двадцать пять рублей. Доктор же Попов служил санитарным врачом где-то на юге, и никто в редакции точно даже не знал, где он находится. Теперь приехал он по своим делам в Петербург и кстати посетил редакцию «своего журнала».

Приняли его очень радушно, с полным почетом. Он просидел весь вечер, смотрел, слушал, узнал, что 15 ноября — день рождения Михайловского, и почел своим долгом явиться в этот день к нему.

Пятнадцатого ноября весь левый литературный и общественный Петербург собирался к Михайловскому поздравить его. С утра до поздней ночи в квартире толкался народ. Одни приезжали, другие уезжали. Среди гостей расхаживал хозяин, в неизменной темно-синей австрийской куртке, радушный и сдержанный.

В полном составе были, конечно, все наличные члены редакции «Русского богатства». Была издательница «Мира божьего» А. А. Давыдова, вдова известного виолончелиста, со следами былой замечательной красоты. Много было других.

Лилось вино. Лились речи, по тогдашнему времени, конечно, совершенно «недозволенные цензурою». Было уютно, хорошо, дружно. Подвыпивший старичок-редактор слушал, моргал глазами,— расчувствовался и со стаканчиком вина поднялся, чтобы тоже сказать речь.

И сказал:

— Господа! Мы все любим нашу родину, все по мере сил служим ей, как кто может. Одни, как наш глубокоуважаемый виновник сегодняшнего торжества, служит ей талантливым своим пером, другие лечат, третьи торгуют, четвертые пашут землю. Но всем нам одинаково дорога наша милая родина. И вот я предлагаю: поднимем бокалы, осушим их за нашу дорогую матушку-Русь и за ее державного руководителя, государя императора, и дружными голосами споем «Боже, царя храни!»

Как будто бомба разорвалась в комнате. Все шарахнулись в стороны. Незнакомый мне Виктор Петрович Острогорский, бывший редактор «Дела», стоявший рядом со мною, спрашивал меня:

— Кто это? Кто это?

Я ответил смеясь:

— Редактор «Русского богатства».

Старичок, ничего не замечая, умиленно улыбался и тянулся со своим стаканчиком к Михайловскому. Михайловский закусил губу и отвел свой стакан в сторону. Приветственный бокал редактора безответно реял в воздухе.

Михайловский заговорил:

— Оратор указал на то, что я служу родине пером. Господа! Трудная это служба! Я не знаю, есть ли на свете служба тяжелее службы русского писателя, потому что ничего нет тяжелее, как хотеть сказать, считать себя обязанным сказать — и не мочь сказать. Когда я думаю о работе русского писателя, я всегда вспоминаю слова Некрасова о русской музе — бледной, окровавленной, иссеченной кнутом. И вот, господа, я предлагаю всем вам выпить не за государя императора, а

За эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу!..

Бешено затрещали рукоплескания, все бросились к хозяину с бокалами. Старичок-доктор оторопело стоял со своим полным стаканом и изумленно оглядывался. Все от него отвернулись.

Злополучный редактор сидел в уголке дивана, плакал пьяными слезами и говорил сидевшему рядом студенту:

— Я для них достал со дна души самый лучший мой перл, а они... За что они так?

Студент с презрением отвечал:

— Потому что ваш перл — гнилая картофелина.

— Как гнилая картофелина?

Он скорбно качал головою и сморкался.

В ту пору в полном разгаре была полемика Михайловского с развивавшимся в России марксизмом.

Уже в начале девяностых годов, совершенно не отражаясь в легальной литературе, в революционной русской среде все больше начинали распространяться идеи марксизма, развитые еще в середине восьмидесятых годов Г. В. Плехановым и возглавляемою им группой «Освобождение труда». Но в то время идеи эти большого распространения не получили. Не то было теперь. Исторический срок пришел — марксизм стал распространяться быстро и победно. Ход истории определяется не волею критически мыслящих личностей, а производственными процессами; в России с неотвратимою неизбежностью развивается капитализм, бороться против его развития, как пытаются делать народники,— бесполезно и смешно; община, артель — это не ячейки нового социалистического уклада, а пережитки старого быта, обреченные на гибель; развивающийся капитализм выдвигает на сцену новый, глубоко революционный класс — пролетариат, и наиболее плодотворная революционная работа — это работа над организацией пролетариата.

Повторяю, отражения всех этих взглядов в легальной литературе совершенно еще не существовало, когда Михайловский начал свою полемику против них. Положение получилось оригинальное. Михайловский

писал статьи против марксистов, марксисты засыпали его негодующе-возражающими письмами, Михайловский возражал на эти письма. Читатель был в положении человека, присутствующего при диалоге, где слышны речи только одного из участников.

В 1894 году вышла книжка П. Б. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Книжка заканчивалась нашумевшей фразой: «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму».

Михайловский обрушился на книгу со всею силою своего полемического таланта, едкого юмора и гражданского пафоса. Противник он был опасный. Литературный путь Михайловского был устлан репутациями, сокрушенными его богатырскими ударами,— начиная с Виктора Буренина и кончая проповедниками «малых дел» — Я. Абрамовым, Тимощенковым и др. Полемические удары Михайловского на долгие годы вывели из строя и сделали форменным литературным изгоем критика «Северного вестника» А. Л. Волынского. Теперь же учение глубоко революционное, выраставшее из самых недр изменявшейся русской жизни, он третировал как продукт усталости и общественного разброда, как измену «заветам» и отказ от революционного «наследства».

При неумении или нежелании понимать больше того, что, по цензурным условиям, могло быть высказано в легальной печати, конечно, можно было видеть в марксизме отказ от активности, проповедь примирения с действительностью и т. п. Так именно первое время и воспринимала марксизм реакционная печать. Николай Энгельгардт, «специалист» по вопросам марксизма, писал, например, в «Новом времени»:

> Здоровый инстинкт подсказывает молодежи, что жертвовать собою ради фикции — бессмысленно, что пора жертв миновала.... Молодежь инстинктом чует, что надо себя беречь и экономить свои силы. Есть эпохи, когда жертвы бессмысленны. Наша молодежь это чувствует, бережет себя и разумно делает... Марксисты правы. Время частного почина и личной инициативы прошло. *Все жертвы принесены. Больше не требуется.*

Это писалось в то время, когда молодежь толпами уходила в марксизм именно потому, что он широко открывал двери личному почину и инициативе, что ука-

зывал широкое поле деятельности для всякого, кто не боялся жертв и был готов идти на них.

Над пониманием марксизма «Новым временем» можно было только хохотать. Такое же понимание Михайловского вызывало негодование. А понимание было такое же. Только то, что удостаивалось похвал нововременца, конечно, ставилось в позор марксизму Михайловским. Он писал по поводу книжки Струве:

> Капитализм будет рад взять к себе на выучку способных людей, хотя бы и с камнем за пазухой. Камень этот состоит в том, что капитализм есть историческая категория, которая уступит с течением времени место иному строю. Но ведь улита едет, когда-то будет! Когда-то она еще доползет до последнего термина гегелевской триады, да и так ли оно вообще будет, а пока погреть руки можно... Г. Струве «вовсе не желает идеализировать капиталистический строй, ни быть его адвокатом». Итак, он приглашает нас в такое место, защищать которое он не может, и служить злу, потому что оно необходимо.

И все в таком же роде. Конечно, статья эта не сокрушила Струве.

Вслед за книгой Струве вышла книга никому не известного Н. Бельтова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. (Ответ гг. Михайловскому, Карееву и комп.)». Книга произвела впечатление ошеломляющее. Не с задором новичка, как у Струве, а властным, уверенным тоном опытного публициста и солидного ученого Бельтов повел уничтожающую атаку на Михайловского, обличая его в невежестве и в полном непонимании того, о чем он взялся судить. Совершенно необычен был презрительно уничтожающий, третирующий тон, которым Бельтов говорил — о ком? о Михайловском! На молодежь этот тон действовал в направлении полного разрушения того пиетета, которым было окружено имя Михайловского.

Очень скоро стало известно, что под псевдонимом «Н. Бельтов» скрывается не кто иной, как Г. В. Плеханов, заслуженный революционер-эмигрант,— человек, которого уже не так-то легко было петербургскому публицисту из тиши своего кабинета обвинять в пассивном преклонении перед действительностью и в реакционности. И тон ответа ему Михайловского был несколько иной — уже защищающийся и как будто даже несколько растерянный.

Быстро, на глазах, популярность Михайловского падала и таяла. А нужно было жить в восьмидесятых годах, чтобы знать, какова была эта популярность. Он был форменным «властителем дум» всей революционной интеллигенции. Шел общий разброд, процветала проповедь «малых дел», толстовского непротивленства и «неделания». Михайловский же страстно напоминал о необходимости широкой постановки общественных задач, о великой ненависти и великой борьбе. Михайловский так был популярен, что к нему нередко обращались за разрешением споров даже семейных и вообще чисто личных. И вот теперь, в два-три года, он стал совершенно чужим как раз наиболее активной части интеллигенции.

В студенческих и рабочих кружках усиленно штудировались нелегальная брошюра (Ленина) «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов (Ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов)», книги Бельтова, Струве и нововышедшая книга «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.)» А. Волгина (того же Плеханова). Сделана была попытка выпустить легально большой сборник марксистских статей под заглавием «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Центральной статьей сборника являлась статья К. Тулина (Ленина): «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве».

Сборник был конфискован и сожжен до его выхода в свет. Несколько десятков экземпляров удалось спасти. Книга читалась нарасхват.

Всюду кипела напряженная революционная работа, велись занятия в рабочих кружках, печатались на мимеографах прокламации и распространялись по фабрикам и заводам, сотни марксистов, студентов и рабочих заполняли тюрьмы и места ссылки.

Воспитанный в школе Михайловского, я вначале яростно спорил с марксистами, возмущался «необузданным» тоном полемики с Михайловским. Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка петербургских ткачей, всех поразившая своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью.

Многих, кого не убеждала теория, убедила она,— меня в том числе. Почуялась огромная, прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории. Я решительно примкнул к литературному кружку тогдашних легальных марксистов (Струве, Туган-Барановский, Калмыкова, Богучарский, Маслов и др.). Вступил в близкие и разнообразные сношения с рабочими и революционной молодежью. В моей квартире в Барачной больнице в память Боткина, за Гончарной улицей, происходили собрания руководящей головки «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», печатались прокламации, в составлении их я и сам принимал участие. У меня был склад нелегальных изданий; хранить их мне было легко и удобно: я заведовал больничной библиотекой, и на нижних полках шкафов, за рядами старых журналов, в безопасности покоились под ключом кипы брошюр и новоотпечатанных прокламаций.

Совсем новые люди были кругом — бодрые, энергичные, с горящими глазами и с горящими сердцами. Дикою и непонятною показалась бы им проповедь «счастья в жертве», находившая такой сочувственный отклик десять лет назад. Счастье было в борьбе — в борьбе за то, во что верилось крепко, чему не были страшны никакие «сомнения» и «раздумия».

А Михайловский и его «Русское богатство» все продолжали твердить о том, что марксизм ведет к примирению с действительностью и к полнейшей пассивности. В весело-грозовой атмосфере захватывающей душу работы, борьбы и опасности так смешны казались эти упреки! А у самого Михайловского, в сущности, давно уже не было никаких путей. Он открещивался от народничества, решительно отклонял от себя название народника. И, по-видимому, совершенно уже утратил всякую веру в революцию.

В этот, как мне кажется, тяжелейший для него период я и имел возможность наблюдать Михайловского. Вблизи, со стороны окружающих, он встречал прежний благоговейный культ, чтился как блюститель традиций старых «Отечественных записок», сотрудник Некрасова и Щедрина, бессменно стоящий «на слав-

ном посту» (так был озаглавлен большой сборник статей, выпущенный сотрудниками и почитателями Михайловского по случаю сорокалетия его литературной деятельности). А дальше, за этим видимым кругом, чувствовалось большое, смутное пространство, где была вражда и, что еще ужаснее, пренебрежение и насмешка. Тут много субъективного,— может быть, оно было и не так, но у меня в душе отложилось такое впечатление: Михайловскому хотелось думать, что перед ним — очередная полоса безвременья, равнодушные к общественной борьбе люди, которых заклеймит история и борьбу с которыми она поставит ему в славу. Так хотелось думать. А в душе было ощущение, что все сильное, смелое и достойное уходит к его противникам, что сам он — на мели, а бурный, все больше вспухающий революционный поток несется мимо. Он ужасно страдал — и с тем большею враждою относился к приверженцам нового учения.

А оно просачивалось повсюду. И даже молодежь «Русского богатства» оказалась зараженною. Помню встречу нового, 1896 года в редакции «Русского богатства». Было весело и хорошо. Певец Миров чудесно пел. Часто воспоминания неразрывно связываются с каким-нибудь мотивом. У меня тот вечер связан в памяти с романсом, который он, между прочим, пел:

Но мне жаль, что я много прожил без любви,
Но мне жаль, что я мало любил...

У Мирова был замечательный бас,— мне еще много позже говорили: европейский бас. Но почему-то он ушел с оперной сцены. Настоящая его фамилия была Миролюбов, Виктор Сергеевич. Впоследствии он оказался очень талантливым редактором, и его «Журнал для всех» пользовался почетной известностью.

Танцевали. После ужина фурор произвела «русская», которую проплясали А. И. Иванчин-Писарев и С. Н. Южаков. Красавец Иванчин, в золотых очках, с скрещенными на груди руками надвигался на свою даму, молодецки поводя плечами. Даму изображал Южаков — огромный, грузный, красноносый; он стыдливо уплывал от своего кавалера, кокетливо придерживая пальцами, как фартук, полы длинного сюртука.

Я танцевал кадриль с Мусею, дочкою А. А. Давыдовой, издательницы «Мира божьего». Заговорили о марксизме, я сказал, что я марксист. Оказывается, моя дама тоже очень сочувствует марксизму. Подошел беллетрист В. Л. Серошевский. И он, выясняется, всею душою лежит к марксизму. Юлия Владимировна, дочь Лесевича, Мокиевский, Н. Г. Гарин-Михайловский... В шутливой форме я сообщил о неожиданном открытии подошедшему Иванчину-Писареву. Он улыбнулся довольно кисло. Было смешно: такою грязью поливалось новое учение, а молодежь и тут, несмотря ни на что,— за него. Я поглядывал на Михайловского:

С врагами бился,
А злейший враг меж тем подрылся
Уже под самые столбы
Их всех вмещающего храма...

Однажды Михайловский подсел ко мне и сказал:

— Викентий Викентьевич, я получил из Сибири письмо от Якубовича-Мельшина, он спрашивает, что вы теперь пишете и скоро ли появитесь в нашем журнале. Что ему прикажете ответить?

Я смутился.

— Сейчас я пишу рассказ, только навряд ли вы согласитесь напечатать его в «Русском богатстве». Там выводятся социал-демократы, и отношение к ним автора очень сочувственное.

Михайловского ответ мой как будто покоробил.

— Так что ж из того?

— В повести появляется Наташа из «Без дороги». Она находит дорогу в марксизме.

— Не представляю себе, чтобы это могло оказаться препятствием к помещению рассказа в «Русском богатстве».

Меня этот разговор очень обрадовал, и я на минуту счел действительно возможным появление моего нового рассказа в «Русском богатстве». Иванчин-Писарев, узнав от Михайловского о новом рассказе, ласково мне улыбался, торопил и при каждой встрече спрашивал, готов ли рассказ.

Наконец кончил рассказ, снес в редакцию.

Встречаюсь с Иванчиным-Писаревым,— чуждые, холодные глаза: «Не подходит. Рассказ очень плох».

То же и Михайловский: «Не подходит». И неласковые, отталкивающие глаза.

Рассказ, правда, был плох, и отказ его напечатать оказался для меня очень полезным. Под влиянием первого успеха молодой писатель легко теряет голову, понижает требовательность к себе, повышенно оценивает все, что напишет. Уж не он с трепетом обращается в редакцию,— сама редакция просит, торопит, увеличивает гонорар.

Как тут бывает полезен добрый ушат ледяной воды на голову, разгоряченную успехом и всеобщими похвалами! Благодарю судьбу до сих пор, что мне долго приходилось дрожать перед редакторскою палочкою, что, уж получив имя, несколько раз браковался редакциями. Тогда в этом отношении начинающий писатель был счастливее, чем теперь. В настоящее время сплошь да рядом бывает так: напишет молодой человек хорошую повесть, несомненнейшим образом «подает надежды», но ему еще десять лет следовало бы дрожать перед редактором, две трети написанных вещей следовало бы беспощаднейшим образом браковать. А между тем, глядишь,— юноша этот уже сам редактор, сам учит начинающих, как писать, знакомит публику с «приемами» и «методами» своей творческой работы. И падает талант на глазах. Небрежность, отсутствие самокритики, самодовольство, влюбленность в себя.

Рассказ мой был очень плох. Между прочим, в качестве эпизодического лица в нем, совершенно неоправданно, появлялась героиня моей повести «Без дороги», ищущая дорогу Наташа. В новом рассказе она оказывалась нашедшею дорогу, была марксисткой и являлась в рассказе исключительно для того, чтобы заявить себя марксисткою и отбарабанить свое новое «credo»[1]. Ее устами я решительно порывал с прежними своими взглядами и безоговорочно становился на сторону нового течения.

Рассказ был плох. Но для меня последствия были не от плохих художественных качеств рассказа, а от этого выступления Наташи. Прежде ласковые и внимательные глаза членов редакции «Русского богатст-

[1] Убеждения *(лат.)*.

ва» стали теперь холодными и какими-то невидящими. Когда я приходил на четверговые собрания сотрудников, всегда как-то получалось теперь так, что я оказывался в одиночестве. По натуре своей я неразговорчив и малообщителен, долгое время я наивнейшим образом приписывал свое одиночество этому обстоятельству. Но однажды отношение ко мне выразилось до того ясно, ко мне так определенно поворачивались спиною, что я встал и ушел, ни с кем не прощаясь, и с тех пор перестал ходить к ним. Мне очень стыдно было, что я сразу не мог почувствовать изменившегося отношения ко мне.

Месяцев через пять-шесть, на какой-то писательской панихиде на Волковом кладбище, я на мостках лицом к лицу встретился с Михайловским. Поклонился ему. Он с холодным удивлением оглядел меня, как бы недоумевая, кто этот незнакомый ему человек, потом поспешно поднес руку к шляпе и раскланялся с преувеличенною вежливостью, как будто так и не узнал.

Возникали и быстро захлопывались правительством марксистские журналы и газеты. В «Новом слове» должен был появиться мой небольшой рассказ «Поветрие». В нем выведены были марксисты и народники в их спорах,— увы, только в спорах! Показать марксистов в действии по тогдашним цензурным условиям нечего было и думать. Выведена была и Наташа из напечатанной в «Русском богатстве» повести моей «Без дороги». Она нашла дорогу в марксизме. Рассказ не успел появиться в «Новом слове»: журнал был закрыт. Я предложил рассказ «Миру божьему», в последние годы начавшему решительно склоняться к марксизму. «Мир божий» отказался поместить рассказ, и секретарь редакции, Ангел Иванович Богданович, откровенно сознался мне, что напечатать рассказ они боятся: он, несомненно, вызовет большую полемику — и обратит на их журнал внимание цензуры.

Осенью 1898 года я выпустил сборник своих рассказов отдельной книжкой — семь рассказов, среди них повесть «Без дороги» и, как эпилог к ней, рас-

сказ «Поветрие», который мне так и не удалось пристроить раньше в журнале.

Книжка вызвала ряд критических статей в журналах и газетах. Я с большим любопытством ждал, как отзовется на книжку Михайловский? Центральное место в книжке занимала повесть «Без дороги», которою он был очень доволен. Но, ввиду позднейшего отношения ко мне Михайловского, трудно было ждать, чтобы он отнесся к книжке благосклонно. Как же выйдет он из затруднения?

Вот как он вышел. В двух первых книжках «Русского богатства» за 1899 год он поместил длинную статью, посвященную разбору моей книжки. Михайловский разбирал мои рассказы в хронологическом порядке. Вообще говоря, замечал он, смешно, когда молодые авторы считают нужным помечать каждый рассказ годом его написания. Но в данном случае приходится пожалеть, что этого нет. А жалеть приходилось потому, что это важно было... для определения быстрого моего падения с каждым следующим рассказом.

Рассказ г. Вересаева «Без дороги»,— писал Михайловский,— представлял собою нечто исключительное в молодой беллетристике, производил отрадное впечатление не только сам по себе, а по тем надеждам, которые он возбуждал... Можно было ожидать, что г. Вересаев, отделавшись от некоторой невольной бессознательной подражательности, окрепнет и сделает еще более ценные вклады в отечественную литературу. Казалось, у него для этого есть все данные... Но, увы, эти ожидания, эти надежды не оправдались.

Михайловский сравнивал «Без дороги» с после него написанными рассказами — очерком «На мертвой дороге» и «эскизом» «Поветрие», доказывал, что каждый из этих рассказов значительно хуже предыдущего, что мы имеем перед собою явственную наклонную плоскость, и повторял, что надежды, возлагавшиеся на автора «Без дороги», не сбылись.

Ставить крест над молодым писателем только потому, что на протяжении трех лет два последующих его рассказа оказались слабее предыдущего, было, конечно, несправедливо и предвзято-придирчиво. Эта враждебная предвзятость действовала тяжело, хотя ее можно было предвидеть. Но тяжелое это чувство отступало далеко на задний план перед ошеломляю-

щим впечатлением, которое на меня произвела статья Михайловского по существу — по характеру его отношения к моей героине Наташе. Это было типичное отношение старого папаши-обывателя, стоящего в полном недоумении перед исканиями и запросами своей дочки. Ссылаясь на другой мой рассказ, «Товарищи», помещенный в той же моей книжке, Михайловский писал:

Как бы впоследствии Наташа не уподобилась тем «товарищам», проживающим в городе Слесарске, которые жалуются на «книгу»: «потребовала, чтобы вся жизнь была одним сплошным подвигом; но где взять для этого сил? И вот результат: она только искалечила нас». Для Наташи этот печальный результат тем вероятнее, что она, можно сказать, суется в воду, не спросясь броду. Она ищет не такой задачи, которая ей была бы под силу, а просто *самой* важной, *самой* полезной, для которой она, может быть, и не годится.

Отмечая неудовлетворенность Наташи встречающимися ей людьми, Михайловский замечал:

Людей с твердою нравственною поступью совсем не так мало. Вот, например, ученый, астроном или химик, твердо уверенный в великом значении своего дела; адвокат, искренне верующий в святость своей миссии; земский деятель, убежденный в своем деле; писатель, не имеющий никаких сомнений в том, что он делает настоящее благое дело, распространяя правильные взгляды, например, на отношения к инородцам, и т. д. и т. д.

И это писал Михайловский, который еще десять — пятнадцать лет назад наносил такие сокрушающие удары проповедникам «малых дел», указывавшим ищущей молодежи как раз на этих самых «адвокатов, искренне верующих в святость своей миссии», и «земских деятелей, убежденных в своем деле».

Убийственно отвечал Михайловскому Ал. Н. Потресов в апрельской книжке «Начала» (книжка эта была конфискована и до читателя не дошла):

Старые песни, г. Михайловский, старые песни! Нам давно прожужжали ими уши разные советники, почтенные доброхоты, снисходительно и со скептической усмешкой посматривающие на «увлекающуюся юность»... Современные Наташи ищут не героических поз, не превосходных степеней, не *самых* полезных, *самых* важных задач, как это, кажется, думает Михайловский, а просто-напросто дела, которое бы стояло в непосредственной связи с их общественным миросозерцанием... Наташи суются туда, куда им соваться не рекомендует г. Михайловский, не потому, что иные занятия они считают «недостойными» своих «исключительных» натур, а потому, что справедливо полагают: для *другого* дела найдутся и на-

ходятся *другие* хорошие люди, для него не требуются, как непременное условие, их общественные взгляды и симпатии... «Безымянная Русь» нашего времени, все те, кто является действительным, а не самозванным «наследником» прошлого, может спросить наших скептиков: кто, кроме них — «Безымянной Руси»,— будет выполнять незавершенное историческое дело? Если *они* не пойдут туда, где они *пока* особенно нужны, *никто другой* не пойдет. Этого ли хотят господа советники?

И Потресов приводил цитату из Щедрина:

«Нет, просветительная дорога — не наша дорога. Наша — дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: «блюдите, да опасно ходите». Чтоб вступить на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла и, подобно раскольникам-бегунам, идти вперед, вышнего града взыскуя». Эти речи великого бытописателя русской общественности,— прибавлял Потресов,— «забытые слова»; они забыты его прежними литературными соратниками[1].

Статья Михайловского была подлинным революционным его самоубийством. Я перечитывал его статью, и в душе был горький смех: «Да ведь это *твоя* же наука, твоя, когда ты еще не одряхлел революционно!» И приходила в голову мысль: «Вот в каких степенных ворон превращаются даже такие орлы, как Михайловский!»

К осени 1900 года я окончил свои «Записки врача», которые писал пять лет. Здесь не к месту и долго рассказывать, как это случилось, но поместить их в журнале близкого мне направления я не имел возможности. А. И. Иванчин-Писарев, заведующий редакцией «Русского богатства», обратился ко мне с просьбой отдать «Записки» им. Отношения с «Русским богатством», как видел читатель, были у меня сложные. Но в душе долго остается жить первая любовь. Несмотря на все происшедшее между нами, мне мил был Михайловский, сыгравший большую роль в моем развитии. К тому же неистовая вражда его к марксистам стала в последнее время как будто ослабевать.

Я послал Михайловскому «Записки врача» при письме, где писал, что охотно поместил бы свои «Записки» в «Русском богатстве», если бы можно было

[1] Статья эта перепечатана в сборнике статей А. Н. Потресова «Этюды о русской интеллигенции». Изд. О. Н. Поповой. СПб., 1906. *(Прим. авт.)*

сделать как-нибудь так, чтобы появление мое в этом журнале не знаменовало моего как бы отхода от марксизма.

Получил ответ. Старческий, сильно дрожащий почерк.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Я с величайшим интересом прочитал Ваши «Записки» и просил бы у Вас разрешения начать их печатание с января. Я не совсем понимаю, что Вы хотите сказать о возможности такого сотрудничества в «Русском богатстве», которое не обозначало бы Вашего отречения от марксизма. Не зайдете ли как-нибудь ко мне утром между 11 и 12 часами, а если этот час Вам неудобен, то завтра, в четверг, вечером, часов в 8.

Искренне уважающий Вас

*Ник. Михайловский.*

*11 окт. 1900*

Вечером в четверг я пошел к Михайловскому. Он жил на Спасской, 5. Знакомый кабинет, большой письменный стол, шкафчик для бумаг с большим количеством ящичков, на каждом надпись, обозначающая содержание соответственных бумаг. Михайловский — стройный и прямой, с длинною своей бородою, высоким лбом под густыми волосами и холодноватыми глазами за золотым пенсне; как всегда, одет в темно-синюю куртку.

Разговор был очень странный. Я сказал, что хотел бы поместить в начале статьи подстрочное примечание приблизительно такого содержания: «Расходясь по основным вопросам с редакцией, автор прибегает к любезному гостеприимству «Русского богатства» за невозможностью для него выступить в журнале, более ему близком».

Михайловский помолчал.

— Я ничего не имею против того, чтобы поместить примечание. Но подумайте: нужно ли оно? У большой публики оно вызовет только недоумение: ей совершенно чужды наши маленькие разногласия и споры, оттенки наших мнений ей совсем непонятны. Боюсь, что вы поставите себя в смешное положение.

Я изумился.

— Николай Константинович, сами вы, во всяком случае, все время очень энергично подчеркивали важность и существенность наших разногласий.

Многим, не спорю, примечание мое может показаться смешным, но я на это иду.

— Как прикажете. Ничего не имею против.— Он перечитал проект примечания.— Вот только: «Расходясь по основным вопросам»... Если по всем основным вопросам с нами расходитесь, то как вы можете у нас печататься. Я бы предложил: «по некоторым вопросам».

На это я согласился.

Рукопись была сдана в набор. Иванчин-Писарев был очень доволен, пророчил вещи колоссальный успех, был со мною ласков и нежен.

Торжественно был отпразднован сорокалетний юбилей Михайловского, с демонстративною против правительства торжественностью. Праздник носил характер общественного события. Петербургские литераторы-марксисты решили принять участие в праздновании юбилея и приветствовать Михайловского как представителя славной эпохи народовольчества. Приветствия наши, хотя все время тщательно подчеркивали разногласия наши с теперешним Михайловским, носили, однако, теплый и задушевный характер. Глаза Михайловского, казалось мне, смотрели на нас с меньшею против обычного враждою.

Очень скоро после этого вышла одиннадцатая книжка «Русского богатства». В своем очередном обзоре литературы и жизни Михайловский, между прочим, остановился на статье нашего товарища В. Я. Богучарского, тогда бывшего легальным марксистом, «Что такое земледельческие идеалы?». Статья была напечатана более полутора лет назад в журнале «Начало», закрытом цензурою на пятой книжке. Михайловский выкопал теперь эту статью и с неистовою резкостью обрушился на нее,— точнее, на комментарии Богучарского к одному месту из Глеба Успенского.

Вот это место,— писал Михайловский: — «Керосиновая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю поэтическую (вернее, крепостническую! — с либеральным негодованием замечает от себя г. Богучарский) старину лучинушки, удлиняет вечер и, следовательно, прибавляет несколько праздных часов» и т. д. Эти слова Успенского г. Богучарский называет «чудовищными» и, вдоволь натешившись над ретроградной маниловщиной презренного народника, объявляет: «На наш взгляд, лишь с освобождением от земледельческих идеалов может исчезнуть весь дурман, отравляющий жизнь современной деревни».

«Успенский, не умеющий отличить «поэтическое» от «крепостнического»,— это, знаете, уж чересчур!» — с негодованием писал Михайловский. И запрашивал Богучарского: почему он скрыл от читателей конец цитаты из Успенского, изменяющий смысл всей цитаты? Почему не привел из Успенского такого-то места, опровергающего выводы автора? Кончал он свою статью так:

Нет между нами Успенского, этого человека, жившего всеми фибрами своего великого духа за всех нас и для всех нас. Остался после него памятник — его писания, но этот памятник заброшен, и какой-нибудь прохожий г. Богучарский, поощряемый гоготанием толпы, неизвестно по какой причине, неизвестно с какою целью выламывает из памятника кусочек и, предъявляя его публике, с пафосом восклицает: «Смотрите, какой крепостник!» Позор!..

Я взял с полки книжку «Начала», перечитал статью Богучарского — и был ошеломлен. Такого бесцеремонного ее извращения, такой недобросовестности полемических приемов я от Михайловского не ожидал. «Вдоволь натешившись над ретроградной маниловщиной презренного народника...» Статья была написана с глубочайшею любовью и уважением к Успенскому и только оспаривала его выводы. Цитаты, в сознательном сокрытии которых Михайловский обвинял Богучарского, в статье Богучарского, оказывалось, *были приведены*. Получалось впечатление: Михайловский как будто нарочно выискал первый попавшийся предлог, чтобы нанести удар марксистам, чтобы показать после юбилея, что он их по-прежнему ненавидит и презирает.

Мне кровь ударила в лицо от стыда,— как я мог пойти в «Русское богатство», как не предвидел подобных возможностей? Я тотчас же написал и отправил Михайловскому письмо приблизительно такого содержания:

Милостивый государь Николай Константинович!

Мое решение поместить «Записки врача» в «Русском богатстве» было ошибкою, в которой я в настоящее время глубоко раскаиваюсь. Прошу моей вещи в «Русском богатстве» не печатать. Расходы по произведенному набору я, разумеется, возмещу.

Готовый к услугам

*В. Вересаев.*

Дня через два получаю письмо от Петра Филипповича Якубовича-Мельшина. П. Якубович — поэт-наро-

доволец, сосланный по процессу Германа Лопатина на каторгу. Стихи свои он подписывал инициалами «П. Я.», беллетристику — «Л. Мельшин». Книга его «В мире отверженных», с потрясающим описанием каторги, вызвала большой шум, была переведена на иностранные языки. В конце девяностых годов, ввиду сильного нервного расстройства, Якубовичу было разрешено приехать из ссылки для лечения в Петербург. Познакомился я с ним вскоре после его приезда. Он находился в нервной клинике на Выборгской стороне. Мне передано было его желание познакомиться со мною и приглашение посетить его.

Приехал к нему. Невысокого роста, с темной бородкой и болезненно-белым, слегка одутловатым лицом, с черными, проницательными прекрасными глазами. При нем его жена. Называю себя.

— Здравствуйте. Я вас ждал.— И сразу: — Вы марксист?

— Марксист.

— Слава богу! Первого встречаю марксиста, который прямо заявляет, что он марксист. А то сейчас же начинает мяться: «Видите ли, как сказать, я, собственно...»

Я засмеялся.

— Хороших же вы встречали марксистов!

— Садитесь. Объясните, пожалуйста, что такого нового вы нашли в вашем марксизме?

Я стал говорить очень осторожно,— меня предупредили, что Петру Филипповичу вредно волноваться и спорить. С полчаса, однако, проговорили на эту тему, и глаза его смотрели все мрачнее, все враждебнее.

Приехал Короленко с женою.

— Ну, Владимир Галактионович, оказывается — форменный марксист! Самый безнадежный!

Петр Филиппович сокрушенно махнул на меня рукою. Короленко посмеивался:

— Какой он марксист! Вот Венгерова даже прямо говорит, что он народник.

Как раз в это время в «Мире божьем» был перепечатан отрывок из курьезной статейки Зинаиды Венгеровой в каком-то иностранном журнале,— статейки, посвященной обзору русской литературы за истекающий год. Венгерова сообщала, что в беллетристике

«старого» направления представителем марксистского течения является М. Горький, а народнического — В. Вересаев, «воспевающий страдания мужичка и блага крестьянской общины».

Якубович огорченно мотал головою.

— Нет, нет, марксист! Совершенно пропащий человек!

Меня он очаровал. Совсем в нем не было того, что так меня отталкивало в других сотрудниках «Русского богатства» (кроме Короленко и Анненского). Чувствовалось — он неистовою ненавистью ненавидит весь строй твоих взглядов, но это не мешает ему к самому тебе относиться с уважением и расположенностью. Я встречался с ним еще несколько раз,— в последний раз на юбилее Михайловского, и каждый раз испытывал то же очарование, слушая, как он громил марксистов, и глядя в его чудесные, суровые, ненавидящие глаза.

Так вот, от него я теперь получил письмо. Он жил под Петербургом, на станции Удельной, Финляндской железной дороги.

*2 декабря 1900 г.*

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Я не совсем здоров (в частности, болят глаза) — потому диктую жене. Очень прошу Вас навестить меня сегодня, в воскресенье, или завтра, в понедельник, вечером. Вообще буду рад Вас видеть, а кроме того, есть одно важное к Вам дело. Пока скажу только, что хотел бы видеть Вас раньше, чем Вы будете в «Русском богатстве». Не будете ли, между прочим, добры захватить с собою — конечно, если она есть у Вас — книжку «Начала» со статьей Богучарского.

Преданный Вам *П. Якубович.*

Я в то время служил ассистентом в Больнице в память Боткина и как раз в воскресенье дежурил. Написал Якубовичу, что не могу приехать, потому что дежурю, прошу верить, что это не предлог, а действительная причина, по существу же дела полагаю, что всякие разговоры бесполезны, решение мое уйти из «Русского богатства» непреклонно, а причины этому вот какие. И, разделив страницу вертикальною чертою пополам, я на одной стороне выписал из статьи Михайловского негодующие вопросы Богучарскому, почему он скрыл от читателей такие-то и такие-то цитаты из Успенского, а на другой стороне — выписки из

статьи Богучарского как раз с этими цитатами. И писатель, прибегающий к подобным приемам, позволяет себе утверждать, что противник его вдохновляется гоготанием толпы! Я когда-то горячо любил Михайловского, считаю его одним из своих учителей,— и тем паче мне теперь невозможно сотрудничество в его журнале. И ко всему,— он обрушился на человека, у которого связаны руки, который ему не может отвечать,— журнал закрыт уже полтора года назад. Почему Михайловский собрался возражать только теперь?

Через два дня получил второе письмо. Якубович писал:

*4 декабря*

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Сожалею о «непреклонности» Вашего решения, но еще более о том, что Вы так поспешно составляете резко-враждебные мнения о людях, которых когда-то любили и уважали. Мне казалось бы, в случаях, когда такие люди сделают что-либо огорчительное для нас, мы обязаны прежде всего справиться у них самих о смысле их поступка и только потом, после неудовлетворительного объяснения, вправе принимать то или другое решение. Ошибки статьи Михайловского так очевидно-странны, что возможны были только два объяснения: или какая-нибудь чисто роковая случайность ввела его в заблуждение, или же... или то, что Вы и предположили. Но, уважая Михайловского, Вы не имели права на такое предположение.

Завтра или послезавтра в «Русских ведомостях» появится письмо Михайловского по этому поводу.

Для меня лично всего прискорбнее в этой истории, что роль печальной «роковой случайности» сыграл именно я и что Михайловский так жестоко наказан за свое доверие ко мне... Как, однако, все это произошло, я объяснить, к сожалению, не могу.

Был бы рад, если бы Вы могли содержание настоящего письма довести до сведения Богучарского.

Преданный Вам *П. Якубович.*

P. S. Для меня (как, вероятно, и для Н. К. Михайловского) совершенная новость, что Богучарский — человек «со связанными руками»: мне думалось, что он во всякую минуту может найти гостеприимство и в «Жизни», и в «Мире божьем», и в «Научном обозрении», и в «Северном курьере», тем более, когда речь идет о таком частном вопросе.

Как потом рассказывали в литературных кругах, дело произошло так: Якубович, кипевший неостывавшим негодованием на марксистов и постоянно выуживавший из их писаний возмущавшие его места, говорил однажды на редакционном собрании «Русского богатства»:

— Послушайте-ка, как марксисты отделывают Глеба Успенского!

И прочел вышеприведенную цитату из статьи Богучарского о поэтической-крепостнической старине лучинушки.

Михайловский возмущенно воскликнул:

— Да не может быть!

Н. Ф. Анненский поддержал Якубовича:

— Да, да, я помню эту статейку,— меня тогда тоже поразило обвинение Глеба Успенского в крепостничестве, я даже выписку себе сделал тогда.

И вот Михайловский взял у Якубовича его выписку из статьи Богучарского и по одной этой выписке, не заглянув в самого Богучарского, написал свою громовую статью. Как мог попасть в такой просак опытный журналист, с сорока годами журнальной работы за плечами? Единственное объяснение: марксистов он считал таким гнусным народом, относительно которого можно верить всему.

Но что должен был испытать бедный Якубович, восторженно любивший Михайловского, когда получил мое письмо и убедился, как он подвел его! С каким лицом должен он был явиться к нему! Рассказывали, что от огорчения Якубович тяжело заболел нервно.

Через несколько дней в московской газете «Русские ведомости» появилось письмо в редакцию Михайловского под заглавием «Мой промах». «Как и почему произошел этот промах,— писал Михайловский,— рассказывать не буду, но долгом считаю покаяться в нем так же публично, как публично был он совершен». Рассказав о несправедливых своих обвинениях, предъявленных Богучарскому, Михайловский в заключение писал: «Вот моя вина, в которой я каюсь, и прошу прощения как у г. Богучарского, так и у всех, кого ввел в заблуждение». И прибавлял, что, отказываясь от обвинения Богучарского в намеренном извращении Успенского, тем сильнее настаивает на том, что Богучарский не понял Успенского. Хорошее было письмо, благородное,— казалось бы, благородством самым элементарным,— но, как и оно, исключительно редко в журнальных нравах!

В следующей книжке «Русского богатства» Михайловский перепечатал письмо в «Русские ведомости» и, кроме того, содержание его развил в целую статью под тем же заглавием: «Мой промах».

Свои «Записки врача» я из редакции «Русского богатства» взял. На этом окончились навсегда мои сношения с «Русским богатством».

Года минули, страсти улеглись...

В 1914 году, в десятилетнюю годовщину смерти Михайловского, вот что писал о нем В. И. Ленин:

«Михайловский был одним из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века. Крестьянская масса, которая является в России единственным серьезным и массовым (не считая городской мелкой буржуазии) носителем буржуазно-демократических идей, тогда еще спала глубоким сном. Лучшие люди из ее среды и люди, полные симпатий к ее тяжелому положению, так называемые разночинцы — главным образом, учащаяся молодежь, учителя и другие представители интеллигенции — старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы.

Великой исторической заслугой. Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью. В наше время бесстыдного и часто ренегатского отношения к подполью со стороны не только либералов, но и ликвидаторов как народнических («Русское богатство»), так и марксистских, нельзя не помянуть добрым словом этой заслуги Михайловского» [1].

## В. Г. КОРОЛЕНКО и Н. Ф. АННЕНСКИЙ

*15 марта 1913. Полтава*
*М. Садовая, 1*

Дорогой Викентий Викентьевич!

Позвольте мне так называть Вас в память тех немногих, правда, наших встреч, когда мы с Вами бродили в пределах «Песков» и Невского, разговаривая о нарождавшихся тогда «новых запросах» молодежи. Много с тех пор воды утекло, и тогдашняя молодежь стала «мужами опыта», и мы с Вами с тех пор не встречались или встречались редко и мимолетно, но память об этих

[1] Сочинения, т. XVII, изд. 3-е, с. 223. *(Прим. авт.)*

немногих и недолгих встречах у меня осталась очень хорошая и живая.

Теперь о Вашем предложении. Отношусь к нему с полным сочувствием, но боюсь, что оно останется платоническим. И вот почему. Сейчас я почти болен: прошлый год был для меня очень тяжел — усталость и физическая и нервная. Товарищи (Мякотин и Пешехонов) сидели в крепости, Анненский хворал. Приходилось тянуть лямку в уменьшенном составе. Кончилось это тем, что Анненский умер. Это меня ушибло двусторонне, и я уехал из Петербурга с смертельной усталостью. Не обратил на нее должного внимания и теперь вынужден лечиться. Таким образом, прошлый и этот год (частью) для меня, то есть для моих собственных работ,— пропали. Теперь начинаю чувствовать себя лучше и, пожалуй, более или менее скоро выберусь из этой полосы. Но тогда передо мною стоят две задачи: издать следующий том (или томы) своих рассказов (для меня это всегда значительная работа) и — «Русское богатство», которому я должен отдавать то, что у меня будет. А будет немного.... Я и всегда писал немного, уходя с беллетристической дороги на разные запутанные проселки, публицистические и иные,— и теперь все еще разрываюсь между разными влечениями. Стремлюсь погрузиться в свое, а зовет и многое чужое. Впрочем, черт его знает, что мое и что чужое.

Разболтался я с Вами. А к делу это имеет то отношение, что при всем сочувствии и Вам лично, и товарищам Вашим в этом деле, и даже при желании самом искреннем принять в нем участие,— обещать боюсь и сильно сомневаюсь в возможности этого участия...

И все-таки я хотел бы, чтобы мои слова о сочувствии не считали фразой: действительно, нужно простое, здоровое течение, ясно отгораживающееся от всех кривляний, признающее простоту, то есть прямое и честное отношение к слову, образу и мысли,— основным требованиям искусства.

Крепко жму Вашу руку и от души желаю Вам успеха.

*Вл. Короленко.*

В то время наше писательское товарищество («Книгоиздательство писателей в Москве») решило издавать беллетристические сборники, редактором избрало меня, и приведенное письмо Короленко — ответ на мою просьбу принять участие в наших товарищеских сборниках. Лозунги наши были: ничего антижизненного, антиобщественного, антиреволюционного; стремление к простоте и ясности языка; никаких вывертов и кривляний.

Встречи наши, о которых вспоминает Короленко, происходили в 1896 году. Я тогда сотрудничал в «Русском богатстве», журнале Михайловского и Короленко, бывал на четверговых собраниях сотрудников жур-

нала в помещении редакции на Бассейной. Короленко в то время жил в Петербурге, на Песках; я жил в Больнице в память Боткина, за Гончарною; возвращаться нам было по дороге, и часто мы, заговорившись, по нескольку раз провожали друг друга до ворот и поворачивали обратно.

Беседы, долгие и горячие, шли о марксизме. Тема в то время была самая боевая, «Русское богатство» занимало по отношению к марксизму весьма враждебную позицию, а я уже был марксистом. Вскоре я из-за этого ушел из «Русского богатства», при весьма враждебном ко мне отношении Н. К. Михайловского и других руководителей журнала. У Короленко ни тени не было этой враждебности. Он возражал, выспрашивал, и, видимо, ему было важно одно: понять психологию этого совершенно ему непонятного нового революционного течения. Живые молодые силы толпами уходят в ряды приверженцев этого течения. Товарищи Короленко по журналу оценивали этих приверженцев как оголтелых людей, забывших о «заветах» и отказывающихся от революционного «наследства». Жизненное художественное чутье Короленко говорило ему, что тут — «опять вера в жизнь и веяние живого духа». Вспоминая о впечатлении, произведенном на него одним из первых русских легальных марксистов, Н. В. Водовозовым, Короленко в некрологе его писал в 1896 году:

«Хочется верить, что родина наша не оскудела еще молодыми силами, идущими на свою очередную смену поколений для трудной работы, намеченной лучшими силами поколений предыдущих».

Помню Короленко и его споры о марксизме и в последующие годы. В то время как другие сотрудники «Русского богатства» с раскольничьей нетерпимостью сторонились марксистов и избегали с ними частных, не публично-боевых встреч, Короленко и его друг Н. Ф. Анненский, напротив, пользовались всяким случаем, чтобы поговорить и поспорить с марксистами, и очень часто их можно было встретить на журфиксах М. И. Туган-Барановского, где собирались все тогдашние представители легального марксизма — П. Б. Струве, В. Я. Богучарский, П. П. Маслов, М. П. Неведомский, А. М. Калмыкова и др. Умница он был, Влади-

мир Галактионович, доводы его били в самые больные точки, и не раз специалисты по общественным и экономическим вопросам пасовали перед возражениями дилетанта-беллетриста.

Манера говорить у них была разная: Анненский говорил быстро, страстно, захлебываясь; Короленко — медлительно, спокойно, никогда не теряя самообладания; глаза смотрят внимательно, и в глубине их горит мягкий юмористический, смеющийся огонек. Сам — приземистый, коротконогий, с огромною курчавою головою, на которую он никогда не мог найти в магазине шляпы впору,— приходилось делать на заказ.

Рассказывали, что в редакции «Русского богатства» очень косились на Короленко с Анненским за их общение с филистимлянами.

Из записей моих того времени:

*29 февраля 1896 г.*

Мы возвращались вечером из редакции «Русского богатства» с В. Г. Короленко и В. Л. Серошевским. Заговорил с Короленко по вопросу: насколько вправе беллетрист выводить в своих рассказах живых людей? В общем ведь в большинстве случаев происходит так: центральные лица представляют некоторое обобщение, определенного объекта в жизни не имеют; лица же второстепенные в подавляющем большинстве являются портретами живых людей, которым, однако, автор приписывает то, чего эти люди в жизни не совершали. Все их узнают, получается жестокая обида. А как обойтись без этого? Ведь кругом нас, куда ни взгляни, живьем ходят чудеснейшие типы, что-нибудь изменять в них — только портить.

Короленко: наблюдений, конечно, неоткуда черпать, как не из жизни; нужно стараться изображать не единичного человека, а тип; совершенно недопустимо делать так, как делают Боборыкин или Иероним Ясинский,— сажать герою бородавку именно на правую щеку, чтоб никакого уж не могло быть сомнения, кто выведен. Но общего правила дать тут нельзя, в каждом случае приходится сообразоваться с обстоятельствами.

— Были случаи, когда я совершенно не стеснялся выводить живых людей и даже желал, чтоб их узнали. Например, то, что рассказано в очерке «Ат-Да-

ван»,— истинное происшествие; настоящая фамилия Арабина — Алабин. Я сначала даже прямо хотел его вывести под настоящей фамилией. Посылал я об описанном факте корреспонденции — ни одна газета не решилась напечатать. Тогда я прибег к форме беллетристического рассказа. Этот Алабин теперь умер. Последнее время он жил в Петербурге. Когда «Ат-Даван» был напечатан, он явился в редакцию «Русского богатства», кричал, выхватывал шашку, требовал моего адреса, чтоб меня убить. Жаль, что не сообщили ему,— с улыбкою сказал Короленко.— Интересно было бы встретиться!.. Единственное, что я мог бы тут сделать,— это предложить ему исправить в рассказе фамилию и напечатать ее в подлинном виде.

Алабин, между прочим, говорил в редакции:

— Человека я убил, это верно, а прогоны я всегда платил, это Короленко врет!

Он сам помещал рассказцы в иллюстрированных изданиях...

Живое лицо также герой «Сна Макара»: его зовут Захаром. Он знает о рассказе Короленко и с гордостью заявляет: «Я — сон Макара!» В рассказе «Река играет» сохранена даже фамилия перевозчика — Тюлин.

— Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии, не мог ни единого звука изменить в фамилии. Закроешь глаза,— так и слышишь, как по реке издалека несется: «Тю-у-у-у-ли-и-ин!»

На Ветлуге рассказ Короленко быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтоб дать возможность пассажирам посмотреть на прославившегося Тюлина. Он знает, что его пропечатали. Когда ему прочли рассказ Короленко, он помолчал, поглядел в сторону и, подумав, сказал:

— Так ведь меня же в тот раз не били!

— Если бы я знал,— прибавил Короленко,— что рассказ дойдет до него, я, конечно, переменил бы фамилию.

Еще из разговоров о его произведениях.

Чудесный рассказ «Тени», где Сократ ведет спор с Зевсом и остается победителем, написан Короленко в Крыму, под впечатлением крымской природы. Там ему попали в руки два тома сочинений Платона в переводе Карпова. Платон сильно увлек его.

— Теперь наука, конечно, ушла далеко вперед, но в нынешнее время трудно найти такую поразительную диалектику, такое умение логически развить свою мысль, ни на шаг не уклоняясь в сторону.

Короленко тогда самого мучили религиозные сомнения, и «Тени» — выражение мыслей его о законности скептицизма и свободного подхода к религиозным вопросам.

Разговор вообще перешел на религию и, в частности, на вопрос о религиозном элементе в воспитании детей. Этот элемент, по мнению Короленко, необходим, его требует сама природа ребенка. Сын Чернышевского воспитывался совершенно вне религии, и вот в том уже возрасте, когда мы начинаем сомневаться и терять веру, он стал верующим.

— А как вы в этом отношении с вашими детьми?

— На их вопросы о боге я отвечаю: «Не знаю». Но я стараюсь вложить в них то, что есть у меня самого: благоговейное ощущение чего-то великого и возвышенного, вне нас находящегося.

В середине марта 1896 года Короленко был болен инфлюэнцею, температура доходила до сорока. Несколько дней он не читал редакционной корреспонденции. Начал поправляться, взялся за почту. Письмо одного начинающего автора: пишет, что если не получит ответа до 14 марта, то застрелится. А было уже семнадцатое. Короленко сильно встревожился. Сам еще больной, лихорадящий и кашляющий, он немедленно поехал к автору на Вознесенский проспект и... застал его укладывающим чемоданы: он получил место где-то на Амуре и ехал туда.

Не могу себе представить ни одного другого редактора, который на такое письмо бросился бы отыскивать автора. Какое трепетно-бережное отношение к человеческой жизни!

Когда он рассказывал что-нибудь смешное, говорил он так же медлительно и спокойно, как при споре; все кругом хохотали, а он был серьезен, и только в глубине глаз дрожали юмористические огоньки.

Из его рассказов:

В начале девятисотых годов издавалась в Симферополе газета «Крым». Редактором ее был некий Балабуха, личность весьма темная. Вздумалось ему баллотироваться в гласные городской думы. Накануне выборов в газете его появилась статья: во всех культурных странах принято, что редакторы местных газет состоят гласными муниципалитетов, завтра редактор нашей газеты баллотируется, мы не сомневаемся, что каждый наш читатель долгом своим почтет и т. д.

На следующий день Балабуха является на выборы. Подходит к одному известному общественному деятелю.

— Вы мне положите белый шар?

— Нет.

— Почему?

— Потому, во-первых, что вы шантажист.

— Ах, что вы шутите!

— Во-вторых, что вас в каждом городе били.

— В каких же это городах меня били?

— В Симферополе.

— В Симферополе?.. Ну... Один раз всего ударили. А еще?

— Еще — в Карасубазаре.

Редактор торжествующе рассмеялся.

— Ну вот! В Карасубазаре! Какой же это город?

Другой рассказ. Владимир Галактионович клялся, что это правда.

В одной одесской газете, при описании коронации,— не помню, Александра III или Николая II,— было напечатано:

«Митрополит возложил на голову его императорского величества ворону».

В следующем выпуске газеты появилась заметка:

«В предыдущем номере нашей газеты, в отчете о священном короновании их императорских величеств, вкралась одна чрезвычайно досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит возложил на голову его императорского величества *ворону*»,— читай: *«корову»*.

Когда вспоминаешь о Короленко, сейчас же рядом с ним встает фигура его друга, Николая Федоровича Анненского. В первой половине девяностых годов, во-

ротившись из разных мест сибирской ссылки, оба они стояли в центре интеллигентной жизни Нижнего Новгорода; потом, по переезде в Петербург, оба были близкими сотрудниками «Русского богатства». Анненский на десять лет был старше Короленко, по профессии статистик, и очень выдающийся; в «Русском богатстве» он вел внутреннее обозрение — добросовестно, но суховато. Плотный и приземистый, седобородый, с красным лицом и с чудесною молодою душою: семидесятники обладали этим секретом до глубокой старости сохранять душу свою молодою.

Бывает, от многих встреч с человеком особенно ярко запоминается одна какая-нибудь. Анненский, когда о нем подумаешь, всегда вспоминается мне при таких обстоятельствах.

Двадцать шестого мая 1899 года исполнилось сто лет со дня рождения Пушкина. Официальные учреждения и приверженная правительству печать, с «Новым временем» во главе, собрались торжественно праздновать этот юбилей. Разумеется, ни у кого из любящих литературу не было охоты соединиться в праздновании памяти Пушкина с духовными потомками Бенкендорфа и Булгарина.

«Левая» литература устроила свое особое, без разрешения власти, чествование памяти Пушкина,— очень далеко от центра, в конце Крестовского острова, в помещении речного яхт-клуба. Вечер был чисто весенний, ясный и теплый. Банкет прошел с большим подъемом и задушевностью. К ночи вдруг подул холодный ветер и повалил мокрый снег,— настоящая поднялась вьюга. Часа в два ночи нам подан был от яхт-клуба пароход для доставки нас в город. Светало, с севера все дул пронзительный ветер, и мокрый, липкий снег продолжал залеплять доски пристани, палубу и зеленую траву на берегу. А все были в легких летних костюмах, многие даже без пальто, и все без калош, дамы — с кисейными, просвечивающими рукавами.

Я спустился с палубы по крутой лесенке в каюту, где уже сидело много народу, и вскоре все скамейки оказались занятыми. Смотрю — сверху, из люка, выглядывает Анненский и таинственно, даже как будто взволнованно, манит меня пальцем:

— Викентий Викентьевич! Поскорее! Пойдите сюда!

Я поднимаюсь по лесенке. Когда голова моя показывается над палубой, Николай Федорович шутливо берет меня за ворот пальто и, при общем смехе, как бы извлекает из каюты наверх. Потом расшаркивается перед стоящею у лесенки дамою, указывает ей на каюту и галантно говорит:

— Место для вас свободно... Пожалуйте!

Публика все подходила, и Анненский очищал для дам места в каюте, выуживая оттуда одного мужчину за другим.

Пароход тронулся. Хозяева, члены яхт-клуба, махали нам с пристани шляпами и кричали:

— Гип-гип-гип!

Мы махали шляпами в ответ и тоже кричали:

— Гип-гип-гип!.. Спасибо за гостеприимство!

В больном свете нарождающегося непогодного дня пароход бежал по Невке, холодные черные волны бились о борта, ветер залеплял лица и одежду мокрым снегом. Все понуро стояли, усталые и продрогшие. И только Николай Федорович все время острил, посмеивался и пел:

Тореадор, смелее!
Тореадор, тореадор!
Знай, что в час борьбы твоей кровавой
Черный глаз блеснет живей...

«Проницательный читатель», особенно припомнив мое замечание о красном лице Анненского, скажет: «Был выпивши». Нет, этого не было. Да и вообще пьяным я его никогда не видел. Но он, этот седовласый старик под шестьдесят лет,— он был положительно самым молодым из всех нас. Особенно разительно помнится мне рядом с ним П. Б. Струве. Он стоял сгорбившись, подняв воротник пальто, и снег таял на его сером, неподвижном, как у трупа, лице. Да и все мы были не лучше.

Так мне и теперь представляется Анненский как живое олицетворение всего его поколения. Под пронизывающим ветром, средь слякоти и вьюги — бодрый смех и песни.

— «Тореадор, смелее!..»

## Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Познакомился я с ним в редакции «Русского богатства». Красавец с седыми волосами. Свежий цвет лица, блестящие молодые глаза — и седые волосы. Это особенно было красиво. Удачник жизни. Талантливый, богатый, красивый. Исключительный успех у женщин. По специальности он был инженер-путеец. И впечатление у меня было, что литературой он занимается так, походя, потому что, среди многочисленных даров, судьба, между прочим, отпустила ему и литературный талант. Хотя, впрочем, написал он довольно много. Быстрые движения, энергичный. Это особенно как-то ценишь в русских людях. Заработки его как инженера были огромные. Деньгами сыпал. Жил в Царском Селе. Выйдет из дому,— извозчики вскачь мчатся к нему: платил не торгуясь. Когда ехал в поезде, всем было известно, что едет инженер Михайловский: он золотыми давал на чай всей поездной прислуге, начиная с обер-кондуктора и машиниста и кончая смазчиком и проводником вагона. Близко я его не знал, но впечатление от него было: он пришел в жизнь для легкого праздника и был убежден, что жизнь и вправду очень веселый, легкий и разнообразный праздник.

От каждого человека, которого мы знали не слишком близко, остается в памяти одно центральное воспоминание, в котором, как в фокусе, концентрируется общее впечатление от этого человека. Такое фокусное воспоминание о Гарине. Начало марта 1905 года. Мы отступали от Мукдена. Давно уже назади остался Телин. В потоке отступающих войск дошли мы до Сыпингая. Целые сутки я ничего не ел. Смертельно усталый, весь осыпанный едкою желтою маньчжурскою пылью, я сидел сгорбившись на скамейке перрона. Буфета не было. Сверкал зеркальными стеклами поезд главнокомандующего, по перрону разгуливали чистенькие, щеголеватые штабные, и их упитанные, самодовольные физиономии, с высокомерием оглядывавшие нас, ощущались как пощечина от презренного человека.

Проходит щеголевато одетый инженер с седою бородкою. Остановился, вгляделся в меня молодыми, быстрыми глазами.

— Викентий Викентьевич?

— Николай Георгиевич!

Как? Что? Расспрашивает, рассказывает про себя: занимает какой-то важный пост в железнодорожном ведомстве. Протянул руку.

— Ну, до свиданья! Как-нибудь заходите. У меня тут на путях свой вагон. Поболтаем, чайку попьем с коньячком.

Конечно, сейчас он куда-нибудь спешил. Но как, как мог он, глядя на меня, не почувствовать, чем был бы для меня,— вот теперь, сейчас,— стакан чаю?

## ВЕРА ЗАСУЛИЧ

В июле 1877 года, по приказанию петербургского полицмейстера генерала Трепова, был высечен в тюрьме политический заключенный, студент Боголюбов. 24 января 1878 года молодая девушка Вера Засулич явилась к Трепову в качестве просительницы и в тот момент, когда он принимал от нее бумагу, выстрелила в него из револьвера и ранила. Затем бросила револьвер и спокойно дала себя арестовать. На допросе она заявила, что стреляла в Трепова за Боголюбова, что лично Боголюбова не знает, а мстила Трепову за издевательство над политическими заключенными. Решено было судить Веру Засулич судом присяжных. Министр юстиции граф Пален ручался царю за обвинительный приговор. Однако фактическим обвиняемым на суде оказался, вместо Веры Засулич, генерал Трепов. Присяжные вынесли Вере Засулич оправдательный приговор, встреченный общими рукоплесканиями. По приказанию председателя Засулич была освобождена. На улице, при выходе из здания суда, ее ждали жандармы и хотели арестовать. Но толпа вступила с жандармами в свалку и отбила девушку. Она успела сесть в приготовленную карету и скрыться. Через некоторое время ей удалось бежать в Швейцарию. Дело Веры Засулич вызвало огромную сенсацию и прославило ее на весь мир.

За границею Вера Ивановна прожила более двадцати лет. С зарождением русского марксизма она всею душою примкнула к этому течению и вошла в

группу «Освобождение труда», во главе которой стояли Плеханов и Павел Аксельрод. После 1905 года Засулич получила возможность возвратиться в Россию и уже безвыездно прожила в ней до самой смерти.

Однако приезжала она однажды в Россию и раньше, до своего легального возвращения. Было это зимою 1899—1900 года. Целью ее поездки было установить непосредственную связь с работавшими в России социал-демократами, лично ознакомиться с их настроениями и взглядами и выяснить им позицию группы «Освобождение труда» в возникших за границею конфликтах. Жила она, конечно, по подложному паспорту, и только несколько человек во всем Петербурге знали, кто она. В это время я с нею и познакомился.

Невысокая седенькая старушка, небрежно причесанная, кое-как одетая, с нервно подергивающеюся головою, постоянно с папироскою во рту. Говорила она быстро, слегка как будто захлебываясь. Но улыбка у нее была чудесная — мягкая, застенчивая и словно извиняющаяся. Она была умна, образованна и остроумна, спорила искусно, возражения ее были метки и сильны. Но высказывала она их с этою милою своею улыбкою, словно извинялась перед противником, что вот как ей это ни тяжело, а не может она с ним согласиться и должна ему возражать.

Скромна она была необычайно, к всемирной известности своей относилась с усмешкою: мало ли в семидесятых годах было террористических покушений, мало ли было революционеров, действовавших гораздо искуснее и смелее ее,— а имена их никому почти не известны. Своею же славою она обязана чистейшему случаю — что царскому правительству вздумалось применить к ней «народный суд» и попытаться показать Европе, что сам русский народ и общество относятся отрицательно к кучке баламутов-революционеров.

До известной степени Вера Ивановна была права: конечно, если бы ее судили обычным негласным судом, имя ее было бы известно только людям, специально интересующимся историей русской революции. И все-таки мало я видел людей, которые бы так скромно и даже неохотно несли выпавшую на их долю известность. Слава иногда портит и уродует даже са-

мую хорошую душу. Когда все кругом потихоньку указывают друг другу на знаменитого человека, когда почтительно прислушиваются к каждому его слову, гордятся и хвалятся знакомством с ним, то очень много нужно душевной силы, чтобы не стать суетным, тщеславным и нетерпимым. Вот в чем нисколько не была грешна Вера Ивановна. Она была так застенчиво-скромна, так всегда старалась держаться в тени, что иногда с нею случались довольно-таки курьезные недоразумения.

Мы, петербургские литераторы-марксисты, группировались тогда в кружок, собиравшийся обыкновенно у А. М. Калмыковой, известной деятельницы по народному образованию.

Был, между прочим, в нашем кружке один молодой критик и публицист — человек талантливый, с самостоятельною мыслью, с интересными переживаниями. Но была у него одна очень неприятная черта: он умел быть внимательным, чутким собеседником с лицами, которые его интересовали. Но с людьми, ему неинтересными, он держался не то чтобы высокомерно или небрежно,— а просто они для него совершенно не существовали, были пустотою, которой он даже не замечал. В то время его особенно интересовал вопрос о различии морали старого народничества и нового народившегося марксизма. Характерною чертою народничества, как течения чисто интеллигентского, он считал «болезнь совести», особенностью социал-демократизма — «болезнь чести»: старый народник-интеллигент шел в революцию вследствие поруганной совести — нужно бороться за страдающий и угнетенный народ. Новый революционер, рабочий, идет в революцию вследствие поруганной чести: такие же люди, как все, мы не хотим больше страдать и терпеть угнетение. На эту тему приятель наш вел в то время журнальную полемику с Н. К. Михайловским. На эту же любимую свою тему заговорил он и в нашем кружке при Вере Ивановне. Говорил он много и с одушевлением. Вера Ивановна несколько раз пыталась ему возражать, но он только сверкнет пренебрежительно своим пенсне на скромную старушку в углу, неохотно протянет:

— Да-а, пожалуй!

И, даже не удостоив выслушать ее, продолжает говорить сам или слушать возражения противников, которые его интересовали. И Вера Ивановна сконфуженно умолкала.

Прошло с год. Однажды, беседуя на ту же тему, он говорит мне:

— Знаете, с кем бы мне всего интереснее было поговорить об этом? С Верой Засулич. Вы помните, как ее описывает Степняк-Кравчинский в «Подпольной России»? И такой человек, с чисто народническою душою, стал социал-демократом! Правда, интересно бы с нею поговорить? Ей-богу, готов бы за границу поехать, только чтоб с нею побеседовать.

Я лукаво говорю:

— Вы с нею беседовали год назад. И как раз на эту тему. Только не пожелали ее слушать.

— В чем соль вашей шутки? Не понимаю.

Вера Ивановна давно уже уехала за границу, конспирировать было нечего. Я напомнил приятелю о скромной старушке в уголке на одном из наших прошлогодних собраний.

— Это была Вера Засулич.

Он вскочил.

— Да нет! Да неужели же! Я припоминаю, в уголке сидела какая-то серая старушонка. Я про нее спросил Калмыкову, она сказала, что это ее родственница из провинции. Ах ты, досада! В одной комнате с нею просидел целый вечер!..

После революции 1905 года Вера Ивановна получила возможность легально воротиться в Россию. Она поселилась в Петербурге. Сотрудничала в социал-демократических журналах и газетах, много переводила, но, сколько мне известно, активно в партии уж не работала.

В Тульской губернии у близких моих родственников было небольшое имение. Молодежь этой семьи деятельно работала в революции, сыновья и дочери то и дело либо сидели в тюрьмах, либо пребывали в ссылке, либо скрывались за границей, либо высылались в родное гнездо под гласный надзор полиции. Однажды летом к одной из дочерей приехала туда погостить Вера Ивановна. Место очень ей понравилось,

и она решила тут поселиться. Ей отвели клочок земли на хуторе, отстоявшем за полторы версты от усадьбы.

В убогой своей избушке она писала и переводила. Способ работы у нее был ужасный. Когда Вера Ивановна писала, она по целым дням ничего не ела и только непрерывно пила крепчайший черный кофе. И так иногда по пять-шесть дней. На нервную ее организацию и на больное сердце такой способ работы действовал самым разрушительным образом. В жизни она была удивительно неприхотлива. Сварит себе в горшочке гречневой каши и ест ее несколько дней. Одевалась она очень небрежно, причесывалась кое-как.

Раз идет по тропинке через зреющую рожь крестьянская баба. Вдруг ей навстречу простоволосая растрепанная старуха с трясущеюся головою, с торчащим изо рта зубом. Настоящая баба-яга. Женщина шарахнулась в рожь.

— Мать честная!.. Да воскреснет бог!..

Но душа этой неизящной на вид старухи была удивительно изящная и тонкая. То сравнительно немногое, что она написала, написано изящно и умно, переводы ее очень хороши. Вера Ивановна чувствовала красоту во всем. Но особенно она любила ее и чувствовала в русской природе. На своем небольшом клочке земли она развела садик и с утра до вечера копалась в нем. Никогда в жизни не видел я такого оригинального садика. Там было мало обычных садовых цветов — всех этих левкоев, настурций, резеды. Но очень много было цветов полевых и лесных. Понравится ей цветок где-нибудь на меже около ржи, на луговом откосе или в лесной лощинке под кустом орешника,— Вера Ивановна бережно выкапывает его и пересаживает к себе в садик. И здесь, на хорошей земле, при тщательном уходе, цветок развивался так пышно, что нельзя было его и сравнивать с братьями его, жившими на воле. Она очень этим гордилась. Однажды она мне сказала:

— Вот так и с людьми. Дать им подходящие условия, поставить в нужную обстановку,— и как они могут быть прекрасны!

## ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

С Андреевым я познакомился в мае 1903 года в Ялте. Этот и ближайшие к нему годы были, по-видимому, счастливейшим периодом в жизни Андреева. За год перед тем он выпустил первую книжку своих рассказов, и встречена она была критикою восторженно. Вчерашний безвестный судебный репортер газеты «Курьер», Леонид Андреев сразу и безоговорочно был выдвинут в первый писательский ряд. Рассказ «Бездна», напечатанный уже после выхода книжки в той же газете «Курьер», вызвал в читательской среде бурю яростных нападок и страстных защит; графиня С. А. Толстая, жена Льва Толстого, напечатала в газетах негодующее письмо, в котором протестовала против безнравственности рассказа. Буря эта сделала известным имя Леонида Андреева далеко за пределами очень, в сущности, узкого у нас в то время круга действительных любителей литературы. Книжка, в последующее издание которой был включен и рассказ «Бездна», шла бешеным ходом, от газет и журналов поступали к Андрееву самые заманчивые предложения. Бедняк, перебивавшийся мелким репортажем и писанием портретов, стал обеспеченным человеком. Года полтора перед этим он женился, и брак был исключительно счастливый,— об этом браке я еще буду рассказывать. Любимая и любящая жена, прелестный мальчишка Димка. Подъем творческой энергии, вызванный всеобщим признанием и верою в себя. Третья картина из андреевской драмы «Жизнь человека»: «Как пышно! Как светло!»

Смуглый, с черными «жгучими» глазами, черною бородкою и роскошною шевелюрою, Андреев был красив. Ходил он в то время в поддевке, палевой шелковой рубахе и высоких лакированных сапогах. Вид у него был совсем не писательский. Со смехом рассказывал он про одну встречу на пароходе, по дороге из Севастополя в Ялту.

В Севастополе он выступал на литературном вечере и имел шумный успех. На пароходе одна молодая дама долго и почтительно приглядывалась к нему, наконец подходит:

— Позвольте познакомиться... Давно желала этой чести... Я ваша восторженная поклонница...

— Я,— рассказывал Леонид Николаевич,— скромно потупляю глаза, мычу, что и я со своей стороны... что очень польщен...

Дама спрашивает:

— Вы давно из Новороссийска?

— Из Новороссийска? Никогда там не бывал.

— Так вы разве... не дирижер цыганского хора?

— Нет. Я писатель. Леонид Андреев.

— Ах, писа-атель...

И дама разочарованно отошла.

Мы ездили большой компанией в Байдарскую долину, в деревню Скели, к замужней дочери С. Я. Елпатьевского, Людмиле Сергеевне Кулаковой. Ночью, при свете фонарей, ловили в горной речке форелей. Утром, в тени грецких орешников, пили чай. Растирали в руках листья орешника и нюхали. Андреев сказал:

— Совершенно пахнут йодом!

— Ну, йодом!

— Вы со мной на этот счет не спорьте. Я запах йода отлично знаю. Жена меня каждый день на ночь мажет йодом то тут, то там.

— От каких болезней?

— От всяких.

— И что же, помогает?

Андреев помолчал.

— Семейному счастью помогает.

Возвращались мы в Ялту лунной ночью, в линейках. Смеялись, шутили, спорили.

Я, между прочим, сказал:

— Как, в сущности, бездарно это прославленное гоголевское описание Днепра: «Чуден Днепр при тихой и ясной погоде...» Ни одной черточки, которая давала бы лицо именно Днепра. Описание одинаково можно приложить и к Волге, и к Лене, и к Рейну, и к Амазонке,— к любой большой реке.

Андреев неопределенно усмехнулся:

— В этом-то именно и достоинство художественного описания. Нужно именно описывать вообще реку, вообще город, вообще человека, вообще любовь. Какой интерес в конкретности? Какой бы художник

рискнул, например, написать красавицу с турнюром, как у нас ходили дамы лет пятнадцать назад? Всякий смотрел бы на этот уродливо торчащий зад и только смеялся бы.

Это очень характерно для Андреева. В нем всегда было сильно стремление к схематизации образов, к удалению из них всего конкретного. Ярчайший образчик—его «Жизнь человека». В ней он попытался дать образ человека *вообще* (а дал, вопреки желанию, только образ человека-обывателя). У Андреева не было интереса к живой, конкретной жизни, его не тянуло к ее изучению, как всегда тянуло, например, Льва Толстого,— жадно, подобно ястребу, кидавшегося на все, что давала для изучения жизнь. Андреев брал только то, что само набегало ему в глаза. Он жил в среде, в которую его поместила судьба, и не делал даже попытки выйти из нее, расширить круг своих наблюдений.

Рядом с этим, однако, следует отметить, что глаз у него был чудесный, и набегавшую на него конкретную жизнь он схватывал великолепно. Доказательство — его реалистические рассказы, вроде «Жили-были». Но сам он таких рассказов не любил, а больше всего ценил свои вещи вроде «Стены» или «Черных масок».

Пренебрежение к конкретности позволяло Андрееву браться за описание того, чего он никогда не видел. В «Иуде» он пишет палестинские пейзажи, в «Царе» (своеобразно красивой вещи, почему-то, кажется, до сих пор не напечатанной) он описывает ассирийскую пустыню, в «Красном смехе» — японскую войну. Но на войне он никогда не был. Это, вероятно, будет очень неожиданно для читателей «Красного смеха». Боборыкин в своих воспоминаниях об Андрееве, описывая чтение им «Красного смеха», говорит, что писатель тогда «только что вернулся с кровавых полей Маньчжурии». Для бывших на войне такого заблуждения быть не может. Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и — смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа: упущена из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека — способность *ко всему привыкать.* «Красный смех» — произведение

большого художника-неврастеника, больно и страстно переживавшего войну через газетные корреспонденции о ней.

Видались с ним в Ялте часто. Говорили много и хорошо. Какие-то протянулись нити, хотя во всем были мы люди чудовищно разные. Общее было в то время, обоих сильно и глубоко мучившее,— «чувство зависимости»,— зависимости «души» человека от сил, стоящих выше его,— среды, наследственности, физиологии, возраста; ощущение непрочности всего, к чему приходишь «разумом», мыслью. Славная была его жена, Александра Михайловна. Мы расстались в Крыму, чтоб опять увидеться в Москве. В 1901 году я был выслан на два года из Петербурга с запрещением проживать в столицах, прожил эти два года в родной Туле. К осени собирался перебраться в Москву.

В августе получил от Андреева письмо:

Дорогой Викентий Викентьевич! Подходит зима,— не передумали Вы насчет Москвы? Это вопрос не праздного любопытства. Для меня и Шуры очень важно, будете ли Вы жить в Москве или нет. Штука в том, что наша короткая встреча оставила такое впечатление, какого давно не давали люди. И кажется мне, что мы можем сойтись, хорошо сойтись. Я уже вижу, как мы будем с Вами говорить, и самое приятное — еще не знаю, о чем. О чем-то особенном, совсем особенном и интересном, о чем уже давно хочется поговорить. Итак: приедете или нет? Квартир сейчас в Москве много и дешевы они... Когда переселитесь, вместе будем, если это будет для Вас удобно, исследовать старую и новую Москву... Лето, до половины июля, держал себя дальше от работы и баловался стереоскопом. Великолепная штука! Такие снимки есть, восторг один. Последний же месяц писал и написал большой рассказ под заглавием: «Жизнь Василия Фивейского». Замысел рассказа важный, но выполнение мизерное — придется поработать еще. Приезжайте.

В Москве в сезон 1903—1904 года часто виделись с ним. Был Андреев типический москвич. Радушный и гостеприимный, малоразборчивый на знакомства; масса приятелей, со всеми на «ты»; при встречах, хотя бы вчера виделись, целуются. Очень любил пить чай. Самовар в его квартире не сходил со стола круглые сутки. Работал Андреев по ночам, до четырех-пяти часов утра, и все время пил крепкий чай. В пять утра вставала его матушка, Настасья Николаевна, и садилась за чай. Днем, когда к ним ни придешь, всегда на столе самовар.

Жил Андреев в тихих Грузинах, в Средне-Тишинском переулке, в уютном особняке. По средам чаще всего у него (и у Н. Д. Телешова) собирался наш кружок беллетристов, носивший название «Среда» и основанный за несколько лет перед тем Н. Д. Телешовым. Участвовали в кружке, кроме Андреева, братья Бунины, Юлий и Иван, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский, А. С. Серафимович, И. А. Белоусов, В. А. Гольцев, Сергей Глаголь (С. С. Голоушев, художественный критик), С. А. Найденов и др. При приездах своих в Москву бывали Чехов, Короленко, Горький, Куприн, Елпатьевский, Чириков,— в большинстве та литературная группа, которая впоследствии была известна под именем «знаньевцев» (по издательской фирме Горького «Знание»). Из неписателей бывали Шаляпин, артисты Художественного театра. Кружок был замкнутый, посторонние в него не допускались. Писатели читали в кружке свои новые произведения, которые потом подвергались критике присутствующих. Основное условие было — высказываться совершенно откровенно, основное требование — не обижаться ни на какую критику. И критика нередко бывала жестокая, уничтожающая, так что некоторые более самолюбивые члены даже избегали читать свои вещи на «Среде». Андреев обязательно каждую свою новую вещь проводил через «Среду», и приятно было смотреть, как жадно в то время выслушивал он всякую, самую неблагоприятную критику. А критика очень часто бывала неблагоприятная: и по основным настроениям своим и по форме андреевское творчество слишком было чуждо реалистически настроенному большинству кружка.

Для меня всегда было загадкою, почему Андреев примкнул к «Среде», а не к зародившемуся в то время кружку модернистов (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Мережковский, Гиппиус и пр.). Думаю, в большой степени тут играли роль, с одной стороны, близкие личные отношения Андреева с представителями литературного реализма, особенно с Горьким, с другой стороны — московская пассивность Андреева, заставлявшая его принимать жизнь так, как она сложилась. Однако при случае он резко и определенно проявлял свои симпатии. Помню доклад Бальмонта об Оскаре

Уайльде в московском Литературно-художественном кружке. Публика была возмущена бальмонтовскими восхвалениями не только творчества Уайльда, но и самой его личности. Ораторы один за другим всходили на кафедру и заявляли, что не нам проливать слезы над Оскаром Уайльдом, попавшим в каторжную тюрьму за содомский грех,— нам, у которых столько писателей прошло через каторгу за свою любовь к свободе и народу. Андреев, сидевший на эстраде, громко и демонстративно аплодировал Бальмонту и потом говорил посмеиваясь:

— Ну, теперь я навеки погиб во мнении московской публики!

Под конец жизни Андреев разошелся с прежними литературными друзьями, о Горьком отзывался враждебно и был в тесной дружбе с Федором Сологубом.

Возвращаюсь к «Среде». Я до того времени в Москве не жил, и «Среда» меня поразила своим резким отличием от нашего марксистского литературного кружка, в котором в годы до высылки я участвовал в Петербурге. Там, в Петербурге,— раскаленная общественная атмосфера, страстные дебаты сначала с народниками, потом с бернштейнианцами, согласное биение со все усиливающимся революционным пульсом, тесная связь с революционными низами. Здесь, в Москве,— как будто мирная какая-то заводь, куда не докатывалась даже тихая рябь от бушевавших на просторе грозовых волн. Там — самовар, бутерброды с сыром и колбасой, беззаботные к костюму мужчины и женщины. Здесь—ужины с тонким вином и осетриной под соусом провансаль, красивые дамы, мерцание бриллиантов, целование ручек.

Я повел агитацию за расширение тем собеседований в кружке, за большее внимание к общественности и кипевшей кругом жизни. Несколько раз приводил на «Среду» А. А. Малиновского-Богданова, П. П. Маслова. Андреев очень сочувственно, даже с восторгом отнесся к моему начинанию. «Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как бы было хорошо,— говорил он,— если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях

революционной борьбы». Вот до чего велика была в то время отчужденность Андреева от всякой общественности! Доклад о программах!..

Когда вспоминаешь о Леониде Андрееве того времени, нельзя отделить его от его первой жены, Александры Михайловны. Брак этот был исключительно счастливый, и роль Александры Михайловны в творчестве Андреева была не мала.

Андреев был с нею неразлучен. Если куда-нибудь приглашали его, он не шел, если не приглашали и его жену. Александра Михайловна заботливо отстраняла от него все житейские мелочи и дрязги, ставила его в самые лучшие условия работы. Влияние на него она имела огромное. Андреев пил запоем. После женитьбы он совсем бросил пить и при жизни Александры Михайловны, сколько знаю, держался крепко. Новый год мы встречали у адвоката А. Ф. Сталя. Когда все пили шампанское, Андреев наливал себе в бокал нарзану. Он это называл «холодным пьянством».

Александра Михайловна умерла, прожив с Андреевым всего несколько лет. Драма Андреева «Жизнь человека» носит такое посвящение: «Светлой памяти моего друга, моей жены, посвящаю эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе».

Александра Михайловна действительно работала вместе с Андреевым — не в смысле непосредственного совместного писательства, как братья Гонкуры или Эркман и Шатриан, а в более глубоком и тонком смысле. Лучшей писательской жены и подруги я не встречал. В обычных теоретических «умных» беседах Александра Михайловна ничем не выдавалась и производила впечатление обыкновенной интеллигентной молодой женщины. Но было у нее огромное интуитивное понимание того, чтó хочет и может дать ее муж-художник, и в этом отношении она была живым воплощением его художественной совести.

Работал Андреев по ночам. Она не ложилась, пока он не кончит и тут же не прочтет ей всего написанного. После ее смерти Леонид Андреев со слезами умиления рассказывал мне, как писался им «Красный смех».

Он кончил и прочел жене. Она потупила голову, собралась с духом и сказала:

— Нет, это не так!

Он сел писать все сызнова. Написал. Была поздняя ночь. Александра Михайловна была в то время беременна. Усталая за день, она заснула на кушетке в соседней с кабинетом комнате, взяв слово с Леонида Николаевича, что он ее разбудит. Он разбудил, прочел. Она заплакала и сказала:

— Ленечка! Все-таки это не так.

Он рассердился, стал ей доказывать, что она дура, ничего не понимает. Она плакала и настойчиво твердила, что все-таки это не так. Он поссорился с нею, но... сел писать в третий раз. И только, когда в этой третьей редакции она услышала рассказ, Александра Михайловна просияла и радостно сказала:

— Теперь так!

И он почувствовал, что теперь действительно так.

Не нужно, однако, отсюда заключать, что Андреев как писатель способен был подчиняться чьему-либо чужому мнению. Слишком он для этого был крупным и оригинальным художником. В кружке «Среда» он обязательно читал каждую свою новую вещь, жадно вслушивался в самую суровую критику, но, может быть, из ста замечаний принимал к исполнению только одно-два. И если он так прислушивался к мнению Александры Михайловны, то потому, что сам в душе чувствовал: «Не так!» И если согласился с нею, что «теперь так», то потому, что его собственная художественная совесть сказала ему: «Теперь так».

Теперь так!

Так ли это было с объективной точки зрения? Может быть, и даже наверное, Лев Толстой написал бы не так и написал бы гораздо лучше. Но он, Леонид Андреев,— он-то должен был написать именно так, и иначе не мог и не должен был написать. Это-то вот бессознательным своим чутьем понимала Александра Михайловна и в этом-то отношении была таким другом-женою, какого можно пожелать всякому писателю.

Знал я другую писательскую жену. Прочтет ей муж свой рассказ, она скажет: «Недурно. Но Ванечка Бунин написал бы лучше». Или: «Вот бы эту тему Анто-

ну Павловичу!» А писатель был талантливый со своим лицом. И он вправе был бы сказать жене: «Суди меня. как меня, и оставь в покое Чехова и Бунина». Для Александры Михайловны Леонид Андреев был именно родным, милым Леонидом Андреевым, ей не нужен он был ни меньшим, ни большим, но важно было, чтобы он наилучше дал то, что может дать.

Как-то обедал я у него. После обеда пошли в сад, бывший при доме. Бросались снежками, расчищали лопатами дорожки от снега. Потом разговорились. Месяца два назад началась японская война. Говорили мы о безумии начатой войны, о чудовищных наших неурядицах, о бездарности наместника на Дальнем Востоке, адмирала Алексеева. Были серые зимние сумерки, полные снежной тишины. Вдруг из-за забора раздался громкий ядовитый голос:

— Начальство ругаете? Та-ак! Хорошим делом занимаетесь!

Андреев страшно побледнел и замолчал. Сказал с гадливым трепетом:

— Пойдемте домой!

И весь вечер был нервно-задумчив.

В апреле Андреевы уехали в Крым. Письмо оттуда:

Эх, Викентий Викентьевич! На свете существует Крым, а Вы сидите в Туле. Как тут не поверить в бога, карающего маловеров, неверов и позитивистов! Звать Вас не зову, чувствую, что не приедете, но от критики Ваших действий, а равным образом от соблазна удержаться не могу. Ваши действия — разве это действия? Это преступное бездействие и превышение власти, которое господь бог дал Вашему духу над Вашим телом, никак не ожидая, что Вы это тело запрячете в дыру к вящему его ущербу и поношению. Голова у Вас жила, особенно на «Средах», достаточно: надо же дать пожить и ногам, и груди, и носу, и глазам. Вы послушайте, как живет мой нос: вначале от массы впечатлений он схватил насморк и два дня вертелся у меня на лице как оглашенный. Потом успокоился, нюхнул там, нюхнул здесь и сказал: ах, хороша жизнь! На всем полуострове, где я ни бывал, основной запаховый тон — горьковато-душистый запах можжевельника, которым здесь топят печи. Потом — соленый, глубокий, влажный, широкий запах моря, а за ним тьма-тьмущая приватных запахов, как-то: сосны, пыли, всевозможных цветов. Иногда

носу моему кажется, что здесь и камни пахнут. С утра нос начинает свою работу. Поспешно отделавшись от старых запахов колбасы, масла и чая, он выходит наружу и целиком погружается в крымские ароматы. И под конец сам становится как флакон с духами, и стоит мне чихнуть, чтобы наполнить комнату дивным благоуханием.

А глаза! А уши! А ноги! Таких мозолей, как у меня сейчас, в Москве за деньги не купишь, даже у Мюр-Мерилиза. Вчера ноги мои два раза лазали на мыс Мартьян, и я вполне явственно слышал, как смеялись пальцы: большой — благодушным басом, а мизинец — тонким, несколько истерическим хохотком: именно на нем-то существует мозоль. И большой сказал: а каково теперь пальцам Вересаева? Маленький ехидно ответил: они в калошах.

Я Вас очень люблю, Викентий Викентьевич, и мне очень Вас не хватает. Если станет там скучно, приезжайте сюда. Одного дядю Елпатия [1] поглядеть — удовольствие большое и чисто крымское. В Москве он другой.

Крепко любящий *Леонид.*

В начале июня того же 1904 года я был мобилизован, уехал в Тамбов и оттуда должен был ехать со своею частью в Маньчжурию. В июле — письмо от Леонида Николаевича.

Дорогой и милый Викентий Викентьевич. Так же трудно сейчас писать письма, как в то, вероятно, время, когда каждый час ожидали люди либо пришествия антихриста, либо Христа. События бегут с силой и какой-то внутренней железной необходимостью, и старая мысль русская, многократно обманутая и обманувшаяся, путается и теряется в догадках. Когда и чем кончится война? Кто будет министром? К чему все сие? Только сумасшедший может верно ответить на эти вопросы. Но за углом сидит кто-то — сидит — это мы все знаем.

Так жаль, что Вы уезжаете, уехали. Мысли Ваши интересны, а сами Вы такой, что не любить нельзя,— в голове моей и в сердце остается пустая комната, всегда пустая, всегда готовая к Вашему приезду. И Вы приедете, я это знаю, и Вы напишете что-нибудь большое о русских людях на войне. Это страшно интересно. Если бы я был здоров, я поехал бы на войну обязательно.

Для меня лето пропало. Животный восторг первых дней прошел, и начался длительный кошмар жары, солнца, убийственного безделья. Два месяца не было дождя, и два месяца один день был похож на другой. Первая осень, когда я ничего не пишу, и хуже того — ничего в мыслях не приготовил для работы, ибо не мог думать. Боюсь, как бы не пропала зима от этого. Неврастения — только усилилась.

На днях едем в Москву. Пишите туда. Нужен сборник памяти Чехова. Вероятно, примет участие вся «Среда»,— я еще не толковал об этом. Будут воспоминания и рассказы, едва ли статьи. Как Вы — в состоянии ли будете и захотите ли что-нибудь дать?

---

[1] С. Я. Елпатьевский. *(Прим. авт.)*

То, что творилось вокруг мертвого Чехова, похоже было на извержение исландского гейзера, выбрасывающего грязь. Столько пошлости, подлости, наглости и лицемерия — будто взбесилось стадо свиней. Поверить всем этим скотам — так не было у них лучшего друга, как Чехова, а Чехов — был другом только «скотам». Даже Маркс[1], про которого Чехов перед смертью писал: «обманут им глупо и мелко», возложил венок: «лучшему другу».

Неделю перепадают дожди, похолодало, и я немного очухался. В голове копошится что-то — съезжаются мысли, как дачники осенью в город. Много думаю о себе, о своей жизни — под влиянием отчасти статей о В. Фивейском. Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное «нет» — сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»?

Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно.

Смысл, смысл жизни, где он? Бога я не пойму, пока не одурею, да и скучно вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно, — но конец где? Стремление ради стремления — так ведь это верхом можно поездить для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий ответ — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем.

А красив человек — когда он смел и безумен и смертью попирает смерть. Вы читали «Марсельцев»? Оборванные, они шли на Париж спасать свободу и пели «Марсельезу». Пели и шли, пели и шли. В Париже их обкорнали, а теперь, сто лет спустя, французская свобода возложила пышный венок на гроб русского министра Плеве. На это все наплевать. Главное, пели и шли, пели и шли. В этом есть что-то очень убедительное, очень большое, и мне всегда легче становится при воспоминаниях о марсельцах. Как будто здесь кроется ответ.

Вероятно, я еще жив. Меня, помимо абрикосового варенья, очень трогает, очень волнует, очень радует героическая, великолепная борьба за русскую свободу. Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве? Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию — именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю, и странно — точно ответ какой-то есть в этой любви. А начнешь думать — снова пустота.

Ну, буде городить. Напишите мне. Крепко жму руку и целую Вас.

Ваш *Леонид Андреев.*

В феврале 1905 года, в Маньчжурии, после мукденской битвы, получил от него такое письмо:

Милый и дорогой Викентий Викентьевич. Пропущу объяснение в любви, искренней и горячей; сожаление, что Вас с нами нету и что Вы *там,*— и прямо перейду к тому, что Вам всего интереснее:

---

[1] А. Ф. Маркс — издатель «Нивы». Он умудрился купить у Чехова в полную собственность навсегда все его сочинения за 75 000 руб. *(Прим. авт.)*

к изложению российских дел. Была «весна»,— Вы это знаете. Заговорили все и всё, заговорили горячо, сердито, откровенно — и прямо о конституции. Смысл такой: никакие частичные реформы не помогут, пока не будет конституции. Правительство слушало и молчало. Святополк[1] принимал благодарность и мирволил,— но гласный съезд председателей земских управ разрешен однако не был. Разговоры продолжаются. Демонстрация в СПб.— с избиением. Демонстрация в Москве — с тем же. И тут — высочайшее — «нахожу заявление дерзким и нетактичным» черниговскому предводителю и «прочел с удовольствием» — тамбовским холопам, устроившим патриотический банкет с полицеймейстером во главе. И тотчас же бледный «указ» и наглое «правительственное сообщение».

Настроение определилось сразу, газеты мгновенно выцвели, реакция закопошилась, везде заговорили о «зиме». Но не надолго. Опять в какие-то щели пополз либерализм, и опять началась всесторонняя разделка правительства: падение П.-Артура было триумфом «дерзости»: огромное большинство газет резко и грубо, с необычайной прямотой наплевали в физиономию правительства, многие требовали мира. Несколько «предостережений» и запрещений розницы явились только доказательством слабости.

*6 февраль 1905*

Продолжаю письмо почти через полтора месяца. События идут так быстро, что нет возможности ориентироваться и подвести итоги. Они в будущем, эти итоги, а сейчас ясно одно: Россия вступила на революционный путь. Не знаю, в каком виде доходят до Вас события, вероятно, значительно смягченные, и знаете ли Вы, что в России, действительно, революция. Несколько баррикад, бывших в СПб. 9 января, к весне или лету превратятся в тысячу баррикад. В России будет республика — это голос многих, отдающих себе отчет в положении дела.

Не стану приводить фактов, их слишком много, и разнообразны они: нужна целая книга, чтобы передать их. Последние факты: убийство Сергея Александровича и совещание в СПб. о созыве земского собора. Поводом к убийству великого князя послужило избиение на улицах Москвы демонстрантов 5 и 6 декабря — тогда же социал-революционеры «приговорили» его и Трепова к смерти, о чем оповестили всех прокламациями. И все, и сам С. А., ждали, и казнь совершилась. Собор в том виде, как предполагает его правительство,— ерунда, обман, новая глупость. Никто не надеется на то, что можно устроить его мирным путем, даже с. -д., как видно из их манифестов, все усилия обращают на приобретение оружия.

Горький и Пешехонов еще сидят в Петропавловке; за границей и в России ведется сильная агитация в пользу Горького, но результатов еще никаких. Когда Г. арестовали, Мария Федоровна[2] была опасно больна, почти при смерти, но теперь поправляется. Навещает Горького Екатерина Павловна (жена).

---

[1] Святополк-Мирский — министр внутренних дел в 1905 г. *(Прим. авт.)*

[2] Андреева, бывшая артистка Художественного театра, вторая жена Горького. *(Прим. авт.)*

Вы поверите: ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции. Вся жизнь сводится к ней,— даже бабы, кажется, рожать перестали, вот до чего. Литература в загоне — на «Среде» вместо рассказов читают «протесты», заявления и т. п.

«Дачники» Горького оказались неудачной, слабой вещью, мелко обличительного характера. Она помещена в III сборнике «Знания», который посылаю Вам без надежды, однако, что дойдет. Там же Вы найдете мой «Красный смех» — дерзостную попытку, сидя в Грузинах, дать психологию настоящей войны. Как его пропустила цензура, тайна Пятницкого [1], в подцензурных газетах даже о рассказе писать не позволяют. Отношение публики к рассказу очень хорошее; критики — в большинстве тоже; Буренин разнес бешено, называет «зеленой белибердой». Писал я рассказ девять дней (5 печ. листов) и совсем развинтился,— уж очень мучительная тема. И с тех пор ничего не делаю.

Елпатьевский в СПб., Скиталец и Чириков живут в Москве.

...Миролюбов со всеми нами, кроме Горького, помирился и Волжского бога убрал [2]. Горький, между прочим, совершенно порвал с Художественным театром и перешел к Комиссаржевской.

Ужасно жаль, что Вас нету с нами. Я постоянно вспоминаю о Вас и скучаю. Судя по газетным разговорам, к весне будет мир,— хоть бы!

Целую крепко и жду.

Крепко-крепко Ваш *Леонид Андреев.*

Когда я в начале 1906 года воротился с японской войны в Россию, Андреев в Москве уже не жил. Он уехал в Финляндию, оттуда за границу. В апреле месяце я получил от него из Глиона (в Швейцарии) следующее письмо:

Дорогой и милый Викентий Викентьевич!

Не писать надо, а увидеться, и прежде всего расцеловать Вас от радости, что Вы вернулись здравым и невредимым. По правде говоря, я очень боялся за Вас,— как-то Вы всю эту чертовщину выдержите. Однако выдержали и работаете,— я читал Ваши рассказы в «Мире божием»,— и стало быть, все хорошо. А писать все-таки трудно, прямо невозможно,— так невероятно много накопилось нового.

Мои родственники сделали глупость: до сих пор не доставили мне Вашего письма. Так и не знаю, что в нем, и пишу так, как будто ничего не получал.

---

[1] К. П. Пятницкий — совладелец издательства «Знание» *(Прим. авт.)*

[2] В. С. Миролюбов издавал рублевый «Журнал для всех», имевший огромный успех. В последний год он резко повернул руль журнала и из номера в номер стал помещать статьи Волжского, в которых проводились мысли о необходимости религии, веры в христианского бога. Мы все тогда отказались от сотрудничества в журнале. *(Прим. авт.)*

Помните: зима, наш сад в Москве, снежки — и голос из-за забора: «Алексеева браните?» С этим как будто моментом, именно с этим кончается для меня старое, то старое, что было до,— все, что дальше, это уже новое. Смерть Чехова, тяжелая, бессмысленная, пригнетающая, точно увенчивающая и кончающая собою старую Русь, растущая духота, в которой дышать нечем, почти отчаяние,— и трижды благословенный громовой удар Сазонова[1]. И благодатный шумный дождь революции. С тех пор ты дышишь, с тех пор все новое, еще не осознанное, но огромное, радостно страшное, героическое. Новая Россия. Все пришло в движение. Падает и поднимается, разрушается и формируется вновь, меняет контуры и линии, меняет образ. Маленькое становится большим, большое — маленьким; с знакомыми нужно знакомиться вновь, с друзьями — дружиться. Вот и мы с Вами; расстались как будто друзьями (или приятелями?), а что мы теперь, не знаю.

Как Вы? Как Вы увидели и почувствовали это новое? Что оно дало Вам? Это ужасно интересно для меня. Помните: «На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси».[2]. Революция!.. Да, такое же привычное, узаконенное, почти официальное слово, как некогда полиция,— а как оно кажется свежему человеку?

Познакомимся. Я как был, так и остался вне партий. Люблю, однако, социал-демократов, как самую серьезную и крупную революционную силу. С большой симпатией отношусь к социал-революционерам. Побаиваюсь кадетов, ибо уже зрю в них грядущее начальство, не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Об остальных можно не говорить.

Как человек благоразумный, гадаю надвое: либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно-радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля. Если кадеты,— то в Европе прибавится одной дрянной конституцией больше, новым рассадником мещан. Наступит история длинная и скучная. Власть укрепится, из накожной болезни станет болезнью органов и крови, и мой ближайший идеал — анархиста-коммунара — уйдет далеко. Здесь, в Европе, я понял, что значит уважение к закону, болезнь ужасная, почти такая же, как уважение к собственности.

Будучи пессимистом, склоняюсь на сторону второго предположения: победят кадеты. Их опора — все мещанство мира, то есть...

В общем, все, что я видел, не поколебало устоев моей души, моей мысли: быть может, еще не знаю,— сдвинуло их слегка в сторону пессимистическую. Вернее так: человека, отдельного человека, я стал и больше ценить, и больше любить (не личность, а именно отдельного человека: Ивана, Петра),— но зато к остальным, к большинству, к громаде испытываю чувство величайшей ненависти, иногда отвращение, от которого жить трудно. Революция тем хороша, что она срывает маски,— и те рожи, что высту-

---

[1] Убившего министра внутренних дел В. К. Плеве. *(Прим. авт.)*

[2] Двустишие это приводит в одном из своих очерков В. Г. Короленко. В 1903 году был юбилей Короленко, мы на «Среде» писали ему адрес и закончили приветствие этим двустишием. *(Прим. авт.)*

пили теперь на свет, внушают омерзение. И если много героев, то какое огромное количество холодных и тупых скотов, сколько равнодушного предательства, сколько низости и идиотства. Прекрасная Франция, заряжающая на свой счет ружья наших карательных отрядов! Да и все они. Можно подумать, что не от Адама, а от Иуды произошли люди,— с таким изяществом и такою грацией совершают они дело массового оптового христопродавчества.

Моя литература? В общем, Вы ее знаете. Из нового — недавно закончил драму «Савва» — печальную повесть о некоем юноше, который вздумал лечить землю огнем, а его ударило палкой по голове, и от этого он умер. Не знаю, что за вещь. Читал ее одному только Горькому — ему нравится. Верно одно: не цензурна свыше всякой меры.

Горький, кстати, третьего дня уехал с Марией Федоровной в Америку. Пробыл здесь, в нашем пансионе, две недели и был мил, как только может быть мил, когда захочет.

Господи, как хочется не писать, а говорить, говорить! И как хочется в Россию, а не советуют, говорят, что меня обязательно посадят. Как глупо!

Пишите! Кто Вы и все такое. Я Вас очень люблю, Викентий Викентьевич, как «отдельного человека», и так мне хочется своей головой прикоснуться к вашей. И Шура Вас любит. Пишите!

Ваш *Леонид Андреев.*

Из последующих писем, может быть, небезынтересны два следующие. Первое — из Германии, в ноябре 1906 г.

Дорогой и милый Викентий Викентьевич! Не пишу Вам по довольно-таки странной причине: очень хочется говорить с Вами. Так хочется, что письмом этого желания не исчерпаешь, как наперстком Москвы-реки. Пробовал я уже не раз и начинал письма, да так и бросал. Ведь обо всем надо поговорить — обо всем! И с кротким отчаянием я жду, сам не знаю чего. Что вот встретимся, будем много говорить — и будет хорошо. А когда это будет? Не знаю. Долго еще сидеть здесь. Одному можно бы и в Россию приехать, а с семьей не выходит. Теперь у меня два сына — знаете? Уже десять дней, как живет второй.

И еще потому я не писал, что скучно мне. Жить скучно — вдали от России и от близких. Природы русской жаль, особенно зимы. Кажется, покатался бы по снегу и выздоровел бы я. А то малокровие, какое-то скверное малокровие, особенно задевшее голову. И поговорить бы, душою поговорить. Вот как с Вами говорили. Тут не с кем. Русские, какие есть, неинтересны; по-немецки не говорю, да если бы и говорил, то все равно — молчал бы. Очень не люблю немцев.

Вас я очень люблю. Вам напрасно показалось, что я заранее строю какие-то загородки. Просто не виделись долго, а время — Вы знаете, какое время; вот и побоялся я, что порядочно разошлись мы в настроениях и мыслях наших. Очень рад, если нет. А если и да — то разве может это повредить содружеству нашему? Ведь уж и раньше мы были не так уж близки, но в самой отда-

ленности нашей было что-то связующее. Есть какая-то точка в душе, какой-то пунктик, какая-то скрытая, не высказанная мысль, что делает нас друзьями (не в обывательском смысле). А оно осталось: это я из Вашего письма почувствовал. И очень обрадовался.

Хочу много работать. Только и живешь, пока работаешь. Много интересных тем, новых. Вопрос об отдельных индивидуальностях как-то исчерпан, отошел; хочется все эти разношерстные индивидуальности так или иначе, войною или миром, связать с общим, с человеческим.

Что Вы пишете о войне — это очень хорошо. И хорошо именно в форме записок врача. Я много жду от этой книги, ждать начал, когда Вы еще только поехали в Маньчжурию. Конечно, будет несвоевременно, но это не беда, для будущего пригодится.

«Красный смех» мне нравится, быть может, потому, что действительно кровью сердца он написан. И действием его я доволен, судя по тому, что читал о нем в России и за границей. Он многих заставил пережить мучительный кошмар войны. И разве я был неправ? Разве не гуляет сейчас этот «смех» по самой России? Военно-полевые суды... только сумасшедшие могут додуматься до них, только сумасшедшие могут принимать и рассуждать о них. Рассуждать! Как можно «рассуждать» о военно-полевых судах, не будучи свихнутым?

Крепко жму руку.

*7 ноября*

Дорогой друг! Это письмо написано давно, еще до получения Вашего. Сейчас не могу писать, очень больна Шура.

Ваш *Леонид.*

Это была смертельная послеродовая болезнь Александры Михайловны. Через несколько дней она умерла. Леонид Николаевич горько винил в ее смерти берлинских врачей. Врачей в таких случаях всегда винят, но, судя по его рассказу, отношение врачей действительно было возмутительное. Новорожденного мальчика Данилу взяла к себе в Москву мать Александры Михайловны, а Леонид Николаевич со старшим мальчиком Димкою и своею матерью Настасьей Николаевной поселился на Капри, где в то время жил Горький.

Интересно было бы проследить характер творчества Леонида Андреева до и после смерти его первой жены. Для меня вполне очевидно, что как раз около этого времени (годом-двумя позже) в творчестве Андреева наступает перелом: многописание, понижение «взыскательности» к себе, налет художественного самодовольства.

В марте 1907 года получил от него с Капри такое письмо:

Милый Викентий Викентьевич! Я очень хорошо понимаю Ваше состояние — «надорвался». Как раз такая же вещь была со мною после «Красного смеха», который стоил мне большого душевного напряжения. Восемь месяцев голова моя была разбита, я не мог работать и думал, что и никогда не в состоянии буду. А были дни, когда прямо — вот-вот с ума сойду. Вылечил себя я сам — бросил работу, читал Дюма и Жюля Верна, лодка, велосипед, купанье, за лето поглупел, как министр,— и осенью свободно мог приняться за работу.

В санаторию в Берлин я очень Вам не советую. В этом году мне много пришлось сталкиваться с немецкими врачами (осенью я сам собрался было лечиться), и скажу Вам: не видал породы хуже. Поскольку медицина — искусство и поскольку во враче важен человек,— постольку эти господа способны внушить только омерзение. Тупые, неискусные, явные сребролюбцы, невежды во всем, исключая, быть может, медицины, которую они знают, как ремесленники,— они могут только калечить людей. Если Вам положительно необходима санатория, то или ложитесь в русскую клинику, или выберите где-нибудь во Франции, в Италии, только не в Германии.

А если без санатории можно обойтись и нужен только отдых и свежие впечатления — то приезжайте сюда, на Капри. Отдохнуть тут можно всячески — и лежа на камушке у моря, и шатаясь по Риму, Флоренции и пр.— все близко. Вам бы я рад был бесконечно, и тут Вы увидели бы, что по-прежнему, крепко и хорошо люблю я Вас. Моей мрачности не бойтесь. Я хороню ее в душе глубоко, а в жизни — все такой же, пожалуй, как и был. Разве немного, немного хуже. И с Вами мы предприняли бы ряд всевозможных экскурсий — по морю и по суше. Устроиться здесь можно недорого. Конечно, присутствие здесь Горького для Вас особенной цены не имеет, но изредка хорошо повидаться и с Горьким. Я вижу его часто и с большим удовольствием. Видел бы еще чаще, если бы... но об этом можно говорить, а не писать.

О себе говорить не стану много. Для меня и до сих пор вопрос — переживу я смерть Шуры или нет,— конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души. И для меня отнюдь не праздный вопрос, не пустячное сомнение — не похоронен ли вместе с ней Леонид Андреев.

Работал я тут. Трудно было вначале невыносимо — как для маньяка, одержимого определенной идеей, видениями, снами,— писать о чем-то совершенно постороннем. Но преодолел — частью из упрямства, частью, чтобы оправдать собственное существование; однако добился кстати и жестокой бессонницы, головных болей и пр. Сейчас, кажется, проходит, по крайней мере, вот уже две ночи сплю.

И рассказ кончил. «Иуда Искариот и другие» — нечто по психологии, этике и практике предательства. Горький одобряет, но я сам недоволен. Продолжал бы работать и дальше, ибо делать больше нечего,— но голова не выдерживает. Буду отдыхать, фо-

тографировать, гулять и т. д. А к лету — если не будет военной диктатуры — в Россию, а то — в Норвегию, на фиорды. Прекрасная страна, и если уж жить где в Европе, так там.

Вы ведь в Италии уже побывали и несколько знакомы с нею. Мне нравится, дышать свободно. Я даже итальянскому учусь, учитель ходит, но память точно отшибло, ничего не выходит. Все же стараюсь.

Пятницкому я сказал, что Вы не получаете ответов, и он был очень обеспокоен. Вот — как ни странно Вам, это — единственный человек на Капри, с которым можно говорить по душам.

Да вот был бы я рад, если бы Вы приехали. Душа бы немного погрелась. Настаивать боюсь, но думаю, что Капри для Вас оказалось бы хорошим местом. Красиво тут, ясно как-то и нет того раздражающего, чем противен для меня Крым. Во всяком случае, известите, что надумаете. Крепко жму руку вашу и целую.

*Леонид.*

Весною 1907 года я приехал к Андрееву на Капри и прожил у него около месяца.

За время, которое я его не видал, он сильно пополнел и обрюзг. Лицо стало мясистое. Бросилось в глаза, какое у него длинное туловище и короткие ноги.

С ним жила его мать Настасья Николаевна и сынишка Димка. Мать — типичнейшая провинциальная мелкая чиновница. В кофте. Говорит: «куфня», «колдовая», «огромадный»; «Миунхен» вместо «Мюнхен». На Капри томится.

— Отдай мне всё Капри, со всеми его доходами, чтобы год здесь прожить одной,— нет, отказалась бы.

Жил Андреев в уютной и большой вилле, с пальмами в саду, с застекленной террасой. О хозяйстве можно было не заботиться. Существовал на Капри такой на все руки благодетель, вездесущий синьор Моргано, владелец местного кафе «Zum Kater Hidigeigei». Он взял на себя полную заботу об Андрееве: поставлял для него провизию, вино, прислугу, сам заказывал ей обеды и ужины, заведовал стиркою белья,— словом, совершенно освободил Андреева от всяких хозяйственных забот. Так же, сколько я знаю, обслуживал синьор Моргано и Горького. Андреев серьезнейшим образом был убежден, что все это почтенный синьор делает из любви к русской литературе. И правда, с русскими писателями синьор Моргано был очень приветлив, при встречах далеко откидывал в сторону руку со шляпой и восклицал, приятно улыбаясь:

— Таро́й самотершаве (долой самодержавие)!

Но за свои заботы об Андрееве он брал с него тысячу рублей в месяц на наши деньги. Как тут не полюбить русскую литературу!

Резко бросилось в глаза то, что и раньше чувствовалось в Андрееве сильно,— захлебывающееся упоение своею славою. Со стороны странно было это наблюдать: слава его была настолько несомненна, что тут и говорить было не о чем. А он при каждом удобном случае с юмористическим видом, как будто только для юмористики, рассказывал о смешных положениях со своими поклонниками и поклонницами, как ему в Севастополе пришлось раскланиваться на овации из-под лежавшего на его плечах огромного чемодана, так как не нашлось носильщика. И много подобного. Между прочим рассказал и такое происшествие. Жил он некоторое время в Копенгагене. Часто ходил на пристань глядеть на прибывающие пароходы. Однажды видит пароход из России, с русскими эмигрантами, преимущественно евреями. На берегу, рядом с Андреевым, стоит еврей и переговаривается с стоящими на палубе, смешно мешая русские слова с немецкими. Подозрительно покосился на Андреева и говорит стоящим на палубе:

— Будьте поосторожнее. Dieser франт in weisser[1] шляпе что-то усердно слушает. (Андреев был в белой панаме.)

— Я чувствую, что бледнею,— рассказывал Андреев.— Однако сдержался. Спрашиваю: «Вы куда едете, товарищи?» Они угрюмо смотрят в сторону: «Мы вам не товарищи». Меня взорвало. «Послушайте! Знакомы вы хоть сколько-нибудь с современной русской литературой?» — «Ну, знакомы».— «Слыхали про Леонида Андреева?» — «Конечно».— «Это я».— «Мы вам не верим». Тогда я достал свой паспорт и показал им. Полная перемена, овации, и пароход отошел с кликами: «Да здравствует Леонид Андреев!»

Ведь умный был человек,— и совершенно не понимал, до чего он тут был смешон со своим предъявлением паспорта.

На полке книжного шкафа увидел я у него три толстеннейших тома. Это были альбомы с тщательно

---

[1] Этот франт в белой... *(нем.)*

наклеенными газетными и журнальными вырезками отзывов о Леониде Андрееве. Так было странно глядеть на эти альбомы! Все мы, когда вступали в литературу и когда начинали появляться о нас отзывы, заводили себе подобные альбомы и полгода-год вклеивали в них все, где о нас упоминалось. Но из года в год собирать эту газетную труху! Хранить ее и перечитывать!..

По-прежнему радушный, милый. Голос задушевный. А то начнет говорить,— в интонации застарелое подражание интонациям Горького, голос звучит с деланным, неестественным недоумением:

— Поразительная, знаете, красота! Че-естное слово! Сам бы не поверил!

Подходили друг к другу понемножку. Вскоре мне выяснилось его душевное состояние: оно было ужасно. Смерть Александры Михайловны как будто вынула из его души какой-то очень нужный винтик, без которого все в душе пришло в расстройство. Исчезла вера в себя и в свои силы, он жадно хватался за всякое одобрение и всякую весть об успехе его произведений. Горький и все окружающие отнеслись очень отрицательно к написанной им драме «Жизнь человека» и предсказывали полный провал ее на сцене. К первым телеграммам В. Ф. Комиссаржевской об успехе пьесы Леонид Николаевич отнесся с недоверием, думая, что его обманывают. Потом, когда успех выяснился с несомненностью, его охватила восторженная, чисто истерическая радость.

Однажды вечером сидели мы с ним в его кабинете. Разговорились особенно как-то хорошо и задушевно. Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле «Жизнь человека», подробно рассказал содержание впоследствии написанной им пьесы «Царь Голод». В его тогдашней, первоначальной передаче она мне показалась ярче и грандиознее, чем в осуществленной форме.

Леонид Николаевич говорил:

— Но это — изображение бунта, а не революции. «Революция» — это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии. Главное действующее лицо — Смерть. Будет умирать революционер,— и сама Смерть будет рукоплескать тому, как он умирает. Бу-

дет еще пьеса «Бог, человек и дьявол». Человек — воплощение мысли. Дьявол — представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог — представитель движения, разрушения, борьбы. Веселый будет бог. Он будет говорить, потирая руки: «Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!»

Я слушал с увлечением.

— Ну, теперь я готов принять и вашу «Жизнь человека» с ее плоским содержанием.

Леонид Николаевич обрадованно подхватил:

— Ну да же! Ведь это было только искание формы,— возможна ли такая форма или нет.

— Тогда и спорить не о чем, тогда и я ее целиком принимаю.

Я подошел и крепко его поцеловал. Он долго молчал, опустив голову, потом вдруг сказал взволнованно:

— Голубчик, вот,— что вы меня сейчас поцеловали,— вы не знаете, что вы мне этим сделали. Спасибо вам!

Была поздняя ночь. Взлохмаченный, он сидел за столом, пил вино стакан за стаканом и говорил:

— Я не знаю, как жить, смогу ли я жить. Третьего дня ночью я был на краю самоубийства. Но я не убью себя так, под влиянием минуты,— потому что сейчас скверно, потому что револьверишко под рукой. Это может быть результатом только твердого, трезвого решения... Я третьего дня в первый раз прочел дневник Шуры. Я не подозревал, какой это был большой, огромный человек,— тут я только узнал... Что со мной делается? С ума я схожу? Я этого не могу принять, не могу понять: как можно любить мертвую? А я ее люблю, продолжаю любить. Сижу вот за письменным столом, разговариваю с вами, случайно взгляну на ее портрет,— смотрит живое, слушающее лицо. Она смотрит, она мне что-то сказала своими глазами. Когда я говорю,— ее нет, а только что замолчал, и она во мне. Она везде со мною, в моих мыслях, в моих снах, поразительно живая, я с нею разговариваю, она мне возражает...

И потом еще вот что рассказал про нее:

— Умирая, она мне сказала: «Ты должен остаться жить, ты...» Ну, не скажу, как она выразилась, словом,— «ты — большой писатель, ты должен довер-

шить, что задумал». Ведь она все мои планы, все замыслы знала близко... И потом — мне сама она этого не могла сказать, она поручила своей матери передать мне это после смерти: «Скажи ему, чтоб он женился». И прибавила: «только так, как я, его никто не будет любить».

По его щекам текли слезы, и темный ужас стоял в глазах.

— И вот я не знаю... Есть ли во мне вправду что-нибудь, как ждала Шура. Теперь нет того, кто мог бы мне это сказать... Вот почему мне так важно, что вы меня тогда поцеловали. Иногда так важно, так нужно бывает найти поддержку, услышать от человека: «Не падай духом! Хорошо!»

Долго еще говорили. Он непрерывно пил. Потом вдруг собрался идти гулять. Невозможно было его удержать. Глаза стали неглядящими и упрямыми. Пошел с ним. По дороге встретили инженера Рутенберга (убийцу Гапона), который в то время нелегально скрывался в Италии. Он присоединился к нам. Андреев выбирал в прибрежных скалах самые узкие, обрывистые тропинки; снизу высоко прыгали из темноты вверх белые волны прибоя. Никакие наши уговоры не действовали. С теми же упрямыми, невидящими глазами Андреев карабкался через камни, перебирался через водомоины и шагал по тропинкам неверными, чрезмерно твердыми шагами. Воротились домой только с рассветом.

После этого он запил. Пил непрерывно, жутко было глядеть. Посетил его провинциальный русский актер, бритый, с веселым, полным голосом. Рассказал, что играл главную роль в его «Жизни человека», о горячем приеме, какой публика оказала пьесе. Андреев жадно расспрашивал, радовался.

— Так вы играете «человека» большим, могучим, не сдающимся перед роком? Вот! Вот именно так и надо его играть! А то все обо мне говорят: «пессимист»!

— Вы — пессимист? Какой же вы, Леонид Николаевич, пессимист? Я удивля-яюсь! Напротив!

— Да? Ну, вот видите! То есть, знаете, удивительно,— все меня считают пессимистом. Это полное непонимание меня.

— Нет, то есть, позвольте! Леонид Николаевич! Вы — пессимист! Я поража-аюсь!..

И радостно, любовно он глядел на актера и с одушевлением доказывал, что он, Андреев, вовсе не пессимист. А тот удивленно разводил руками и повторял:

— Вы — пессимист? Я удивля-яюсь!

А вечером, взлохмаченный, пьяный, с блестящими глазами, Андреев вошел в столовую, где мы пили чай. Актер с благоговением обратился к нему:

— Леонид Николаевич! Мне очень интересно: на какую часть нашего организма, по-вашему, действует музыка?

— На какую часть организма? — Глаза его озорно блеснули.— Это я вам могу сказать только на ухо: тут дамы!

После ужина вдруг взял бутылку вина и собрался идти гулять. Настасья Николаевна испугалась и шепотом умолила актера пойти вместе с ним. До четырех часов они шатались по острову, Андреев выпил всю захваченную бутылку; в четыре воротились домой; Андреев отыскал в буфете еще вина, пил до шести, потом опять потащил с собою актера к морю, в пещеру. Тот не мог его удержать, несколько раз Андреев сваливался,— к счастию, в безопасных местах, воротились только к восьми утра. Андреев сейчас же завалился спать.

Настасья Николаевна со скорбью рассказывала:

— Вот так, бывает, несколько ночей подряд колобродит! Ах ты, боже мой! Хоть бы женился опять, что ли! Авось тише бы стал!

Странно было: Капри, пальмы, лазурное море. А как будто в домике в три оконца, на орловской окраине, мамаша-чиновница вздыхает над беспутным своим сынком.

Спал Леонид долго. Часа в три дня проснулся; мать принесла ему поесть, он выпил стакан муската и опять заснул. Вечером встал,— желтый, кислый, голос сиплый. Сердцебиение, принял строфантин. Угрюмо сидит за стаканом крепчайшего чая, собирается принять на ночь веронал. Настасья Николаевна, измученная бессонной ночью, сказала

— Лёнушка! Я пойду спать.

— Иди! — отрывисто разрешил он.— Только налей мне еще стакан чаю. Покрепче.

Уже тут, на Капри, стала в нем настойчиво назревать мысль, что необходимо ему опять жениться. И он строил на этот счет совершенно конкретные проекты самого фантастического свойства. Впечатление от него было такое: душа металась и тосковала, замерзала в жутком одиночестве, и ему казалось: найти любящую женскую душу,— и все в нем выпрямится, и все будет хорошо. Но не так легко находятся любящие души, и мало хорошего ждет того, кто к каждой женщине подходит с предварительным вопросом: «А не годишься ли ты мне в жены?»

Работал Андреев по ночам. Работал он не систематически каждый день, в определенные часы, не по правилу Золя: «Nulla dies sine linea — ни одного дня без строки». Неделями и месяцами он ничего не писал, обдумывал вещь, вынашивал, нервничал, падал духом, опять оживал. Наконец садился писать — и тогда писал с поразительною быстротою. «Красный смех», например, как видно из вышеприведенного письма, был написан в девять дней. По окончании вещи наступал период полного изнеможения.

Андреев мне говорил, что первый замысел, первый смутный облик нового произведения возникает у него нередко в звуковой форме. Например, им замышлена была пьеса «Революция». Содержание ее было ему еще совершенно неясно. Исходной же точкой служил протяжный и ровный звук: «у-у-у-у-у!..» Этим звуком, все нараставшим из темной дали, и должна была начинаться пьеса.

Горький, смеясь, рассказывал, как они вышучивали стремления Андреева отдаваться черным переживаниям.

— Смотрим в окно,— идет Леонид, угрюмый, мрачный, видно, все время с покойниками беседовал. Инкубы, суккубы... Мы все делаем мрачные рожи. Он вхо-

дит. Повесив носы, заговариваем о похоронах, о мертвецах, о том, как факельщики шли вокруг гроба покойного Иван Иваныча... Леонид взглянет: «А я сейчас был на Монте Тиберио, как там великолепно!» Мы, мрачно хмуря брови,— свое...

Ездили с Андреевым на лодке по знаменитым каприйским гротам. Возил нас рыбак Спадаро. Андреев часто пользовался его услугами. Красочная фигура, и хочется про него рассказать. Загорелый старик изумительной красоты, с блестящими черными глазами и длинной седой бородой патриарха. Местная знаменитость. Когда он был молод, художники рисовали с него Христа, теперь пишут с него бога Саваофа. Церкви средней Италии полны его изображениями. В витринах местных магазинов продаются его фотографии, выставлены его портреты, писанные художниками. И у каждого художника, который его увидит, чешется рука написать с него этюд. Вся его фигура — живая Италия в ее красоте и очаровании. Он смел, ловок, силен. Мне указывали на крутые скалы, почти отвесно выступающие из моря у берегов Капри. Ни одна нога человеческая не бывала на них,— один только Спадаро на них взбирался. И теперь, когда он уже старик, везде слышишь: «Спадаро! Спадаро!» Что же было, когда он был молод? Ко всему этому, говорят, он всегда был примерным, вернейшим мужем своей жены.

Однажды вечерком пришел он к Андрееву в гости вместе с девушкой Коншетой, служившей у Андреева горничной, и ее подругой. Пили вино, беседовали. Потом все трое танцевали тарантеллу. И любо было смотреть, как этот «бог Саваоф» носился с девушками в страстной тарантелле.

У него, очевидно, взял Андреев фамилию для своего герцога Лоренцо ди Спадаро в «Черных масках».

В этом же, кажется, 1907 году Андреев воротился из-за границы. Опасения его оказались неосновательными, въехал он в Россию без всяких осложнений. Поселился в Петербурге. В 1908, помнится, году я с ним виделся. Впечатление было: неблагополучно у него на душе. Глаза смотрели темно и озорно, он пил, вступал

в мимолетные связи с женщинами и все продолжал мечтать о женитьбе и говорил, что только женитьба может его спасти.

Вскоре он женился. В Финляндии, за Териоками, купил участок земли, выстроил большую дачу и поселился в ней.

Изредка наезжал в Москву. Из московских встреч смутно помнятся две.

Первая. Собрались у кого-то, не помню, в одном из переулков близ Арбата. Андреев должен был читать новую свою драму «Царь Голод». Но приехал он совершенно пьяный. Однако упрямо настаивал, что читать будет сам. И прочел первое действие. Читал заплетающимся языком, неразборчиво, с комично-наивным самодовольством подчеркивая места, по его мнению, особенно удачные. В конце концов почувствовал, что ничего у него не выходит, и предоставил читать своему другу, С. С. Голоушеву, художественному критику. Кончилось чтение. Вещь очень сильная. Но как говорить, когда автор в таком состоянии? Ужин. Слушатели подвыпили. И началось что-то андреевски-кошмарное. Перед глазами еще тень беспокойно-страстного Царя Голода, с глазами, горящими огнем кровавого бунта, смутное движение трупов на мертвом поле, зловещие шепоты: «Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!», а кругом: смешные анекдоты, литературовед залихватски бренчит на рояле, театральный критик с огненно-рыжей бородой и лицом сатира подпрыгивает на правой ноге, откинув левую назад и вытянув руку вперед, а против него длинноногая жена беллетриста старается у него

Кончиком ботинка
С глаз сшибить пенсне.

Андреев сидит рядом со мною на диване и с глубоким отвращением говорит, глядя на танцующих:

— Может ли вся эта сволочь понимать тр-рагедию?.. Викентий Викентьевич! Вы честный писатель. И я — я тоже честный писатель! Вы понимаете, что это значит? Да! Ч-е-с-т-н-ы-й писатель! Я, Викентий Викентьевич, честный писатель! А вот Блок,— он нечестный писатель.

Что это значило, не знаю.

Другое московское воспоминание. Возвращаемся поздно ночью откуда-то,— должно быть, от Телешова: Андреев, И. А. Белоусов и я. Андреев опять пьян. Остановились на Лубянской площади. Андреев изливается в любви и уважении ко мне, но мы уже очень далеки друг другу, и чувствуется мне — отходим все дальше, и в излияниях его не ощущается внутренней правды. Он вдруг говорит:

— Викентий Викентьевич, будем на «ты»!

— Хорошо, Леонид Николаевич. Только не сейчас. Если вы мне это предложение повторите в трезвом виде, тогда с радостью.

Простились. Белоусов убеждает Андреева идти домой, но он с пьяным упорством тянет его куда-то в сторону. Позже я узнал от Белоусова о дальнейших похождениях Андреева. Он изнывал в неутолимой жажде пить еще и еще. А глубокая ночь, все заперто. Андреев пристал к городовому на посту, уломал его достать водки, тот куда-то сбегал, принес, стали вместе пить. Андреев обнимался с городовым, лил водку в дуло его винтовки (после декабрьского восстания 1905 года Москва была еще на военном положении, и городовые стояли на постах с винтовками). Потом Андреев потащил Белоусова на вокзал, уговоров его ехать домой не хотел и слушать. Белоусов потерял терпение и уехал домой, а Андреев один отправился на Курский вокзал: вокзальные буфеты торговали всю ночь, и там можно было достать вина. В вокзальной уборной Андреев стал вызывающе задирать зашедшего туда инженера (в пьяном виде он был несносен и забиячлив). Повздорили, ссора становилась все крупнее, и инженер дал Андрееву пощечину, Андреев вскипел, вызвал инженера на дуэль и протянул ему свою визитную карточку. Тот взглянул и обомлел:

— Как? Андреев, Леонид Николаевич? Писатель?

— Да!

Инженер рассыпался в извинениях. Помирились, вместе сели в буфете за стол и стали пить.

Андреев наезжал в Москву довольно часто, но виделись мы с ним все реже. Он писал мне задушевные записочки, но встречи трудно налаживались, так что

в конце концов я написал ему, что если бы правда было то, что он пишет в записочках, то встретиться нам было бы совсем нетрудно, и пусть он лучше мне таких записочек не пишет.

При встречах все больше чувствовался он мне совсем другим, чем раньше. И в литературной судьбе его наступил перелом. Критика, первые десять лет певшая ему восторженные хвалы, подробно разбиравшая самую мелкую его вещь, вдруг совершенно охладела к нему. Хвалить Леонида Андреева стало дурным тоном. Он «вышел из моды». Как говорит старуха в четвертой картине «Жизни человека»: «Приходили заказчики и заказывали,— потом перестали приходить. Спросила я однажды госпожу, отчего это так, а она ответила: перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить, что любили.— Как же это может быть, чтобы перестало нравиться, раз уже понравилось? — Не ответила она и заплакала».

Выше такого отношения к себе критики Андреев, по-видимому, стать не мог и страдал жестоко. Он долго и охотно рассказывал о своих литературных успехах, с озлоблением говорил о критиках. Даже напечатал в «Биржевых ведомостях» бестактнейшую статью, в которой упрекал критиков, что они не ценят и не берегут родных талантов.

Тяжелое воспоминание оставила во мне последняя встреча. Это было уже во время всемирной войны. Андреев занимал яропатриотическую позицию, о немцах и их зверствах говорил с ненавистью. Собрался он, между прочим, прочесть нам свою новую драматическую пьесу из библейской жизни — «Самсон». Вспомнили старые времена давно умершей «Среды», собрались все давнишние ее участники у основателя «Среды», Н. Д. Телешова, на Покровском бульваре. Андреев прочел пьесу. Сейчас же вслед за этим пошли ужинать. О пьесе ни слова. Андреев не просил высказаться, все время говорил о постороннем; никто не счел возможным начать высказываться без его приглашения. А ему это, видимо, было не нужно и было бы неприятно, и, глядя на него, странно было вспомнить прежнего Андреева, так жадно выслушивавшего на тех же «Средах» самую суровую критику.

После Февральской революции Андреев много и ярко писал о развале армии. Большевизма, конечно, он не мог принять ни единым атомом души.

Умер он в 1919 году в Финляндии. От разрыва сердца, внезапно. Не на своей даче, а у одного знакомого. Вскоре после этого жена его с семьей уехала за границу. На даче Андреева осталась жить его старушка-мать, Настасья Николаевна. После смерти сына она слегка помешалась. Каждое утро приходила в огромный нетопленный кабинет Леонида Николаевича, разговаривала с ним, читала ему газеты. Однажды ее нашли во флигеле дачи мертвой.

P.S. В издании Академии наук «М. Горький. Материалы и исследования. Том I» напечатаны, между прочим, письма к Горькому Леонида Андреева. В одном из них Андреев пишет:

«Знаешь, дорогой мой Алексеюшка, в чем горе наших отношений? Ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным... Почти полгода прожил я на Капри бок о бок с тобой, переживал невыносимые и опасные штурмы и дранги [1], искал участия и совета, и именно в личной, переломавшейся жизни,— и говорил с тобою только о литературе и общественности. Это факт: живя с тобой рядом, я ждал приезда Вересаева, чтобы с ним посоветоваться — кончать мне с тобой или нет?»

В последней фразе очевидная опечатка. «Кончать мне с *тобой* или нет?» Я совершенно был не осведомлен о взаимоотношениях Горького и Андреева и никаких тут советов Андрееву дать бы не мог. Но Андреев, как это видно и из этих моих воспоминаний, остро думал в то время о самоубийстве. Фразу, очевидно, следует читать: «Кончать мне с *собой* или нет?»

## ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все — огромные, как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные, такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия. Среди них — такой же, как они, Лев Толстой. И странно было подумать, что он еще жив, что где-то

[1] Бури и натиски (*от нем.* Sturm und Drang).

тут, на земле, за столько-то верст, он, как и все мы, ходит, движется, дышит, меняется, говорит еще не записанные слова, продолжает незаконченную свою биографию, что его еще возможно увидеть, говорить с ним.

Конечно, этого ужасно хотелось — увидеть его, говорить с ним. Но явиться к нему, как тысячи назойливых, ненужных ему посетителей, пройти перед ним серым пятнышком в веренице серых безличностей — ни за что! С молодым самолюбием думалось: поехал бы я к нему только в том случае, если бы он сам захотел со мною познакомиться.

В 1902 году, высланный Сипягиным из Петербурга, я жил в родной Туле. С год назад вышли в свет мои «Записки врача» и шумели на всю Россию и заграницу. Весною я собрался ехать за границу, уже выправил заграничный паспорт. Вдруг получаю письмо.

*Адрес: Татьяне Львовне Сухотиной. Имение «Гаспра», гр. Паниной. Почт. ст. Кореиз, Таврическ. губ.*

Милостивый государь, мне пришло в голову обратиться к Вам с просьбой, которую Вы, может быть, будете в состоянии и пожелаете исполнить.

Вы, вероятно, знаете, как долго и тяжело болеет мой отец. До сих пор он совершенно беспомощен и без посторонней помощи не может повернуться на кровати. Сердце его в таком плохом состоянии, что оставлять его без врачебной помощи и надзора — невозможно. Поэтому мы ищем к нему постоянного врача, который бы наблюдал за ним и оказывал бы медицинскую помощь, если она нужна.

Не знаете ли кого-нибудь, кто бы взял на себя эту обязанность? Мы предлагаем 100 р. в месяц, полное содержание и дорогу в Крым. Если нам посчастливится свезти отца в Ясную Поляну (на что мы имеем теперь полную надежду), то врач должен будет переехать с ним и жить при нем в Ясной Поляне. Конечно, все путешествие на наш счет.

Не говорю о том, как важно для нас, чтобы врач был симпатичным, хорошим человеком. Моему отцу так трудно принимать чьи бы то ни было услуги и так тяжело ему будет то, что для него будет жить врач, что если этот врач не будет тактичным человеком, эта тяжесть для отца увеличится.

Простите, что, не зная Вашего имени и отчества, не пишу его на адресе и в обращении к Вам. Если кто-нибудь попадется Вам, будьте добры ответить мне по здешнему адресу.

Если Вам это интересно, то могу Вам сказать, что отец очень восхищался Вашими писаниями и находит в Вас много таланта.

*Т. Сухотина, урожд. Толстая.*

Радость, гордость и ужас охватили меня, когда я прочел это письмо. Нетрудно было понять, что тут в деликатной форме приглашали меня самого: при огромном круге знакомств Толстых странно им было обращаться за рекомендациями ко мне, совершенно незнакомому им человеку; очевидно, я, как автор «Записок врача», казался им почему-то наиболее подходящим для ухода за больным отцом. Если же даже все это было и не так, то все-таки после этого письма я имел полное право предложить свои услуги.

Целую неделю я провел в жесточайших колебаниях. Жить бок о бок с Толстым, постоянно видеть его в интимной, домашней обстановке — не показным, а настоящим, увидеть то, что так редко удается видеть людям,— что такое великий человек в подлинной своей жизни. Конечно, буду записывать все, что увижу и услышу,— но не в коленопреклоненной позе, не иконописуя пророка или гения, а смотря свободными глазами, не боясь отмечать ни темных, ни смешных сторон. Как мало таких записей о великих людях, как они скучны, как благолепно и безжизненно-велики в своих биографиях и в воспоминаниях учеников своих и поклонников!

Это так. Но была другая сторона. Врач я был молодой, всего несколько лет со студенческой скамьи, неуверенный в себе, без достаточной опытности. Как при этих условиях взять на себя ответственность за такую драгоценную жизнь! Не досмотришь, не учуешь значения того или другого симптома,— и смерть Льва Толстого ляжет на твою совесть!.. Дело еще более осложнялось тем, что я был автором «Записок врача». Известно отрицательное отношение Толстого к медицине, с ее стремлением «бороться» с природою, исправлять ее, с неверностью ее методов и немощностью ее средств. Мои «Записки», по крайней мере до известной степени, как раз утверждали такую точку зрения. А книга моя — это мне было доподлинно известно — была прочтена Толстым и вызвала большое его одобрение.

Есть анекдот. К фельдшеру пришел в гости другой фельдшер. Хозяин хмур, кисел.

— Что с тобой?

— Что-то нездоровится. Знобит, голова болит.

Гость с важным видом берет его за пульс. Больной с усмешкой смотрит, качает головой:

— Да будет тебе, что дурака-то валять? Свои люди. Мы-то ведь с тобой отлично знаем, что никакого пульса нету.

Вот так бы и у нас было: я сделаю назначение, а Толстой мне: «Да будет вам, мы-то с вами отлично знаем, что никакого пульса нету». Ведь сами же вы в своих «Записках»...

В конце концов я оборвал свои колебания, уехал за границу и из Милана написал Татьяне Львовне, что не решаюсь взять на себя ответственность за такую дорогую для меня и для всех жизнь, как жизнь Льва Николаевича.

В течение следующего 1902/3 года, в Туле, Лев Павлович Никифоров, чудесный старик, добрый знакомый Толстого, проездом из Ясной Поляны в Москву несколько раз передавал мне приглашение Льва Николаевича посетить его. Но очень было страшно, и я долго не решался. Наконец в августе 1903 года набрался духу.

Отправились мы втроем: тульский либеральный земец Г., один знакомый земский врач и я. Выехали мы из Тулы на ямской тройке, часов в 11 утра. На лицах моих спутников я читал то же чувство, какое было у меня в душе,— какое-то почти религиозное смятение, ужас и радость. Чем ближе к Ясной Поляне, тем бледнее и взволнованнее становились наши лица, тем оживленнее мы сами.

Г. рассказывал про свою беседу в Туле с одним подгородным мужиком из соседней с Ясною Поляною деревни. «Видывали вы Толстого?» — «Как же, сколько раз».— «Ну, что он, каков?» — «Ничего. Сурьезный такой старик. Встренешься с ним на дороге, поговорит с тобою, а потом руку этак вытянет, ладошкой вперед: «Отойди от меня, я — граф!»

Мы нервно хохотали. Тарантас свернул с Киевского шоссе и покатил по проселку. Вдалеке по полям быстро шел какой-то человек с двумя детьми. Вот — известные по снимкам две башенки при въезде в яснополянскую усадьбу. Мы покатили по длинной березовой аллее.

— Господа! Приедем мы, а он нам вдруг: «Отойдите от меня, я — граф!»

Среди деревьев мелькнул дом, тарантас подкатил к крыльцу. Вышла Софья Андреевна, радушная и любезная, со следами большой былой красоты. Мы прошли на нижнюю террасу, где в это время пили кофе. Были тут дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, сын Лев Львович, домашний доктор,— кажется Никитин,— еще несколько человек взрослых и детей.

Софья Андреевна спросила:

— А вы не встретили по дороге Льва Николаевича? Он пошел гулять как раз в ту сторону.

— Мы видели, кто-то шел по полям с двумя детьми.

— Ну, да, это он с внуками шел.

Напились кофе. Софья Андреевна повела нас в сад. Между прочим сообщила в разговоре, что у нее есть большая, написанная ею повесть.

— Будете ее печатать?

Софья Андреевна улыбнулась и развела белыми руками.

— Разве можно печататься жене Льва Толстого! Отдала рукопись в Румянцевский музей, пусть после моей смерти делают, что хотят.

Воротились на террасу. Кто-то сообщил:

— Лев Николаевич пришел с прогулки.

Сердце екнуло. Вскоре другое сообщение:

— Пошел отдыхать.

Через час с небольшим:

— Встал. Сейчас придет сюда.

Сердце забилось сильнее, чем в ученические годы перед самым страшным экзаменом, тяжело стало дышать. Послышались быстрые легкие шаги. На террасу из внутренних дверей вошел Лев Николаевич. Первое, что меня поразило,— что он такой маленький. Мне он представлялся высоким и широкоплечим. Невысокий, очень сухонький старичок, с подавшимися вперед плечами, с быстрыми, молодыми движениями, несмотря на перенесенную недавно тяжелую болезнь. Он поздоровался с нами и сел. Мне еще бросились в глаза его поразительной красоты старческие руки.

И вот, как будто в эти руки он уверенно взял вожжи — привычным жестом опытного ездока — и повел разговор,— легко, просто, незаметно втягивая

всех в беседу. Заговорил со мною о моих «Записках», потом обратился к приехавшему с нами земскому врачу:

— Вы, наверно, во многом не согласны с Викентием Викентьевичем? (И откуда он уже успел узнать мое имя-отчество?)

Врач накуксился и вызывающе ответил из угла:

— Не согласен.

Не было ничего похожего на прием посетителей. Как будто все мы были его добрыми знакомыми. Спросил каждого, как его зовут, и потом все время называл по имени-отчеству и ни разу не сбился. Слушал всех внимательно и с интересом, и у каждого из нас было впечатление, что мы ему интересны сами по себе. Очаровывающее соединение светской воспитанности с сознательным отношением к каждому человеку, как к брату. Но, мне кажется, было тут еще что-то,— как будто он и вправду чувствовал к нам живой интерес. И почему было не чувствовать интереса к любому встречному ему, такому жадному к жизни во всех ее проявлениях, от далекой звезды до ползущей по земле букашки? Мне вспомнились слова Паскаля: «Чем разумнее человек, тем более находит он вокруг себя интересных людей. Люди ограниченные не замечают разницы между людьми».

Лев Николаевич обратился к домашнему врачу, стал рассказывать о своем сердце, спросил, продолжать ли принимать назначенные капли. Врач взял его за пульс, а Лев Николаевич с покорным, детским ожиданием смотрел на него.

— Да, продолжайте принимать.

— По скольку? По пятнадцати или по двадцати капель?

Э-ге-ге! Выходит, вовсе мне уж не так было бы трудно в качестве домашнего врача. Пульс-то, оказывается... существует!

Позвали обедать. Мы поднялись во второй этаж. На лестнице, когда подымались, Толстой спросил меня:

— Вы женаты?

— Да.

— Дети есть?

— Нет.

Толстой потемнел.

— А давно женаты?

— Шесть лет.

Он замолчал, но глаза его взглянули сурово, и я почувствовал,— он сразу, резко, переменил свое отношение ко мне. По-прежнему был вежлив и мягок, но то теплое, что до того было в глазах, исчезло.

Большая зала, блестящий паркет, старинные портреты по стенам, в углу мраморный бюст Толстого. Длинный стол. Во главе его, на узкой стороне, села Софья Андреевна, справа от нее, у длинной стороны, Лев Николаевич. Прислуживали лакеи в перчатках. Льву Николаевичу подавались отдельно вегетарианские кушанья.

Он спросил меня, почему я живу в Туле. Я ответил, что выслан министром внутренних дел из Петербурга. Толстой вздохнул и с завистью сказал:

— Меня ни разу не высылали, я ни разу не сидел в тюрьме,— я не имел этого счастья.

После обеда Лев Николаевич предложил нам пройтись. Было ясно и солнечно, в колеях обсохшей дороги кое-где блестела вода от вчерашнего дождя. Лев Николаевич шел своей легкой походкой, ветерок шевелил его длинную серебряную бороду. Он говорил о необходимости нравственного усовершенствования, о высшем счастье, которое дает человеку любовь.

Я сказал:

— Но если нет у человека в душе этой любви? Он может сознавать умом, что в такой любви — высшее счастье, но нет у него ее, нет непосредственного, живого ее ощущения. Это величайший трагизм, какой может знать человек.

Толстой в недоумении пожал плечами.

— Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье — в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет и мне нужен свет,— то как же я не пойду туда, где свет?

— Лев Николаевич, на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.

Но Толстой только разводил руками. Видно было,

что он искренне хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

А я не мог понять, как же этого не может понять именно Толстой: в чем же трагедия всех рисуемых им искателей, как не в том, что они оказываются неспособными жить «в добре», твердо убедившись умом, что счастье — только в добре?

Между прочим, я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой девушкой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу свою подругу,— все равно обреченную жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности — все она отдала безоглядно, даже не спрашивая себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил умирающую от голода тигрицу с детенышами.

И вдруг,— вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:

— Бог знает что такое!

Я был в полном недоумении. Но одно мне стало ясно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице,— он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.

Само же слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась едкая насмешка.

— Трагизм... Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «траги-изм, траги-изм»...

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, и шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм? Не «притворство» ли все это?

Потом Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге «Essai de la philosophie optimiste»[1]. С негодованием и насмешкою он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.

— Он, профессор Мечников, хочет... исправить природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно. У китайцев есть слово «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь не за что-нибудь, а *просто* уважение,— уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?

Между прочим. Во всех известных мне переводах Конфуция это китайское слово «шу» переводится: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтоб тебе делали». Интересно знать, откуда взял Толстой свое толкование этого слова? Не из живого ли общения с посещавшими его интеллигентными китайцами?

Воротившись домой, пили чай. В углу залы был большой круглый стол, на нем лампа с очень большим абажуром,— этот уголок не раз был зарисован художниками. Перешли в этот уголок. Софья Андреевна раскладывала пасьянс... Спутник наш, земец Г., сходил в прихожую и преподнес Толстому полный комплект вышедших номеров журнала «Освобождение», в то время начавшего издаваться за границей под редакцией П. Б. Струве.

Толстой сказал:

— А, это очень интересно. Спасибо! Обязательно прочту.

Он перелистывал журнал, а Г. говорил о его программе и задачах.

— Политическая свобода! — Толстой пренебрежительно махнул рукою.— Это совершенно не важно и ненужно. Важно нравственное усовершенствование, важна любовь,— вот что создает братские отношения между людьми, а не свобода.

Г. стал снисходительно возражать:

— Но согласитесь, Лев Николаевич, политическая

---

[1] «Этюды оптимизма» *(фр.)*.

свобода нужна,— ну, хоть бы даже для того, чтоб проповедовать ту любовь, о которой вы говорите...

И почтительно-свысока, тем же снисходительным тоном, каким взрослые люди говорят с очень милым, но малопонятливым ребенком, Г. стал излагать Толстому прописные истины о благах политической свободы. Как это было глупо! Неужели же он думал, что Толстой не слышал этих возражений и что его можно убедить такою банальщиною! И тон, этот отвратительный, самодовольно-снисходительный тон... И вдруг,— вдруг мой либеральный земец превратился в воздух, в ничто. Как будто он испарился из комнаты,— Толстой перестал его видеть и перевел разговор на другое.

О том, о другом поднималась еще беседа,— Толстой упорно сводил всякую на необходимость нравственного усовершенствования и любви к людям. В креслах, вытянув ноги и медленно играя пальцами, сидел сын Толстого, Лев Львович. Рыжий, с очень маленькой головкой. На скучающем лице его было написано: «Вам это внове, а мне все это уж так надоело! Так надоело!..»

Лицо Льва Николаевича побледнело, рот полуоткрылся, видно было, что он устал. Мы поднялись и стали прощаться.

Тарантас наш катил в темно-синей августовской ночи, под яркими звездами. На душе было смутно: отдельные впечатления от Толстого не складывались в определенное целое. Вспоминался мне знаменитый репинский портрет Толстого, где он стоит босой, засунув руки за пояс, с таким кротким, «непротивленческим» лицом. Чувствовалось мне, как этот портрет фальшив и тенденциозен. Ничего в Толстом не было от Христа, от Франциска Ассизского, от князя Мышкина, от репинского портрета. Эта походка, эти быстрые легкие движения, маленькие глаза под густыми бровями, вспыхивающие таким молодым задором и такою едкою насмешкою. И это его отношение к подвигу самоотверженной девушки. Вспомнились слова Наташи Ростовой о самоотверженной Соне: «Имущим дается, а у неимущих отнимается. Она — неимущий. В ней нет, может быть, эгоизма,— я не знаю, но у ней отнимается, и все отнялось...» И это упорное све-

дение всякого разговора на необходимость нравственного усовершенствования и серая скука, торчащая из этих разговоров.

Когда дома близкие спросили меня, какое впечатление произвел на меня Толстой, я ответил откровенно:

— Если бы я случайно познакомился с ним и не знал, что это — Лев Толстой, я бы сказал: туповатый и скучноватый толстовец, непоследовательный и противоречивый; заговори с ним хотя бы об астрономии или о разведении помидоров, он все сейчас же сведет к нравственному усовершенствованию, к любви, которую он слишком затрепал непрерывным об ней говореньем.

Однако — странное дело! Проходило время, вновь и вновь перечитывал я произведения Толстого, вновь и вновь припоминался он мне таким, каким я его видел,— и совсем по-иному, не по-прежнему, начинал я воспринимать его творчество; какое-нибудь мелкое, как будто совсем незначащее личное впечатление вдруг ярким и неожиданным светом освещало целую сторону его творчества.

Случилось то же, что, бывает, случается в очень тихую и сильно морозную погоду. Вечер, мутная, морозная мгла, в которой ничего не разберешь. Пройдет ночь, утром выйдешь — и в ясном солнечном воздухе стоит голый вчера сад, одетый алмазным инеем, в новой, особенной, цельной красоте. И эта красота есть тихо осевшая вчерашняя мгла.

Чтобы уж все о Толстом.

Весною 1907 года я возвращался из-за границы и от Варшавы ехал в одном купе с господином, который оказался М. С. Сухотиным, зятем Толстого (мужем его дочери Татьяны Львовны). Мы много, конечно, говорили о Толстом. Я в то время писал свою книгу о Достоевском и Льве Толстом «Живая жизнь». Между прочим, я сообщил Сухотину, как понимаю значение эпиграфа к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». В романе мы видим отражение глубочайшей душевной сущности Толстого — его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердою рукою ведет че-

ловека к счастью и гармонии и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостным может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила — она сама это чувствует — вырывает ее из уродливой ее жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась — испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала любовницею, как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может потерпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны. И здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда: если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью,— то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа,— и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: «Мне отмщение, и аз воздам».

У Сухотина загорелись глаза.

— Это оригинально. Интересно бы рассказать Льву Николаевичу,— как бы он отнесся к такому объяснению.

— Михаил Сергеевич! Ловлю вас на слове. Очень вас прошу — расскажите и потом напишите мне. Я, конечно, не сомневаюсь, что сам Толстой смотрит на эпиграф не так, но все-таки страшно интересно узнать его мнение.

Сухотин замялся, стал говорить, что Лев Николаевич неохотно беседует о художественных своих произведениях, но в конце концов обещал поговорить и написать мне.

Через месяц я действительно получил от него письмо:

*Ясная Поляна, 23 мая 1907 г.*

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Не подумайте, что я забыл спросить Л. Н. по поводу эпиграфа к «Анне Карениной». Я просто не находил случая его спросить, так как, как я Вам передавал, Л. Н. не любит говорить о своих произведениях беллетристических. Лишь на днях я выбрал удобный момент и спросил его по поводу «Мне отмщение, и аз воздам». К сожалению, из его ответа оказалось, что прав я, а не Вы. Говорю, к *сожалению,* так как Ваше понимание этого эпиграфа мне гораздо более нравится понимания Л. Н. По-моему, и Л — у Н — у Ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпиграф, он сказал: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога, и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить».

Очень рад, что мог исполнить Ваше желание.

Искренне Вас уважающий *Мих. Сухотин.*

## А. П. ЧЕХОВ

Я познакомился с Чеховым в Ялте весною 1903 года. Повез меня к нему Горький, который был с ним знаком уже раньше.

Неуютная дача на пыльной Аутской улице. Очень покатый двор. По двору расхаживает ручной журавль. У ограды чахлые деревца.

Кабинет Антона Павловича. Большой письменный стол, широкий диван за ним. На отдельном столике, на красивом картонном щите, веером расположены фотографические карточки писателей и артистов с собственноручными надписями. На стене печатное предупреждение: «Просят не курить».

Чехов держался очень просто, даже как будто немножко застенчиво. Часто покашливал коротким кашлем и плевал в бумажку. На меня он произвел впечатление удивительно деликатного и мягкого человека. Объявление «Просят не курить» как будто повешено не просто с целью избавить себя от необходимости го-

ворить об этом каждому посетителю, мне показалось, это было для Чехова единственным способом попросить посетителей не отравлять табачным дымом его больных легких. Если бы не было этой надписи и посетитель бы закурил, я не представляю себе, чтобы Чехов мог сказать: «Пожалуйста, не курите,— мне это вредно».

Горький в своих воспоминаниях о Чехове приводит несколько очень резких его ответов навязчивым посетителям. Рассказывает он, например, как к Чехову пришла полная, здоровая, красивая дама и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море... И нет желаний... душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

И Чехов ей ответил:

— Да, это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis [1].

Совершенно не могу себе представить Чехова, так говорящего со своей гостьей. После ухода ее он мог так сказать — это другое дело. Но в лицо...

Для меня очень был неожидан острый интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам. Говорили, да это чувствовалось и по его произведениям, что он человек глубоко аполитический, общественными вопросами совершенно не интересуется, при разговоре на общественные темы начинает зевать. Чего стоила одна его дружба с таким человеком, как А. С. Суворин, издатель газеты «Новое время». Теперь это был совсем другой человек: видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова. Глаза его загорались суровым негодованием, когда он говорил о неистовствах Плеве, о жестокости и глупости Николая II.

За чаем Антон Павлович рассказал, что недавно получил письмо из Одессы от одного почтенного отца семейства. Тот писал, что девушка, дочь его, недавно ехала на пароходе из Севастополя в Одессу, на пароходе познакомилась с Чеховым. И как не стыдно! Пишете, господин Чехов, такие симпатичные рассказы, а

---

[1] Игра слов: болезнь притворства.

позволяете себе приставать к девушке с гнусными предложениями.

— А я никогда из Севастополя не ездил в Одессу.

Когда Чехов рассказывал, глаза искрились смехом, улыбка была на губах, но в глубине его души, внутри, чувствовалась большая сосредоточенная грусть.

И еще сильнее я почувствовал эту его грусть, когда через несколько дней, по телефонному вызову Антона Павловича, пришел к нему проститься. Он уезжал в Москву, радостно укладывался, говорил о предстоящей встрече с женою, Ольгой Леонардовной Книппер, о милой Москве. О Москве он говорил, как школьник о родном городе, куда едет на каникулы; а на лбу лежала темная тень обреченности. Как врач, он понимал, что дела его очень плохи.

Узнал, что я в прошлом году был в Италии.

— Во Флоренции были?

— Был.

— Кианти пили?

— Еще бы!

— Ах, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти... Никогда уже этого больше не будет.

Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова «Невеста» (он шел в миролюбовском «Журнале для всех»).

Антон Павлович спросил:

— Ну что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровою настороженностью.

— Туда разные бывают пути.

Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно. Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типическая безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том

смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учится вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе «Дядя Ваня». В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа «Невеста» с окончательной его редакцией. Я слышал, что корректурный оттиск этот с чеховскою правкою хранится в одном из музеев.

Через месяц я получил от Чехова письмо, и там между прочим он сообщает: «Кое-что поделываю. *Рассказ «Невесту» искромсал и переделал в корректуре».* Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.

Все это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал попытку — пускай неудачную, от которой сам потом отказался,— но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу.

## [ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. ГОРЬКОМ]

В начале восьмидесятых годов окончился героический поединок кучки народовольцев с огромным чудовищем самодержавия. Народовольцы погибли. Самодержавие справляло свою победу, душило и топтало все, что где-нибудь хоть немного смело шевельнуться. Наступили черные восьмидесятые годы. Прежние пути революционной борьбы оказались не ведущими к цели, новых путей не намечалось. Народ безмолвствовал. В интеллигенции шел полный разброд: процветала проповедь «малых дел», толстовского непротивления злу и «неделания». Революционные вспышки проявлялись только в бессильных студенческих волнениях, при полном безразличии общества. В литературе царили глубоко-сумеречные, унылые, настроения — покаянные жалобы Надсона, сдержанное отчаяние Гаршина, хмурая тоска Чехова.

Так было на поверхности русской жизни. Но в недрах ее шли глубокие, важные процессы полного экономического переустройства жизни, росла промышленность, развивался так пугавший народников капитализм, а вместе с ним развивался, рос и креп созданный этим капитализмом промышленный пролетариат. В 1896 году вспыхнула знаменитая стачка петербургских ткачей, изумившая всех своею организованностью и выдержкою. По болоту русской жизни, на котором изредка вскакивали лишь бессильные пузыри студенческих волнений, прошла первая вольная могучая волна рабочего движения. И стало ясно: на арену русской исторической жизни выступила новая сила, глубоко революционная, всем положением своим поставленная в необходимость непримиримо и упорно бороться с наличным политическим и экономическим строем. Конец пришел прежнему бездорожью, прежнему унынию и отчаянию. Открылись широкие пути для революционной работы, все живое, все, что вправду хотело работать и бороться, устремилось на эти пути.

Вот в это время — в середине девяностых годов — и явился в литературу Максим Горький. Среди всеобщего нытья, безнадежности и тоски вдруг зазвучал смелый, яркий, озорной голос, говоривший о красоте и радости жизни, об еще большей красоте и радости борьбы, о безумстве храбрых, как высшей мудрости жизни. Этот бодрый голос сразу всех очаровал, больше — прямо опьянил. Как будто распахнулось запертое окно, и в спертый, душный воздух тюрьмы ворвался свежий, бодрящий морской ветер.

В конце девяностых годов мой товарищ по университету В. А. Поссе сообщил мне, что журнал «Жизнь» (маленький неинтересный журнал с набором неинтересных сотрудников) переходит под его редакцию, что он хочет сделать его марксистским органом с возможно ярким беллетристическим отделом, и пригласил меня в сотрудники. Говорил, что Горький будет принимать в журнале ближайшее участье. Много рассказывал о нем. В это время имя его уже гремело. Поссе мне сказал:

— Пошлите ему вашу книжку рассказов, он будет очень рад. Как раз я скоро еду к нему в Нижний.

Я дал ему книжку с соответственной надписью. Когда Поссе воротился из Нижнего, он мне сообщил, что Горький ему сказал:

— Поблагодарите его и скажите ему несколько теплых слов.

Естественнее было ждать, что он сам что-нибудь напишет. Но потом я понял, что по поводу моей книжки, в которой центральное место занимала моя повесть «Без дороги», Горькому писать было бы нечего — настроения были для него слишком чуждые. Ясно мне это стало года через два, когда я, высланный из Петербурга, жил в Туле. С начала 1902 года в журнале «Мир божий» начала печататься моя большая повесть «На повороте». В январской книжке появилось ее начало. Там действовала революционная молодежь, бодрая и жизнерадостная. Получаю письмо от Горького из Кореиза от 19/I—1902 года. Вот что он писал:

«Мне хочется сказать Вам, дорогой Викентий Викентьевич, кое-что о той радости, которую вызвало у меня начало Вашей новой повести. Славная вещь! Я прочитал с жадностью и по два раза сцены купанья и прогулки навстречу тучам. Здорово это, весело, бодро, возбуждает желание обнять Вас».

Увы! Конец повести у меня вовсе был не такой бодрый, как начало. Конец был очень мрачный. Я ответил Горькому, что очень обрадован его письмом, но что хотел бы услышать его откровенный отзыв, когда он прочтет всю повесть, и обязательно буду ждать этого отзыва. Но он промолчал.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Горький приехал в Петербург, помнится, осенью 1900 года и пробыл, кажется, несколько месяцев. Тут что-то очень странное, чего я до сих пор не могу понять. И сам Петербург, и люди в нем произвели на Горького самое отрицательное впечатление, и отражение этого впечатления видно во всех опубликованных тогдашних его письмах, например, к Чехову. В воспоминаниях о Короленко он называет Петербург того времени «городом определенных линий и неопределенных людей». Мне это странно, потому что — ведь речь идет об интеллигенции — как раз в Петербурге в то время интеллигенция, и, в частности, писательская, была наиболее определенная и привлекательная. <...>

«Русское богатство» было представлено такими крепкими в нравственном отношении и определенными людьми, как Михайловский, Короленко, Анненский, Якубович-Мельшин, Пешехонов и др., затем — так называемые теперь «легальные марксисты», как Струве, Туган-Барановский, Калмыкова, В. Я. Богучарский, все это тоже были люди крепкие, «определенные». Наиболее неопределенными и мало крепкими людьми были как раз сотрудники «Жизни», которой Горький отдался всею душою,— сам Поссе, Евгений Соловьев и другие. Но исключение из отрицательной оценки петербургских людей Горький сделал только для трех. После отъезда из Петербурга он мне писал 13 сентября 1900 года.

«Викентий Викентьевич, уезжая в прошлом году из Питера, я увез с собою только три глубоких и ценных впечатления — одно из них я получил от знакомства с Вами, другое дал Струве, третье Михайловский».

Мы с ним тут сошлись довольно близко. Часто видались. Очень его почему-то тронула одна глупейшая история с каким-то литературным вечером, на котором, между прочим, должны были выступить Горький, Поссе, я и многие другие. Некий молодой человек, несший какую-то работу вроде секретарской в редакции «Жизнь» и рассорившийся с Поссе, наклеветал на него устроителям-студентам, и они предложили Поссе на этом вечере не выступать. Когда они мне об этом сообщили и никаких убедительных причин для своего отказа привести не могли, я отказался участвовать в вечере. Горький, в то время очень любивший Поссе, тоже с негодованием отказался.

Горького приглашали всюду нарасхват, носились с ним, по выражению Горького, как «с теленком о трех головах». Бывал он в самых разнообразных обществах, и часто приходилось ему бывать в очень неприятном положении. Был он в то время образован очень поверхностно, в теоретических разговорах был слабоват, а окружавшие добивались от него всякого рода высказываний; Мережковский — образованнейший человек, сильно щеголявший этою образованностью,— разливался в его присутствии соловьем и инквизиторски допрашивал его о его взглядах на самые разнообразные вопросы. Впоследствии Горький вспоминал:

«Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знаний. «Како веруешь?» — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов. Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное».

Однажды приезжает ко мне в Петербурге Горький.

— Вы имеете связь с Петербургским комитетом социал-демократической партии?

— Имею.

— Не можете ли вы ему передать это — вот!

И выложил передо мною на стол — три тысячи рублей! Он только что получил деньги за два первые сборника своих рассказов.

Для того времени эта сумма в бюджете подпольной организации была ошеломляющая. Сто — двести рублей представляли уже огромную сумму. Я отправился к члену комитета, говорю, что привез им денег. Он жадно:

— Сколько?

— Угадайте. Много.

— Да ну! С сотню?

— Больше.

— Три?

— Больше, говорю, не сдерживайте своей фантазии.

— Будет дурака валять. Не тысячу же?

— Т-р-и т-ы-с-я-ч-и!

Помнится, Горький при мне приезжал в Петербург два раза и оба раза мы виделись довольно часто. В последний раз это было в бурные дни весны 1901 года. Помнится, в первый из этих приездов Горького я читал в редакции «Жизни» отрывки из своих «Записок врача», которые тогда кончал. Были писатели, Струве, Туган-Барановский, Горький, Неведомский, Калмыкова, было несколько товарищей-врачей, в том числе товарищ мой по Юрьевскому университету, известный впоследствии хирург доктор Ив. Ив. Греков. Были из знакомой моей молодежи курсистки и сту-

денты. Много было споров. Горький очень удивил. Он сказал:

— Пускай все это правда, но зачем об этом писать?

Встретился я с ним через два года весною 1903 года в Ялте. Жил он на Набережной в просторной квартире доктора А. Н. Алексина, красавца с крутым затылком и певца. Горький мне так рассказывал о своем знакомстве с ним.

Года два-три назад приехал он в Крым в туберкулезный санаторий, поздно вечером. Утром в белом халате входит в палату, посвистывая, доктор Алексин и громко спрашивает сестру:

— Много их за ночь подохло?

Губы Горького закрутились его характерной конфузливою усмешкой.

— Это мне понравилось. Я с ним познакомился.

Помню один вечер в Ялте. Днем забежал ко мне студент Володя Елпатьевский и передал записку от Горького, где он приглашал меня сегодня вечером прийти к доктору Средину.

Пришел. Поразил меня кабинет хозяина. Это был не кабинет, а какое-то капище, посвященное Максиму Горькому. В углу — бюст Горького, на стене портрет Горького, на столе фотографии: Горький на берегу моря, Горький на скале. Хозяин и хозяйка — увивающиеся и лебезящие...

— Алексей Максимович! Алексей Максимович!

И Алексей Максимович, засунув руки в карманы брюк, ходит вразвалку среди млеющих гостей и — «Э, ч-черт!».

Вечер был совсем неинтересный. Глубоко обывательские разговоры и шутки. Сели ужинать. Всех обносили телятиной. Хозяйка суетливо подошла к Горькому, в руках у нее была тарелка с жареным цыпленком.

— Алексей Максимович, вы телятины не любите, так вот для вас цыпленочек!

Я сидел против Горького. Должно быть, слишком ярко отразилось на моем лице изумление и насмешка. Горький нахмурился и сердито сказал:

— Какого черта! Как будто я не могу есть что все.

Осенью 1903 года кончился срок моих высылок из столиц и я поселился в Москве. Там в это время процветал литературный кружок «Среда», основанный Н. Д. Телешовым. Участниками «Среды» были московские писатели: Леонид Андреев, братья Ив. и Ю. Бунины, Телешов, Серафимович, Тимковский, проездом через Москву бывали Короленко, Чехов, Горький, Елпатьевский и др. Бывал Шаляпин, артисты Художественного театра.

Однажды как-то приехало несколько артистов Художественного театра, в том числе Качалов и Мария Федоровна Андреева, красавица, пожинавшая общие восторги в роли Кэт в «Одиноких», Наташи в «На дне» и в других. Она как-то необычно скромно сидела за ужином, много говорила со мной и моей женою, звала к себе, а мы ее звали к себе.

И вот скоро она приехала к нам. Была очень мила и даже странно как будто льнула к нам. Сказала: «Садитесь ко мне в сани, едем ко мне». Маруся сказала, что ей одеться нужно.

— Пустяки, у нас очень просто, мы живем колонией, по-студенчески.

Ее ждал у подъезда великолепный лихач, и мы на нем помчались с нею на Георгиевский (ныне Вспольный) переулок. Подъехали к крыльцу большого, великолепного особняка, вошли,— обширный вестибюль, зала со сверкающим паркетом, потом гостиная, потом столовая. Разряженные гости, встал навстречу плотный барин в форменной тужурке — А. А. Желябужский, муж Андреевой. Вот так студенческая колония!.. Изысканный обед, помнится, даже лакеи в белых перчатках. Был там, между прочим, знаменитый миллионер Савва Тимофеевич Морозов с плоским лицом и калмыцкими глазками, плотный. После обеда Мария Федоровна повела к себе наверх, на антресоли. Она много нам рассказывала про Горького, между прочим она говорила жене:

— Представьте себе: несколько лет назад, оказывается, мы в одно время с ним жили в Тифлисе!

Жена с удивлением спрашивала:

— Ну так что ж?

— Нет, вы только себе представьте, какое совпадение!

Мы стали бывать у нее довольно часто. Она заезжала за нами и увозила к себе.

В семейном быту ее чувствовалось большое неблагополучие. Она демонстративно отмежевывалась от своего мужа, превосходительного чиновника контрольного ведомства. Когда она выходила провожать нас в переднюю, он считал себя обязанным выходить и стоять вместе со всеми, как бы показывая, что знакомые у них с женою общие. Она, видимо, выходила из себя и, напротив, демонстративно старалась показать, что мы — *ее* знакомые и что он тут совсем лишний. Мне казалось, что он хотя и замечает это, но делает так нарочно, чтобы ее злить.

Очень часто бывал у нее этот самый С. Т. Морозов. На меня он производил впечатление, что он тайно влюблен в Андрееву. Да, вероятно, и много было у нее поклонников — красавица, изящная, умница, талантливая.

Однажды, когда мы с ней сидели в гостиной, приехала Екатерина Павловна Пешкова, жена Горького. Посидела с полчаса. Разговаривали трудно. Екатерина Павловна напряженно улыбалась со страдающими глазами.

Уехала. Мария Федоровна с Марусей ушла к себе в комнату, схватилась за голову и тоскливо сказала:

— Какая все фальшь, какая ложь, для чего все это!

Мы ничего не понимали. Кажется, через год или через два Горький разошелся с Екатериной Павловной и женился на Марии Федоровне.

Весною 1907 года я поехал на Капри по настойчивому приглашению Леонида Андреева, который исключительно тяжело переживал смерть своей первой жены и упорно задумывался о самоубийстве. <...>

Уже в Риме можно было убедиться, какою широкою популярностью пользуется Горький среди итальянских рабочих. На стенах римских домов кое-где еще держались остатки первомайских воззваний и в них сообщалось, что в рядах итальянского пролетариата находится «Il grande scrittore russo Massimo Gorki» [1].

На Капри Горький жил довольно высоко на горах в просторной вилле с чудеснейшим видом на море. Сидим у него вечером, ужинаем, разговариваем. Месяц освещает голубую дымку, окутывающую море; вдалеке — звуки струнных инструментов и чудесный тенор, поющий неаполитанскую песенку. Звуки все ближе. С террасы входят в столовую четверо итальянцев. Горький радушно угощает их вином, они много играют и поют. Горький мне говорит шепотом:

— Обратите внимание на эту четверку. Это возможно только в Италии. Тот, который играет на гитаре,— богатый шелковый фабрикант и ростовщик, певец — чистильщик сапог на площади, на мандолинах играют парикмахерский подмастерье и рыбак. И посмотрите, как они свободно и независимо держатся друг с другом.

И не раз по вечерам к Горькому заходили самые разнообразные музыкальные содружества Капри.

Больше я с Горьким лично не встречался, за исключением одной мимолетной встречи в 17 году в Московском Совете Рабочих Депутатов. Но переписка поддерживалась почти до самого окончательного переезда его в СССР.

Бунин. 1915 г. В текущих альманахах и журналах время от времени появляются рассказы Ив. А. Бунина. И каждый из них вполне справедливо вызывает бурный восторг критики и именуется шедевром. И верно — истинный шедевр. Но вот что странно: говорить об этих шедеврах *решительно нечего.* О любой безвкусной и далеко не шедевренной вещи Л. Андреева можно проговорить два-три часа, о «В<ойне> и м<ире>» — целый вечер, о «Фаусте» — десяток ве-

[1] Великий русский писатель Максим Горький *(итал.).*

черов. А тут — шутка ли: «шедевр!» — а больше сказать нечего. И обыкновенный тон критич<еского> отзыва такой:

«На первом месте, бесспорно, нужно поставить рассказ И. Бунина, представляющий истинный шедевр. За ним следуют...» И на следующих критик оживает, спорит, возражает...

Как будто помещена при входе в рай — икона. Каждый благоговейно крестится,— «шедевр!» — прикладывается к иконе с облегченным сердцем и проходит дальше...

## В. Я. БРЮСОВ

Улыбка у него была пребезобразная. Ни у кого я не видал такой натянутой улыбки: как будто, когда нужно было улыбнуться, он приказывал соответственным мускулам растянуть лицо в улыбку, лицо, неохотно подчиняясь, превращалось в улыбающуюся маску, а глаза смотрели так, как будто ему было конфузно за свою улыбку. Но когда он был серьезен, и особенно когда был зол, лицо его было прекрасно. Прямой, строгий, всегда подтянутый, изысканно-корректный.

Познакомился я с ним в 1908 или 1909 году. Случилось это так. Тогда существовало в Москве «Общество деятелей периодической печати и литературы». Председателем общества был известный в московских литературных кругах Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича. Членом совета общества был Валерий Брюсов, никогда, впрочем, на заседаниях не бывавший; был членом совета и я. Однажды Ю. А. Бунин смущенно сообщает мне: в правление, в числе других заявлений о желании баллотироваться в члены общества, поступило заявление и от Анатолия Бурнакина. У Брюсова, говорят, какие-то личные с ним счеты,— и вот он сегодня на заседании совета хочет внести предложение: не допускать Бурнакина до баллотировки.

Анатолий Бурнакин был длинноволосый юноша весьма унылого и нелепого вида, длинный, тощий. Он часто выступал на литературных диспутах с самыми неожиданными мнениями и заявлениями, вызывавшими иногда форменные скандалы. Года через два он

переехал в Петербург и вскоре стал сотрудником «Нового времени», подвизаясь на роли маленького Буренина. Юноша был мало приятный, но в то время за ним не числилось решительно ничего, за что можно бы было применить к нему такую исключительную меру, как недопущение даже до баллотировки. Я возмутился и пошел на заседание совета с твердым намерением никоим образом не дать Брюсову провести его предложение. А опасаться этого можно было: я уже достаточное имел представление о мяклых «милых человеках», к которым принадлежало большинство московских литераторов. Такому стальному человеку и умнице, как Брюсов, ничего не стоило заставить их сделать так, как он хотел.

Когда на заседании совета очередь дошла до рассмотрения кандидатов на баллотировку и назван был Бурнакин, Брюсов попросил слова. Вынул из портфеля книгу — альманах «Белый камень», издание Анатолия Бурнакина. И попросил разрешения прочесть выдержки из статейки Бурнакина «Стилизованные лики».

— Вот — «стилизованный лик» номер первый. «При царе Горохе был он трепетною ланью... Но прошли годы,— пришла смекалистость. Остановился, уразумел необходимость пьедестала, навалил гору бумаги, измазанной типографской краской, вскарабкался на вершину и оброс мохом... И вот он — архитриклин на юбилеях, и тосты возглашает во славу ихтиозавров... Вот сам к лику бессмертных сопричислен и первоприсутствует на сонмищах в Васильеостровском застенке»... Как видите, господа, здесь в очень прозрачных чертах выведен почетный член нашего общества, почетный академик Петр Дмитриевич Боборыкин, а под Васильеостровским застенком разумеется Академия наук.

Прочел еще несколько выдержек. Ядовито высмеивался некий критик, «лижущий тарелки на кухне у московского Верхарна». Набрасывался портрет модернистской девицы, посетительницы «Общества свободной эстетики»: «У нее — оловянно-мистические глаза. У нее — символическая грудь. У нее — стилизованные бедра. А по ним хитон струится. И прическа á la Boticelli ее курносое лицо обрамляет» и т. п.

Брюсов энергично доказывал, что такое насмешливое отношение к Боборыкину неприлично, что критические приемы Бурнакина по своей разнузданной резкости и переполненности личными намеками совершенно недопустимы, что сам он — морально-грязная личность и что его не следует допускать даже до баллотировки в члены нашего общества.

Личная подкладка выступления Брюсова была вполне ясна, и странно было — за кого же он нас считает, если думает, что мы ее не заметим! Под «московским Верхарном» разумелся сам Брюсов, много переводивший из Верхарна, под критиком, лижущим у него на кухне тарелки,— критик «Весов» Эллис, безудержно в каждой своей статейке выхвалявший Брюсова, фактического редактора журнала «Весы». Основателем и председателем «Общества свободной эстетики» был тот же Брюсов. И какая трогательная картина: Брюсов, возмущающийся насмешливым отношением к... Боборыкину!

Я попросил слова. Выразил изумление, как может руководитель «Весов» так возмущаться резкостью критических отзывов; отзывы «Весов» о писателях враждебной им реалистической школы,— между прочим, и о Боборыкине,— отличаются исключительною резкостью и насмешливостью; недавно еще в «Весах» был напечатан напыщенный «манифест» Андрея Белого, где, помнится, в строчку перечислялись, «садисты, кадеты, педерасты». Заявил, что пусть меня исключают из общества, но я тоже думаю, что пьедестал Боборыкина состоит из горы исписанной им бумаги. «Лижет тарелки на кухне у московского Верхарна». Совсем недавно о низкопоклонстве того же критика Мережковский отозвался приблизительно совсем так же — что он, сколько помню, «лижет пятки» у поэта, который назван у Бурнакина «московским Верхарном». Между тем Мережковский продолжает числиться в списке сотрудников «Весов». Разухабистый тон Бурнакина производит очень отталкивающее впечатление, но этого слишком недостаточно, чтобы применить к нему такую исключительную меру, как недопущение до баллотировки.

Пусть само общее собрание решит баллотировкой, достоин ли Бурнакин быть членом нашего общества.

Я видел, как холодным, злым блеском блестели глаза Брюсова. В защиту его предложения выступил поэт-модернист С. А. Соколов-Кречетов, редактор издательства «Гриф», против предложения горячо говорил С. В. Яблоновский-Потресов, фельетонист газеты «Русское слово».

В перерыве Кречетов подошел ко мне и стал убеждать в правильности предложения Брюсова; я ему прямо сказал, что ничего, кроме личных счетов, тут не вижу,— пусть свои счеты с Бурнакиным Брюсов сводит в другом месте. Тогда Кречетов раскрыл бурнакинский альманах и дал мне прочесть в том месте, где говорилось о модернистской девице, еще несколько строк. Вот что там стояло: «О, московская Терезита с вечной чесоткой на губах! Когда я зрю тебя по паркету свободно эстетирующую, бедрами стилизованными дунканирующую,— о, как мне хочется послать на тебя полк дворников и кучеров! Впрочем, эстетируй, канканируй, усмиряй свой зуд как угодно, но оставь в покое людей искусства. Поверь: голая откровенность пролетарского лупанария куда приятней твоего муйрацитинного сообщества! Там перебирают бедрами и и ловчее и обольстительнее...»

Кречетов мне объяснил, что здесь имеется в виду не модернистская девица вообще, а определенное лицо, одна молодая поэтесса. Я сообразил, о ком идет речь: уже раньше я слышал об этой поэтессе, которая была в близких отношениях с Кречетовым, а потом с Брюсовым. Все это, конечно, совершенно меняло дело. Гаденький пасквиль на живое лицо. Такого гнусавца совершенно не было резона допускать в наше общество. Я сообщил об этом Яблонскому-Потресову, мы легко все сговорились и не допустили Бурнакина до баллотировки в общество. Но меня удивили те приемы, которыми Брюсов хотел добиться своей цели.

Был открыт памятник Гоголю на Пречистенском бульваре. В течение трех дней шли непрерывные торжественные заседания в честь Гоголя в разных учреждениях и обществах. Преподаватели словесности разных рангов лили ведра пустословия о бессмертных ти-

пах Гоголя, о видимом миру смехе сквозь невидимые миру слезы и т. п. На торжественном заседании Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 года Брюсов прочел свой доклад о Гоголе «Испепеленный». Доклад был умный, оригинальный, с рядом интересных наблюдений и обобщений. Но в нем отсутствовал обычный юбилейно-захлебывающийся тон, докладчик независимо подходил к Гоголю и отмечал — совершенно бесспорную — особенность его творчества, состоящую в «гротескном», как сказали бы позднее, преувеличении как отрицательных, так и положительных черт описываемых лиц. Доклад возмутил публику. Брюсова ошикали и освистали. Газеты тоже яростно напали на него: как можно было произносить такую речь на поминках по Гоголю? Это было очень бестактно и, вполне естественно, должно было возмутить слушателей.

Но ведь Гоголь умер — больше, чем пятьдесят лет назад! Что тут было оскорблено: боль ли о незаменимой утрате или обывательская любовь к стандартным мыслям и формам? Самый лучший венок, какой можно было возложить на памятник Гоголю, самая лучшая речь, какою можно было почтить его память,— был независимый, интересный подход к нему, *свое*, не банальное слово о нем. Неделю целую травили Брюсова.

Я с ним встретился в коридоре Литературно-художественного кружка,— подошел и выразил горячее одобрение за его речь и сочувствие по поводу нелепых на него нападок.

— Единственная яркая, интересная речь, единственно достойные поминки по Гоголе — и этот обывательский вой!

Брюсов был очень тронут, крепко пожал мне руку, сказал:

— Недавно подошел ко мне художник Суриков — лично мы с ним не были знакомы — и тоже выразил мне одобрение. Спасибо вам. Подобная поддержка очень дорога в такие тяжелые минуты.

Вскоре после этого в Литературно-художественном кружке произошло ежегодное переизбрание дирекции. На первом же собрании дирекции в новом составе

предстояло избрание председателя дирекции. Давнишним и постоянным председателем дирекции до тех пор был знаменитый артист Малого театра кн. А. И. Сумбатов-Южин. Ввиду перегруженности делами он отказался от председательствования, оставшись членом дирекции. Членом дирекции давно уже был и Брюсов; на последнем собрании попал в члены дирекции и я. Некоторые члены выдвинули на пост председателя кандидатуру Брюсова. Мне приходилось видеть, какой прекрасный председатель Брюсов, чувствовался в нем человек энергичный и деловой. Мне эта кандидатура нравилась. Сказал Южину. Южин поморщился.

— Я очень уважаю и люблю Валерия Яковлевича. Но знаете, выбирать его в председатели сейчас же после его бестактной речи о Гоголе — неудобно.

— Как?! Единственная блестящая, стоящая речь среди всеобщего водолейства... Именно поэтому нам тем паче еще следует выбрать именно Брюсова.

И еще горячее я стал агитировать за его избрание. Нас оказалось большинство. Председателем дирекции был избран Брюсов и таковым оставался до конца жизни кружка — до 1917 года, когда кружок утонул в волнах революции.

Мы с Брюсовым были различных литературных школ, школы эти жестоко друг с другом враждовали, представители их почти не встречались друг с другом, в общих журналах не сотрудничали, в печатных отзывах высмеивали и обливали презрением писателей враждебной школы. Встречаться с Брюсовым и наблюдать его мне приходилось только в Литературно-художественном кружке, на совместной работе в дирекции и в разных комиссиях кружка.

Работоспособность его была изумительная. Ни у кого я такой не встречал, совершенно невозможно было понять, как у него на все хватало времени и сил. Поэт и критик. Редактор беллетристического отдела журнала «Русская мысль», в то время выходившего под общей редакцией П. Б. Струве. Исключительный знаток русской поэзии и французской литературы, следивший за всеми новинками в этих областях. Вы-

дающийся пушкинист. Редкий знаток древнеримской литературы,— сам он именно в этой области считал себя специалистом. И вот, ко всему этому — еще председательская работа в кружке. И здесь вел он дело с тою же <...> добросовестностью, энергией и умением ориентироваться. Любо было слушать, как толково и деловито говорил он на общих собраниях кружка о балансе, амортизации и т. п. С какою готовностью и легкостью взваливал он на себя работу, показывает такой пример. Как-то весною на заседании дирекции Брюсов сказал:

— За годы существования кружка можно найти в протоколах дирекции много постановлений, которые совершенно забыты и не приводятся в исполнение. Я этим летом остаюсь в Москве и берусь просмотреть с этою целью протоколы.

И пересмотрел фолианты протоколов, и извлек все забытые постановления.

Был он большой умница и человек исключительно широкого образования. Только в области общественно-политических наук поражал своею наивностью и неустойчивостью. В этом, впрочем, Брюсов был схож с большинством модернистов: ученейшие и образованнейшие люди в вопросах литературы, искусства, истории, философии, религии, иногда даже естествознания, они были форменными младенцами в вопросах общественных и экономических. В обширных их библиотеках вы напрасно стали бы искать книг по политическим, общественным и экономическим наукам. Две строчки из «вед» или новонайденное четверостишие Баратынского интересовали их гораздо больше, чем Генри Джордж и Лассаль, Маркс и Энгельс, взятые вместе.

И еще одна черта поражала меня в Брюсове: странная неустойчивость и неуверенность в моральной области. Не то чтобы он был аморалистом; не знаю, как в душе,— однако производить он такого впечатления не хотел. Но казалось, что тут он все время ходит как бы ощупью, совершенно самому себе не доверяя. Эта моральная неуверенность в суждениях и поступках особенно бросалась в глаза, потому что в других областях Брюсов был очень уверен в себе, решителен и категоричен.

Один из многих примеров. При кружке существовала художественная комиссия; задачею ее было покупать для кружка художественные произведения. Состояла она из крупных художников и любителей-знатоков. Между прочим, входил в комиссию и любитель Гиршман, банкир, с таким ненавидящим любованием изображенный Серовым на знаменитом портрете: стоит с повелительно поднятою головою, прямой, быстрый, и правая рука символически засунута в передний кармашек пиджака. Художественной комиссии, как общественной организации, разрешалось осматривать новооткрывающиеся выставки раньше вернисажа и заблаговременно намечать к покупке одобренные сю произведения.

Однажды на заседании дирекции Брюсов докладывал о вновь купленных художественной комиссией картинах. И прибавил, что такой-то намеченной к покупке картины кружку, к сожалению, купить не удалось, так как раньше кружка ее купил Л. Л. Гиршман.

Я с изумлением спросил:

— Ведь он же сам состоит в комиссии?

— Д-да...

Оказывается: комиссия, в том числе и Гиршман, осмотрела выставку, наметила к покупке несколько картин; одна из них понравилась Гиршману; он немедленно поехал и купил ее — для себя. Было удивительно, с каким объективным спокойствием сообщал Брюсов о поступке Гиршмана,— как будто речь шла о маленьком стихийном бедствии, которое можно было только с огорчением констатировать.

Я возмутился.

— Как же можно терпеть такого господина в комиссии!

Брюсов с недоумением посмотрел на меня.

— Что же с ним делать?

— Как — что? Послать Гиршману извещение, что, ввиду его поступка, дирекция находит совершенно недопустимым дальнейшее участие его в комиссии, исключить его из числа членов комиссии; а так как членов комиссии выбирает общее собрание, то на ближайшем общем собрании доложить о причинах ис-

ключения Гиршмана и предложить общему собранию утвердить постановление дирекции.

Мое предложение было найдено недостаточно «корректным». Было поручено одному из членов дирекции частным образом поговорить с Гиршманом и предложить ему уйти из комиссии.

В помещении кружка собиралось, между прочим, литературное общество «Новая среда», возродившееся из старого нашего литературного кружка «Среда», основанного Н. Д. Телешовым. Я в то время изучал эллинскую поэзию и религию, стал переводить Сафо, Архилоха, Семонида, Гомеровы гимны. Однажды на собрании «Новой среды» прочел перевод Гомерова гимна «К пану» и несколько пьес Сафо. При первой после этого встрече Брюсов взволнованно-радостно подошел ко мне.

— Вы читали на «Среде» переводы из греческих поэтов. Я ужасно жалел, что не был. Если бы знал, обязательно бы пришел.

И просил дать ему прочесть. Я, конечно, с радостью дал и просил с совершенною откровенностью высказаться о переводах. Брюсов прочел очень внимательно, сверяя с подлинниками, дал много ценных указаний. С той поры у нас с ним на этой почве создалась своеобразная близость. Часто, сойдясь в кружке, мы часами беседовали о размерах античных и современных, о возможности перенесения античных размеров в русский стихотворный язык, о стихотворной технике, о рифме. Однажды мы говорили об изумительном разнообразии ударений в русском языке, о возможности рифм даже с ударением на седьмом с конца слоге. Он тут же написал мне на листе бумаги свое стихотворение. Не знаю, было ли оно напечатано.

Ветви, темным балдахином свешивающиеся,
Шумы речки, с дальней песней смешивающиеся,
Звезды в синем небе слабо вздрагивающие,
Штампы роз, свои цветы протягивающие,
Запах трав, что тайно в сердце вкрадывается,
Теней сеть, что странным знаком складывается,
Вкруг луны живая дымка газовая,
Рядом голос, что поет, досказывая
Клятвы, днем глубоко затаенные...

И еще... еще глаза влюбленные,
Трепет губ в волненье онемелом,
Дрожь ресниц в касании несмелом,
Близость уст, не ускользнувших прочь,—
Милых, близких, жданных... Это — ночь!

*Валерий Брюсов*

*1915*
*7 июля 1916.*

Викентию Викентьевичу Вересаеву скромное приношение в память нескольких слов о рифмах.

Иногда слышал я от Брюсова мнения, поражавшие в его устах своею неожиданностью. Однажды он резко-насмешливо отозвался о переводах Вячеслава Иванова, которые хвалил в печатных рецензиях. В другой раз, когда в библиотечной комиссии была предложена к покупке только что вышедшая книга стихов Ю. Балтрушайтиса, соратника Брюсова по «Весам», Брюсов вдруг, как бы про себя, сказал:

— Зачем его покупать! Разве он поэт?

Пришла Февральская, потом Октябрьская революция. Брюсов — перед тем член редакции правокадетской «Русской мысли», патриотический военный корреспондент «Русских ведомостей» — быстро и резко стал леветь. После октябрьского переворота подчеркнуто стал выражать свои симпатии к большевизму.

В октябре 1918 года я уехал из Москвы в Крым и пробыл там три года. Воротился осенью 1921 года. Встречался с Брюсовым. Он, кажется, был тогда уже коммунистом...

Что привело Брюсова к коммунизму? ...Мне кажется, большевизм покорил и завоевал Брюсова своею мощностью, неоглядностью и беспощадною прямолинейностью, отрицанием всякой серединки и обывательщины. Мне как-то довелось говорить об этом с Андреем Белым, хорошо знавшим Брюсова. Он совсем так же объяснял его поворот.

Повторилось в большей степени то же самое, что произошло с Брюсовым в первую нашу революцию. Эстет, пренебрежительно высмеивавший всякую общественность, вдруг напечатал следующее стихотворение:

## КИНЖАЛ

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок...

*Лермонтов*

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.
Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.
Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.
Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.
Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми,— затем, что я поэт,
Затем, что молнии сверкали.

Стихотворение вызвало всеобщий восторг. Критики приветствовали поворот декадента к живой общественности, к революции. Однако по существу стихотворение было просто возмутительно. Когда шла тяжелая, будничная революционная работа, когда в безвестной темноте люди боролись и гибли, когда эта борьба не облекалась в внешне красивые формы, поэт не усматривал в ней «ни дерзости, ни сил», не только не шел к борющимся с огненными призывами, но хохотал над призывами и брезгливо уходил в красивую «страну молчанья и могил». Но засверкали молнии, затрубили трубы, грозно заалели огнистые знамена,— и поэт, зачарованный открывшеюся его глазам *красотою,* пошел за революцией. Но именно только грозовая красота ее влекла к себе поэта — совсем так же, как всякая другая красота:

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!

Все мощное одинаково прекрасно. И Брюсов в революции ощущал только мощную красоту — разрушения. <...> Над миром тучею нависли новые гунны.

Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий,—
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови...
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Кончилась побежденная революция 1905 года, отблистали молнии, огнистые знамена были сорваны и растоптаны,— и Брюсов вложил свой кинжал обратно в ножны, и снова ушел в «страну молчанья и могил». Теперь, когда с новою силою загрохотала и заблистала революционная гроза, Брюсов, снова зачарованный ею, радостно пошел ей навстречу.

Работник он был прекрасный. Много работал в Главпрофобре, в Наркомпросе, где был председателем литературной подсекции при ГУСе (государственный ученый совет). В эту секцию был приглашен и я и тут опять стал систематически встречаться с Брюсовым...

Однажды на заседании подкомиссии, в связи с докладом представительницы соцвоса (социального воспитания), возник вопрос о допустимости для детей сказок. Брюсов сказал:

— Во всяком случае, совершенно недопустимы сказки, где речь идет о царях и царевичах, о боге и ангелах.

Я спросил:

— А где речь идет о черте?

— О черте?.. О черте, пожалуй, можно. Он — воплощение отрицания, протеста.

— Но против чего же ему протестовать, если не будет бога? Против пустого места?

Однажды после заседания подкомиссии остались мы и разговорились — Брюсов, Л. И. Аксельрод,

В. Ф. Переверзев и я. Я резко высказался против так называемого «социологического» подхода к художественным произведениям. (Это было время полного разгула рапповщины <...>.) Я говорил, что чем крупнее художник, тем *менее* характерен он как представитель своего класса. Болеслав Маркевич или Авсеенко гораздо полнее и ярче отражают дворянскую психологию шестидесятых — семидесятых годов, чем Лев Толстой. Ценно в художнике именно то, в чем он стоит выше своей классовой позиции. Мне просто неинтересен Пушкин как отобразитель среднедворянской или там разночинной какой-то психологии. И какое мне дело до феодально-аристократических взглядов маленького народца, жившего три тысячи лет назад,— взглядов, нашедших отражение в поэмах Гомера? Мне дорог и близок Гомер именно тем общечеловеческим, тем надклассовым, что в нем есть.

Все это, конечно, бесспорно и элементарно до банальности, но в то время такие взгляды были потрясением самых основ якобы марксистского отношения к искусству.

Брюсов мне возражал:

— Нет, Викентий Викентьевич, это все чрезвычайно важно. У меня как глаза раскрылись на Гомера, когда я увидел, что единственным представителем широких народных масс у него является отвратительный горбун, крикливый демагог Ферсит. Совсем новый взгляд установился!

— Да, конечно, слушателей рабфака полезно предупредить, что Гомер или там Шекспир были по воззрениям аристократы, презирали чернь и что к их изображениям простого народа нужно относиться с осторожностью. Но нам-то с вами, Валерий Яковлевич,— неужели для нас с вами это самое существенное в Гомере?

И еще я говорил:

— Я — марксист, материалистическое объяснение истории признаю единственно научным. Взять, например, крестовые походы. В течение целого века огромные массы — и рыцарей, и простого народа — устремляются на восток, охваченные высокорелигиозным

стремлением освободить гроб господень. Откуда вдруг этот всеобщий идеалистический подъем? А дело просто: при тогдашних условиях производства в Западной Европе образовался огромный избыток населения, естественным следствием этого должна была явиться эмиграция, которая и вылилась в форму крестовых походов. Или гражданская война в Америке за освобождение негров. Северные штаты обливаются слезами, читая «Хижину дяди Тома», отдают деньги и жизнь за освобождение негров, а Южные штаты яростно борются за то, чтобы оставить негров рабами. Что за странное географическое разделение хороших и плохих людей? А дело столь же просто: Северные штаты были промышленные, им нужен был свободный рабочий, а Южные штаты были земледельческие, им нужен был рабочий раб. Все это просто, глубоко и убедительно. Или даже о художестве — например, Плеханов об Ибсене. Ярко и убедительно он показывает, как ряд задушевнейших идей Ибсена — о «сплоченном большинстве», о могуществе «одинокого человека» — вытекает из мелкобуржуазного уклада Норвегии и мог появиться только при таком укладе. Но когда меня уверяют, что поэзия Пушкина — типическое проявление классово-дворянской психологии и таким же проявлением является и поэзия Лермонтова, и поэзия Тютчева, и поэзия Баратынского, то я тут вижу только безответственную болтовню очень тупых людей. Здесь — торжество не Маркса, а Шулятикова и Фриче.

Меня очень занимало, как держался при этом Брюсов. Он возражал, но неуверенно, без всякого пыла, и в то же время жадно слушал и радовался, что, оказывается, можно быть марксистом и не снижать Гомера и Пушкина до понимания Фриче и Когана.

## КОКТЕБЕЛЬ

С осени 1918 года до осени 1921 года мне пришлось прожить в Крыму, в дачном поселке Коктебель, где года два перед тем я купил себе дачу.

Прелестная морская бухта с отлогим пляжем из мелких разноцветных камушков, обточенных морем. Вокруг бухты горы изумительно благородных, изящных очертаний, которые мне приходилось наблюдать только в Греции и которых представить себе не могут ялтинцы, восхищающиеся своею безобразною Яйлою. Коктебельская долина в сравнительно недавние еще времена представляла собою морское дно, поднятое кверху подземными силами. Вода в колодцах солоноватая, и ее еле могут пить только лошади. Намокшая от дождя земля, подсыхая, покрывается белым налетом соли, как будто инеем. Деревья растут туго, трава жалкая, и преобладает особого рода мелкий полынок, наполняющий воздух своим прелестным горьковатым запахом. Чувствуется, тут когда-то были катастрофические пертурбации, землетрясения, взрывы — и все вдруг в этом бешеном кипении и движении окаменело, с огромными пластами земли, ставшими вертикально. Справа высятся крутые утесы Карадага; на склоне его выступы скал образуют совершенно определенно человеческий профиль, несколько напоминающий профиль Пушкина. Впрочем, постоянно живший в Коктебеле поэт Волошин утверждал, что это его профиль.

...Всю эту коктебельскую долину с окружающими горами, размером приблизительно в 1½ тысячи десятин, купил известный петербургский окулист проф. Юнге за баснословно дешевую цену, чуть ли не по рублю за десятину, и поселился там. Он развел у себя большой виноградник, занимался сельским хозяйством. После смерти старика сыновья его стали продавать участки под дачи. Но место было мало известное, и вначале заселение шло очень медленно. Первыми поселенцами были: Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта, доктор Теш, доктор М. П. Манасеин и др. Постепенно дачный поселок разрастался, и ко времени моего приезда было уже дач тридцать. Там жили: поэт Волошин, известный публицист, бывший священник Григорий Петров, поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьева — Allegro, детская писательница Н. И. Манасеина, артистка московского Большого театра М. А. Дейша-Сионицкая, артист петербургского Ма-

риинского театра бас В. И. Касторский, историк искусства А. П. Новицкий.

Представительницей порядка, благовоспитанности, комильфотности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» был поэт Максимилиан Волошин. Вокруг него группировалась целая компания талантливых молодых людей и поклонниц, местных и приезжих. Они сами себя называли «обормотами». Сам Волошин был грузный, толстый мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни, с курчавой бородой. Он ходил в длинной рубахе, похожей на древнегреческий хитон, с голыми икрами и сандалиями на ногах. Рассказывали, что вначале этим и ограничивался весь его костюм, но что вскоре к нему из деревни Коктебель <пришли> населявшие ее крестьяне-болгары и попросили его надевать под хитон штаны. Они не могут, чтобы люди в подобных костюмах ходили на глазах у их жен и дочерей.

Мать Волошина носила обормотское прозвание «Пра». Это была худощавая мужественная старуха. Ходила стриженая, в шароварах и сапогах, курила. Девицы из этой обормотской компании ходили в фантастических костюмах, напоминавших греческие, занимались по вечерам пластическими танцами и упражнениями. Иногда устраивались торжественные шествия в горы на поклонение восходящему солнцу, где Волошин играл роль жреца, воздевавшего руки к богу — солнцу. Из приезжих в обормотской компании деятельное участие принимали писатель А. Толстой, художник Митулов и др. Они были постоянными посетителями кабачка «Бубны», расписанного их художниками, содержавшегося греком Синапла. Устраивали кошачьи концерты представителям враждебной партии, особенно Дейше-Сионицкой.

Дейша-Сионицкая явилась основательницей общества благоустройства дачного поселка Коктебель. До этого времени мужчины и женщины купались в море кто где хотел, и это, конечно, очень стесняло многих женщин. Общество благоустройства разделило пляж

на отдельные участки для мужчин и женщин и поставило на границах столбы с надписью в разные стороны «для мужчин» и «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал этот столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая, как председательница общества благоустройства, написала на Волошина жалобу местному феодосийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову. Солодилов прислал «Максу Волошину» грозный запрос: на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба. Волошин ответил: во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович; правда, друзья называют его Макс, но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Что касается существа дела, то он, Волошин, считает неприличным не свой поступок, а водружение перед его дачей столба с надписью, которую люди привыкли видеть только в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительною способностью сходиться с людьми самых различных общественных положений и направлений. В советское время, например, он умел, нисколько не поступаясь своим достоинством, дружить и с чекистами, и с белогвардейцами, когда Крым то и дело переходил из одних рук в другие. До революции он был в дружеских отношениях с таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. А исправник Солодилов, как тогда полагалось, дежурил у выхода при коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, взял его дружески под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович, вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. Пожалуйста, называйте меня Мишей.

Волошин был человек большого ума и огромнейшей образованности. <...> Вячеслав Иванов, Брюсов, Мережковский, Андрей Белый, Бальмонт, Волошин —

все это были люди с широким и глубоким образованием. <...> Но замечательно вот что: все перечисленные модернисты были люди исключительно образованные в области литературы, истории, философии, религии, искусствоведения, лингвистики, многие даже — в области естествознания, но,— по крайней мере те, с которыми мне приходилось сталкиваться,— были изумительно наивны и нетверды в вопросах общественных, экономических и политических; здесь их твердый и решительный шаг сменялся слабою колеблющейся походкой, и не стоило большого труда сбить их на землю.

Волошин был умен, образован. Но крайне неприятное впечатление производило его непреодолимое влечение к парадоксам.

Человек чрезвычайно оригинальный, он из всех сил старался оригинальничать. Чем ярче была нелепость, тем усиленнее он ее поддерживал. Он утверждал, например, что заплата очень идет к платью, но только она должна быть контрастирующего цвета — красная на зеленом платье, оранжевая на синем и т. п. Он с самым серьезным видом повторял изречение какого-то французского острослова, утверждая, будто это сказал Микеланджело: что для того, чтобы дать статуе полное совершенство, нужно ее по ее окончании сбросить с горы. Чтобы Микеланджело сбросил своего Моисея с горы! Что Венера Милосская прекрасна и без рук — это вовсе не значит, что с руками она стала бы хуже.

— «Женская красота есть накожная болезнь». Идеальную красавицу способен полюбить только писарь. Вы посмотрите, все знаменитые красавицы отличались каким-нибудь уродством и умели заставить свое уродство признать за красоту. Или возьмите женские образы Ботичелли. Итальянца того времени привлекала здоровая, смуглая, краснощекая женщина с огненными волосами (потому что итальянки вообще черные) — для этого даже волосы мыли раствором ромашки. И вот Ботичелли дает свою красоту и завоевывает ею итальянца — хрупкую, чахоточную девушку (оригинал — предмет любви одного из Медичи, умерла 21 года. Имя?).

Все время усиленно щеголяет знаньями.

— Заплаты — это ничего. Только нужно, чтобы они ярко выделялись. Лучше всего, чтоб были дополнительного цвета: к зеленому — красные, к синему — оранжевые.

— Ну, это парадокс!

— А что такое парадокс? Это — истина, показанная с неожиданной стороны.

Утверждал, что верит в хиромантию, предсказывал судьбу по линиям руки. Лечил заговорами.

Когда Советская власть в 1919 году овладела Крымом, я заведовал в феодосийском наробразе отделом литературы и искусства и пригласил в репертуарную комиссию Волошина. Он первым делом поставил такой принципиальный вопрос:

— Известно,— сказал он,— что искусство, по выражению Оскара Уайльда, «всегда восхитительно бездейственно». Зритель переживает в театре определенные эмоции и именно поэтому перестает переживать их в жизни. Поэтому, например, если мы хотим убить в человеке стремление к борьбе, мы должны ставить пьесы, призывающие к борьбе; если желаем развивать целомудрие, то надо ставить порнографические пьесы.

На губах его играла чуть заметная самодовольная улыбка, а мне просто стыдно было за него, что и в такой момент он самым подходящим почел щегольнуть парадоксом; стыдно было перед рабочими, с изумлением и негодованием слушавшими его высказывания. Разумеется, мне как председателю немедленно пришлось снять с обсуждения этот «принципиальный» вопрос.

При белых он в какой-то симферопольской газете не то напечатал статью, не то дал пространное интервью, где высказывался, что единственное спасение для распадающейся России это объединиться под руководством... патриарха Тихона! Нужно заметить, что церковником он никогда не был, а вытекало это единственно из желания ошарашить читателя по голове хорошей дубиной.

Приезжая журналистка вместе с секретарем местного сельсовета пришли к мысли учредить шефст-

во приезжих дачников, среди которых много бывает профессоров, писателей и пр., над деревней Коктебель.

— Я вообще враг всякой общественной деятельности. От нее никогда ничего, кроме вреда, не бывает... Зачем ликвидация безграмотности? У вас теперь есть радио, его могут слушать и безграмотные.

— Этого слишком мало. Деревня совершенно некультурная, вместо врачебной помощи прибегает к заговорам.

— И хорошо делает. Заговоры гораздо полезнее, чем всякие врачебные средства...

И пошел! Цитировал Гиппократа, Галена, Аверроэса, Авиценну, Агриппу Нетельзгеймского. Посетители слушали выпучив глаза. То, что они считали признаком глубокой темноты и невежества, рассыпал перед ними блестящий, видимо, умный и необычайно образованный человек. На прощанье он спросил посетительницу, чем она занимается.

— Я журналистка.

— Самое вредное занятие на земле!

Очень скоро у меня пропала всякая охота о чем-нибудь спорить с ним. Чувствовалось, что самой очевидной истины он ни за что не примет, если она будет в банальной одежде. Маленькие его смеющиеся глазки под огромным лбом озорно бегали, и видно было, что он выискивает, что бы сказать такое, чтобы посильнее ошарашить противника. Очень скоро это стало невыносимо скучным.

В политическом отношении он не считал себя ни большевиком, ни белым. Где-то в стихах писал, что ему равно милы и белые и красные и воображал, что стоит выше их, тогда как в действительности стоял только в стороне.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнив.
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас, тот против нас!
Нет безразличных. Правда с нами!»

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами моими
Молюсь за тех и за других.

*(«Гражданская война», 1919)*

У власти были красные — он умел дружить с красными; при белых — он дружил с белыми. И в то же время он всячески хлопотал перед красными за арестованных белых, перед белыми — за красных. Однажды при белых на одной из дач был подпольный съезд большевиков. Контрразведка накрыла его, участники съезда убежали в горы, а один явился к Волошину и попросил его спрятать. Волошин спрятал его на чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что те даже не сочли нужным сделать у него обыска. Когда впоследствии благодарили его за это, сказал:

— Имейте в виду, что когда вы будете у власти, я так же буду поступать с вашими врагами.

*10/V — 39 г. Киев.*

Дача Волошина находилась в центре дачного поселка, на самом берегу моря. Основное ее здание представляло из себя полуовальную башню, двумя ярусами окон обращенную к морю; сзади и с боков она обросла балкончиками, галереями, комнатами, уходившими в глубь двора. Овальная башня называлась «мастерская». Это был высокий поместительный зал в два света; сбоку лестница вела на хоры, где находилось несколько мягких диванов. Широкая стеклянная дверь, задергивавшаяся золотисто-желтой, чтобы получалось впечатление солнечного освещения, занавесью, вела в соседнюю комнату, где был стол, кресла. Здесь жил Волошин. И мастерская и кабинет Волошина были во всю высоту заставлены полками с книгами; к верхним полкам вела от хор галерейка. Книг было очень много, все очень ценное по литературе французской и русской, литературоведению, философии, теософии, искусствоведению, религии, масса ценнейших художественных изданий, заграничных и

русских; книг по естествознанию не замечал; поражало полное отсутствие книг по общественным и экономическим наукам. Он с гордостью заявлял, что Маркса не читал и читать не будет.

В мастерской и в кабинете была масса очень уютных ниш и уголков. На свободных промежутках стен висели портреты (преимущественно его собственные, писанные художниками разных направлений — реалистами, кубистами). При входе налево в нише стоял гипсовый слепок бюста египетской царицы Тапах; она фигурирует во многих стихотворениях Волошина. Не знаю, знаменитый ли это бюст или нет, думаю, что если бы был широко знаменит, то Волошин его у себя не поставил бы. Общее впечатление от мастерской и от всего его жилища было очень изящное, художественное и уютное. Волошин яро защищал хаотичность всевозможных пристроек, утверждая, что здания должны создаваться не по предварительным проектам архитекторов, а стихийно, соответственно внутренним тенденциям развития здания. <...>

Волошин был когда-то женат, но давно разошелся с женой. В годы 1918—1921, когда я жил в Коктебеле, Волошин являлся везде с молодой, худощавой, довольно красивой женщиной, еврейкой, которую он всегда рекомендовал неопределенно-просто Татидой. Так все ее и звали. Елена Оттобальдовна ее не любила, поедом ела, она была кроткая и безответная, делала самую черную работу. Для жизни она была какая-то неприспособленная. В одной эпиграмме Волошина Татида заявляла, что

В этот мир явилась я
Метаться кошкой очумелой
По коридорам бытия.

Когда я в 1926 году опять стал проводить лето в Коктебеле, Елена Оттобальдовна уже умерла, и при Волошине была Мария Степановна. Она была зарегистрирована с Волошиным, была очень энергичная и хозяйственная, ходила стриженая, в шароварах и сапожках.

Дача Волошина создавалась именно стихийно. Мать его отдавала комнаты дачникам и каждый год пристраивала новые комнатки. В глубине еще большой двухэтажной дом. В общем в даче было комнат двадцать пять. С приходом Советской власти путем больших хлопот, и собственных, и многочисленных его друзей, Волошину удалось спасти свою дачу от реквизиции. Он превратил ее в бесплатный Дом отдыха для писателей и художников, и в таком виде дача просуществовала до самой его смерти. (Впоследствии она была передана Литфонду.) Волошин со смехом рассказывал, что местные болгары, сами обычно сдающие на лето все в своих домах, что можно только сдать под дачников, страшно возмущались тем, что Волошин сдает комнаты бесплатно, что это «не по-коммунистически». Каждый год масса интереснейших писателей и художников съезжались к Волошину; в мастерской устраивались разнообразнейшие литературные чтения. Волошин слушал и рисовал акварельные картинки. Он был еще и художником и писал акварели, представлявшие по большей части идеализированную природу Коктебеля. Я мало понимаю в живописи; говорили, что он подражает то своему феодосийскому другу художнику К. Ф. Богаевскому, то японцам. Меня только в этих изящных акварелях поражали блеклые их тона, полное отсутствие знойного блеска коктебельского солнца и яркой сини моря. Писал он их чуть ли <не> пачками, одновременно по несколько штук, и потом раздаривал друзьям. На литературных этих сборищах очень много своих стихов читал и сам Волошин. Очень оригинальна его литературная судьба. Начал он второсортными модернистскими стихами. Но и тогда обратило на себя внимание его энергичное стихотворение, кажется, называлось оно «Ангел мщения», а начиналось так: «И ангел говорит...» Стихи его были перенасыщены ученостью, и чтобы понимать его, нужно было постоянно заглядывать в энциклопедический словарь. Однажды в Москве он читал одно стихотворение Вячеславу Иванову, и сам с гордостью говорил об этом стихотворении, что во всем мире его могут понять только два человека: он сам и Вячеслав Иванов. И в стихах своих он любил, как и во всем, слова, редко употребляемые,

вместо горизонт писал окоем и т. п. Один сборник своих стихотворений он озаглавил «Иверни», и все думали, что это нечто грузинское, и тщетно искали в сборнике стихотворение, воспевающее какую-нибудь грузинскую царевну Иверни. Оказалось,— и это с большим огорчением принужден был объяснять нам Волошин,— что это — чисто русское слово, которое можно найти у Даля, и значит оно «щепки». Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом, но и тут постоянно его сосало желание оригинальничать. Помню, когда я однажды читал цикл его стихов «Путями Каина» одному умному и тонкому знатоку поэзии, М. П. Неведомскому, он спросил: сколько Волошину лет?

— За пятьдесят.

— Странно. Какое прорывается мальчишеское оригинальничанье.

Ни одного другого писателя я не встречал, который бы так охотно читал свои произведения встречному и поперечному, как Волошин. Его не нужно даже было просить, он прямо сам говорил:

— Позвольте, я вам почитаю свои стихи.

И читал бесконечно. И нужно признать — по большей части и слушатель был рад его слушать бесконечно. Относясь «объективно» и к красным и к белым, он совершенно искренне писал стихи, из которых одни приводили в восторг красных, другие — белых, бывало даже так, что за одно и то же стихотворение и красные и белые считали Волошина своим. В общем, однако, для Советской власти он был мало приемлем, только отдельные стихотворения ему удавалось напечатать в журналах.

Мои уста давно замкнуты... Пусты!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
И ты и я — мы все имеем честь
Мир посетить в минуты роковые
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни немой ее укор.

Сам Волошин очень большое значение придавал своему «Дому поэта» и видел в нем свое призвание, смысл и заслугу своей жизни — как культурный очаг. <...>

Производил он на меня двойственное впечатление. Иногда казался глубоким просветленным мудрецом. Говорил:

— Наша собственность это только то, что мы отдаем. Чего мы не хотим отдать, то не нам принадлежит, а мы ему принадлежим. Не мы его собственники, а оно наш собственник.

Иногда же казался просто шарлатаном, не имеющим в душе ничего серьезно заветного.

Печатался Волошин мало. Литературный гонорар был ничтожный. Кое-что получал от продажи своих акварелей. Существовать на это было, конечно, невозможно. Кажется, получал он ежемесячно что-то от Цекубу (Центральная комиссия улучшения быта ученых). Много помогали гостившие у него летом клиенты. Волошин целый год получал от них продуктовые посылки, так что даже менял продукты на молоко; по подписке купили ему шубу.

Он легко брал от других, но легко и отдавал <...>.

*Киев. 23/X — 1939 г.*

## О Н. А. МАРКСЕ

Невысокого роста, коренастый, довольно полный, с огромною головою и густыми золотистыми спадающими волосами, как львиная грива. Крупные черты лица, выпуклые голубые глаза. Больше всего замечалась и сразу покоряла удивительная ласковость — какая-то благодушная, все захватывающая ласковость этих глаз. Со всеми он был одинаков, со всеми говорил с одинаковою внимательностью и вежливостью — и с трепещущим просителем, и со властьимущим. Редко я встречал среди лиц привилегированного класса такого глубокого, органического демократа, каким был этот генерал-лейтенант царских времен, бывш<ий> команд<ующий> войсками Од<есского> военного округа, кавалер Белого Орла и еще каких-то важных

орденов. Без усилия и надсада, без снисходительного свысока, он, при добровольческом еще режиме, просто и естественно держался как товарищ с каждым крестьянином и рабочим. Помню, однажды, раннею весною, он заехал ко мне в Коктебель, чтоб отвезти меня с женою к себе в Отузы. Посадил нас в пролетку, а сам сел на козлы за кучера. Встречные с удивлением оглядывали наш экипаж, где за кучера сидел старый генерал в пальто на красной подкладке.

Мне выпало счастье работать вместе с Никандром Александровичем в коллегии феодосийского отдела наробраза весною 1919 года в течение тех двух-трех месяцев, которые продержалась в Крыму вторично утвердившаяся в нем Советская власть. Работник и организатор он был удивительный. Под его умелым руководством на глазах росло и развивалось сложное дело перестройки народного просвещения на новых, демократических началах. Он сам работал много и примером своим заставлял так же работать и своих сотрудников. Не так давно в одном из феодосийских отделов мне пришлось видеть объявление заведующего отделом: «Приказываю всем сотрудникам являться аккуратно к началу занятий и уходить лишь после указанного часа; неисполняющие этого приказания будут мною немедленно уволены со службы». (Я слышал, что этот заведующий вскоре слетел с места за этот приказ; ему было объяснено, что мы не для того свергли одного самодержца, чтобы посадить в каждом отделе по маленькому самодержцу с его «приказываю».) Марксу не к чему было «приказывать». У него было средство более действительное: он сам являлся на работу раньше всех и уходил после всех. Удивительно умел вызывать самодеятельность. Все сотрудники его хорошо помнили еженедельные «пленумы», где собирались заведующие секциями и подсекциями, представители профсоюзов и национальностей для совместного обсуждения всех проектов отдела.

Наступил июнь. Д<оброволь>цы наступали, роились слухи, тревога росла. В отделе нашем с утра до вечера толпились голодные народные учителя и уч<ительни>цы, съехавшиеся со всего уезда за получением жалованья. Денег не было — все ждали из

Симферополя, а их не привозили. Наконец привезли несколько миллионов, но с деньгами обратно не пришли требовательные ведомости, а без них отдел финансов отказывался выдавать деньги. 5 июня получили определенные вести, что белые двигаются вперед и Крым приходится эвакуировать. Работа учреждений остановилась, спешно ликвидировалось все, сжигалось, что было нужно. Маркс хорошо понимал, что ему грозит, если он попадет в руки к белым. Татары, среди которых Маркс пользовался огромною популярностью, предлагали ему бежать и брались спрятать его так, что белые не найдут. Маркс согласился, но не хотел раньше уехать, чем добьется жалованья для учителей. С большим трудом он наконец выцарапал денег для учителей, роздал им. Но время было упущено. Скрыться он уж не мог. Добровольцы, высадившись в Коктебеле с одной стороны и у Сазыголи с другой, кольцом охватили Феодосию и никого не пропускали. В пятницу, 7 июня, кубанцы вступили в город. 9 июня Маркс был арестован. Союз учителей, союз писателей, представители татарского населения вынесли резолюции с ходатайством за Маркса как за крупного общественного деятеля и выдающегося ученого, прекрасного знатока Крыма и особенно истории крымских татар. Мы отправились с этими резолюциями в гостиницу «Астория», где сидел арестованный Маркс. Там как раз в это время заседала следственная комиссия с участием представителей от городской думы и земства. Провели по коридору Маркса под конвоем, с ним шла его жена Ек. Вл. Мы долго ждали в коридоре. В одном номере заседала следственная комиссия, в соседнем, сообщавшемся с первым внутренними дверями, сидел Маркс. Часов в восемь, видим, члены следственной комиссии уходят.

— Что Маркс?

— Его дело не рассматривалось. Он подлежит военному суду.

По коридору прошел сильно пьяный казацкий офицер с погонами есаула. Это был комендант Феодосии, по фамилии, помнится, Демяник. Он вошел в номер, где была следственная комиссия. С нами стояла бледная молодая дама, она рассказывала: муж ее, прапорщик, арестованный, там, в номере; он воротился из гер-

манского плена, на добровольческую мобилизацию не пошел, у большевиков зарегистрировался и попал на службу. За дверью слышались теноровые пьяные выкрики коменданта. Вышел адъютант, мы к нему, чтоб передал резолюции коменданту. Он смущенно и растерянно поглядел на нас — зайдите лучше завтра, утро вечера мудренее. Сейчас не совсем удобно. И поспешно ушел в номер. Там по-прежнему слышались грозные крики коменданта. Вдруг дверь распахнулась, и в коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер с окровавленным, раздувшимся лицом; из перебитого носа лилась кровь на его коричневый френч. Молодая дама пронзительно вскрикнула. Это был ее муж.

— Смотрите, что они со мною делают! — плачущим голосом крикнул он.

Часовые-кубанцы втолкнули его в соседний номер, где сидел Маркс. И оттуда опять послышались неистовые крики коменданта. Он продолжал избивать прапорщика на глазах Маркса. О дальнейшем потом мне рассказывала жена Маркса. Избив прапорщика, комендант бросился на Маркса. Маркс стиснул зубы, при первом ударе готовый ему ответить тем же.

— Хотите, убейте, а бить себя я не позволю!

— И убью! — завопил комендант.— Собака! Генерал, а продался большевикам!

Выхватил револьвер, взвел курок и приложил к груди Маркса. Адъютант вырвал у него револьвер.

— Стой! — вдруг крикнул комендант.— У него там что-то твердое в боковом кармане! Револьвер, наверное! Обыскать его.

Расстегнули куртку и вытащили из бокового кармана образок — благословение матери, с которым Маркс никогда не разлучался. Комендант остолбенел.

— Вы — верующий? — пробормотал он.

— Да.

Офицер умиленно перекрестился, стал целовать образок, полез целоваться к Марксу. Он разрешил дать Марксу отдельный номер, разрешил остаться с ним его жене.

Последний раз я видел Маркса дня через два в этом отведенном ему номере «Астории». Лицо у него было сосредоточенное и просветленное, готовое на му-

чения и смерть. На допросе ему прямо говорили, что его ждет расстрел как военного, передавшегося большевикам. Офицеры рвались разделаться с ним самосудом. На следующий день, не допросив никого из сотрудников Маркса, его увезли в Керчь. Больше его я не видел.

На днях я получил от него письмо, написанное месяца два назад. Оно начиналось так: «Не сочтите за голос с того света,— голос Вашего старого друга...» Но голос был уже с того света. Пока шло письмо, Маркс умер. Он умер ректором Краснодарского университета, перенесши долгое ползучее воспаление легких,— по-видимому, от паралича сердца, которому за последние два года пришлось пережить слишком много. <...>



# *Записи для себя*



На фоне яркой весенней зелени — великолепный конь золотистой масти, с раздувающимися черными ноздрями. На нем — нагая девушка с беломраморным телом, румяная, с алыми устами. Красиво!

Маленькая перестановка. На фоне яркой весенней зелени — нагой конь с беломраморным телом, румяный, с раздувающимися алыми ноздрями. На нем — прекрасная девушка золотистой масти, с черными губами и с черным носом. Красиво?

## НА БАРРИКАДЕ

В октябре 1917 года, в Москве. Окоп пересекал Остоженку поперек. В окопе сидели рабочие, солдаты и стреляли вниз по улице, по юнкерам. Третий день шел бой. Совершалось великое и грозное. Не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой.

Стреляли. Продвигаться вперед с одними винтовками, без артиллерийской подготовки, было трудно. Но уже знали: с Ходынки идут на Хамовнический плац батареи на помощь красным. И все ждали, когда над головами завоют снаряды и начнут бить в здание штаба, где засели юнкера.

На время затихла стрельба. Перед окопом озабоченно пробежала рыжая собачонка с черными ушами, остановилась у тумбы, обнюхала и побежала дальше. Вдруг быстро подняла голову и жадно стала во что-то вслушиваться. И невольно все тоже насторожились: не начинает ли артиллерия обстрел?

Но нет. Совсем не это интересовало собачонку. Было что-то гораздо важнее и интереснее: за углом, в Мансуровском переулке, завизжала собака, и рыжая собачонка с серьезными, обеспокоенными глазами вслушивалась в визг. Это было для нее самое многозначительное среди свиста пуль и треска пулеметов, среди гула разрушавшихся устоев старой человеческой жизни.

---

И из всего — самое потрясающее, почти невозможно вообразить, и что, однако, совершенно бесспорно. Год, неделя, час, секунда... Только мы, с нашим сознанием, воспринимаем их как данные отрезки времени. Чтоб нанести ответный удар врагу, человеку потребно несколько секунд. Спать человек должен каждый день. Но при соответствующих внешних условиях возможны существа, которым для нанесения удара врагу требуется наша неделя, и другие существа, которые должны спать каждую нашу секунду. Вся наша многовековая история может вместиться в одно моргание глаза какого-нибудь существа. И во время одного нашего вздоха протекло многомиллионнолетнее существование какого-нибудь микроскопического мира,— микроскопического для нас, а по существу — такого же огромного, как наш: перед вечностью миллион лет и секунда равны.

---

Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:

— Вот перед окнами вашего кабинета — церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. «Какая замечательная церковь! Подлинно русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!..
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя...

Это нужно зарисовать». Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа.

Зашел потом другой художник. «Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие русского народа ко всем небесным делам! В готике,— какой там могучий порыв к небу, все устремление — высоко вверх, к богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и тоненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!» Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.

Третий художник пришел. «Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!»

Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И — ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление *его* глазами.

## У ХУДОЖНИКА

Скульптор Х. пригласил меня бывать на его субботних журфиксах. Пришел. Большая мастерская, по стенам гипсовые маски, старинное оружие; намеренно слабое освещение затененных лампочек, две развесистых пальмы, в сумраке остро вспыхивают бриллианты в серьгах и кольцах женщин. Хозяин познакомил меня со своей женой. Обыкновенное, средней миловидности лицо, не привлекающее внимания.

Сидели. Говорили о Родене. Жена скульптора участвовала в разговоре и разливала чай. В углу около меня белела мраморная головка. Я залюбовался ею. Тонкие черты лица, какое-то глубокое душевное изящество. И ненарушимо целомудренная чистота губ. Светло и чисто становится в душе, когда видишь та-

кие лица. Но как же редко приходится видеть их в жизни!

Ко мне подошел художественный критик.

— Правда, замечательный бюст! Наталья Александровна, как живая.

— Какая Наталья Александровна?

— Тише! Хозяйка дома, разве вы не знаете? Вон, чай разливает.

Я взглянул и с изумлением увидел: да! Мраморный бюст в углу — это она! Как же я этого раньше сам не заметил? То же душевное благородство в тонких чертах лица, та же трогательная целомудренность — не девушки, а замужней женщины, особенно трогательная и ценная.

Она продолжала разговаривать, угощала гостей чаем. Мне уже не хотелось смотреть на мраморный бюст в углу,— он свое дело сделал, раскрыл мне глаза на живое. Я не сводил глаз с хозяйки и недоумевал: как же это я раньше не заметил того, что так победно и убедительно било мне теперь в глаза?

---

Писатель — это человек, специальность которого — писать. Есть изумительные мастера этого дела.

Художник — человек, «специальность» которого — глубоко и своеобразно переживать впечатления жизни и, как необходимое из этого следствие,— воплощать их в искусстве.

---

Не люблю римскую литературу. Горячо, до восторга, люблю литературу эллинскую. Потому что не люблю писательства и люблю художество. Все римские поэты — писатели, изумительнейшие мастера слова. Это все время замечаешь и изумляешься,— как хорошо сделано! А у эллинов,— пусть и у них мастерство изумительное,— у них этого мастерства не замечаешь, дело совсем не в нем, а в том внутреннем горении, которым они полны.

Новейшие литературы — русская и французская. У нас — художество, у французов — писательство. И какое писательство! Куда нам до них! И все-таки можно только гордиться, что у нас его нет.

Впрочем, есть исключения и у нас и у них. Полоса нашего старшего модерна: Мережковский, Вячеслав Иванов, Брюсов — типичнейшие писатели. У французов же чудеснейшие художники: Бодлер, Верлен. Я бы сказал еще с особой охотой: и Мопассан. Но и у него — какие провалы в болото писательства! Рассказ, как кормящая женщина в вагоне тоскует, что ей распирает грудь молоком. И будто бы не знает, как легко можно у себя отдоить молоко. И вот рабочий предлагает ей свои услуги, отсасывает молоко, и когда она благодарит его, он отвечает, что это он должен ее благодарить, что он уж два дня не ел.

Какая литературщина!

---

Каким неотесанным самоучкой кажется Гомер рядом с Вергилием! Как корявы порою его стихи, как неубедительны ритмы, как примитивны аллитерации, как ненужны проскакивающие иногда банальнейшие рифмы! То ли дело Вергилий: точный, сжатый стих, богатейшая звукопись, ритмы, точно соответствующие содержанию, изумительные аллитерации...

И все-таки — просто смешно ставить их рядом. Великан Гомер и рядом, по колено ему,— Вергилий. Когда я читаю Гомера, вокруг меня начинает волноваться сверкающая стихия жизни, я чувствую молодую бодрость в каждом мускуле, я не боюсь никаких ужасов и бед жизни, передо мною в чудесной красоте встают «легко-живущие» боги,— символы окружающих нас сил.

И я чувствую, что Гомер поет, потому что не может не петь, потому что горит душа и пламенными языками рвется наружу. Лев Толстой писал про него Фету: «этот черт и поет и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать».

Когда читаю «Энеиду» Вергилия, чувствую перед собою с огромным мастерством рассказанную сказочку о приключениях выдуманных героев, о действиях богов, в которых ни сам Вергилий не верит, ни мы с вами. То же и с «Освобожденным Иерусалимом» Торквато Тассо. Даже смешно и как-то неловко в душе: на что тратят люди время,— на сказочки! А у Гомера

просто забываешь, что рассказывает он сказки, настолько важно в нем совсем не это, а то, чего и следа нет ни у Вергилия, ни у Тассо.

———

Очень труден вот какой вопрос, и я над ним много ломаю голову.

Есть писатели беспринципные, подделывающиеся под текущие требования,— эти способны обмануть только очень наивных читателей. Есть писатели великого горения и великой искренности; они пишут, по избитому выражению Берне, «кровью своих жил и соком своих нервов»; Глеб Успенский, Гаршин, Короленко.

Но вот еще большой разряд писателей...

...Два различных плана,— план жизненный и план творческий,— они глубоко присущи очень многим художникам. Пушкин до конца жизни изумлял знавших его большим цинизмом в отношении к женщинам,— а в творчестве своем давно уже дошел до чистейшего целомудрия, какое редко можно встретить у какого-нибудь другого художника. Это, конечно, не притворство было и не подделка,— на высотах творчества для него органически противны были всякое любострастие и цинизм...

———

Лет десять назад я выпустил книгу о творчестве Пушкина под заглавием «В двух планах». Там, в сущности, я доказывал то самое, что сам Пушкин говорит о себе: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен... Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...» Книга вызвала дружные нападки. Критики считали нужным «заступиться» за Пушкина, доказывали, что в своих произведениях он был «вполне искренен» и т. п. Все это било совершенно мимо существа вопроса и нисколько не помогало разъяснению дела. А вопрос важный, трудный и до сих пор до странности мало разработанный.

В десятых годах в Москву приезжала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан. Один

офицер, похабник и циник, побывал на ее вечере, где она танцевала Седьмую симфонию Бетховена и «Музыкальное мгновение» Шуберта. После вечера он с недоумением сказал:

— Ваши Бетховены и Шуберты меня нисколько не интересуют, любая оперетка гораздо интереснее. Я пошел на вечер только потому, что Дункан, мне говорили, танцует почти совсем голая. И знаете, вот странно: я не заметил, голая она танцует или не голая!

Танцы Айседоры Дункан были изумительно чисты и целомудренны. Танцевала она в одной кисее, но нагота ее прекрасного тела тоже вызывала совершенно чистое чувство.

Тем неожиданнее впечатление от ее посмертной книги «Моя жизнь». С неслыханно-смелой откровенностью, нигде, впрочем, не переходящею в цинизм, она рассказывает о своих бесчисленных любовных связях с мужчинами самого разнообразного сорта. Запоминается молодой человек, сопровождавший Айседору в ее путешествиях,— возивший с собою шестнадцать чемоданов, и из них один — весь набитый галстухами. Запоминается, как она тщетно старалась обольстить Станиславского. Видимо, натура была очень чувственная и страстная. Великолепны могли бы быть у нее и соответственные танцы — какой-нибудь вакханки или одалиски.

Но откуда шло это божественное целомудрие и чистота ее танцев?

---

Художество делает самое малое большим. Как будто заглянешь в маленькое окошечко — и вдруг раскинутся перед глазами широчайшие дали, и сердце дрогнет от волнения.

Когда-то в журнале «Русское богатство» был помещен рассказ Л. Мельшина «Пасынки жизни». В нем описывалась бедственная жизнь почтовых чиновников. Хороший рассказ. И из него с полнейшею очевидностью вытекало заключение: да, совершенно необходимо увеличить жалованье почтовым чиновникам!

А вот «Живой труп» Льва Толстого. Вдребезги разбита жизнь хороших людей только потому, что существует нелепый закон, запрещающий развод. Что

же «вытекает» из драмы? Что необходимо отменить такой закон? Нет. В окошечке распахивается широчайшая даль, и в ужас приходишь, как люди способны калечить своими нормами и схемами живую человеческую жизнь.

Картина французского художника Жоффруа «В больнице» (в Люксембургском музее, в Париже). Лежит на больничной кровати девочка, а рядом на стуле, задом к зрителю, сидит пришедший проведать девочку ее отец — рабочий. Видна только его согнутая спина. Но вся труженическая жизнь его и вся угнетенность его чувствуются в этой понурой спине.

Серовский портрет Веры Мамонтовой. Сидит девушка-подросток за столом, на столе персик. Только всего. А чувствуется вся поэзия минувших «дворянских гнезд».

## ИСТИННЫЙ

Возле буфета на маленькой эстраде играл оркестр. Обыкновенный ресторанный оркестр. Две скрипки, флейта, виолончель, контрабас и пианино. Посетители громко разговаривали за столиками, смеялись, улыбающимися губами шептали на ухо женщинам признания, никто музыки не слушал. А оркестр играл сладкие вальсы и задорные попурри, и от звуков его люди, не замечая этого, весело пьянели, как от вина.

Я сидел в углу за стаканом вина, задумался. И вдруг слышу, что-то радостно поет в душе, как-то стало хорошо. Откуда это? Виолончелист играл соло с аккомпанементом пианино. Сквозь ветви пальмы видна была его большая голова в куче мелкокудрявых волос, бритое крупное лицо и пенсне. За его спиною, на стойке буфета, розовели пучки редиски, и оранжевые раки грудою лежали на блюде. Играл он очень хорошо, и это от его музыки так светло запело у меня в душе. Мне странно стало: как же это его никто не слушает? За столиками смеялись, громко разговаривали.

Я вглядывался в музыканта. Для кого он играет? Когда он видит, что его никто не слушает,— как можно так играть? А он повернул голову к аккомпаниатору и что-то нетерпеливо ему сказал, очевидно, что тот

не так ему аккомпанирует, как нужно. Господи, да неужто ему не все равно? Ведь никто не слушает.

Кончил. И даже взгляда не бросил на публику. Даже краешком глаза не попытался проверить, не слушал ли его кто-нибудь. Снял ноты с пюпитра и спокойно стал разговаривать с пианистом.

Хотелось мне хоть сочувственно кивнуть ему головою, но он на меня не смотрел

Привет, товарищ! Ты достиг высшего, к чему должен стремиться художник. Ты сделал свое дело, донес до людей, что хотел донести. А сам спокойно отвернулся. И если бы я неожиданно захлопал, ты с недоумением взглянул бы на меня и сконфузился.

*Весна 1913 г. Киев.*

---

Великим хочешь быть,— умей сжиматься.
Все мастерство — в самоограниченье...

Это Гете сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством,— умением «сжиматься» до крайних пределов.

Статуя Аполлона Бельведерского. Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видно из слова «клубясь». Что можно прибавить к этому описанию?

Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму:

Какой-то стихотвор,— довольно их у нас!—
Прислал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет «розо-желтый» облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов.
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец спросил,—
Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?

«Ему пятнадцать лет»,— Эрата отвечает.
«Пятнадцать только лет?»—«Не более того».
— «Так розгами его!»

Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин:

Мальчишка Фебу гимн поднес,
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему вопрос?»—
«Пятнадцать».—«Только-то? Эй, розгу!»

Одной маленькой черточкой, буквально двумя словами, Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершензон когда-то указывал на следующие стихи из «Евгения Онегина». Татьяна написала письмо Онегину.

Но день протек, и нет ответа,
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна, как тень, *с утра одета,*
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Она ждет ответного письма Онегина. Но — она «с утра одета». Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяна ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина.

Мать Татьяны собирается везти ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей в «забвенью преданный возок».

На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый.

Почему «бородатый»? Форейторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать — двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» форейтором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. (Наблюдение насчет форейтора сделано Г. Б. Орентлихером, концертмейстером Радиокомитета.)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужою сетью не позволили бы себе работать. Не сами же ребята могли закинуть сеть и вытащить мертвое тело! Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен.

«Где ж мертвец?»—«Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

На песке был разостлан для просушки невод, волны выбросили на него мертвое тело, и у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом.

Очень также характерно в этом отношении и стихотворение Лермонтова к А. О. Смирновой. В первоначальном виде оно было такое:

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Стесняем робостию детской,
Нет, не впишу я ничего
В альбоме жизни вашей светской,
Ни даже имя своего.
Мое вранье так неискусно,
Что им тревожить вас грешно.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать! Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»:

Он весь кипит как самовар...
Иль как отверстие вулкана
Или —сравнений под рукой
У нас довольно — но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой...

Это действительно характерная особенность Пушкина,— он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ — только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям.

---

Зачем оригинальному художнику *стараться* быть оригинальным? Микеланджело. Душа переполнена небывалыми, никем никогда не воплощенными образами. Безбородый, голый Христос с торсом и с чудовищными мускулами Геркулеса. Богородица с трупом сына на коленях,— нежная шестнадцатилетняя девушка. Могучая мужская фигура «Ночи» с прилепленными конусами женских грудей. Одно только нужно: смелость быть самим собой.

---

— Epatez le bourgeois! — Ошарашивай мещанина! Как это характерно для средненького таланта и для бездарности! Провел ли бы Микеланджело хоть одну линию резцом, написал ли бы Бетховен хоть одну ноту, чтоб кого-нибудь «ошарашить»?

---

Я не знаю, было ли это напечатано. Я это слышал от лиц, близко знавших художника В. И. Сурикова. Его картина «Утро стрелецкой казни». Утренние сумерки. Лобное место. На телегах — привезенные на казнь стрельцы с осунувшимися от пыток лицами, с

горящими восковыми свечами в руках. Солдаты-преображенцы. Царь Петр верхом распоряжается приготовлениями к казни. Смутно вырисовываются виселицы.

Когда Суриков уже кончал картину, заехал к нему в мастерскую Репин. Посмотрел.

— Вы бы хоть одного стрельца повесили!

Суриков послушался совета, повесил. И картина на три четверти... потеряла в своей жути. И Суриков убрал повешенного.

---

Эмиль Золя.— «Брюхо Парижа», глава I. Витрина колбасной лавки.

«Выставка была расположена на подстилке из мелко нарезанных обрезков голубой бумаги; местами тщательно разложенные листья папоротника обращали некоторые тарелки в букеты, окруженные зеленью. Это был целый мирок вкусных вещей, жирных и таявших во рту. Сперва, в самом низу, у стекла, шел ряд банок с жареными ломтиками свинины вперемежку с банками горчицы. Повыше лежали маленькие окорока с вынутою костью, такие красивые, круглые, желтые от тертых сухарей. Затем следовали большие блюда: красные и лоснящиеся страсбургские языки в шпеке, казавшиеся кровавыми рядом с бледными сосисками и свиными ножками; черные кровяные колбасы, свернувшиеся, точно безвредные ужи; ливерные колбасы, сложенные по две, готовые лопнуть от избытка здоровья; простые колбасы, похожие на спину певчего в серебряной мантии...»

И так долго еще, долго! Больше, чем столько же! И подумать, что еще несколько десятков лет назад могли это читать вполне серьезно и не принимать за величайшее издевательство над собой!

---

Как легко было так писать! Взял записную книжку, стань перед витриной и пиши! Описывать наружность человека: лоб у него был белый и открытый, густые брови нависали над черными вдумчивыми глазами, нос... губы... волосы... И так дальше. Или обстановку комнаты: посреди стоял стол, покрытый розо-

вою скатертью с разводами; вокруг стола было расставлено пять-шесть стульев... Комод в углу... В другом углу... И так дальше. А нужно-то совсем не так: закрой глаза и вдумайся, дай себе отчет: что тебе больше всего бросилось в глаза в данном лице или обстановке? И этими-то двумя-тремя чертами,—но чертами характерными, яркими,— все и опиши. И довольно.

---

Когда вы описываете мужчину, женщину, местность, думайте всегда о ком-нибудь, о чем-нибудь реальном.

*Стендаль*

Это — глубоко верное замечание. Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека — на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу. И тогда уж прилепись к этому человеку целиком. И он даст тебе массу самых неожиданных и прелестных деталей, которые оживят задуманный тобою образ до неузнаваемости. То же и с пейзажем. Сила Льва Толстого, что он всегда делал так.

---

Нужно кончать описывать природу раньше, чем читатель может заметить, что автор ее описывает.

---

«Иван Петрович подошел к столу. Он был очень весел».

Прочитав что-нибудь подобное, всякий считает себя обязанным притвориться идиотом и спросить:

— Кто был весел? Стол?

Гомер нисколько не стесняется говорить: «он побежал», раз по смыслу понятно, о ком идет речь, хотя бы в предыдущей фразе дело шло о столбе.

---

У настоящего художника никогда не найдешь никакого нравоучения. «Нравоучение» у него вытекает из самого писания жизни, из подхода его к ней. Ему не нужно писать: «Как это возмутительно!» Он так

опишет, что читатель возмутится как будто сам, помимо автора. А равнодушный халтурщик — для него совершенно необходим в конце «закрученный хвостик нравоучения». Иначе читатель воспримет все как раз даже наоборот. Как в известном рассказе Чехова «Без заглавия». Воротился настоятель в свой монастырь из большого города и с ужасом стал рассказывать о нечестии и разврате, царящих в городе.

— Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека вино отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости!

Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, настоятель проклял дьявола и ушел в свою келью.

Удивительно ли, что наутро в монастыре не осталось ни одного монаха? Все они бежали в город.

---

Дворянские беллетристы шестидесятых — семидесятых годов — Болеслав Маркевич, Авсеенко, Всеволод Крестовский и пр.,— когда выводили благородного дворянина, то писали о нем так:

— Погоди ж ты! — процедил князь Троекуров, побледнев.

Если же речь шла о семинаристе-нигилисте, то писалось так:

— Погоди ж ты! — прошипел Крестовоздвиженский, позеленев.

Теперь, с других, конечно, позиций, повторяется совсем то же самое. Герои симпатичные бледнеют и цедят, несимпатичные — зеленеют и шипят. Я просто не могу понять, как после Льва Толстого можно так писать.

---

Когда новый переводчик берется за перевод классического художественного произведения, то первая его забота и главнейшая тревога,— как бы не оказаться в чем-нибудь похожим на кого-нибудь из предыдущих переводчиков. Какое-нибудь выражение, какой-нибудь стих или двустишие, скажем даже,— целая строфа, переданы у его предшественника нельзя лучше и точнее. Все равно! Собственность священна! И переводчик дает свой собственный перевод этого места, сам сознавая, что он и хуже, и дальше от подлинника. Все достижения прежних переводчиков перечеркиваются, и каждый начинает все сначала.

Такое отношение к делу представляется мне в корне неправильным. Главная, всеоправдывающая и всепокрывающая цель — максимально точный и максимально художественный перевод подлинника. Если мы допускаем коллективное сотрудничество, так сказать, в пространстве, то почему не допускаем такого же коллективного сотрудничества и во времени, между всею цепью следующих один за другим переводчиков? Все хорошее, все удавшееся новый переводчик должен полною горстью брать из прежних переводов,— конечно, с одним условием: не перенося их механически в свой перевод, а органически перерабатывая в свой собственный стиль, точнее,— в стиль подлинника, как его воспринимает данный переводчик.

---

Совсем не страшны и очень мало вредят писателю самые ярые на него нападки в печати и самые уничтожающие критические статьи. Человеку самолюбиво кажется: вот, нет никого, кто бы не прочел обидной для него статьи, все только о ней говорят. А на деле,— кто и прочел, тот очень скоро забыл, а уж через месяц никто и не помнит. Только в очень редких случаях критический отзыв может быть губителен для писателя,— когда отзыв принадлежит очень авторитетному лицу, а сам писатель — неважный, не способный делом своим опровергнуть отзыв критика. Так было, например, с отзывом Добролюбова о магистерской диссертации Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Всю литературную карьеру профессора Ореста Федоровича Миллера испортил этот суровый

отзыв. Но столь же суровая статья Писарева о Щедрине — «Цветы невинного юмора» — нисколько Щедрину не повредила.

Но вот что страшно, вот что убийственно для писателя, вот от чего он никогда не сможет целиком оправиться. Это — меткая эпиграмма или слово, подцепляющие какую-нибудь характерную слабую сторону писателя. Никакие самые презрительные и ругательные статьи не повредили Леониду Андрееву так, как повредил добродушно-насмешливый отзыв Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Иному читателю и стало бы страшно при чтении Андреева, но он вспоминает Толстого и повторяет: «Он пугает, а мне не страшно!»

Убийственны были прозвища и словечки, которыми высмеивал того или другого писателя оголтелый Виктор Буренин, критик рептильной газеты «Новое время». Все презирали Буренина, но словечки его и прозвища часто неотрывными ярлыками навсегда прилеплялись к писателю. С его руки, например, пристали к Петру Дмитриевичу Боборыкину прозвание «Пьер Бобо» и слово «боборыкать». И читатель, берясь за новый роман Боборыкина, говорил, улыбаясь:

— Посмотрим, что тут набоборыкал наш Пьер Бобо!

Извольте-ка после этого захватить читателя!

Был беллетрист и корреспондент Василий Ив. Немирович-Данченко. Он вечно завирался в своих корреспонденциях самым фантастическим образом. Буренин прозвал его «Невмерович-Вральченко». И одно это прозвище с гораздо большим успехом подорвало доверие к его сообщениям, чем сделали бы это самые обстоятельные опровержения и изобличения.

Или из современности. Демьян Бедный писал про правоэсеровского публициста Питирима Сорокина:

Пити-пити-питирим!
Питирим, тирим, тирим!

И все воробьиное легкомыслие писателя налицо.

---

Трудное это и запутанное дело — писательство. Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри. Между тем

обычная история жизни писателя: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. И вот — человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. И нет уж писателя. Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. Придет время, и то же писательство самотеком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше.

Не говорю уж об этом. Но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. Варка в собственном соку. А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал».

Нужно в жизни жить, работать в ней — инженером, врачом, педагогом, рабочим, колхозником.

— Хорошо, а когда же тогда писать?

— Когда? После работы. В дни отдыха. В месяц отпуска.

— Много ли тогда напишешь?

— И очень хорошо, что немного. Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. А так, по совести сказать, взять почти у любого писателя полное собрание его сочинений,— много ли потеряет литература, если выбросить из него три четверти написанного?

---

Когда в загорающемся сиянии славы, средь гула восторженных приветствий в литературу вступает молодой талант, мне всегда бывает за него страшно и больно. Как будто на большой высоте человек пошел по слабо натянутому канату. Знает ли он, какой это опасный путь, знает ли, что из многих десятков людей до конца дойдут, хорошо, если двое, трое? Знает ли, что с каждым шагом все больше должна расти его строгость к себе, что не нужно прислушиваться к доносящимся снизу восторженным крикам и рукоплесканиям? Можно все это знать, и все-таки голова на-

чинает сладко кружиться, исчезает подобранность тела, ноги бойко и развязно ступают по канату,— и летит человек вниз, и расшибается насмерть. И никто даже не ахнет, не подбежит к его трупу. Равнодушно поглядят и скажут:

— Еще одна несбывшаяся надежда!

Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижал требовательность к себе, с каждым успехом начинало писаться «легче». И как в это время бывал полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее.

---

И вот это еще. «Небес избранник», «божественный посланник». И теперь сплошь да рядом писатель серьезнейшим образом начинает считать себя таковым. Писательский труд — это какой-то совсем особенный труд, высоко возносящий писателя над серою толпою. После этого труда всякий другой, обычный труд — оскорбителен, презренен. Стал человек в этой области инвалидом,— выдохся, писать больше не о чем. Но сам по себе крепчайший мужчина, хоть барки грузить. Но он предпочитает бездеятельно ждать исчезнувшего «вдохновения» и быть вечным клиентом Литературного фонда.

Знавал я одного поэта, бывшего рабочего. Хороший был поэт, отмеченный и читателем и критикой. Как-то он сказал мне:

— Подыхаю от нищеты! Что можно заработать стихами!

Я вспомнил, что он был прежде электромонтером. А я как раз только что въехал в новую квартиру, нужно было проводить в ней электричество. Я ему предложил:

— Вот! Не возьметесь ли?

Он оглядел меня так, как если бы я изящному денди предложил в заплатанном и затасканном костюме войти для танцев в бальный зал. Ответил неохотно:

— Я это дело давно уже бросил.

И отошел.

---

«Автор одного произведения»... Их много у нас. Грибоедов. Сухово-Кобылин — трилогия. Ершов, автор «Конька-Горбунка». Д. Гирс — неоконченный роман «Старая и новая Россия» в «Отечественных записках» за 1868 год. А прожил (и писал) до 1886 года. А. Л. Боровиковский — в семидесятых годах лучший после Некрасова поэт «Отечественных записок», очень несправедливо забытый.

Хороши были у него не только гражданские стихи, но и стихи другого рода. Помню, например, из одного стихотворения такое четверостишие:

Пусть говорят — ночная полутень
Введет в обман и призраки покажет.
Нет, только ночь тебе всю правду скажет,
А дню не верь: обманывает день!

Молодежь того времени списывала его стихи и учила наизусть. А он даже не издал их отдельною книжкою. Стал впоследствии крупным деятелем по судебному ведомству и автором специальных трудов по гражданскому праву. Из более новых: Найденов — «Дети Ванюшина», Тимковский — «Сильные и слабые». Благо было тем из них (Сухово-Кобылин, Боровиковский), которые сказали, что могли сказать, и спокойно замолчали. Для большинства же это единственное их произведение стало отравою, заразившею кровь на всю жизнь. Нечего больше сказать, нет потребности сказать, все сказано,— а пишут, пишут, пишут... Какое оскорбление и литературы, и самих себя! Неужели только в литературе жизнь? Неужели и без нее нельзя жить полно, глубоко и плодотворно?

---

Странная судьба скульптора Ф. Ф. Каменского. Всякий знает, хотя бы по снимкам, его группу «Первый шаг», находящуюся в ленинградском Эрмитаже: карапуз в рубашонке неуверенно делает шаг, а молодая мать, опустившись на одно колено, поддерживает ребенка. Каменский, родившийся в 1838 году, блестяще начал свою карьеру, еще учеником Академии получил несколько серебряных и золотых медалей, был отправлен за границу, получил звание академика. Художник А. А. Куренной рассказывал мне со слов брата Каменского: скульптор жил в Риме, женился, родил-

ся ребенок. Знаменитый «Первый шаг» его — с жены и ребенка. Жена умерла. Каменский бросил скульптуру, в начале семидесятых годов уехал в Америку и там стал жить физическим трудом. Брат посетил его в Америке. Он имел свою ферму и на ней работал. Однажды,— кажется, на чикагскую всемирную выставку — Каменский представил статую. Получил премию. И опять умолк.

---

Лет тридцать назад меня в упор спросила одна курсистка,— прямолинейная девица, признававшая только химию и политическую экономию:

— Скажите, как вы сами думаете: если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали,— было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?

Я ответил:

— Видите, начинается дождь. Он очень нужен для посевов, для травы; может быть, он определит весь урожай нынешнего года. Вот перед нами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожай бы погиб.

---

Наглость писательского невежества, доходящая до великолепия.

Все знают про бумеранг, метательное оружие австралийских дикарей. Благодаря приданной ему кривизне бумеранг, в случае промаха, делает полукруг и падает к ногам бросившего. Всякий легко может сделать такой бумеранг и наблюдать его оригинальный полет.

Луи Буссенар, автор очень популярных приключенческих экзотических романов. В романе «Сын парижанина» он описывает похождения двух молодых людей в Австралии. Им удается убежать от захвативших их бандитов. Невдалеке от дороги, по которой они бегут, стоит незнакомец с странным, искривленным орудием в руке. Когда они пробегали мимо, незнакомец неожиданно метнул в них тем, что у него было в руках.

«Странное оружие низко неслось над землею. Тотор услышал его жужжание и отскочил, но орудие, точно сознательно, преследовало его, продолжая вертеться. И вот оно ударило его по ногам. Парижанин упал на землю.

В ту же минуту ужасная пластинка сделала поворот и с дьявольскою точностью ударила по ногам Мериноса.

— Проклятие! У меня кости разбиты! — падая, проворчал янки.

Исполнив свое адское дело, орудие упало на землю. Но что за чудо! Оно тотчас же снова ожило, поднялось под углом в сорок пять градусов, описало правильную параболу и опустилось к ногам своего владельца».

И, с ученым видом знающего человека, Буссенар прибавляет:

«Бумеранг не походит ни на одно из орудий охоты или войны, противоречит всем законам баллистики, кажется чем-то невероятным и тем не менее существует. Брошенный ловко, он разбивает задние ноги исполинского кенгуру, опрокидывает громадного казуара. Причины его странных движений объясняются различно, но никто не знает истины».

Впоследствии подобное же описание бумеранга я прочел — увы! — у Жюля Верна в «Детях капитана Гранта».

---

Молитва писателя: «Господи, избави меня от корректора, а с наборщиком я сам управлюсь».

Сколько ни борись с корректором, но в конце концов он вместо «конъектура» поставит «конъюнктура», вместо «интерполяция» — «интерпелляция», вместо «цезура» — «цензура».

---

Через каждые пять лет перечитывай «Фауста» Гете. Если ты каждый раз не будешь поражен, сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал,— то ты остановился в своем развитии.

---

Меня спросила одна девушка:

— Какая идея в «Фаусте»?

Я ответил:

— Вы помните, Фауст соглашается отдать свою душу Мефистофелю, если сможет сказать мгновению: «Стой, ты прекрасно!» И это мгновение настает тогда, когда Фауст видит, что затеянное им дело обещает принести огромную пользу человечеству. Характер этого счастья таков, что Мефистофель теряет власть над Фаустом, и Фауст спасается.

Когда девушка ушла, мне стало стыдно. Как будто о простиравшемся перед нами огромном лесе меня спросили, какой в нем смысл, а я показал на молодой дубок и сказал, что из него можно согнуть великолепную дугу для телеги. Какова «идея» «Фауста»! Да разве дело в той дуге, которую можно согнуть из молодого дубка! Лес этот дает столько и материальной пользы, и красоты, и здоровья, что просто смешно говорить о дуге. В «Фаусте» на каждой странице такая неисчерпаемая глубина мысли, переживаний, настроений, жизненного опыта, знаний, что основная «идея» тут имеет значение третьестепенное.

Мне после этого было приятно прочесть в разговорах Гете, записанных Эккерманом, следующее его признание:

«Ко мне приходят и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем «Фаусте». Точно я сам знаю это и могу выразить!.. Было бы удивительно, если б я вздумал всю столь богатую, пеструю и в высшей степени многообразную жизнь, какая изображена в «Фаусте», нанизать на тонкую нить одной всепроникающей идеи... Я собирал в душе впечатления, и притом впечатления чувственные, полные жизни, приятные, пестрые, многообразные, какие мне давало возбужденное воображение. Затем, как поэту, мне оставалось только художественно округлять и развивать эти образы и впечатления и, при помощи живого изображения, проявлять их, дабы и другие, читая и слушая изображенное, получали те же самые впечатления.... Я склоняюсь к мнению, что чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно лучше».

До чего глуп становится самый умный человек, когда больно задето его самолюбие!

---

Если хочешь ценить человека, то заранее нужно скинуть со счета его самолюбие и тщеславие. Иначе, может быть, не останется для тебя ни героя, ни подвижника, ни мудреца.

---

Одно из великолепных исключений — Фридрих Энгельс. Для него ничего не приходится скидывать со счетов. Ведь только подумать! Огромный ум, совершенно самостоятельно пришедший к основным положениям марксистской теории. Он мог быть первым номером — и добровольно сделал себя вторым номером при Марксе. «То, что сделал Маркс,— писал он,— я не мог бы выполнить. Он стоял выше, смотрел шире, видел больше и быстрее, чем все мы, остальные. Маркс был гений, а мы в лучшем случае — таланты». И вот свой большой талант он скромно отдает на служение гению. В прямой ущерб собственной научной работе старается побольше заработать денег, чтобы дать возможность Марксу спокойно и без забот работать над «Капиталом». Все время ставит себя в тень, и справедливость должна применять большие усилия, чтобы вывести его из этой тени и поставить вплотную рядом с Марксом.

---

Удивительна и совершенно фантастична психология тщеславия, неумение человека давать себе должную оценку. В 1840 году прах Наполеона торжественно был перевезен с острова Св. Елены во Францию и похоронен в Доме инвалидов. Лермонтов по этому поводу написал свое известное стихотворение «Последнее новоселье». Напомню его в отрывках.

Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
И криков радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий
    В изгнанье мрачном и цепях;
Меж тем как мир услужливый хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв,
И вздорная толпа, довольная собою,
    Гордится, прошлое забыв,—
Негодованию и чувству дав свободу,—
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
    Ты жалкий и пустой народ!
. . . . . . . . . . . . . . . .

А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть, избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его!
. . . . . . . . . . . . . . . .

И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодованье
При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий, океан!

На эту же тему, несколько раньше Лермонтова, написал стихотворение А. С. Хомяков.

Небо ясно, тихо море,
Воды ласково журчат;
В безграничном их просторе
Мчится весело фрегат...
Дни текут; на ризах ночи
Звезды южные зажглись;
Мореходцев жадны очи
В даль заветную впились...
Здесь он! Здесь его могила
В диких вырыта скалах:
Глыба тяжкая покрыла
Полководца хладный прах.
Здесь страдал он в ссылке душной,
Молньей внутренней сожжен,
Местью страха малодушной,
Низкой злостью истомлен.
Вырывайте ж бренно тело
И чрез бурный океан
Пусть фрегат ваш мчится смело
С новой данью южных стран
и т. д.

Много еще. Все так же серо и тягуче. Что должен был испытать Хомяков, после вялых своих виршей прочитав стальные стихи Лермонтова? Отгадайте. Вот что:

«Между нами буди сказано,— писал он поэту Языкову,— Лермонтов сделал неловкость: он написал на смерть Наполеона стихи, и стихи слабые; а еще хуже то, что он в них слабее моего сказал то, что было сказано мною... Другому бы я этого не сказал, потому что

похоже на хвастовство, но ты примешь мои слова, как они есть, за беспристрастное замечание» *(Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII, М., 1900, с. 104).*

---

Идешь по улице:

— Господи, какая уродина!

Дряблые щеки, тусклые глаза,— набелена, нарумянена, ярко-оранжевые губы, наведенные брови... Для того, чтобы так накраситься, ведь ей нужно смотреться в зеркало. Как же она сама не замечает, как ее вид ужасен и смешон, как он ее унижает?!

---

Молодой Гете приучил себя смотреть с крыши страсбургского собора вниз, чтобы отучить себя от головокружения при взгляде в бездну. Он не выносил резких звуков, поэтому ходил к казарме во время вечерней зори и слушал грохот барабанов, от которого чуть не лопалась барабанная перепонка. Испытывал невольный суеверный страх при ночном посещении кладбища,— и нарочно проводил там часы. Многие военные, чтоб приучить себя «не кланяться пулям», без нужды подставляют себя под обстрел.

Это все просто и легко исполнимо. Но вот как отучить себя от страданий самолюбия? Какие для этого способы? Нет ничего смешнее и противнее кипящего самолюбием человека. Как себя от этого избавить? Удовлетворение самолюбия ведет к все большим требованиям. От поругания самолюбия оно тоже только растет. Самолюбив и нетерпим признанный мастер. Еще, может быть, самолюбивее и нетерпимее мастер непризнанный, собственным преклонением перед собою замещающий отсутствие преклонения других. Когда жизнь одергивает зарвавшегося молодого человека,— это для него очень полезно. Но как вот самому одергивать себя?

---

Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия, и еще больше убеждаюсь в этом, когда наблюдаю товарищей писателей.

И вот — интересное наблюдение. К столетней годовщине смерти Пушкина издательство «Советский писа-

тель» выпустило мою двухтомную работу: «Спутники Пушкина». Издательство пересылало мне все отзывы читателей об этой книге. Раз получаю пачку таких отзывов. Один более лестный, чем другой. Казалось бы, можно бы получить полное удовлетворение. Но в пачке этих писем было также очень злое и едкое письмо одной старой учительницы. Она писала, что автор копается в грязном белье Пушкина и его спутников, что он принижает Пушкина до собственного своего пошлого уровня, что книгу его не следовало бы допускать в библиотеки и т. п.

И что же? Потонул этот отзыв в десятках хвалебных отзывов, компенсировался ли, по крайней мере, ими? Нет. Весь день на душе было определенно неприятное ощущение, со стороны совершенно непонятное. Ложка керосина в бочке душистого вина.

Вот. Какие способы бороться с подобными переживаниями?

---

Самая плохая из всех моих вещей — это повесть «К жизни» (1908). В ней как будто более или менее верно отражены настроения и переживания молодежи после разгрома революции 1905 года. Это мне еще недавно подтвердил один писатель, бывший в то время молодым и читавший с товарищами повесть эту в ссылке. Не могу также принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней «моде». Решительно все другое мое, относящееся и к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же «поддался моде» не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.

Дело не в этом. Дело в гораздо более существенном. В долгих исканиях смысла жизни я в то время пришел, наконец, к твердым, самостоятельным, не книжным выводам, давшим мне глубокое удовлетворение, давшим собственное, питающее меня до сих пор знание,— в чем жизнь и в чем ее «смысл»? Я захотел все свои нахождения вложить в повесть, дать в ней ответ на все мучившие меня вопросы. Но во-первых, от-

веты эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно не характерны. Это были именно только *мои* ответы, для *себя.* Главное же,— в художественном произведении никаких таких ответов дать невозможно. Это просто — вне функции художественного произведения. Какие «дают ответы», какие «указывают выходы» даже величайшие художественные творения мира,— «Илиада», «Божественная комедия», «Гамлет», «Фауст»? Я попытался свои искания и нахождения втиснуть в художественные образы,— и только исковеркал их, получилась вещь неуклюжая, надуманная, неубедительная. Мне просто противно ее перечитывать, и если я не отказался раз навсегда от ее переиздания, то только потому, что повесть как я уж говорил, в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции,— «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «В тупике», «Сестры».

Я увидел, что у меня ничего не вышло, и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме,— в форме критического исследования. Во Льве Толстом и Достоевском, в Гомере, эллинских трагиках и Ницше я нашел неоценимый материал для построения моих выводов. Получилась книга «Живая жизнь». Часть I. О Достоевском и Льве Толстом. Часть II. Аполлон и Дионис (о Ницше). Это, по-моему, самая лучшая из написанных мною книг. Она мне наиболее дорога. Я перечитываю ее с радостью и гордостью.

---

Искренность — дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону — и будет фальшь; в другую — и будет цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной,— великий и очень редкий дар.

Поэт Н. М. Минский в начале девяностых годов выпустил книгу «При свете совести». Редко можно встретить более фальшивую книгу. Чувствуешь на каждой строке, как автор говорит себе: «Я ничего не

побоюсь, я буду так правдив с собою, как никто еще никогда не был». И раздувает, размазывает еле заметные ощущеньица, смещает перспективу, во имя искренности лжет на себя и на других. Утверждает, например, что когда у вас умрет даже самый близкий, самый любимый человек, то, при самой искренней скорби, в глубине души у вас живет приятная мысль, что вот *я*, *я* теперь буду центром общего внимания, *я*, шатаясь от скорби, буду первый идти за гробом, и все с сочувствием будут смотреть на меня...

Вот в какого рода «искренность» можно впасть, если не относиться к ней строго и требовательно. А уклонишься в другую сторону,— и там ждет тебя циническая «искренность» Федора Карамазова или Василия Розанова.

---

Глаза — зеркало души. Какой вздор! Глаза — обманчивая маска, глаза — ширмы, скрывающие душу. Зеркало души — губы. И хотите узнать душу человека, глядите на его губы. Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически невинные глаза и развратные губы. Товарищески-радушные глаза и сановнически поджатые губы с брюзгливо опущенными вниз углами. Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут.

---

Умное лицо получается у человека не оттого, что он умен, а только оттого, что он много думает. Я знаю несколько женщин: у них очень хорошие, вдумчивые, умные лица, а сами они — глупые; но они серьезно относятся к жизни, добросовестно вдумываются в нее. Знавал я одного критика. Редко можно было встретить такого тупого человека. Но он добросовестно ворочал воробьиными своими мозгами,— и лицо у него без всякого спора было умное. А вот у Декарта и Канта лица совершенно дурацкие. Видно, думалось им очень легко.

---

— О чем вы задумались?

Добросовестно ответить на вопрос можно только через значительное время. Когда человек «задумал-

ся», в нем работает подсознательное, результатов своей работы оно еще не вынесло в сознание. Внешний вид человека в это время: брови подняты, глаза выпячены и смотрят в пространство, ничего не фиксируя. Когда человек «думает»,— вид другой: брови сдвинуты, взгляд определенный, фиксирует одну точку. Тут он сразу может ответить, о чем думает.

---

Воспоминание всегда прикрашивает дорогого нам человека. Вот в такой именно мере должно бы прикрашивать портрет.

---

Нет ничего отвратительнее и нет ничего прекраснее старческих лиц. И нет их правдивее. С молодого, упругого лица без следа исчезают черточки, которые проводятся по коже думами и настроениями человека. На старческом же лице жизнь души вырезывается всем видною, нестираемою печатью.

---

Совет лицемерам.— Ты прикидываешься на людях энтузиастом, отзывчивым человеком, добрым товарищем. Наедине и в семье ты не считаешь нужным притворяться, и лицо твое принимает обычное, присущее тебе выражение мелкого и злого эгоиста, думающего только о своих выгодах. И на лицо твое наносятся определенные черты, которые все труднее становится сгонять на людях. Лицемерь и наедине. Тогда маска твоя станет прочнее.

---

Когда у человека большое горе, прибавочное мелкое горе уже не действует на душу. И маленькая радость ничего не дает душе. Букет цветов или варенье к чаю осужденному на казнь. Но вот странно: когда большая радость у человека,— неудержимо хочется прибавить к ней побольше еще всяких маленьких радостей: цветов, вкусной еды, вина, прогулки.

---

Брезгливые люди в большинстве случаев очень нечистоплотны. Долго меня это удивляло, но потом я понял, что иначе и не может быть: кто боится грязи, всегда легче обрастает ею.

---

В человеческой глупости есть свои незыблемые законы.

— Трамвай идет только до Арбатской площади!

Из десяти человек один, по крайней мере, обязательно спросит:

— А дальше не идет?

---

Есть какие-то свои законы и в психологии лжи. Когда начинающему писателю говоришь: «У вас чувствуется подражание такому-то»,— он с неизменною закономерностью отвечает:

— Мне это и другие говорили. Но представьте себе: когда я писал свою вещь, я этого писателя еще не читал.

Один молодой человек, давший мне на прочтение повесть, и в манере и в плане до смешного представлявшую подражание «Мертвым душам»,— тоже уверял, что он в то время еще не читал «Мертвых душ».

---

Гомер. Боги сидят, беседуют, попивая нектар; даже потеют при усиленной работе. Даже походка, как у людей. Боги, как мужчины, «широко шагают». Богини, как женщины, семенят ногами, «походкой подобные робким голубкам». До чего убога человеческая фантазия! Везде религии изображают бога или богов в виде людей, или животных, или их комбинации. Почему не сумели создать чего-то прекрасного, великого, одухотворенного, живого — и ничем не напоминающего живущие существа? Гениальнейший художник мог бы на этой задаче сойти с ума.

---

Мы ждем будущего, вспоминаем о прошедшем. Когда научимся ценить настоящее?

Самое трудное в науке счастья — научиться ощущать настоящее, как прошедшее.

---

Всякий двухлетний ребенок — гений, всякий пятнадцатилетний мальчик — негодяй.

---

Буриданов осел — что это такое? Ну, кто же не знает! Осел стоял между двумя охапками сена и никак не мог решить, в какую сторону ему повернуть голову. Так и умер с голоду. Хорошо. Ну, а кто такой сам Буридан? Владелец осла? Автор басни об осле? Вот этого почти никто не знает. Буридан был французский философ-схоластик четырнадцатого века, противник учения о свободе воли; пример с ослом он приводил в опровержение учения о свободе воли: при полной свободе воли осел умер бы с голоду между двумя одинаковыми охапками сена, потому что у него абсолютно не было бы никакого мотива предпочесть одну охапку другой. Пример и сам по себе мало удачный, и нигде в сочинениях Буридана его не находят, сомневаются даже, принадлежит ли он ему. А прославился Буридан ослом своим, можно сказать, в веках, и прославился весьма прочно. Поистине, въехал в храм бессмертия на осле, как Реомюр и Цельсий на термометрах, Рентген на своих лучах, Ампер, Вольта и Фарадей — на свойствах электричества.

---

Совет красавицам.— Никогда не снимайтесь в модном платье. Через десять лет вы в нем будете казаться смешною.

---

— Зачем вы губы себе мажете? Ведь вы же понимаете, что это — вроде вывески: «Мужчины, я вам хочу нравиться, подходите!»

— Конечно, понимаю, для того и делаю. Я очень застенчива, не умею держаться так, как хотела бы. А тут они прямо по губам видят, что можно быть смелее.

---

Меня трогает, когда люди благодарны мне за сделанное добро. Я благодарен, когда мне сделали хорошее. Но меня глубоко возмущает, когда сделавший мне добро ждет от меня благодарности. Тогда все его добро обесценивается, мне хочется заплатить ему с процентами за сделанное и отвернуться.

---

В Крыму, в Коктебеле, был у меня один знакомый болгарин, крепкий хозяйственный мужичок. За какую-то провинность, совершенную больше по глупости, он был сослан на север. Я за него хлопотал, удалось устроить, что его освободили на два года раньше срока. Он пришел меня благодарить. Выложил на стол пуд винограда, несколько фунтов овечьего сыра брынзы, четверть виноградного вина. Как я ни отказывался, пришлось принять: я чувствовал, что отказом жестоко его обижу.

Осенью мы уезжали с своей дачи. Билет на поезд уже был взят. Жене сильно нездоровилось, она попросила дочь этого болгарина Анку прийти к нам в день отъезда, чтобы помочь уложиться. Утром в этот день прибежала плачущая Анка и сообщила, что прийти не может: отец велел ей идти с ним в лес собирать желуди для свиней. Что она ни говорила, в какое тяжелое положение она поставит нас своим неприходом, он ничего не хотел слушать. «Иди со мной собирать желуди».

Он расценил оказанную ему мною услугу, честно отблагодарил за нее по тарифу и все свои отношения со мною счел поконченными. С этого дня я ненавижу благодарных людей.

---

Студентом-медиком я работал в нашей клинической лаборатории (Юрьевского университета) над вопросом о влиянии минеральной воды Вильдунген на обмен веществ у больных и здоровых. Одним я давал натуральную воду, другим искусственную. И в статейке с отчетом об этой работе, напечатанной в одном медицинском журнале, я писал, что не следует делать никакого различия между натуральной и искусственной минеральной водой, раз химический состав их

один и тот же; в натуральной воде никаких не может быть особенных, неуловимых, «мистических» свойств, отсутствующих в воде искусственной. Поэтому я без разбора давал исследуемым лицам воду как натуральную, так и искусственную. Через десять — пятнадцать лет выяснилось, что главная сила натуральной воды — в ее *радиоактивности,* которой и следа нет в воде искусственной.

С тех пор я стал осторожнее и не спешу называть «мистикой» все непонятное и необъяснимое при настоящем уровне наших знаний.

---

Часто рассказывают изумительные и не подлежащие никакому сомнению случаи, когда, напр., мать в Москве с ужасом сообщает, что вот сейчас с ее сыном, находящимся в Харькове, случилось огромное несчастье. И потом оказывается,— как раз в этот день и час ее сына раздавил трамвай. Случайность? Мистика? Не знаю. Но когда я по радио слушаю концерт, даваемый в Париже, я говорю себе: а разве не может быть волн, которые тоже издалека воспринимаются особенно настроенными нервами?

---

Мне говорил один очень хороший и наблюдательный хирург:

— Не знаю, как это объяснить научно. Но убежден я глубоко и непоколебимо. Может быть *совершенно одинаковый* (наружно) уход за больным, а результаты разные, в зависимости от того, исполняет ли ухаживающий только свой долг — хотя бы *с идеальною добросовестностью,*— или он жадно, страстно хочет спасти больного. Смело говорю, что в последнем случае возможность выздоровления повышается, по крайней мере, процентов на 25. Я высказал это свое наблюдение проф. X. Он ответил изумленно: «Я это тоже заметил, но боялся говорить». И даже больше скажу. Там, конечно, где организм не отравлен безнадежно, где он борется, где часто, как, например, при тифе или при крупозном воспалении легких, все зависит от того, выдержит ли организм еще сутки,— там, я говорю, страстное желание жены или матери бук-

вально не дает больному умереть, поддерживает его жизненные силы.

Иногда серьезно начинаешь верить в «прану» йогов и в то, что люди избыток этой жизненной силы — праны — страстным своим желанием способны переливать в других людей. На империалистической войне у меня в госпитале было две сестры с огромнейшим запасом этой жизненной силы и подлинной любви к каждому больному, горячего желания его спасти. И что же? На их дежурстве почти ни один больной не умирал! Помню один случай. У больного была газовая гангрена ноги — делались подкожные вливания, сделана была экзартикуляция тазобедренного сустава. Я подошел: умирает. Говорю: «Через десять минут умрет. Покройте его». Уж достаточно был в этом опытен.— Но — при нем была одна из упомянутых сестер. И он начал теплеть и ожил. Многое еще нам неизвестно в организме человека.

---

Мне рассказывал моряк, бывший в эскадре адмирала Рождественского во время японской войны. Они стояли у Мадагаскара. Периодически водолазам приходилось спускаться в море, чтобы очищать кили кораблей от нараставших ракушек. Очень при этом докучали акулы. Придумали такое средство. Дали в руки водолазу железный стержень, соединенный с электрическими проводами. Когда акула собралась напасть на него и для этого опрокинулась на спину, он нажал кнопку стержня и сунул его в пасть акулы. Акулу моментально согнуло в дугу и отбросило в сторону.

— И вот с той поры,— рассказывал моряк,— н-и о-д-н-а акула не подплыла к водолазу! Рассказала та акула другим, что ли?

Он же. В александреттской гавани затонул пассажирский пароход с людьми. Через полчаса вся бухта, обычно совершенно свободная от акул, кишела акулами,— как будто они собрались сюда со всего Средиземного моря. Каким радио все они были оповещены?

---

Вот что удивительно: значение света для растений мы понимаем очень хорошо; горшки с растениями мы ставим не в углы комнат, а на окна. И этим часто совершенно загораживаем свет от самих себя. Пройдитесь по улицам Москвы, поглядите на окна: по крайней мере половина их доверху заставлена растениями! Бедные дети, от которых родители загораживают и так не столь уже обильные лучи солнца!

Давно как-то мне рекомендовали обратиться за врачебною помощью к одному модному московскому врачу. Жил он где-то около Девичьего поля. Пошел. Большой зал с блестяще навощенным полом, с богатою, стильною мебелью. Три окна сплошь заставлены цветами, сверху спускаются тюлевые занавесы, а перед окнами громоздятся еще густолистые фикусы и филодендроны. На дворе был солнечный весенний день, но в комнате было сумрачно. Открылась дверь в кабинет доктора,— там тоже все окна были заставлены цветами. Я повернулся и ушел: от этого доктора мне нечего было ждать.

---

Четвертушкою бумаги осторожно стараюсь направить трепыхающуюся бабочку с верхнего оконного стекла вниз, где окно открыто. Она мечется, бросается в стороны.

— Глупая, тебе же добра хочу!

Но она совершенно не в состоянии этого усвоить. Не потому только, что не в состоянии понять моих слов, а потому, главное, что по существу не в силах воспринять того, что я ей хочу сказать. С какой стати я, чужое ей существо, стану ей делать добро? Весь мир для нее — только среда, добыча или опасность.

Когда вдумаешься в это, то тут — своеобразный источник утешения и самого светлого оптимизма. Отчаяние берет, сколько среди людей жестокости, подлости, вероломства, себялюбия... А — почему им не быть? Что эта за ребячья привычка видеть в человеке «образ божий» и в его плохих поступках — поругание этого образа? Человек — не «образ божий», а потомок дикого, хищного зверья. И дивиться нужно не тому, что в человечестве так много этого дикого и хищного, а тому — сколько в нем все-таки самопожертво-

вания, героизма, человеколюбия. Нечего приходить в отчаяние, что у волка, ястреба, человека так много волчьего, ястребиного и... человечьего. Это вполне естественно. А вот от этого можно испытывать большую радость: сколько уж в человечестве высокой моральной красоты! И сколько ее еще будет, когда явятся более благоприятные условия!

———

А рядом с этим — великолепнейшее доверие к жизни у детеныша. Он убежден, что весь мир существует для того, чтобы о нем заботиться. Хочет есть,— скулит и ждет, что вот к нему протянется сосец матери; холодно,— и ждет, что кто-то его прикроет и согреет. И в мысль не приходит, что «кто-то» может оказаться существом, которое пихнет его ногою или схватит зубами.

———

Это была сумасшедшая ночь,— ночь под летнее солнцестояние. Царь эльфов Оберон поссорился со своею женою Титанией. Он велел озорнику эльфу Пуку отыскать цветок со странным именем «Любовь в праздности», подстерег в лесу Титанию, когда она заснула, и выжал ей на глаза сок цветка. Сок этот обладает таким свойством: человек, проснувшись, слепо влюбляется в первую женщину, которую увидит, а женщина — в первого увиденного мужчину.

> Чьих век, смеженных сладким сновиденьем,
> Коснется сок, добытый из него,
> Тот влюбится, проснувшись, до безумья
> В то первое живое существо,
> Которое глазам его предстанет.

Проснувшись, царица Титания увидела первым мастерового-ткача Основу. К тому же Пук из озорства превратил его голову в ослиную. Титания безумно влюбилась в него.

Много чепухи натворил с этим цветком Пук в лесу. Юноша влюбился в девушку, к которой до того был равнодушен. Другая девушка воспылала страстью к юноше, от которого отвертывалась. Титания ласкала своего нового возлюбленного. От него пахло водкой, луком и потом, на голове шевелились ослиные уши, но

она страстно ласкала ослиную морду, целовала ее и находила, что нет в мире никого краше ее возлюбленного.

Мой слух влюблен в твой чудный голосок,
Как влюблены мои глаза в твой образ;
Ты силою своих прекрасных качеств
Влечешь меня к тому, чтобы признаться
И клятву дать, что я тебя люблю!..
Дай розами убрать твою головку,
Столь мягкую, столь гладкую. Позволь
Поцеловать твои большие уши...

Когда Титания заснула в его объятиях, Оберон выжал ей на глаза сок другого цветка, уничтожающий чары первого. Титания в ужасе сказала ему:

Мой Оберон, какие сновиденья
Имела я! Сейчас казалось мне,
Что будто бы я влюблена в осла!

Оберон насмешливо ответил ей:

Вот здесь лежит твой милый!

И Титания увидела, что лежит в объятиях грязного, неуклюжего мужчины с ослиною головою. И воскликнула с отвращением:

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину! [1]

Вечно летает по лесам жизни озорной эльф Пук, вечно выжимает людям в глаза сок волшебного цветка. И люди перестают видеть трезвыми глазами, на отлогом лбу с ослиными ушами видят печать мудрости и гения, в фальшивой женской улыбке усматривают глубокую задушевность, в ординарнейшей наружности — красоту небывалую. Это все творит человеческая кровь, горячо забурлившая под чарами волшебного цветка.

Приходит миг. Пук выжимает в глаза сок другого цветка, и глаза людей становятся видящими, и они недоумевают, как же они не могли раньше рассмотреть этого ослиного лба, этой вульгарности душевной, этой

---

[1] «Сон в летнюю ночь» Шекспира. (*Прим. авт.*)

фальшивой улыбки, этой пустопорожней дамской болтовни.

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину!

Пук, смеясь, летит дальше, оставляя за собою ненужную трагедию и разбитые жизни.

---

У меня был товарищ, студент. На втором курсе он вдруг решил жениться. Мы все изумились. Он перебивался грошовыми уроками, она тоже еще училась, не выдавалась ни умом, ни одаренностью, ни характером, ни красотою,— ничем, что объясняло бы это сумасшедшее решение. Мы пытались отговорить товарища. Он приходил в ярость, заявляя, что прервет знакомство со всяким, кто будет пытаться мешать его женитьбе.

И женился.

Через месяц он пришел к нам и в отчаянии сказал:

— Как же вы мне не помешали сделать эту глупость?

— Да вспомни, что ты нам отвечал, когда мы тебя отговаривали.

— Все равно! Должны были меня связать, должны были отправить в сумасшедший дом. Ведь я был в состоянии невменяемости.

И с ужасом смотрел перед собою глазами проспавшегося пьяного.

Пук с озорным смехом улетел прочь.

---

«Любовь»... Очень часто говорят: «Любовь», когда есть только влюбленность. Влюбленность слепа. Она головокружительным ядом отравляет кровь человека. И только когда она иссякает,— только тогда человек может решить, что это было,— влюбленность и любовь, или влюбленность без любви? А иссякает она в громадном большинстве случаев с достигнутым обладанием. Вот тогда-то только и можно бы серьезно заговаривать о любви. Строить раньше этого планы о долголетней совместной жизни — чистейшее безумие.

---

Брак по любви... О, это, конечно, очень хорошая вещь! К сожалению, такие браки очень редки. Чаще всего под ними разумеются браки по влюбленности. Да ведь такие браки — самые ужасные из всех! Ужаснее даже, чем холодные браки по взаимному расчету. Там люди, по крайней мере, видят, что берут.

---

Скажи мне, как ты относишься к женщине, я тебе скажу, кто ты.

---

Женщина мала в малых делах и велика в великих. Никогда мужчина не бывает так мелочен в мелочах и так самозабвенен в подвиге.

---

У женщин свои, во многом совсем особенные свойства ума. Мне кажется, они стесняются или еще не научились проявлять свой ум в свойственных ему формах. Есть чудесно умные женщины. И есть «умные» женщины, от которых хочется бежать,— столько у них логики и мертвого груза знаний.

Декабрист М. С. Лунин — замечательный писатель и изумительный человек,— отмечая влияние сибирского климата и ссылки на его душевное состояние, писал сестре между прочим: «Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательств, не начертывается уже пером моим».

«Слово, убеждающее без доказательств...» В этом сила оратора. В этом — и тайна успешного спора с женщиной. Никакой логикой нельзя ее убедить, если говоришь с раздражением. И нужно очень мало логики, если слово сказано мягко и с лаской. И это почти со всякой женщиной, как она ни будь умна. Эмоциональная сторона в ней неодолима. Рассказывал Леонид Андреев: однажды поспорил он о чем-то с женой; приводил самые неопровержимые доводы, ничего на нее не действует; он разъяренно спросил:

— Ну, как же тебя еще убеждать?
Она жалобно ответила:
— Поцеловать меня.

---

Женщины плохо пишут романы, повести и стихи. Но удивительно пишут дневники и письма.

## РАЗРУШЕНИЕ ИДОЛОВ

Стоят изображения из камня или дерева. И люди поклоняются им, считают их высшими существами, к которым непозволительно подходить даже с самой легкой критикой, которых следует благоговейно принимать такими, какие они есть.

Приходит время, и человек убеждается, что перед ним — просто каменные или деревянные куклы, что они не только подлежат критике, но что критике даже делать нечего с ними, настолько они ничтожны и ненужны; единственное, что с ними можно сделать, это отправить их на свалку или в лучшем случае в музей.

В жизни людей, в их быту, в их нравах и воззрениях,— часто даже у людей самого передового образа мыслей,— еще несчетное количество этих божков, совершенно без всяких оснований вызывающих к себе самое благоговейное отношение, не допускающее никакой критики.

Когда думаешь о том, какими правами обладает сейчас у нас женщина, берет гордость и радость за нее. То, что еще на моей памяти было явлением самым обычным, то, что и теперь вполне обычно в большинстве стран, представляется нам теперь диким, почти невероятным пережитком.

Шел я раз, студентом, по улице. Пьяный мастеровой бил свою жену, державшую на руках грудного ребенка. Он сильным размахом бил ее кулаком в лицо, голова моталась, из носу текла кровь. Я и другие прохожие кинулись к нему, закричали, пригрозили отправить в полицию. Он насмешливо вытянулся и в виде «чести» приставил ладонь к виску.

— Вин-новат-с!.. Тысячу раз прошу извинения! — Потом обернулся к жене.— Пойдем-ка домой! Там я с тобой поговорю!

Она взглянула на ребенка.

— Господи, ты-то за что страдаешь!

Зарыдала и покорно пошла следом за мужем. Там, дома,— она знала, и мы все знали,— там никто не вправе за нее заступиться, если не дошло дело до угрожающих жизни истязаний. И если бы она ушла от мужа, полиция водворила бы ее к нему обратно. Здесь же, что мы видели на улице, было не что иное, как только «нарушение общественной тишины и спокойствия».

Другой раз было. Шел по улице каракалпак с женою. Он впереди, прямой, величественно подняв голову, а сзади, по его следам — никак не рядом! — его понурая жена с тупым, рабьим лицом; на одной руке она держала ребенка, другою придерживала тяжелый узел, бывший у нее на спине. А он шагал впереди с пустыми руками.

Польский писатель Вацлав Серошевский когда-то рассказывал мне. В Японии в железнодорожном вагоне он встал и уступил место стоявшей женщине-японке. Это вызвало дружный смех и недоумение всего вагона, как у нас бы засмеялись, если бы дряхлая старуха уступила место крепкому молодому парню. И помню, в Маньчжурии во время русско-японской войны. Стояли мы обычно в китайских деревнях, жили в фанзах бок о бок с их хозяевами и имели возможность наблюдать их жизнь. И вот — обед. Сидят за столом одни только мужчины, все начиная с дряхлого старика с редкой седою бородкой и кончая двухлетним карапузом со смешной косичкой назади. А кругом стоят и смотрят женщины — и бабушки, и жены, и сестры, и дочери обедающих. Мужчины кончат обедать, встанут, и тогда за стол садятся женщины. Сидеть за одним столом вместе с мужчинами им не полагается.

В 1910 году проездом в Египет я остановился в Константинополе. Был какой-то большой праздник, по улице двигались веселые толпы, смеявшиеся, певшие, дурачившиеся. Но что-то в них было необычное, непривычное глазу, что-то не то, что на подобных же празднествах в Париже, например, или в Италии. И вдруг я понял: толпа была исключительно мужская.

Не видно было женских лиц, не слышно было девичьего смеха, не было веселых ухаживаний, не было парочек, светившихся влюбленностью. Изредка только траурными тенями торопливо проходили черные фигуры женщин с опущенною на лицо густою черною вуалью-покрывалом; под нею белел выступавший кончик носа и таинственно мерцали черные глаза. Женщинам доступа на праздник не было. Им было только — скука гарема и тайный разврат через подкупленных евнухов и служанок.

Мужчина и девушка полюбили друг друга, поженились. Но, оказалось, ни по характерам, ни по воззрениям, ни по привычкам они совершенно не подходят друг к другу. Была не любовь, а влюбленность, при которой они совершенно не сумели разглядеть друг друга. Однако они поженились, повенчаны и разойтись уже не могут, прикреплены друг к другу — навсегда! Развестись можно было единственно в том случае, если одна сторона имела возможность доказать, что другая сторона совершила «прелюбодеяние». Да еще как доказать требовалось! Свидетели должны были удостоверить, что собственными глазами наблюдали самый факт прелюбодеяния. И с омерзительнейшими подробностями все это выкладывалось на суде. Наконец, развод, скажем, разрешался. Но «виновная сторона» лишалась навсегда права вступать в новый брак. Женщина, как бы она с новым мужем ни любили друг друга, могла иметь от него только «незаконных» детей и была вынуждена выносить косые взгляды и пренебрежение добродетельных законных супруг. К каким ненужным трагедиям, к каким вопиющим нелепостям вел такой порядок вещей,— перечитайте об этом в «Анне Карениной» или в «Живом трупе» Льва Толстого.

Как все это далеко от нас,— либо в пространстве, либо во времени! Совсем во всем равноправные с мужчинами, ни в какой области не уступающие им, длинною вереницею проходят перед нами стахановки полей и фабрик, ответственнейшие работницы, профессора, инженеры, летчицы, парашютистки, а не вечные только учительницы да артистки с писательницами. Смотришь на физкультурном параде: рядами проходят полунагие девушки с блестящими глазами,— осе-

тинки, узбечки, таджички,— стройные, мускулистые, овеянные воздухом и солнцем, не стыдящиеся своей наготы, как будто пришли к нам с какого-то древнеэллинского празднества. С ними рядом их товарищи — парни. И подумать только: матери их — и те еще продавались девочками старикам, закрывали паранджою цветущие лица, становились домашней скотиной мужа и сами считали за великий стыд открыть перед посторонним мужчиною даже лицо!

Поженились парень и девушка. Но оказались совершенно друг для друга не подходящими. Да и легко ли неопытным молодым глазам, притом отуманенным влюбленностью, с первого раза без ошибки выбрать себе на всю жизнь спутника и товарища? А у нас теперь: стала совместная жизнь невмоготу,— и разошлись, без ненужных трагедий.

Зорко охранены законом со всех сторон права женщин. Все это так. Однако до полного равноправия очень еще далеко женщине и у нас. Иногда это лежит как будто в самом существе дела. Разошлись муж и жена, у них ребенок. Муж добросовестно платит алименты. Но разве это хоть в отдаленной мере уравновешивает труд, который кладет в ребенка мать? Часто ребенок в сильной степени препятствует личной жизни матери. Полюбила она другого, тот полюбил ее. Но узнает о ребенке — и ретируется. Много еще нужно времени, чтобы в общее сознание вошел и для настоящего еще времени поистине революционный в своей области «Чужой ребенок» Шкваркина.

Часто, однако, затруднение только по внешней видимости лежит в самом существе дела, а в действительности оно устранимо, хотя и не всегда легко. Лет одиннадцать-двенадцать назад я напечатал рассказ «Исанка». В нем обрисовывалось совершенно безвыходное положение нашей учащейся девушки в области любви. Условия вузовской экономики и быта не допускали возможности семьи и ребенка; аборт неприемлем; оставались для большинства, уродливые, неполные взаимоотношения, растлевающие дух, несущие с собою тяжелые нервные заболевания. Рассказ вызвал длинный ряд диспутов и целый поток читательских писем ко мне. Упорно, настойчиво мне предъявляли все один и тот же вопрос:

— Где же выход? Укажите выход!

Как будто это входит в компетенцию художника. И я, конечно, отвечал: «Не знаю!»

Но вот прошел десяток лет, и мы имеем возможность наблюдать совершенно конкретное разрешение вопроса, казалось бы, неразрешимого. У нас существует целый ряд «студенческих городков»,— крупных общежитий на несколько тысяч студентов и студенток. При «городке» — своя библиотека, читальня, комнаты для занятий, столовая, буфет, всегда кипяток, прачечная, баня, почта, амбулатория, родильное отделение, ясли, детский сад. На последнем месяце беременности студентку переводят в специальную комнату для собирающихся родить. После родов помещают в комнату для родильниц; при них — их младенцы. Когда мать оправится от родов, она возвращается в общежитие, а ребенок остается с другими ребятами на попечении нянь. Матери в нужные часы приходят в комнату для кормящих и кормят грудью ребенка. Когда хочет, мать может взять своего ребенка, пойти с ним погулять. Подрастающие ребята — в детском саду. На каникулы мать может взять ребенка к себе. Если же у нее практические работы или просто ей надо отдохнуть, она уезжает, а ребенок остается на попечении «городка».

Конечно, такие «городки» — еще только отдельные островки нового быта; притом в большинстве случаев очень далекие от совершенства. Но островки эти все расширяются и обещают в будущем существенное улучшение положения женщины.

Не все, однако, можно возлагать только на перемену внешних условий. В корне должен также перестраиваться и самый характер отношений между мужчиной и женщиной. И вот тут-то мы наталкиваемся на множество идолов, о которых мы говорили, принимаемых за непререкаемые божества, и свергнуть их можно только при длительном самовоспитании мужчины и при столь же длительной борьбе женщины.

Семья. Муж, жена, дети. Заработок не настолько велик, чтобы иметь домработницу. Муж ходит на работу. Жена готовит обед, стирает белье, пеленает грудного ребенка, обшивает семью, штопает чулки и носки. Ну, что ж! Разделение труда. На это ничего не возра-

зишь, хотя и тут иногда кажется, что разделение труда не совсем равномерное.

Но вот положение несколько иное: оба — и муж и жена — работают. И все-таки: муж, вернувшись домой, садится за газету, а жена становится за примус, ночью стирает в кухне белье или штопает носки мужу. Часто бывает так даже тогда, когда работает только жена.

— Э, где ему! Ничего он не умеет, все у него пригорит, белье от его стирки станет еще грязнее!

Так говорят часто даже сами женщины. А мужчины, так те с величайшей охотой сознаются:

— Где уж мне! Я ничего этого не умею.

Не умеет свертеть котлет, не умеет носки себе заштопать, не умеет перепеленать ребенка, не умеет,— и теперь еще это бывает! — даже постелить за собою постель и вынести ночную посуду. Удивительное дело! Вообще говоря, человек чрезвычайно самолюбив и не так уже склонен сознаваться в своих недостатках. Но тут мужчина с великой готовностью сознается в полнейшей своей бездарности. Напрасна, товарищи, такая скромная оценка своих способностей! Не боги горшки обжигают. Первородившая мать тоже очень неумело пеленает своего ребенка. Общепризнано, что повара во всяком случае не ниже кухарок, а портные — портних. Дело тут не в бездарности мужской. Дело — отчасти в бессознательном стремлении удержать свои освященные веками привилегии, главным же образом — в особого рода самолюбии: как он будет заниматься такими «бабскими» делами!

На берегу Черного моря — комната в дачке. Нанимает ее женщина-врач с двумя ребятами. Утро. Девочка десяти лет убирает постели, подметает пол. Мальчик двенадцати лет сидит, посвистывая, и ударяет себя хлыстиком по голени.

— Почему ваш мальчик не помогает девочке убирать комнату?

И мать — сама мать, интеллигентная! — отвечает:

— Э, это не мужское дело!

Медленно, но эволюция в этой области совершается. Еще пятнадцать лет назад невозможно было встретить на улице мужчину с грудным ребенком на руках. Теперь это стало самым обычным явлением. Носят на

руках, катают в колясочке и этого не стыдятся. Не так уже стыдятся приготовить обед на керосинке. Но уже оторвавшуюся пуговицу сами себе пришивают только холостяки. Или — штопанье носков. Оно стало уже как бы символом женского порабощения, против которого женщины протестуют самым энергичным образом:

— Только предупреждаю, носков тебе штопать не буду!

Мне рассказывали про одного врача еще дореволюционного времени. Он с детства приучил двух своих мальчиков каждое утро осматривать свои носки и заштопывать дырочку при первом ее появлении. Впоследствии один сын стал инженером, другой — полковником, но эту привычку они сохранили на всю жизнь и удивлялись, почему этого не делают все, а предпочитают разнашивать носки до дыр величиною с ладонь.

Когда полным цветом распустится коммунизм, тогда большинство всех этих нудных бытовых мелочей отпадет само собою. Но пока этого еще нет, пока бытовые мелочи тяжелым грузом наваливаются на жизнь людей, нужно все идолы разрушить, нужно мужчине перестать думать, что самими какими-то предвечными законами он освобожден от ряда скучных работ, наваленных им на женщину,— стать с нею рядом, плечом к плечу, и так идти через жизнь.

---

Статья эта была напечатана в № 45 «Известий» за 1940 г. и вызвала очень широкий отклик в читательских массах. Письма лились потоком. Звонили по телефону. На дом ко мне приходили группы студентов и студенток человек по десять — пятнадцать. Устраивались публичные диспуты. Все это показывает, что затронут вопрос, для очень многих близкий и существенный.

Уже в день появления статьи мне позвонил по телефону студент и заявил, что возмущен моею статьею до глубины души. Я ответил:

— Я больше бы удивился, если бы подобное мне сказала женщина.

— Две женщины так же возмущены, как я: моя жена и ее подруга. Они говорят, что сочли бы для себя величайшим позором, если бы я сам штопал себе носки.

Человек двумя-тремя фразами целиком поднес себя, как на ладошке: очевидное дело,— «великий человек», и возле него лишенные собственного содержания две поклонницы, не могущие допустить, чтобы их кумир унизился до такой мелочи, как штопанье носков.

Некоторые письма мужчин полны самой неистовой злобы. Вот выдержка из одного письма:

«Бывшему писателю В. Вересаеву. С чувством стыда и брезгливости прочитал я ваш фельетон под крикливым названием «Разрушение идолов». Куда девалась ваша замечательная чуткость, когда всякое движение в недрах общества вы умели своевременно подметить и в художественных образах показать? Что в эти драматические дни, переживаемые человечеством, вы принесли в мир? Повесть о незаштопанных штанах и носках? Пошленькие и неумные разглагольствования о неравенстве полов?.. Я предоставляю вам старчески похихикать над «обиженным мужчиной» или моей отсталостью в женском вопросе. Факт остается фактом: умер дорогой и любимый писатель В. В. Вересаев. На земле доживает свой век его двойник, уже в состоянии полного умственного и нравственного распада, нудный и смешной старик».

Чтение таких писем доставляет большое удовольствие: видишь по этому кипению злобы, что попал в нужную точку.

На диспуте в авиационном институте один студент прислал такую записку:

«Ведь не призывают же женщин в армию. Много специальностей есть, где могут работать только мужчины. И неужели мужчину нельзя освободить поэтому от штопанья носков, мытья пеленок и прочих мелочей?»

Однако большинство и мужских писем приветствует появление статьи. Студент Н. пишет:

«С большим интересом читали мы — группа юношей и девушек — вашу статью. Спорили, волновались, еще раз перечитывали. Я видел, что некоторые мои друзья, делая вид, что разделяют основные высказы-

вания автора, тем не менее ушли с тяжелым чувством, раздраженные, точно статья обнажила их собственные болячки. Прощаясь, один из них насмешливо заметил: «Итак, отныне я штопарь, и на посещение театра в ближайшие месяцы не располагаю временем». Меня это нисколько не удивило. Недовольство, я знаю, вызвано тем, что им жаль расстаться с многими мужскими привилегиями. Они еще цепко будут держаться за свое неприкосновенное положение в семье... Совсем недавно я был у знакомых. Он — бухгалтер, она — инженер. Личная жизнь этой семьи всегда мне казалась безоблачной. Когда я пришел, садились обедать. Она подавала к столу, мы разговаривали. Вдруг муж сердитым, повелительным голосом крикнул: «Соня! Опять нет соли на столе! Неужели каждый раз тебе надо об этом напоминать? Подай соль!» Сам он сидел в пяти шагах от шкафа и мог сам взять соль. Не удержавшись, я заметил: «Почему вы кричите из-за такого пустяка и почему сами не возьмете соль?» Она немного покраснела за него, а он стал неубедительно доказывать ее обязанности».

Читатель с Северного Кавказа пишет:

«Уважаемый дедушка Вересаев. Благодарю вас за вашу статью. Я не «идол». Я и жена — оба работаем, делаем все вместе. И дети наши будут такими же (у нас их двое — сын и дочь). Я много раз говорил соседним «идолам», как надо жить, но, кроме насмешек, ничего не получал».

Многочисленные женские письма дают огромный материал для характеристики положения женщины. Что особенно угнетает в этих письмах, это — их однообразие, говорящее о чрезвычайной распространенности отмечаемого явления.

Читательница из Свердловска рисует обычную картину, как, воротившись с работы, она берется за приготовление обеда, мытье посуды и т. д., а муж садится за газету;

«Мужья с презрением и стыдом относятся к нашей работе, говоря: «Это — бабье дело». Прочитав вашу статью, мой муж в восторге от нее. Он всецело приветствует все в ней написанное и даже обещал мне, что теперь сам будет себе штопать носки. Отсюда мне уже будет облегчение. А вот обед готовить отказывается:

лучше, говорит, голодный буду сидеть, но варить не буду. Ваша статья повлияла на многих мужчин. Я уже с некоторыми делилась впечатлениями, всем она нравится».

Молодой горьковский колхозник-комсомолец пишет:

«Да, у нас на женщину падает вся тяжесть домашних работ. Приведу один пример из нашей сельской местности. Сейчас идут горячие полевые работы. Женщина встает рано утром, чтобы подоить корову, погнать ее в поле, а затем накормить остальных животных и птиц. После этого ей еще нужно приготовить пищу на весь день. И вот женщина возится с трех-четырех часов утра. А мужчина встает в семь часов, покурит, да и велит жене подавать завтрак. Скажу откровенно, я сам стеснялся даже принести воды, хотя видел, что необходимо помочь своей матери. Сейчас, прочитав вашу статью, я без всякого стеснения буду помогать матери во всех домашних делах».

Председатель одного из райсоветов Осоавиахима Тульской области пишет:

«Ваша статья заставила меня, откровенно говоря, пересмотреть мои отношения к своей жене и изменить их. Если до этого я приходил с работы, то, как правило, обед готовила жена, несмотря иной раз и на то, что она шибко занята ребятами. Ну, а теперь совершенно иное дело, больше я таких фактов не повторяю и в таких случаях готовлю обед сам, сам мою и убираю посуду и даже делаю другие домашние дела, которых до этого не делал. Теперь я понял, как мы, мужчины, иногда благодаря своим старым капиталистическим пережиткам не делаем женщину вполне равноправной».

К сожалению, нередко сами женщины оказывают в этом отношении моральную поддержку мужчинам. Тов. Ер. пишет:

«Мне понадобилось выстирать рубашку. Ну, взял я таз, воды, мыла и учинил стирку во дворе. И что же? Женщины домохозяйки — одна из соседней двери, другая из окна, третья тут же во дворе — с величайшим изумлением сначала, как говорится, воззрились на меня. Опомнясь от изумления, начинают с коварными улыбочками спрашивать меня: почему это я «сам» стираю? И ведь не меня они осуждают своими улыбочка-

ми, а чувствую, что осуждение их относится к моей жене, что допустила, чтобы муж «сам» стирал рубашки».

Иногда получается перегиб в противоположную сторону, и уже женщина старается перебросить все домашние заботы на плечи мужчины. Тов. М. Б. из Ленинграда пишет:

«Я знаю одну семью, где муж, видя, что жена устает, старался помогать ей во всех домашних делах. Соседи по коммунальной квартире окружили его насмешками, и, как ни странно, особенно усердствовали женщины.

— Шляпа... Тряпка...— говорили они.

Прошло четыре года, и сама жена стала смотреть на своего мужа, как на скучного, мелочного человека, погрязшего в домашних делах».

На очень существенную сторону вопроса указывает читательница из Коми. Она пишет:

«Я живу одиночкой, на свой заработок, и наблюдаю жизнь мужчин-одиночек на такую же и бо́льшую зарплату. В то время как я живу на своем обслуживании, они нуждаются в чьем-то уходе, заботе. Мне зарплаты хватает и на лучшее питание и на все стороны жизни, включая курортное лечение, им же — только на текущие ежемесячные расходы, а на одежду уже надо приработать сверх зарплаты. Выходит, что женщина — более самостоятельное существо, чем мужчина».

Это правильно. Благодаря своей неумелости в домашних работах мужчина часто оказывается в самом беспомощном положении. Правильно пишет московская читательница:

«Кто виноват в том, что наши молодые люди, мужья, отцы не умеют сами себя обслуживать? Часто вина определенно падает на школу и семью. Почему нас всех, и мальчиков и девочек, не учили чинить носки, ставить заплатки, пришивать пуговицы? Тогда ребенок с детства мог бы себя обслуживать сам, он привык бы к этому так, как мы привыкаем каждый день чистить себе зубы».

Уже с детства мальчики у нас впитывают презрение к «женским» работам, они сочли бы для себя великим позором, если бы их кто-нибудь увидел стирающими белье или пришивающими заплатку, хотя нисколь-

ко не стыдились бы, например, колоть дрова. Вот в этом вся суть вопроса. Дело совершенно не в том,— как высказывались некоторые мои оппоненты на диспуте,— кому колоть дрова и кому штопать носки,— как вообще распределять работу между мужчиной и женщиной? Кто лучше — мужчина или женщина? Суть в том, что не должно быть каких-то особых «женских» работ, которые стыдно исполнять мужчине, суть в тех предрассудках, к которым мы не смеем отнестись критически. Один муж с опаской говорил своей жене: «Что сказали бы соседи, если бы увидели, что твой муж моет полы!» И во всех нас очень еще крепко сидят эти предрассудки. Нужно с корнем вырвать их и научиться видеть в женщине по-настоящему равноправного нашего товарища.

Интересна воспитательная роль, которую в этом отношении играет Красная Армия. Мною получен целый ряд писем от красноармейцев и младших командиров, в которых они пишут, что в армии у нас вопросы эти давно разрешены.

«Здесь,— пишет один из них,— нет ни жен, ни сестер, ни матерей, которые бы ему зачинили гимнастерку, пришили пуговицу, выстирали обмундирование или носовой платок. Здесь приходится все делать самому. В Красной Армии мужчина привыкает к этому. Он учится делать все те «женские» работы, которых до прихода в Красную Армию никогда не делал и относился к ним презрительно и брезгливо».

Из Мурманской области пишет один военнослужащий:

«Хочу рассказать, как помогла мне Ваша статья «Разрушение идолов». Во время боев с финской белогвардейщиной, вследствие отдаленности от железнодорожного транспорта, нашему подразделению не было возможности своевременно получать стираное белье. Выход из положения один: чтобы не допускать заражения вшивостью бойцов, нужно было на ходу организовать стирку белья, хотя и стоял сильный мороз. По этому вопросу было проведено летучее собрание. Когда я с командиром подразделения задали вопрос, кто может стирать белье, поднял руку только один боец. Многие товарищи ответили, что они никогда еще не стирали, а часть из них заявила, что это «бабское» де-

ло, а не мужчинское, поэтому они не должны стирать белье. К сожалению, в нашем подразделении женщин не было. Я начал разъяснять товарищам, что они в этом не правы, это является отрыжкой проклятого прошлого, подчеркивающей неравенство женщин. Для этой цели использовал вашу статью. Все бойцы внимательно выслушали текст ее, зашевелились между собой, начали говорить:

— Правильно написано! «Святые горшки не лепят», мы можем постирать белье не хуже, чем женщины.

После этого не один человек руку поднял, а все бойцы заявили свое согласие постирать белье».

---

У Ибсена муж говорит уходящей от него Норе:

— И ты можешь пренебречь своими священнейшими обязанностями по отношению к мужу, к детям!

Нора отвечает:

— У меня есть еще более священная обязанность — по отношению к самой себе.

Нора права, говоря так и уходя от мужа. Но каждый случай тут приходится рассматривать в отдельности. О, если бы жена Пушкина пожертвовала своею маленькою личностью и всю ее отдала бы на уход и заботы о муже и этим сберегла бы его для нас на десятки лет! Как бы благодарно чтили мы ее память!

Но подобного самопожертвования мы обычно ждем только от женщины. Айседора Дункан. Гениальная танцовщица. Она положила начало полному преобразованию танцевального искусства. Неестественным телодвижениям балерин в торчащих парашютиком юбочках она противопоставила свободные, гармонические движения свободного, одетого в прозрачную тунику тела. Она не танцевала под музыку, а танцевала музыку, воплощала музыку в танец.

В книге «Моя жизнь» Айседора рассказывает о своей первой любви к одному венгерскому актеру, восхитившему ее своею красотою и игрою в роли Ромео. Он тоже был в восхищении от ее танцев. Сошлись. После нескольких недель бурной страсти Ромео заговорил о женитьбе. Она спросила, что они станут делать в Бу-

дапеште. Он, как деятель искусства и в подметки не годившийся ей, удивился.

— Как что? У тебя каждый вечер будет ложа, из нее ты будешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне реплики и помогать мне при разучивании роли.

Видя, что это ее совсем не прельщает, он разорвал с нею.

Через несколько лет Дункан сошлась с известным режиссером Гордоном Крэгом,— режиссером талантливым и оригинальным, но, конечно, и в сравнение не идущим с гениальною Айседорой.

Она рассказывает:

«После нескольких недель необузданных, страстных любовных ласк завязалась отчаянная борьба между гением(!) Гордона Крэга и моим искусством.

— Почему ты не бросишь театра? — говорил он.— Почему ты желаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему тебе не оставаться дома и не чинить мне карандашей?»

---

Из дневника. 13 февраля 1923 года.— На жизнь свою оглядываюсь с благодарностью. Судьба была ко мне благосклонна, даже больше,— баловала меня. И самый ценный дар: она дала мне способность знать свое место и не переоценивать себя. Поэтому я почти избавлен от самых тяжелых страданий,— зависти и обид самолюбия. Смотрю вперед: много ждет радостного. Кончу роман, возьмусь за работу над Пушкиным.

И вот вдруг заметил в себе: еще чего-то радостно жду. Чего именно?

Смерти!

Как странно. Смерти я никогда не боялся, страха смерти никогда не мог понять. Но недавно почувствовал: жду ее, как большого, поднимающего, ослепительно-яркого события. Вовсе не в смысле избавления от жизненной тяготы,— жизнь я люблю. Просто сама по себе смерть сияет в сумрачной дали будущего яркою точкою.

А недавно заметил в себе еще вот что. Человек умер неожиданно, сразу,— от разрыва сердца, или трамвай раздавил.

— Хорошо так умереть,— без мучений, без ожидания надвигающейся смерти!

Нет, по-моему, вовсе не хорошо. Смертные муки... Так ли они страшны? А может быть, при неожиданной смерти мы лишаемся переживания такого блаженства, перед которым ничтожны все смертные муки?

---

Из дневника. 10 декабря 1927 года. От врача.— Это было для меня совершенно неожиданно: сердце увеличено на три сантиметра, аорта поражена склерозом и расширена, общий артериосклероз. А я себя считал совсем здоровым! Хотя уже месяца три даже при обыкновенной ходьбе, не только при подъеме на лестницу, «чувствую» свое сердце. Но в общем очень гордился, что никто не дает мне моих лет,— по отсутствию седых волос, физической крепости, общей живости. Помню, несколько лет назад, в Академии художественных наук, стояли мы, разговаривали,— покойный М. О. Гершензон, проф. И. И. Гливенко и я. Гершензон говорил, что под старость все больше у него развивается склонность писать афоризмами и очень короткими, замкнутыми главками; соглашался с этим и Гливенко. Я сказал, что и у себя замечаю то же самое. Гливенко с некоторым даже высокомерием взглянул на меня:

— Ну, вам-то еще рано об этом говорить.

Я вскипел.

— Позвольте узнать, сколько вам лет?

Гливенко:

— Пятьдесят три.

Гершензон:

— Пятьдесят пять.

— Ну, а мне пятьдесят семь!

И вот теперь,— что же? Значит,— первый звонок? Странно: нисколько это меня не огорчает и не пугает. Никогда я не мог понять страха смерти, хотя все больше любил жизнь. И вот только одно неприятно: при

такой болезни можно умереть неожиданно. Этого мне не хочется. Мне бы хотелось медленно подойти к смерти, хотя бы с мучениями. Я с замиранием жду этого, как чего-то безмерно сладостного и великого. И уж совсем, конечно, не хочу умереть с распавшеюся и разлагающеюся психикой.

Но другое горько. Мне кажется, я только теперь научился думать, писать, жить, обращаться с людьми. Теперь-то бы только и развернуть жизнь и работу. А артерии в мозгу уже склерозируются.

---

Когда-то она была изящна, очень красива. И талантлива. Странно было сейчас смотреть на нее и думать, что так еще недавно, лет пять назад, с нею можно было разговаривать, как с равной. Старушечье, сморщенное лицо, тусклые глаза,— и спрашивает голосом, каким говорят очень боящиеся маленькие дети:

— Правда, скоро будет война?

— Кто на это может ответить!

— Меня очень беспокоит. Я недавно в газетах читала: мы выпустили противогазы, а они на это — никакого ответа.

Дочь ее, сдерживая улыбку, спрашивает:

— Кто — они?

— Ну, там... Польша, Англия... Румыния.

— Какой же может быть ответ на противогазы?

Все смеются, а она горестно вздыхает:

— Пишут, что архиепископ кентерберийский за войну с нами, а папа римский против. У меня теперь вся надежда только на папу.

— Мама, почему на папу?

— Он же против войны.

— Мама на папу надеется, папа — на маму.

Опять общий смех, а она с недоумевающею полуулыбкой оглядывает смеющихся.

У нее тысяча разных старческих болезней,— эмфизема, миокардит, печень, колит. Дочь ухаживает за нею самоотверженно. Постарела, подурнела от забот и бессонных ночей. А старуха полна к ней злобой и желанием сделать ей больно. Спрашивает меня:

— Не можете ли вы меня устроить в больницу?

— В больницу? Зачем вам?

— Я тут очень всех стесняю, Вера только и думает, как бы от меня избавиться.

— Мама, да что ты такое говоришь!

— Да-а, да-а, я отлично вижу. Я чувствую, что я всем тут в тягость. Как вы думаете, не написать ли мне прямо Семашке? Он, говорят, человек добрый...

Все время точит дочь за то, что мало о ней заботится, что не любит матери. Если дочь выйдет на полчаса пройтись, старуха встречает ее упреками, что она ее «бросила». Ночью вдруг начинает звать спящую дочь:

— Вера! Вера!

— Что ты, мама?

— Я н-е с-п-л-ю!

Как, дескать, ты можешь спокойно спать, раз я не сплю.

И часто говорит дочери:

— Когда я умру, совесть будет тебя терзать, что ты была со мною такая эгоистка. Я буду приходить к тебе во сне.

И дочь мне говорила:

— Как я все время чувствую себя глубочайшей преступницей и не могу убедить себя, что это у мамы только от старческого слабоумия! Я же ведь помню, какая она ко мне всегда была любящая и самоотверженная.

И все с трепетом ужаса повторяли:

— Не дай бог никому такой старости!

*1926 г.*

---

Из дневника. 11 февраля 1929 года.— Я все возвращаюсь мыслью к тому же самому. Уже умер Южин, умер Сологуб. Но профессор Мануйлов все еще живет,— живой, отказывающийся умереть труп, уже не узнающий своих близких. Мария Александровна, вдова моего дяди по матери, вот уже четыре года не встает, полураздавленная параличом. Высшие духовные отправления все умерли, недержание

мочи и кала, все время из нее течет; вонь и мокреть. Дочь измучилась с нею до отчаяния.

Я хочу кричать, вопить: дайте мне право свободно распоряжаться собою! Примите мое завещание, исполните его. Если я окажусь негодным для жизни, если начнет разлагаться мое духовное существо,— вы, друзья, вы, кто любит меня,— докажите делом, что вы мне друзья и меня любите. Сделайте так, чтобы мне достойно уйти из жизни, если сам я буду лишен возможности сделать это!

---

— Бабка, пора тебе помирать!

— Батюшка, и рада бы, да ведь душу-то,— нешто ее выплюнешь?

---

Доктор X. Умирала его мать,— он ее очень любил. Паралич, отек легких, глубокие пролежни, полная деградация умственных способностей. Дышащий труп.

Сестра милосердия:

— Пульс падает,— вспрыснуть камфару?

— Вспрысните морфий.

Сестра изумленно раскрыла глаза:

— Морфий?

Он властно и раздельно повторил:

— Вспрысните морфий!

Мать умерла.

У меня к нему — тайное восхищение, любовь и надежда. И раз я ему сказал:

— Самый для меня безмерный ужас, это жить, разбитым параличом. А у меня в роду и со стороны отца, и со стороны матери многие умерли от удара. Если меня разобьет паралич, то обещайте мне... Да?

Мы поглядели друг другу в глаза, он с молчаливым обещанием опустил веки.

---

Тут самое главное: человеку должна быть дана возможность встретить смерть достойно.

---

*Из дневника. 18 июля 1929 года. Коктебель.* — Последний автопортрет Рембрандта. В биографии его читаю описание портрета: «весь сгорбленный, седой, исхудалый, он кажется тенью прежнего атлета — Рембрандта». Ему в это время было 61 год. Давид Юм в автобиографии своей пишет: «я нахожу, что человек, умирающий шестидесяти пяти лет, только освобождается от нескольких лет дряхлости,— почему и трудно найти человека, который был бы привязан к жизни меньше меня».

Да, все это очень внушительно. Мне идет шестьдесят третий год. Но я еще не чувствую надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать. Играю в теннис. Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867 и что вот эти дряхлые, сгорбленные, такие бесспорные старики — мои ровесники?

А все-таки все это уже очень близко и передо мною. Вчера ходил у себя по саду, подвязывал виноградные лозы к тычкам и думал: скоро, скоро уже придется жить «на пенсии»,— на духовной пенсии, с «заслуженным правом не работать». И не мог себе представить: как же это я тогда буду жить? Греться на солнышке, вспоминать былое и вот так ходить по саду, дрожащими руками подвязывать лозы. И больше ничего. Какая нелепость!

---

И умереть на солнце и на воле
Душистой смертью скошенной травы

*(Мое)*

---

Умирал один мой знакомый, человек глубоко верующий. Пошел его проведать. Иссох, оброс седою бородою. Жена все силы на него кладет. Лицо у нее бледное от бессонных ночей и хлопот. Что-то мне рассказывает, улыбаясь. Он враждебно посмотрел на нее и сказал:

— Вот! Я умираю, а она каким тоном говорит!

---

9 сент. 1940 г.— Давление крови у меня непрерывно растет, и все меры мало помогают. Сейчас — 210. Совершенно не могу физически работать, что меня всегда так живило. Мало и трудно могу работать умственно: сейчас же начинаются боли в голове. Что ж! Семьдесят три года. Пора и честь знать. Удивительно, как смерть меня мало пугает!

Последним желанием Анаксагора было, чтобы в день его кончины ежегодно устраивались детские игры. Я на это не имею права, потому что для детей ничего не сделал. Но я бы хотел, чтобы при моей смерти звучал детский смех, чтобы все кругом улыбались, чтобы не было похоронного настроения, люди не ходили бы с повешенными носами, не вздыхали бы скорбно. Пусть не стоит надо мною шубертовский «Wilder Knochenmann» — «дикий костяной человек» с косою. Пусть реет благостный Thanatos, брат-близнец Сна.



## СОДЕРЖАНИЕ



### НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ

I



II



III

IV



V

## VI



## VII



## VIII

IX



X

**Рассказы о детях**

XI

**Выдуманные рассказы**



XII

**Друзья в масках**

[Глава без номера]



[Рассказы, которые В. В. Вересаев не успел систематизировать]

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

84 Р 7
В 31

**Вересаев В. В.**

В 31 Невыдуманные рассказы о прошлом. Литературные воспоминания. Записки для себя/ Вступ. ст. Ю. У. Фохт-Бабушкина.— М.: Правда, 1984.—576 с.

В данное издание вошли «Невыдуманные рассказы о прошлом», а также значительная часть циклов «Литературные воспоминания» и «Записки для себя». Эти три цикла, составившие по замыслу В. В. Вересаева (1867—1945) единую книгу,— последняя работа писателя, которой он отдал двадцать лет своей жизни.

В $\frac{4702010200-722}{080(02)-84}$ 722—84 84 Р 7

Викентий Викентьевич ВЕРЕСАЕВ

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
М. З. Шлосберга

Художественный редактор
Л. И. Королева

Технический редактор
Т. В. Слизун

ИБ 722

Сдано в набор 23.11.83. Подписано к печати 04.04.84.
Формат 84x108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 29,37.
Тираж 500 000 экз. (3-й завод: 340 001—500 000 экз.).
Заказ № 006. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Кузбасс»
Кемеровского обкома КПСС.
650066, г. Кемерово, Октябрьский пр., 28.

